А. И.
КУПРИН

5

А. Куприн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1958

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

ТОМ ПЯТЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1914—1928

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1958

Подготовка текста и примечания
Э. Ротштейна

Оформление художника
Н. Шишловского

ЯМА

> Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее *матерям и юношеству.*
>
> *А. К.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики — казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет — даже до сего времени — осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные

разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы — Большая Ямская и Малая Ямская — оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение — Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимназисток, и большинство из них — остзейские немки, — крупные,

белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь — десять.

Три двухрублевых заведения — Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны — несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской — рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками; спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послюненной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, — за исключением трех последних дней страстной недели и кануна благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженая девка косы не заплетает, — едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висячие красные фонари. На улице точно праздник — пасха: все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики — кадеты и гимназисты — почти дети; бородатые отцы

семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности — педагоги, и передовые писатели — авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами — брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств — таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, прокля-

тые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести — четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посредине — тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихряя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевитым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах; пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали

ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

— Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, — Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но кругло-толста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара — большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это — ее юбка, торс и голова.

Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж — Исай Саввич — тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки — старшая и младшая. Старшая — Эмма Эдуардовна. Она — высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть — в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую — зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием.

Наконец пятое лицо — местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и

был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный — с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

— Так как же, Фома Фомич? — спрашивает искательно хозяйка. — Это же дело выеденного яйца не стоит... Ведь вам только слово сказать...

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

— Подумайте сами, мадам Шойбес, — говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь, — подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое... Наконец след находится у вас, и главное, — подумайте! — в моем околотке! Что я могу поделать?

— Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, — говорит хозяйка.

— Оне совершеннолетние, — подтверждает Исай Саввич. — Оне дали расписку, что по доброй воле...

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

— Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

— Да ведь я не об этом говорю, — досадливо морщится околоточный. — Вы вникните в мое положение... Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

— Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

— А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

— Вот у меня сын гимназист — Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

— Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже...

— Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и говорит: «Я тебе больше не сын, — ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

— Ах, и не рассказывайте, — вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. — Мы нашу Берточку, — она в гимназии Флейшера, — мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

— Ей-богу, Анночка вся покраснела, — подтверждает Исай Саввич.

— Покраснеешь! — горячо соглашается околоточный. — Да, да, да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или... как их там? И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям. Расстреливать их надо.

— А вот у нас был третьего дня случай, — вмешивается суетливо Зося. — Пришел один гость, толстый человек...

— Не канцай, — строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой. — Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

— И ни на одного человека нельзя положиться, — продолжает ворчливо хозяйка. — Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

— Экономочка! Примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет шашку.

— Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исай Саввич.

— Может, еще рюмочку, на дорожку? — тычется над столом подслеповатый Исай Саввич.

— Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!..

— Спасибо вам за компанию. Заходите.

— Ваши гости-с. До свиданья.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

— А все-таки мой совет вам: вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый — предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

— Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...

Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полуувядшей осокой. Тишина.

III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток — самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливающем керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку...

Нюра — маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка.

Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельмистый парень, услужающий, и бежит в соседний трактир.

— Прохор Иванович, а Прохор Иванович, — кричит Нюра, — не хотите ли, подсолнухами угощу?

— Заходите к нам в гости, — подхватывает Люба.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

— На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

— Пфуй! Что это за безобразие? — кричит она начальственно. — Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать на улицу днем и еще -- пфуй! — в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девицы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Манькой Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навыкате, с самым типичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в «шестьдесят шесть». Ближайшая подруга Маньки Маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение г. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило

ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV, — словом, весь этот пряный, в золоте и кружевах, героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе — тиранствующей и обожаемой. Она — высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская изо рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости — заменять грубые имена Матрен, Агафий, Сиклитиний звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не

посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо- и темно-золотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услыхали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и сговорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

— Прикрыла́, — говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху. — Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйте, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

— Тридцать, — говорит Манька обиженным голосом, надувая губы, — ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь. Сдавай... Ну, так что же дальше, Тамарочка? — обращается она к подруге. — Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Мане тихим голосом, не отрываясь от шитья.

— Вышивали мы гладью, золотом, напрестольники, воздухи, архиерейские облачения... травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна, — окошки маленькие, с решетками, — свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом, разговаривать нельзя было: матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос... «Вонми небо и возглаголю и воспою...» Хорошо пели, прекрасно, и такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, ну вот точно во сне...

Женя опускает истрепанный роман себе на живот. бросает папиросу через Зоину голову и говорит насмешливо:

— Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит.

— Сорок объявляю. Сорок шесть у меня было! Кончила! — возбужденно восклицает Манька Маленькая и плещет ладонями. — Открываю три.

Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие, лукавые, двусмысленные углубления, совсем как у Монны Лизы на портрете Леонардо да Винчи.

— Плетут много про монахинь-то мирские... Что же, если и бывал грех...

— Не согрешишь — не покаешься, — вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту.

— Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит, и ноги ломит. А вечером опять служба. Постучишься к матушке в келию: «Молитвами святых отец наших господи помилуй нас». А матушка из келии так баском ответит: «Аминь».

Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно:

— Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры, вроде Соньки, любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирана, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь?

Тамара не торопясь перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая сощуренных глаз, чуть склонив голову набок:

— Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю.

Женя продолжает качать головой.

— Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем

копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему?

— Конечно, Сенечке.

— Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение, точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя. Воры, они это любят. И обирает небось?

— Больше чем я захочу, я не дам, — кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.

— Вот этому-то я удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы и брильянты.

— Что кому нравится, Женечка. Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый, а вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.

Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью:

— Да! Еще бы! Тебе везет!.. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь, что хочешь, а у меня всё — либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет, гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения. Так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос! Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю: «На тебе, миленький, на тебе карамелек на дорогу, пойдешь обратно в корпус — пососешь». Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядела с крыльца: как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот. Поросенок!

— Ну, со стариками еще хуже, — говорит нежным голосом Манька Маленькая и лукаво заглядывает на Зою, — как ты думаешь, Зоинька?

Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раззеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У ней есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение.

Зое удается, наконец, раззеваться.

— Ну вас к чертовой матери, — говорит она сиплым, после зевка, голосом, — будь он проклят, старая анафема!

— А все-таки хуже всех, — продолжает рассуждать Женя, — хуже твоего директора, Зоинька, хуже моего кадета, хуже всех — ваши любовники. Ну что тут радостного: придет пьяный, ломается, издевается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите, пожалуйста: маль-чи-шеч-ка. Хам хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала: шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается, сукин сын, по-матерному, драться лезет. Тьфу! Нет, — вдруг воскликнула она веселым задорным голосом, — кого люблю верно и нелицемерно, во веки веков, так это мою Манечку, Маньку Беленькую, Маньку Маленькую, мою Маньку Скандалисточку.

И неожиданно, обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая от сопротивления и с опущенными влажными от стыда и смеха глазами.

— Оставь, Женечка, оставь. Ну что ты, право... Пусти!

Маня Маленькая — самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки

ликера-бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделывает такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.

— Барышни, обедать! Обедать, барышни! — кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо:

— Обедать, обедать, барышни!

Идут опять на кухню, все также в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожное: трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то коммивояжером и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки.

Женя, которая лишь брезгливо поковыряла котлетку и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия:

— Ты бы, Феклуша, скушала бы и мою котлетку. Кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышни, что я вам скажу, — обращается она к подругам, — ведь у нашей Феклуши солитер, а когда у человека солитер, то он всегда ест за двоих: половину за себя, половину за глисту.

Нина сердито сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос:

— Никаких у меня нет глистов. Это у вас есть глисты, оттого вы такая худая.

И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав, громко рыгает, пьет

воду, икает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке.

Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси:

— Одеваться, барышни, одеваться. Нечего рассиживаться... На работу...

Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру.

IV

Настали поздние сумерки, а за ними теплая темная ночь, но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными, матовыми, наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка.

Пришел тапер — высокий, белобрысый деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исай Саввичем потихоньку разучивали «pas d'Espagne»[1] — танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну. Таким образом тапер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исай Саввич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Таперу приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказы-

[1] Падеспань *(франц.)*.

вали гостям о тапере, что он был в консерватории и шёл все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немножко приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая, истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах.

Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин — нравиться.

И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные, пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид, безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу швейцару, — драка, во время которой разбивались стекла в окнах и фортепианные деки, когда выламывались, как оружие, ножки у плюшевых стульев, кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головами валились в грязь у

подъезда, к звериному, жадному восторгу Женьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бранилась и науськивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати.

Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах и теперь дошвыривающий, перед самоубийством или скамьей подсудимых, в угарном, пьяном, нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток кряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия, устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами, пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу, среди душной, проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями нечистой кожи.

Изредка появлялся в заведении цирковый атлет, производивший в невысоких помещениях страшно-громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату, китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветком в петлице и в крахмальном белье, которое, к удивлению девиц, не только не пачкалось от черной кожи, но казалось еще более ослепительно-блестящим.

Эти редкие люди будоражили пресыщенное воображение проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга.

Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого по-мещански. Ничего не было в нем особенного: строгое, худое лицо с выдающимися, как желваки, костистыми, злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес ко лбу сложен-

ные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице — Катьке.

— Пойдем! — скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь.

Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом, с ужасом в округлившихся глазах, рассказала подругам по секрету о том, что фамилия мещанина — Дядченко и что он прошлой осенью вызвался, за отсутствием палача, совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И — как это ни чудовищно — не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно, разинув рты, провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением на ее голые, красные, толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый, засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать — «мужчина как мужчина, как все мужчины», — говорила она со спокойным недоумением, но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему.

Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач, обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, и даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, но который по миновании надобности становится

чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленной индюшки и потому плакала, — как и ей самой казалось, — беспричинно и бестолково.

Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную, грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности с пальбой из револьвера и отравлением; иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь; иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало, по внешности, смешно и позорно, но в глубине события — трогательно.

И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной.

V

Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая, как «бэбэ», в розовый широкий сак до колен, с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись, на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько, в нос, выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает...

Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софьи Васильевны, что напротив: желтый блестящий паркет, темно-вишневые драпри на дверях, перехваченные шнурами, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражения в зеркалах. Резное крыльцо Треппеля, направо, ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара.

Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко, за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко, над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая, длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчичьей пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой, певучей осторожностью.

Вот сиделочка прихо-одит,
Булку с сахаром несет...
Булку с сахаром несет,
Всем поровну раздает.

— Прохор Иванович! — вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу. — А Прохор Иваныч!

— Ну вас! — сипло огрызается тот. — Чего еще?

— Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела.

— Какой такой товарищ?

— Такой хорошенький! Брюнетик симпатичный... Нет, а вы спросите лучше, где я его видела?

— Ну где? — Прохор Иванович приостанавливается на минуту.

— А вот где: у. нас на гвозде, на пятой полке, где дохлые волки.

— Ат! Дура еловая.

Нюра хохочет визгливо на всю Яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом:

— А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал, Прохор-то. Ей-богу.

— Ну? До смерти?

— Нет, не до смерти. Выкачалась, — говорит Нюра, точно с сожалением. — Однако два месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше, — то кончено бы. Амба!

— За что же он ее?

— А я знаю? Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ей был — кот.

— Ну и что же ему за это?

— А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая склока. Человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился: я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба!

Люба вздрагивает всей спиной.

— Отчаянные они, эти коты! — произносит она тихо, с ужасом в голосе.

— Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод, подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то, чтобы за что-нибудь, а просто так, пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет... я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит.

И все деньги от меня отбирал, ну вот все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то, все на книжку, на книжку относит... Говорит, что, как соберет тысячу рублей, — в монастырь уйдет.

— Ну?

— Ей-богу. Ты посмотри у него в комнатке: круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит перед образами. Он очень до бога усердный... Только я думаю, что он оттого такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.

— Да что ты?

— Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше:

Пойду в хаптеку, куплю я ха-ду,
Сама себя я хатравлю, —

заводит Нюра тоненьким голоском.

Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в «шестьдесят шесть» с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плоеным черным нагрудником; этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса.

Ее партнерша Паша — очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее ни выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпо-

ративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек, — зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям «посерее» или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть; многие совершенно искренно, хотя и по-скотски, влюблены в нее, и даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание: грузин — приказчик из магазина кахетинских вин — и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе — смехе идиотки. И вместе с тем она — эта истинная жертва общественного темперамента — в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенная бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют.

— Манечка, душечка, миленькая, — говорит умильно Паша, дотрогиваясь до Маниной руки, — погадай мне, золотая моя деточка.

— Ну-у, — надувает Маня губы, точно ребенок. — Поигра-аем еще.

— Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотцо мое, родная, дорогая...

Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем.

Паша всплескивает радостно руками:

— Ах, это мой Леванчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Леванчик.

— Это твой грузин?

— Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный. Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? «Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тэбэ смэрть и сэбэ сделаю смэрть». И так глазами на меня сверкнул.

Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно:

— Это кто это так сказал?

— А мой грузинчик Леван. И тебе смерть, и мне смерть.

— Дура. Ничего он не грузинчик, а просто армяшка. Сумасшедшая ты дура.

— Ан нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны...

— Говорю тебе — армяшка. Мне лучше знать. Дура!

— Чего же ты ругаешься, Женя? Я же тебя первая не ругала.

— Еще бы ты первая стала ругаться. Дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?

— Ну и влюблена!

— Ну и дура. А в этого, с кокардой, в кривого, тоже влюблена?

— Так что же? Я его очень уважаю. Он очень солидный.

— И в Кольку-бухгалтера? И в подрядчика? И в Антошку-картошку? И в актера толстого? У-у, бесстыдница! — вдруг вскрикивает Женя. — Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!

Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.

— Что уж это ты так, Женечка... Зачем ты на нее так...

— Эх, все вы хороши! — резко обрывает ее Женя. — Никакого самолюбия!.. Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по таксе, для любви на час, а ты и раскисла: «Ах, любовничек! Ах, неземная страсть!» Тьфу!

Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало.

В это время Исаак Давидович, тапер, все ещё бьется с неподатливым скрипачом.

— Не так, не так, Исай Саввич. Вы бросьте скрипку на минуточку. Прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив.

Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился:

— Эс-там, эс-там, эс-тиам-тиам. Ну теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз... Ну... ейн, цвей...

За их репетицией внимательно следят: сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея: в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой, синей с белым, курточке, в белых, обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горба-

тому, нервному, очень красивому носу. Когда, наконец, после долгих усилий, музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое той мелкой, связанной походкой, с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале.

Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости:

— К Треппелю... подъехали... лихач... с электричеством... Ой, девоньки... умереть на месте... на оглоблях электричество.

Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около треппелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком, на концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика, высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и прядет тонкими ушами; сам бородатый, толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.

— Вот бы прокатиться! — взвизгивает Нюра. — Дяденька-лихач, а дяденька-лихач, — кричит она, перевешиваясь через подоконник, — прокатай бедную девчоночку... Прокатай за любовь...

Но лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.

— Пфуй! Безобразие! — раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. — Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал! И все Нюра, и всегда эта ужасная Нюра!

Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами,

с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны.

Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой.

— Не знаю, какой-то совсем незнакомый, — говорит она вполголоса. — Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме.

Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба:

— Барышни, в залу! В залу, барышни!

Одна за другой надменными походками выходят в залу: Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга, толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом — она тоже декольтирована, но кожа у нее красная и в пупырышках; новенькая Нина, курносая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая; другая Манька — Манька Большая или Манька Крокодил, как ее называют, и — последней — Сонька Руль, еврейка, с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек.

VI

Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными, нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед

и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая согласно этикету только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома.

— Здравствуйте, барышня, — сказал он.

— Здравствуйте, — отрывисто ответила Люба.

— Как вы поживаете?

— Спасибо, благодарю вас. Угостите покурить.

— Извините — некурящий.

— Вот так-так. Мужчина и вдруг не курит. Ну так угостите лафитом с лимонадом. Ужас как люблю лафит с лимонадом.

Он промолчал.

— У, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы — чиновники?

— Нет, я учитель. Учу немецкому языку.

— А я вас где-то видела, папочка. Ваша физиономия мне знакома. Где я с вами встречалась?

— Ну уж не знаю, право. На улице разве.

— Может быть, и на улице... Вы хотя бы апельсином угостили. Можно спросить апельсин?

Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красными. Он медленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем; кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя, но, должно быть, — решал он в уме, — она очень холодна в любви, как все полные женщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охваченными белым трико, и Беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Женя со своим энергичным, смуглым, красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился: по ее развязному, недоступному и небрежному виду и по тому, как она искренно не обра-

щала на него никакого внимания, он догадывался, что она — самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенной, исковерканной его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством женских болезней. Преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, скупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раза два-три в год он с невероятными лишениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на конках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на женщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многого, почти невозможного: его немецкая сентиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен, но, как мужчина, он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили женщину в восторг, и трепет, и в сладкое изнеможение.

Впрочем, того же самого добивались все мужчины — даже самые лядащие, уродливые, скрюченные и бессильные из них, — и древний опыт давно уже научил женщин имитировать голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие.

— Хоть по крайности закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют, — попросила ворчливо Люба.

Это было ему с руки. Под музыку, среди толкотни танцев, было гораздо удобнее решиться встать, увести из залы одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности.

— А сколько это стоит? — спросил он осторожно.

— Кадриль — полтинник, а такие танцы — тридцать копеек. Так можно?

— Ну что ж... пожалуйста... Мне не жаль...— согласился он, притворяясь щедрым. — Кому здесь сказать?

— А вон, музыкантам.

— Отчего же... я с удовольствием... Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев, — сказал он, кладя серебро на фортепиано.

— Что прикажете? — спросил Исай Саввич, пряча деньги в карман. — Вальс, польку, польку-мазурку?

— Ну... что-нибудь такое...

— Вальс, вальс! — закричала с своего места Вера, большая любительница танцевать.

— Нет, польку!.. Вальс!.. Венгерку!.. Вальс! — потребовали другие.

— Пускай играют польку, — решила капризным тоном Люба. — Исай Саввич, сыграйте, пожалуйста, полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает, — прибавила она, обнимая за шею педагога. — Правда, папочка?

Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились и еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке Маленькой.

— Пойдемте? — сказал он, подставляя руку калачиком.

— Поедемте, — ответила она смеясь.

Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки: комод, покрытый вязаной скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бонбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо-изумленным лицом, несколько визитных карточек; над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в своем гареме, с кальяном во рту; на стенах еще несколько фотографий франтова-

тых мужчин лакейского и актерского типа; розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка; круглый стол под ковровой скатертью, три венских стула, эмалированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке, за кроватью.

— Угости, милочка, лафитом с лимонадом, — попросила, по заведенному обычаю, Манька Маленькая, расстегивая корсаж.

— Потом, — сурово ответил педагог. — Это от тебя самой будет зависеть. И потом: какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь.

— У нас хороший лафит, — обидчиво возразила девушка. — Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пива. Хорошо?

— Ну, пива, это можно.

— А мне лимонаду и апельсинов. Да.

— Лимонаду бутылку — да, а апельсинов — нет. Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу, все от тебя будет зависеть. Если постараешься.

— Так я спрошу, папашка, четыре бутылки пива и две лимонаду? Да? И для меня хоть плиточку шоколаду. Хорошо? Да?

— Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгуются. Если надо, я сам потребую.

— А можно мне одну подругу пригласить?

— Нет уж, пожалуйста, без всяких подруг.

Манька высунулась из двери в коридор и крикнула звонко:

— Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду.

Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки. Следом за ним пришла экономка Зося.

— Ну вот, как хорошо устроились. С законным браком! — поздравила она.

— Папаша, угости экономочку пивом, — попросила Манька. — Кушайте, экономочка.

— Ну, в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо?

Немец пил пиво, обсасывая и облизывая усы, и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала:

— Позвольте, господин, получить с вас деньги. За пиво, сколько следует, и за время. Это и для вас лучше и для нас удобнее.

Требование денег покоробило учителя, потому что совершенно разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился:

— Что это, в самом деле, за хамство! Кажется, я бежать не собираюсь отсюда. И потом разве вы не умеете разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая!

Экономка немного сдалась.

— Да вы не обижайтесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышне отдадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад потрудитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива, по пятидесяти — рубль и лимонад тридцать — рубль тридцать.

— Господи, бутылка пива пятьдесят копеек! — возмутился немец. — Да я в любой портерной достану его за двенадцать копеек.

— Ну и идите в портерную, если там дешевле, — обиделась Зося. — А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена — полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше. Двадцать копеек вам сдачи?

— Да, *непременно* сдачи, — твердо подчеркнул учитель. — И прошу вас, чтобы больше никто не входил.

— Нет, нет, нет, что вы, — засуетилась около двери Зося. — Располагайтесь, как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита.

Манька заперла за нею дверь на крючок и села немцу на одно колено, обняв его голой рукой.

— Ты давно здесь? — спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства, и поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный

разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения или злобы, по одному престарому трафарету.

— Недавно, всего третий месяц.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — соврала Маленькая Манька, убавив себе пять лет.

— О, такая молоденькая! — удивился немец и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги. — Как же ты сюда попала?

— А меня один офицер лишил невинности там... у себя на родине. А мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Ну вот я и убежала из дому и поступила сюда...

— А офицера-то ты любила, который первый-то?

— Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он, подлец, жениться обещал, а потом добился, чего ему нужно, и бросил.

— Что же, тебе стыдно было в первый раз?

— Конечно, что стыдно... Ты как, папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу. Хорошо?

— А что же, ты здесь не скучаешь? Как тебя зовут?

— Маней. Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь!

Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил:

— А мужчин ты любишь? Бывают мужчины, которые тебе приятны? Доставляют удовольствие?

— Как не бывать, — засмеялась Манька. — Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких.

— Любишь? А? Отчего любишь?

— Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный.

Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом:

— Ты знаешь, Марихен, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание.

— Вы женат, — возразила она, притрогиваясь к его кольцу.

— Да, но, понимаешь, я не живу с женой, она нездорова, не может исполнять супружеских обязанностей.

— Бедная! Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверно, плакала.

— Оставим это. Так знаешь, Мари, я себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенькую. Я человек состоятельный, я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением. И на булавки сорок рублей в месяц. Ты бы пошла?

— Отчего не пойти, пошла бы.

Он поцеловал ее взасос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце.

— А ты здорова? — спросил он враждебным, вздрагивающим голосом.

— Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр.

Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала, по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку.

— Экономочка, вас мой муж к себе требует! — сказала Маня, войдя в залу и поправляя волосы перед зеркалом.

Зося ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу. Потом вернулась в залу уже одна.

— Ты что это, Манька Маленькая, не угодила своему кавалеру? — спросила она со смехом. — Жалуется на тебя: «Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное, кусок лёду». Я ему Пашку послала.

— Э, противный какой! — сморщилась Манька и отплюнулась. — Лезет с разговорами. Спрашивает: ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь приятное волнение? Старый пес. На содержание, говорит, возьму.

— Все они это говорят, — заметила равнодушно Зоя.

Но Женя, которая с утра была в злом настроении, вдруг вспыхнула.

— Ах он, хам этакий, хамло несчастное! — воскликнула она, покраснев и энергично упершись руками в бока. — Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо, да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду. Что? Хорош? А как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут, и глаза перекосишь, и начнешь ты захлебываться и хрипеть, и сопеть прямо женщине в лицо. И ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его, подлеца, по морде! До крови!

— О, Женя! Перестань же! Пфуй! — остановила ее возмущенная ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна.

— Не перестану! — резко оборвала она. Но сама замолчала и гневно отошла прочь с раздувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах.

VII

Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей Яме Ванька-Встанька — высокий, худой, красноносый седой старик, в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах, с деревянным аршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он завсегдатаем в бильярдной при трактире, вечно вполпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все — от хозяйки до горничных — с небрежной, немного презрительной, но без злобы, насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию втирался в чужую ком-

панию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин — разве-разве оставлял себе мелочь на папиросы. И его добродушно, по привычке, терпели.

— Вот и Ванька-Встанька пришел, — доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться дружески за ручку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке, лихо сбитой набекрень. — Ну-ка, Ванька-Встанька, валяй!

— Имею честь представиться, — тотчас же закривлялся Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку, — тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-Фьютинковский. Господину Бетховену! Господину Шопену! — поздоровался он с музыкантами. — Сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов, или Суматоха в колидоре». Политической экономочке Зосе мое почтение. А-га! Только на пасху целуетесь? Запишем-с. У-ти, моя Тамалочка, мусисюпинькая ти моя!

Так, с шутками и со щипками, он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу.

— И как тебе не надоест, Ванька-Встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу.

Ванька-Встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами:

Папироска, друг мой тайный,
Как тебя мне не любить?
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.

— Ванька-Встанька, а ведь ты скоро подохнешь, — сказала равнодушно Катька.

— И очень просто.

— Ванька-Встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами, — просила Верка.

И он сейчас же, послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:

Много звезд на небе ясном,
Но их счесть никак нельзя,
Ветер шепчет, будто можно,
А совсем никак нельзя.
Расцветают лопухи,
Поют птицы петухи.

Балагуря таким образом, Ванька-Встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим; иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку.

Через некоторое время после Ваньки-Встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графине. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах Ямы, только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов.

И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владетельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная, чадная обстановка, что никто

уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млел и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трефное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви.

По обыкновению, — а это часто случалось, — экономка Зося подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы:

— Ну, что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой.

Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим богом для нежной, страстной, взаимной любви, но многие обстоятельства, как, например, погром, происшедший в их городе, обеднение, полная растерянность, испуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унизительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но тем не менее любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее: после мгновенного счастья — физического обладания друг другом — они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, и всегда после этих визитов Сонька Руль возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз.

Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпе-

ливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение.

Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешковского, приехали двое очень известных на Ямках молодых людей, — оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин — Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, льстя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно, по своему обыкновению:

— Женька, твой муж пришел!

или:

— Манька Маленькая, твой любовник пришел!

И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся, козлиным голосом:

Чу-у-уют пра-а-а-а-авду!
Ты ж заря-я-я-я... —

что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны.

Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал и Сенька — любовник Тамары — но, против обыкновения, он не важничал, «не разорялся», не заказывал Исай Саввичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц... Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание: должно быть, его профессиональные дела находились в это время в пло-

хом обороте. Он одним движением головы, на ходу, вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт-Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и нагло-презрительным лицом.

Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе. В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными, с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах, между фигурами, нужно было со скучающим и небрежным видом обмахиваться платками... Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу, и если танцуют, то делают это, только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского пот катился ручьями.

Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо, при бледном свете лунного серпа, казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые таперы и музыканты играли как в бреду, сквозь сон, по механической привычке. Это было на исходе ночи.

Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.

VIII

Все они, кроме репортера, провели целый день, с самого утра, вместе, справляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки, в густом горько-пахучем лозняке,

полевую кашу, купались — мужчины и женщины поочередно — в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пели звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная бегучая широкая река так жутко и весело плескалась о борта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями баканов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость.

Потом они проводили барышень по домам и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса.

Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид или ревности, или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств.

Но, почти помимо их сознания, их чувственность — не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов — зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо-испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежащих с наивной нескромностью в зеленой траве, вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами,

водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь.

И потому в два часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробьи» и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного, чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым, хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую, свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И — без слов, без мыслей, без сознания — влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в росистой траве, громким кличем призывать к себе самку.

Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре, около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтоб доконать ночь. В сад Тиволи оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему: у него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом.

— Вот что, брательники... Поедемте-ка лучше к девочкам, это будет вернее, — сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию — страстный игрок на бильярде,

на бегах и в карты, — игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в макао, и эти деньги еще жгли ему руки.

— А что ж? И верно, — поддержал кто-то. — Айда, товарищи?!

— Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка... — с фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой.

А третий сказал сквозь притворный зевок:

— Поедемте лучше, господа, по домам... а-а-а... спатиньки... Довольно на сегодня.

— Во сне шубы не сошьешь, — презрительно заметил Лихонин. — Герр профессор, вы едете?

Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души.

— Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство — то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время, — так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я.

— Однако, если мне не изменяет память, — со спокойной язвительностью сказал Лихонин, — припоминаю, что не далее как прошлой осенью мы с одним будущим Моммсеном лили где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее?..

Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафешантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура, щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех.

Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой, но тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с

первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, на будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в разговоре он уже употреблял ходкое среди приват-доцентов выражение: «Мы, ученые!» Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, задели его.

— Ах, боже мой, мало ли что мы делали, когда были мальчишками? Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья, — заговорил Ярченко, горячась и захлебываясь. — Но всему есть предел и мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И, стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость: перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой унизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию, и, наконец, это подлость перед своей собственной совестью и мыслью. И перед логикой.

— Фью-ю! — свистнул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт опущенной набок головой. — Понес философ наш обычный вздор: веревка — вервие простое.

— Конечно, нет ничего легче, как паясничать, — сухо отозвался Ярченко. — А по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта рас-

хлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе: «Э! Все равно, поеду я в публичный дом или не поеду — от одного раза дело не ухудшится, не улучшится». А через пять лет мы будет говорить: «Несомненно, взятка — страшная гадость, но, знаете, дети... семья...» И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли, — скажем мы, хихикая, — с волками жить, по-волчьи выть». Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками!

— Или профессорами, — вставил Лихонин.

— Но самое главное, — продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку, — самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там... на том берегу... с этими милыми, славными девушками. Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в Яму... Что? Приятно такое предположение?

— Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей? — важно заметил Борис Собашников, высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные, кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фатоватый вид. — Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина!

— Эх, очень обходима! — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой.

Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелта-смуглый горбоносый человек маленького роста; бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинав-

шему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались вперемежку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов, в запоминание и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу сенат.

Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались, — правда, немного свысока, — довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру, да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к тридцати пяти годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председатели сходок и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы — всегда неотразимо логичные — обладали удивительным свойством оканчивать дела миром, к обоюдному удовольствию судящихся сторон. Он так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи, и если даже поглядывал на людей с некоторым презрением, свысока, то никогда, ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал.

— Никто вас и не тянет, Гаврила Петрович, непременно совершать грехопадение, — сказал Рамзес примирительно. — К чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто? Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Ergo!..[1]

— Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам? К проституткам? В публичный дом? — насмешливо и враждебно перебил его Ярченко.

— А хотя бы? Одного философа, желая его унизить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, садясь, сказал: «Вот верное средство сделать последнее место первым». И, наконец, я повторяю: если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности.

— Вы передергиваете, Рамзес, — возразил с неудовольствием Ярченко. — Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собрались глазеть на смертную казнь, и говорят: мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палач.

— Пышно сказано и отчасти верно, Гаврила Петрович. Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции, да еще какой проституции — русской! Лихонин, я, Боря Собашников и Павлов — как юристы, Петровский и Толпыгин — как медики. Правда, у Вельтмана особенная специальность — математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом! А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец

[1] Следовательно!.. *(лат.)*

и вы сами, Гаврила Петрович, — знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства, — разве для вас не важно и не поучительно сравнение хотя бы современных публичных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии?..

— Браво, Рамзес, великолепно! — взревел Лихонин. — И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабры и сажайте на извозчика!

Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой, легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно.

— Господа стюденты, прошу не скопляться. Невозможно! Проходите, куда ишли.

Они двинулись гурьбою вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться.

— Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать... Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса... Нет, просто мне жаль разбивать компанию... Но я ставлю одно условие: мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее... но чтобы ничего больше, никакой грязи... Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки.

— Клянусь! — сказал Лихонин, поднимая вверх руку.

— Я за себя ручаюсь, — сказал Рамзес.

— И я! И я! Ей-богу, господа, дадимте слово... Ярченко прав, — подхватили другие.

Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубоскаля и переругиваясь, вереницей следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького Толпы-

гина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский — мягкий и светлый — пух.

— Станция у Дорошенки! — крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам. — У Дорошенки остановка, — повторил он, обернувшись назад.

У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда всё — все равно и когда голова не знает, что делают руки и ноги и что болтает язык. И, должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители Ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом, на перепутье.

Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанного зала, где сидели двое: лохматый, седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом:

Долина моя, долинушка,
Раздолье широ-о-о-окое.

— Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник, — сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами.

— Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов. Самый ленивый и самый талантливый из газетных работников.

Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии.

— И поэтому выпьем, — сказал Лихонин.

Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала:

— Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?

— Я, — ответил репортер.

— Ах, это очень приятно, — мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку. — Я читал потом ваш отчет: очень точно, обстоятельно и ловко составлено... Не будете ли добры?.. За ваше здоровье!

— Тогда позвольте и мне, — сказал Платонов. — Онуфрий Захарыч, налейте нам еще... раз, два, три, четыре... девять рюмок коньяку...

— Нет, уж так нельзя... вы — наш гость, коллега, — возразил Лихонин.

— Ну, какой же я ваш коллега, — добродушно засмеялся репортер. — Я был только на первом курсе и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Онуфрий Захарыч. Господа, прошу...

Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в Яму. Впрочем, он и не сопротивлялся.

— Если я вам не в тягость, я буду очень рад, — сказал он просто. — Тем более, что у меня сегодня сумасшедшие деньги. «Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виноват, я сейчас...

Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним.

— Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя, завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай!

Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторону.

— Удивляюсь я тебе, Лихонин, — сказал он брезгливо. — Мы собрались своей тесной компанией, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой!

— Оставь, Боря, — дружелюбно ответил Лихонин. — Он парень теплый.

IX

— Ну, уж это, господа, свинство! — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. — Если уж поехали, то по крайности надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, пойдемте лучше рядом, к Треппелю, там хоть чисто и светло.

— Пожалуйте, пожалуйте, синьор, — настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку. — Пожалуйте.

— Да ведь мерзость... У Треппеля хоть женщины покрасивее.

Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.

— Так, так, так, Гаврила Петрович. Будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятачковую булку, но если директор банка растратил чужой миллион на рысаков и сигары, то смягчим его участь.

— Простите, не понимаю этого сравнения, — сдержанно ответил Ярченко. — Да по мне все равно; идемте.

— И тем более, — сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, — тем более что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права,

дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?

Симеон не любил, когда приходили большими компаниями, — это всегда пахло скандалом в недалеком будущем; студентов же он вообще презирал за их мало понятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие и, главное — за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер, в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство».

И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина:

— Я здесь не гражданин, а вышибала.

— С чем имею честь поздравить, — с вежливым поклоном ответил Лихонин.

В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками; от них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг бухгалтер, оба лысые, с мягкими, пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными, перламутровыми, пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам:

Чу-у-ют пра-а-в-ду,

а Эмма Эдуардовна и Зося изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-Встанька мирно дремал на

стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено.

Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.

— Тамарочка, твой муж пришел — Володенька. И мой муж тоже! Мишка! — взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому. — Здравствуй, Мишенька. Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась.

Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.

— Нам бы как-нибудь... Знаете ли... отдельный кабинетик, — деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. — И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина... Ну там еще кофе... Вы сами знаете.

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая, жирная цирковая лошадь.

— Можно, можно... Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно... Какого ликеру? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно... И барышням позволите войти?

— Если уж это так необходимо? — развел руками со вздохом Ярченко.

И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям, негнущиеся ладони, называли коротко, вполголоса, свое имя: Маня, Катя, Люба... Садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и, по обыкновению, начинали клянчить:

— Студентик, вы такой красивенький... Можно мне спросить апельцынов?

— Володенька, купи мне конфет! Хорошо?

— А мне шоколаду.

— Толстенький! — ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени, — у меня есть подруга одна, только она больная и не может

выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду? Позволяешь?

— Ну уж это выдумки про подругу! А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле, вот так. И ручки сложи!

— Ах, когда я не могу!.. — извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. — Когда вы такие симпатичные.

А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту:

— Мощно, мощно, мощно...

— Так я скажу, дуся, лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок? — приставала Вера.

Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении «высадить гостя из денег», — странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно-праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры.

Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.

— А вы что же не пьете? — обратился Ярченко к репортеру Платонову. — Позвольте... Я не ошибаюсь? Сергей Иванович, кажется?

— Так.

— Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?

— Нет, уж вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток... Симеон, дайте мне...

— Коньяку! — поспешно крикнула Нюра.

— И с грушей! — так же быстро подхватила Манька Беленькая.

— Слушаю, Сергей Иванович, сейчас, — неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.

— В первый раз слышу, что в Яме подают коньяк! — с удивлением произнес Лихонин. — Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали.

— Может быть, Сергей Иваныч знает такое петушиное слово? — пошутил Рамзес.

— Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? — колко, с подчеркиванием вставил Борис Собашников.

Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого франтовского кителя, и ответил с растяжкой:

— Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею, но зато я ни с кем и не ссорюсь и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие.

— Ах, молодчинище! — радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность. — Вы и со мной поделитесь коньяком?

— Очень, очень рад, — приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое, скуластое лицо. — Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажетесь.

— Ну вот и обменялись любезностями, — засмеялся Лихонин. — Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы таки частенько бываете у Анны Марковны?

— Даже весьма.

— Сергей Иваныч у нас самый главный гость! — наивно взвизгнула Нюра. — Сергей Иваныч у нас вроде брата!

— Дура! — остановила ее Тамара.

— Это мне странно, — продолжал Лихонин. — Я тоже — завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.

— Местный староста! — сказал, скривив сверху вниз губы, Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов, если бы захотел, мог бы притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам (а также и офицерам, юнкерам и гимназистам), привык к тому, что посторонние «штатские» люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно, льстили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но, наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие.

Кроме того, сердило Собашникова — и сердило мелкой ревнивой досадой — то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой, молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей, и в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощение. «Кот!» — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил: уж очень был некрасив и небрежно одет репортер и, кроме того, держал себя с большим достоинством.

Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал

в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова.

— Да, я здесь, правда, свой человек, — спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу. — Представьте себе: я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца.

— Нет? Серьезно? — удивился и засмеялся Ярченко.

— Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя чересчур жирно.

— Но как же это вы?..

— А так, что я подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.

— Что за странная фантазия! — сказал Ярченко. — И это вы добровольно? Или... Простите, я боюсь показаться вам нескромным... может быть, в это время... крайняя нужда?..

— Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.

— А-а! Я, кажется, начинаю понимать! — просиял Ярченко. — Наш новый друг, — извините за маленькую фамильярность, — по-видимому, собирает бытовой материал? И, может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать...

— Трррагедию из публичного дома! — вставил громко, по-актерски, Борис Собашников.

В то время, когда репортер отвечал Ярченку, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо:

— Миленький, хорошенький, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше.

— Чтой-та? — высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. — Он — твой любовник? Кот?

— Клянусь вам чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте.

— Ну да! Ну конечно! — возразил Собашников, презрительно кривляясь. — У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И, должно быть, все вышибалы с Ямской — его близкие друзья и приятели.

— Нет, не то, — возразила ласковым шепотом Тамара. — А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья.

— Пошла вон, сволочь! — крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем.

— Иду, миленький, — кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой.

Все на мгновение обернулись к студенту.

— Не буянь, барбарис! — погрозил ему пальцем Лихонин. — Ну, ну, говорите, — попросил он репортера, — все это так интересно, что вы рассказываете.

— Нет, я ничего не собираю, — продолжал спокойно и серьезно репортер. — А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный... И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее... старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты, эта тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, ни хуже, ни лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни — и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью.

— Это верно, — подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку:

— Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части и стараются довольно противно. «Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар! Крепостное положение! Хозяйки, эти жадные гетеры! Эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток!..» Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься: вышибала в публичном доме, зверь, почти наверно — убийца, обирает проституток, делает им «черный глаз», по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения, на каноне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен — необычайно! Заведу его, бывало, и он со слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте, братие, усопшему...» Из чина погребения мирских человек. Нет, вы подумайте: ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия!

— Да. Такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом, — сказал Рамзес.

— Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам? Я, когда разговариваю один на один с Симеоном, — а говорим мы с ним подолгу и неторопливо так, часами, — я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх! Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на дне, копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и, черт его

знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого?

— Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений, — сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц.

— Э, все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения.

— Почему так? — спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора.

— Да так... не стоит и рассказывать... — уклончиво улыбнулся репортер. — Пустяк... Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко.

Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой:

— Потому что Сергей Иваныч ему по морде дали... Из-за Нинки. К Нинке пришел один старик... И остался на ночь... А у Нинки был красный флаг... И старик все время ее мучил... А Нинка заплакала и убежала.

— Брось, Нюра, скучно, — сказал, сморщившись, Платонов.

— Одепне! (отстань) — строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара.

Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить.

— А Нинка говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски... всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иваныч в это время писал мне письмо домой, в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит...

— Зоя, зажми ей рот! — сказал Платонов.

— Так сейчас вскочил и... ап!.. — И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои.

Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом:

— Oh, chevalier sans peur et sans réproche! [1]

---

[1] О, рыцарь без страха и упрека! *(франц.)*

Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.

— Это какая же Нинка? — спросил с любопытством Рамзес. — Она здесь?

— Нет, ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка. Наивная и очень сердитая. — Репортер вдруг внезапно и искренно расхохотался. — Извините... это я так... своим мыслям, — объяснил он сквозь смех. — Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки... Такой почтенный старец, с наружностью апостола, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он, наконец, в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете: сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой, куда следует, и орет на весь дом: «Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду!.. Завтра же в двадцать четыре часа!..» Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся... Ну вот, кстати о Симеоне... Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницей и неразберихой. Можно насказать тысячу громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь! Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее... — самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь — Берта, она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И всё — для Берточки, всё — ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая, преданная нянька, как старый, верный, опаршивевший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятие ее здесь тяжелое и хлопотное, и годы

ее уже почтенные. Так ведь нет: надо еще лишнюю тысячу, а там и еще и еще — всё для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч брильянтов — черт их знает, чьи они, эти брильянты? И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастия этой самой Берточки, нет, даже не для счастия, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница, — так вот, чтобы эта заусеница прошла, — вообразите на секунду возможность такого положения вещей! — Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что? Вы скажете — чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами.

— Легче на поворотах! — заметил сквозь зубы Борис Собашников.

— Простите: я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей-животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим.

— Нет, вы договорите, — возразил Лихонин. — Я чувствую, что у вас была цельная мысль.

— И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и бандершу. Я не знаю сам, почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреоборимая действительность жизни, но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею, — мне не дано этого. Здесь нужно великое уменье взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный, бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, описываются

городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови, или как там еще пишут в этих случаях? Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это — умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Лебяжьей улице, вижу — собралась толпа, в середине девочка пяти лет, — оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел, бедный, от усилия, шапка на затылке, огромное усатое лицо такое доброе, и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-преласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девчонка вся переволновалась, и уже осипла от слез, и всех дичится — он, этот самый «имеющийся постовой городовой», вытягивает вперед два своих черных, заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу! «Ро-о-гами забоду, ногами затопу!..» И вот, когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал и преступление которого для него совсем неизвестно, то — вы понимаете! — мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница эта жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку?

— Хотите на ты? — предложил вдруг Лихонин.

— Хорошо. Только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый... Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает, а я читаю и... ну, никакого впечатления: ни волнения, ни возмущения — одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская заметка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и — болван! — напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете: эти две коротеньких реплики меня как камнем по черепу!

Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти... Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан, — пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушко эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля: то чересчур некрепко связана, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом — ведь все равно *никто развязывать не будет*. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осязал смерти, а подумал об узле — и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой, неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира... И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню... Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне... Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник, и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, боже мой! Да ведь это я сам — сам! — лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова — самые совестливые и самые искренние во всем мире художники — почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец про-

сто из страха, что наша кумовская критика отожествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга.

— Пишут же! — нехотя заметил Рамзес.

— Пишут, — в тон ему скучно повторил Платонов. — Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель — человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом — подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: «А ведь и у него, наверно, была мать». Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны... И он с удивительным тактом, скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах, — и пишут, ей-богу, совсем хорошо — умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди — сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой

культуры. Но вот есть две странных действительности — древних, как само человечество: проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. Я вас спрашиваю: что русская литература выжала из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшее в мире произведение, — потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю...

— «Коготок увяз...» — тихо подсказал Лихонин.

— Да, — ответил репортер и с благодарностью, ласково поглядел на студента.

— Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип, — заметил уверенно Ярченко. — Так сказать, психологическая схема...

Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей, вдруг загорячился:

— Сто раз слышал это суждение, сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным, безобразным видом — и все-таки жива Сонечка Мармеладова! Судьба русской проститутки — о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни, — поглядите, поглядите на них хорошенько, — ведь все они — дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса — совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчичьи клячи. И не умирает в них никогда эта бессильная

жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию... Например...

Платонов обвел всех сидящих медленным взором и, вдруг махнувши рукой, сказал усталым голосом:

— А впрочем... к черту! Я сегодня наговорился лет на десять... И все это ни к чему.

— Но, в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому? — спросил Ярченко. — У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе.

— Пробовал! — с невеселой усмешкой ответил Платонов. — Но ничего не выходит. Начну писать и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми. Слова простывают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов... Тот... известный... Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально: «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу, о какой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это всё мы сами видели и знали, но мы и предположить не

могли, что это так ужасно!» В этого грядущего художника я верю всем сердцем.

— Аминь! — сказал серьезно Лихонин. — Выпьем за него.

— А, ей-богу, — вдруг отозвалась Манька Маленькая. — Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б.... разнесчастные...

В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.

X

Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее, по рекомендации экономки, на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость — Карл Карлович из оптического магазина, — и взял ее в комнату.

На безмолвный — глазами — вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой.

— Ушел... Бррр!..

Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал (и впоследствии часто вспоминал об этом), что никогда

он не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее — иные откровенно, другие — украдкой и точно мельком, — с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение.

— С тобой что-то такое творится, Женя, — сказал тихо Платонов.

Она ласково, чуть-чуть провела пальцами по его руке.

— Не обращай внимания. Так... наши бабские дела... Тебе будет неинтересно.

Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек.

— Не звони метли́чка, ме́тлик фартовы, — прервала ее Тамара и с улыбкой показала гла́зами на репортера.

Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь благодаря наплыву дешевой публики несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз — и всё разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием.

— О чем это она? — в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови.

— Не беспокойтесь... ничего особенного... — ответила Женя еще взволнованным голосом. — Так... наш маленький семейный вздор... Сергей Иваныч, можно мне вашего вина?

Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри.

Платонов молча встал и пошел к двери.

— Не стоит, Сергей Иваныч. Бросьте... — остановила его Женя.

— Да нет, отчего же? — возразил репортер. — Я сделаю самую простую и невинную вещь, возьму Пашу сюда, а если придется — так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет... Нюра, живо сбегай за подушкой!

Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью:

— На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой, — может быть, даже шпик? Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин.

— Ну какая тебе, Боря, опасность от шпика? — добродушно возразил Лихонин.

— Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми, — сказал Рамзес. — Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища.

— Э! Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме, и всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей.

— Оставь, Боря. Глупо, — укоризненно заметил Ярченко.

Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность: опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно-искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговср.

— И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе! — продолжал кипятиться

Собашников. — Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон... Паршивый трехкопеечный писака! Бутербродник!

Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.

— Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво!.. Так его, хорошенько!.. В самом деле, что это за безобразие! Вот он придет сюда, — я ему все это повторю.

— Пож-жалуйста! С-сколько угодно! — по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно-брезгливые складки. — Я сам повторю то же самое.

— Вот это — молодчина, за это люблю! — воскликнула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол. — Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!

Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах, и ее нервно подрагивавшие ноздри, обе поняли и улыбнулись.

Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал.

— Не ершись, Боренька, — сказал Лихонин. — Здесь все равны.

Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.

— Это еще зачем? — прикрикнул на нее Собашников. — П'шла, сейчас же унеси вон. Здесь не ночлежка.

— Ну, оставь ее, голубчик. Что тебе? — возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары. — Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу.

Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило

дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины — странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти; и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша:

— Вот так темперамент. Ах ты Мессалина Пафнутьевна!.. Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая, шельма.

Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.

— Извините, господа, я разденусь, — сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутке. — Тамара, дай ей шоколада и вина.

Борис Собашников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову:

— Э... послушайте... как вас?.. Это, должно быть, и есть ваша любовница? Э? — И он концом сапога показал по направлению лежавшей Паши.

— Что-о? — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови.

— Или вы ее любовник — это все равно... Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком?.. Э?..

Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки.

— Слушайте, — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. — Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щажу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки.

— Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. — Какие очки? Почему очки? — Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил дужку пенсне на переносице.

— Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз, — равнодушно сказал репортер.

Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.

— Ну, положим! Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься! — грубо, совсем по-мальчишески, выкрикнул Собашников. — Только не стоит рук марать обо всякого... — он хотел прибавить новое ругательство, но не решился, — со всяким... И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы панибратствовать с подобными субъектами.

Он быстро и гордо пошел к дверям.

Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза, по-звериному, следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно, сбоку, ударить Платонова и отскочить — товарищи, наверно, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким, бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с

широким лбом и все неуклюже-ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.

— Баба с возу, кобыле легче, — насмешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя. — Тамарочка, налей мне еще коньяку.

Но встал с своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова.

— Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там неправ и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании, но раз нашему товарищу нанесли обиду — я не могу здесь оставаться. Я ухожу.

— Ах ты, боже мой! — И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. — Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища.

— Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности! — сказал важно Петровский и вышел.

— Будь тебе земля пухом! — послала ему вдогонку Женя.

Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они — и Собашников и Петровский — поступили в своем негодовании довольно искренно, но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с тою же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь

кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зося.

— Женечка, — позвала она, — иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку, выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой.

Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзания совести. И, несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе:

— Господа, ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей.

Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.

— Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята — и Борис и Васька. Но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится.

Он ушел, но вернулся через пять минут.

— Упокояются, — мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой. — Оба.

XI

В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином и лежала большая визитная карточка.

— Позвольте успросить, кто здесь будет Гаврила Петрович господин Ярченко? — сказал он, оглядывая сидевших.

— Я! — отозвался Ярченко.

— Пожалуйте-с. Господин актер прислали.

Ярченко взял визитную карточку, украшенную сверху громадной маркизской короной, и прочитал вслух:

Евмений Полуэктович
ЭГМОНТ-ЛАВРЕЦКИЙ.

Драматический артист столичных театров

— Замечательно, — сказал Володя Павлов, — что все русские Гаррики носят такие странные имена, вроде Хрисанфов, Фетисов, Мамантов и Епимахов.

— И кроме того, самые известные из них обязательно или картавят, или пришепетывают, или заикаются, — прибавил репортер.

— Да, но замечательнее всего то, что я совсем не имею высокой чести знать этого артиста столичных театров. Впрочем, здесь на обороте что-то еще написано. Судя по почерку, писано человеком сильно пьяным и слабо грамотным.

«Пю» — не пью, а пю, — пояснил Ярченко. — «Пю за здоровье светила русской науки Гаврила Петровича Ярченко, которого случайно увидел, проходя мимо по колидору. Желал бы чокнуться лично. Если не помните, то вспомните Народный театр, Бедность не порок и скромного артиста, игравшего Африкана».

— Да, это верно, — сказал Ярченко. — Мне как-то навязали устроить этот благотворительный спектакль в Народном театре. Смутно мелькает у меня в памяти и какое-то бритое гордое лицо, но... Как быть, господа?

Лихонин ответил добродушно:

— А волоките его сюда. Может быть, он смешной?

— А вы? — обратился приват-доцент к Платонову.

— Мне все равно. Я его немножко знаю. Сначала будет кричать: «Кёльнер, шампанского!», потом расплачется о своей жене, которая — ангел, потом скажет патриотическую речь и, наконец, поскандалит из-за счета, но не особенно громко. Да ничего, он занятный.

— Пусть идет, — сказал Володя Павлов из-за плеча Кати, сидевшей, болтая ногами, у него на коленях.

— А ты, Вельтман?

— Что? — встрепенулся студент. Он сидел на диване спиною к товарищам около лежавшей Паши, нагнувшись над ней, и давно уже с самым дружеским, сочувственным видом поглаживал ее то по плечам, то по волосам на затылке, а она уже улыбалась ему своей застенчиво-бесстыдной и бессмысленно-страстной улыбкой сквозь полуопущенные и трепетавшие ресницы. — Что? В чем дело? Ах, да, можно ли сюда актера? Ничего не имею против. Пожалуйста...

Ярченко послал через Симеона приглашение, и актер пришел и сразу же начал обычную актерскую игру. В дверях он остановился, в своем длинном сюртуке, сиявшем шелковыми отворотами, с блестящим цилиндром, который он держал левой рукой перед серединой груди, как актер, изображающий на театре пожилого светского льва или директора банка. Приблизительно этих лиц он внутренно и представлял себе.

— Будет ли мне позволено, господа, вторгнуться в вашу тесную компанию? — спросил он жирным, ласковым голосом, с полупоклоном, сделанным несколько набок.

Его попросили, и он стал знакомиться. Пожимая руки, он оттопыривал вперед локоть и так высоко подымал его, что кисть оказывалась гораздо ниже. Теперь это уже был не директор банка, а этакий лихой, молодцеватый малый, спортсмен и кутила из золотой молодежи. Но его лицо — с взъерошенными дикими бровями и с обнаженными безволосыми веками — было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелко жестокого человека. Вместе с ним пришли две его дамы: Генриетта — самая старшая по годам девица в заведении Анны Марковны, опытная, все видевшая и ко всему притерпевшаяся, как старая лошадь на приводе у молотилки, обладательница густого баса, но еще красивая женщина — и Манька Большая, или Манька Крокодил. Генриетта еще с прошлой ночи не расставалась с актером, бравшим ее из дома в гостиницу.

Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль — он сделался чем-то вроде старого

добряка-помещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления.

— Поверьте, господа, что душой отдыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг, — говорил он, придавая своему жесткому и порочному лицу по-актерски преувеличенное и неправдоподобное выражение растроганности. — Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!.. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества?.. Кёльнер! Шампанскава-а! — заорал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу.

Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгу. Началась попойка. Бог знает каким образом в кабинете очутились вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами:

Чу-у-у-уют пра-а-а-авду,
Ты ж, заря-я-я-я, скоре-е-ее...

Появился и проснувшийся Ванька-Встанька. Опустив умильно набок голову и сделав на своем морщинистом, старом лице Дон-Кихота узенькие, слезливые, сладкие глазки, он говорил убедительно-просящим тоном:

— Господа студенты... угостили бы старичка... Ей-богу, люблю образование... Дозвольте!

Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала — пока ему не бросилось в голову шампанское — только поднимал кверху свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отделавшись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели вразброд, пили вино, целовались, и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Керешковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступить со

студентами в задорное объяснение, но Симеон в один миг укротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом.

Вернулась из своей комнаты Нюра и немного спустя вслед за ней Петровский. Петровский с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая происшедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно неправ, но что есть и смягчающее его вину обстоятельство — опьянение. Пришла потом и Женя, но одна: Собашников заснул в ее комнате.

У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьяной. Держась рукой за воображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом, коверкая слова:

Малядой кизак на война пишол,
Малядой баришня под забором валается,
Айна, айна, ай-на-на-на, ай-на на-на-на.

В заключение он взял на руки Маню Беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку.

— Ты кто такой? — строго спросила толстая Катя, знавшая и любившая эту шутку.

— Сербиян, барина-а-а, — жалобно простонал в нос актер. — Подари что-нибудь, барина-а-а.

— А как твою обезьянку зовут?

— Матрешка-а-а... Он, барина, голодни-и-ий... он кушай хочи-и-ить.

— А паспорт у тебя есть?

— Ми сербия-а-ан. Дай что-нибудь, барина-а-а...

Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шуму и поднял падавшее настроение. И поминутно он кричал зычным голосом: «Кёльнер! Шампанскава-а-а!» — хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики.

Началась настоящая русская громкая и непонятная бестолочь. Розовый, белокурый, миловидный Толпыгин играл на пианино сегидилью из «Кармен», а Ванька-Встанька плясал под нее камаринского мужика. Подняв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он затейливо перебирал на месте длинными, тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски:

Ух! Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей!..

— Эх, за одну выходку четвертной мало! — приговаривал он, встряхивая длинными седеющими волосами.

— Чу-у-уют пра-а-а-авду! — ревели два приятеля, с трудом подымая отяжелевшие веки под мутными, закисшими глазами.

Актер стал рассказывать похабные анекдоты, высыпая их как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинки кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пашей, незаметно, под шумок, ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой.

Да и все остальные студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у Толпыгина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться, Петровский, тайно перехватив у Лихонина три рубля, вышел в коридор

и уже оттуда послал экономку Зосю за Манькой Беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала: «Извините, я сейчас», — и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой.

— Что же? Теперь твоя очередь, Лихонин? — спросил насмешливо репортер.

— Нет, брат, ошибся! — сказал Лихонин и прищелкнул языком. — И не то, что я по убеждению или из принципа... Нет! Я, как анархист, исповедываю, что чем хуже, тем лучше... Но, к счастию, я игрок и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же.

— Я — нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь. Беру у Исая Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола.

— И неужели... никогда?..

— Никогда.

— Уж что верно, то верно!— воскликнула Нюра.— Сергей Иваныч как святой отшельник.

— Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал, — продолжал Платонов. — Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивле-

нии почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. А разводить здесь любовь?.. Так для этого я герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснителен и вежлив. А они здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв, — словом, истеричного романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви, а о любви им говорят ежедневно разными кислыми, слюнявыми словами. Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически-страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное, — прибавил Платонов, — это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые так славно наладились.

— Будет шутить! — недоверчиво возразил Лихонин. — Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель — дело другого рода. Легко найти объяснение: ну, собираешь типы, что ли... наблюдаешь жизнь... Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься?

— Не то, что не балуюсь, а просто не умею, не могу.

— Запишем. Теперь предположим другое — что ты являешься сюда как проповедник лучшей, честной жизни, вроде этакого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы вместо того, чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжища в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так?

— Не так.

— Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься? Я чудесно же вижу, что многое тебе самому противно, и тяжело, и больно. Например, эта дурацкая ссора с Борисом или этот лакей, бьющий женщину, да и вообще постоянное созерцание всяческой грязи, похоти, зверства, пошлости, пьянства. Ну, да раз ты говоришь, — я тебе верю, что блуду ты не предаешься.

Но тогда мне еще непонятнее твой modus vivendi[1], выражаясь штилем передовых статей.

Репортер ответил не сразу.

— Видишь ли, — заговорил он медленно, с расстановками, точно в первый раз вслушиваясь в свои мысли и взвешивая их. — Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее... как бы это выразиться?.. ее страшная, обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас! Вот она — я! Публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет, — ты не встретишь отказа, в этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия впопыхах — ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Нет ни одной стороны человеческой жизни, где бы основная, главная правда сияла с такой чудовищной, безобразной голой яркостью, без всякой тени человеческого лганья и самообеления.

— Ну, положим! Эти женщины врут, как зеленые лошади. Поди-ка поговори с ней о ее первом падении. Такого наплетет.

— А ты не спрашивай. Какое тебе дело? Но если они и лгут, то лгут совсем как дети. А ведь ты сам знаешь, что дети — это самые первые, самые милые вралишки и в то же время самый искренний на свете народ. И замечательно, что и те и другие, то есть и проститутки и дети, лгут только нам — мужчинам — и взрослым. Между собой они не лгут — они лишь вдохновенно импровизируют. Но нам они лгут потому, что мы сами этого от них требуем, потому что мы лезем в их совсем чуждые нам души со своими глупыми приемами и расспросами, потому, наконец, что они нас втайне считают большими дураками и бестолковыми притворщиками. Да вот хочешь, я тебе сейчас пересчитаю по пальцам все случаи, когда проститутка непре-

---

[1] Образ жизни *(лат.)*.

менно лжет, и ты сам убедишься, что к лганью ее побуждает мужчина.

— Ну, ну, посмотрим.

— Первое: она беспощадно красится, даже иногда и в ущерб себе. Отчего? Оттого, что каждый прыщавый юнкер, которого так тяготит его половая зрелость, что он весною глупеет, точно тетерев на току, и какой-нибудь жалкий чинодрал из управы благочиния, муж беременной жены и отец девяти младенцев, — ведь оба они приходят сюда вовсе не с благоразумной и простой целью оставить здесь избыток страсти. Он, негодяй, пришел насладиться, ему — этакому эстету! — видите ли, нужна красота. А все эти девицы, эти дочери простого, незатейливого великого русского народа, как смотрят на эстетику? «Что сладко — то вкусно, что красно — то красиво». И вот, на, изволь, получай себе красоту из сурьмы, белил и румян.

Это раз. Второе то, что этот же распрекрасный кавалер, мало того, что хочет красоты, — нет, ему подай еще подобие любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот самый «агонь безу-умнай са-та-ра́-са-ти!», о которой поется в идиотских романсах. А! Ты *этого* хочешь? На! И женщина лжет ему лицом, голосом, вздохами, стонами, телодвижениями. И он сам ведь в глубине души знает про этот профессиональный обман, но — подите же! — все-таки обольщается: «Ах, какой я красивый мужчина! Ах, как меня женщины любят! Ах, в какое я их привожу исступление!..» Знаете, бывает, что человеку с самой отчаянной наглостью, самым неправдоподобным образом льстят в глаза, и он сам это отлично видит и знает, но — черт возьми! — какое-то сладостное чувство все-таки обмасливает душу. Так и здесь. Спрашивается: чей же почин во лжи?

А вот вам, Лихонин, еще и третий пункт. Вы его сами подсказали. Больше всего они лгут, когда их спрашивают: «Как дошла ты до жизни такой?» Но какое же право ты имеешь ее об этом спрашивать, черт бы тебя побрал?! Ведь она не лезет же в твою интимную жизнь? Она же не интересуется твоей первой «святой» любовью или невинностью твоих сестер и

твоей невесты. Ага! Ты платишь деньги? Чудесно! Бандерша, и вышибала, и полиция, и медицина, и городская управа блюдут твои интересы. Прекрасно! Тебе гарантировано вежливое и благопристойное поведение со стороны нанятой тобою для любви проститутки, и личность твоя неприкосновенна... хотя бы даже в самом прямом смысле, в смысле пощечины, которую ты, конечно, заслуживаешь своими бесцельными и, может быть, даже мучительными расспросами. Но ты за свои деньги захотел еще и правды? Ну уж этого тебе никогда не учесть и не проконтролировать. Тебе расскажут именно такую шаблонную историю, какую ты — сам человек шаблона и пошляк — легче всего переваришь. Потому что сама по себе жизнь или чересчур обыденна и скучна для тебя, или уж так чересчур неправдоподобна, как только умеет быть неправдоподобной жизнь. И вот тебе вечная средняя история об офицере, о приказчике, о ребенке и о престарелом отце, который там, в провинции, оплакивает заблудшую дочь и умоляет ее вернуться домой. Но заметь, Лихонин, все, что я говорю, к тебе не относится. В тебе, честное слово, я чувствую искреннюю и большую душу... Давай выпьем за твое здоровье?

Они выпили.

— Говорить ли дальше? — продолжал нерешительно Платонов. — Скучно?

— Нет, нет, прошу тебя, говори.

— Лгут они еще и лгут особенно невинно тем, кто перед ними красуется на политических конях. Тут они со всем, с чем хочешь, соглашаются. Я ей сегодня скажу: «Долой современный буржуазный строй! Уничтожим бомбами и кинжалами капиталистов, помещиков и бюрократию!» Она горячо согласится со мною. Но завтра лабазник Ноздрунов будет орать, что надо перевешать всех социалистов, передрать всех студентов и разгромить всех жидов, причащающихся христианской кровью. И она радостно согласится и с ним. Но если к тому же еще вы воспламените ее воображение, влюбите ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите: на погром, на баррикаду, на

воровство, на убийство. Но и дети ведь так же податливы. А они, ей-богу, дети, милый мой Лихонин...

В четырнадцать лет ее растлили, а в шестнадцать она стала патентованной проституткой, с желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обведена и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеною. Обрати внимание на ее обиходный словарь — тридцать — сорок слов, не более, — совсем как у ребенка или дикаря: есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, городовой — вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти, совершенно так же, как у седой и наивной классной дамы, с десяти лет не переступавшей институтского порога, как у монашенки, отданной ребенком в монастырь. Словом, представь себе дерево настоящей крупной породы, но выращенное в стеклянном колпаке, в банке из-под варенья. И именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь — такую невинную, бесцельную и привычную... Но зато какая страшная, голая, ничем не убранная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи, в этих десяти мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора борной кислоты и о содержании себя в чистоте, в еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шутливо, так же просто и без страдания, как на насморк, в глубоком отвращении этих женщин к мужчинам, — таком глубоком, что все они, без исключения, возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество сверху донизу. Подумай, милый Лихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом брачном сожительстве в девяносто девяти случаях из ста. Сколько слепой, беспощадной жестокости — именно не животной, а чело-

веческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости — в святом материнском чувстве, и смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство! А все эти ненужные, шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, леность — нищенство! Да, вот оно, настоящее слово: человеческое нищенство! А какие пышные слова! Алтарь отечества, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни одному красивому слову я теперь не верю, а тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности! Нищенки!.. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он — бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так изолгался, испопрошайничался и унизился!.. Эх, Лихонин, тоска!

— Я, как анархист, отчасти понимаю тебя, — сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело, в первый раз, рождалась у него в уме. — Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все, — Лихонин обвел стол круглым движением руки, — самое подлое, что могло придумать человечество?

— А я и сам не знаю, — сказал простодушно Платонов. — Видишь ли, я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил

с цирком, был актером, — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесл и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус... Так-то вот я и набрел на публичный дом, и чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость. Но и этому скоро конец. Как перевалит дело на осень — опять ай-даа! Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит... Постой, постой, Лихонин... Послушай актера... Это акт третий.

Эгмонт-Лаврецкий, до сих пор очень удачно подражавший то поросенку, которого сажают в мешок, то ссоре кошки с собакой, стал понемногу раскисать и опускаться. На него уже находил очередной стих самообличения, в припадке которого он несколько раз покушался поцеловать у Ярченко руку. Веки у него покраснели, вокруг бритых колючих губ углубились плаксивые морщины, и по голосу было слышно, что его нос и горло уже переполнялись слезами.

— Служу в фарсе! — говорил он, бия себя в грудь кулаком. — Кривляюсь в полосатых кальсонах на потеху сытой толпе! Угасил свой светильник, зарыл в землю талант, как раб ленивый! А пре-ежде, — заблеял он трагически, — пре-ежде-е-е! Спросите в Новочеркасске, спросите в Твери, в Устюжне, в Звенигородке, в Крыжополе. Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса, какой образ я создал из Вельтищева — это была моя коронная ро-оль. Надин-Перекопский начинал со мной у Сумбекова! С Никифоровым-Павленко служил. Кто сделал имя Легунову-Почайнину? Я! А тепе-ерь...

Он всхлипнул носом и полез целовать приват-доцента.

— Да! Презирайте меня, клеймите меня, честные люди. Паясничаю, пьянствую... Продал и разлил священный елей! Сижу в вертепе с продажным товаром. А моя жена... святая, чистая, голубка моя!.. О, если бы она знала, если бы только она знала! Она трудится, у нее модный магазин, у нее пальцы — эти ангельские пальцы — истыканы иголкой, а я! О, святая женщина! И я — негодяй! — на кого я тебя меняю! О, ужас! — Актер схватил себя за волосы. — Профессор, дайте я поцелую вашу ученую руку. Вы один меня понимаете. Поедемте, я вас познакомлю с ней, вы увидите, какой это ангел!.. Она ждет меня, она не спит ночей, она складывает ручки моим малюткам и вместе с ними шепчет: «Господи, спаси и сохрани папу».

— Врешь ты все, актер! — сказала вдруг пьяная Манька Беленькая, глядя с ненавистью на Эгмонта-Лаврецкого. — Ничего она не шепчет, а преспокойно спит с мужчиной на твоей кровати.

— Молчи, б....! — завопил исступленно актер и, схватив за горло бутылку, высоко поднял ее над головой. — Держите меня, иначе я размозжу голову этой стерве. Не смей осквернять своим поганым языком...

— У меня язык не поганый, я причастие принимаю, — дерзко ответила женщина. — А ты, дурак, рога носишь. Ты сам шляешься по проституткам, да еще хочешь, чтобы тебе жена не изменяла. И нашел же, болван, место, где слюну вожжой распустить. Зачем ты детей-то приплел, папа ты злосчастный! Ты на меня не ворочай глазами и зубами не скрипи. Не запугаешь! Сам ты б....!

Потребовалось много усилий и красноречия со стороны Ярченки, чтобы успокоить актера и Маньку Беленькую, которая всегда после бенедиктина лезла на скандал. Актер под конец обширно и некрасиво, по-старчески, расплакался и рассморкался, ослабел, и Генриетта увела его к себе.

Всеми уже овладело утомление. Студенты один за другим возвращались из спален, и врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те и другие были похожи на мух,

самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы, нездорово лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они, перед тем как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления.

— Ты куда сейчас? — вполголоса спросил у репортера Лихонин.

— А, право, сам не знаю. Хотел было переночевать в кабинете у Исай Саввича, но жаль потерять такое чудесное утро. Думаю выкупаться, а потом сяду на пароход и поеду в Липский монастырь к одному знакомому пьяному чернецу. А что?

— Я тебя попрошу остаться немного и пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова.

— Идет.

Последний ушел Ярченко. Он ссылался на головную боль и усталость. Но едва он вышел из дома, как репортер схватил за руку Лихонина и быстро потащил его в стеклянные сени подъезда.

— Смотри! — сказал он, указывая на улицу.

И сквозь оранжевое стекло цветного окошка Лихонин увидел приват-доцента, который звонил к Треппелю. Через минуту дверь открылась, и Ярченко исчез за ней.

— Как ты узнал? — спросил с удивлением Лихонин.

— Пустяки. Я видел его лицо и видел, как его руки гладили Веркино трико. Другие поменьше стеснялись. А этот стыдлив.

— Ну, так пойдем, — сказал Лихонин. — Я тебя недолго задержу.

XII

Из девиц остались в кабинете только две: Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в

большом плюшевом кресле. Свежее веснушчатое лицо Любы приняло кроткое, почти детское выражение, а губы как улыбнулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Сине и едко было в кабинете от густого табачного дыма, на свечах в канделябрах застыли оплывшие бородавчатые струйки; залитый кофеем и вином, заброшенный апельсинными корками стол казался безобразным.

Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками. И опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз, к переносью.

— Я потушу свечи, — сказал Лихонин.

Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Слабыми струйками курились потушенные фитили свечей. Слоистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым, но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет вкось веселым, пыльным, золотым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоях стены.

— Так-то лучше, — сказал Лихонин, садясь. — Разговор будет короткий, но... черт его знает... как к нему приступить.

Он рассеянно поглядел на Женю.

— Так я уйду? — сказала она равнодушно.

— Нет, ты посиди, — ответил за Лихонина репортер. — Она не помешает, — обратился он к студенту и слегка улыбнулся. — Ведь разговор будет о проституции? Не так ли?

— Ну, да... вроде...

— И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости.

Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать.

— Ах, да не все ли равно! — вдруг воскликнул он сердито. — Ты вот сегодня говорил об этих жен-

щинах... Я слушал... Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но — странно — я почему-то, точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь, поглядел на этот вопрос открытыми глазами... Я спрашиваю тебя, что же такое, наконец, проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?

Платонов смотрел на него пристально, слегка, по привычке, щурясь. Его интересовало, какою главною мыслью так искренно мучится Лихонин.

— Когда она прекратится — никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществятся прекрасные утопии социалистов и анархистов, когда земля станет общей и ничьей, когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда...

— А теперь? Теперь? — спрашивает Лихонин с возраставшим волнением. — Глядеть сложа ручки? Моя хата с краю? Терпеть, как неизбежное зло? Мириться, махнуть рукой? Благословить?

— Зло это не неизбежное, а непреоборимое. Да не все ли тебе равно? — спросил Платонов с холодным удивлением. — Ты же ведь анархист?

— Какой я к черту анархист. Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории: пускай люди людей бьют, обманывают и стригут, как стада овец, — пускай! — насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилуют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь... Пусть! Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю я, одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомиллионной и многолетней человеческой жизни: сила действия равна силе про-

тиводействия. Чем хуже, тем лучше. Пусть накопляется в человечестве зло и месть, пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв — нарыв во весь земной шар величиной. Ведь лопнет же он когда-нибудь! И пусть будет ужас и нестерпимая боль. Пусть гной затопит весь мир. Но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или, переболев, возродится к новой, прекрасной жизни.

Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко:

— Да. Так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой, причем ценность каждой отдельной человеческой жизни — это так себе, бесконечно малое число в математической формуле. Но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства. И когда я погляжу, погляжу на труд мужика или рабочего, меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть — черт его побери! — есть что-то в человеке нелепое, совсем не логичное, но что в сей раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня... Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего, или обманул трехлетнего ребенка, или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции, — виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? Что мне делать, Платонов? — воскликнул студент со скорбью в голосе.

Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказала язвительным тоном:

— А ты сделай так, как сделала одна англичанка... Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть, очень важная, потому что с целой свитой приезжала... всё какие-то чиновники... А до нее приезжал пристава помощник с околоточным Кербешем. Помощник так прямо и предупредил: «Если вы, стервы, растак-то и растак-то, хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю, а всех девок перепорю в участке и в тюрьме сгною!» Ну и приехала эта грымза. Лота-

шила-лоташила что-то по-иностранному, все рукой на небо показывала, а потом раздала нам всем по пятачковому евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленький.

Платонов громко рассмеялся. Но, увидев наивное и печальное лицо Лихонина, который точно не понимал и даже не подозревал насмешки, он сдержал смех и сказал серьезно:

— Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них — оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоест же, в самом деле, все одно и то же: жена, горничная и дама на стороне. Человек в сущности животное много и даже чрезвычайно многобрачное. И его петушиным любовным инстинктам всегда будет сладко развертываться в этаком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит.

— Магдалинские приюты! — с тихим смехом, полным давней, непереболевшей ненависти, повторила Женя.

— Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия — чушь и сплошное надругательство, — перебил Лихонин. — Но пусть я буду смешон и глуп — и я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на завалинке, глядит на пожар и приговари-

вает: «Ах, батюшки, ведь горит... ей-богу, горит! Пожалуй, и люди ведь горят!», а сам только причитает и хлопает себя по ляжкам.

— Ну да, — сказал сурово Платонов, — ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с нею тушить пожар?

— Нет! — горячо воскликнул Лихонин. — Может быть, — почем знать? Может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу... Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне... Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания...

— Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти? — внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор.

— Да... я не знаю... я попробую, — неуверенно ответил Лихонин.

— Вернется назад, — сказал Платонов.

— Вернется, — убежденно повторила Женя.

Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом:

— Женечка... может быть, вы... А? Ведь не в любовницы зову... как друга... Пустяки, полгода отдыха... а там какое-нибудь ремесло изучим... будем читать...

Женя с досадой выхватила из его рук свои.

— Ну тебя в болото! — почти крикнула она. — Знаю я вас! Чулки тебе штопать? На керосинке стряпать? Ночей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосыми будешь болты болтать? А как ты заделаешься доктором, или адвокатом, или чиновником, так меня же в спину коленом: пошла, мол, на улицу, публичная шкура, жизнь ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной...

— Я как брат... Я без этого... — смущенно лепетал Лихонин.

— Знаю я этих братьев. До первой ночи... Брось и не говори ты мне чепухи! Скучно слушать.

— Подожди, Лихонин, — серьезно начал репортер. — Ведь ты и на себя взвалишь непосильный груз. Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали: натура, чернозем, непочатые силы...

А этот чернозём через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники или унижет свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет!

Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утирал платком мокрый лоб.

Нет, черт возьми! — крикнул он вдруг упрямо. — Не верю я вам! Не хочу верить! Люба! — громко позвал он заснувшую девушку. — Любочка!

Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно, по-детски, улыбнулась.

— Я не спала, я все слышала, — сказала она. — Только самую-самую чуточку задремала.

— Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною? — спросил Лихонин и взял ее за руку. — Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу?

Люба вопросительно, с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснения этой шутки.

— Будет вам, — сказала она лукаво. — Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание.

— Не на содержание, Люба... Просто хочу помочь тебе... Ведь не сладко же тебе здесь, в публичном доме-то!

— Понятно, не сахар! Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлекательная, как Паша... а я ни за что здесь не привыкну...

— Ну и пойдем, пойдем со мной!.. — убеждал Лихонин. — Ты ведь, наверно, знаешь какое-нибудь рукоделье, ну там шить что-нибудь, вышивать, метить?

— Ничего я не знаю! — застенчиво ответила Люба, и засмеялась, и покраснела, и закрыла локтем свободной руки рот. — Что у нас, по-деревенскому, требуется, то знаю, а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею... у попа жила — стряпала.

— И чудесно! И превосходно! — обрадовался Лихонин. — Я тебе пособлю, откроешь столовую... Понимаешь, дешевую столовую... Я рекламу тебе сделаю... Студенты будут ходить! Великолепно!..

— Будет смеяться-то! — немного обидчиво возразила Люба и опять искоса вопросительно посмотрела на Женю.

— Он не шутит, — ответила Женя странно дрогнувшим голосом. — Он вправду, серьезно.

— Вот тебе честное слово, что серьезно! Вот ей-богу! — с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол.

— А в самом деле, — сказала Женя, — берите Любку. Это не то, что я. Я как старая драгунская кобыла с норовом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка — девочка простая и добрая. И к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурища, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну? Хочешь или нет?

— А что же? Если они не смеются, а взаправду... А ты что, Женечка, мне посоветуешь?..

— Ах, дерево какое! — рассердилась Женя. — Что же, по-твоему, лучше: с проваленным носом на соломе сгнить? Под забором издохнуть, как собаке? Или сделаться честной? Дура! Тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кобенишься.

Наивная Люба и в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть-чуть растрогало.

— И прекрасно! И волшебно! — суетился обрадованный Лихонин. — Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда. И вещи забери самые необходимые. Теперь не то, что раньше, теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома.

— Нет, так нельзя, — остановила его Женя, — что она уйти может — это так, это верно, но неприятностей и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай. Тебе десять рублей не жаль?

— Конечно, конечно... Пожалуйста.

— Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса — десять

рублей. А потом, ну хоть завтра, приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом и заявить, что вот такая-то Любка нанялась служить у тебя за горничную и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий паспорт. Ну, Любка, живо! Бери деньги и марш. Да, смотри, с экономкой-то будь половчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да и не забудь, — крикнула она уже вдогонку Любе, — румяны-то с морды сотри. А то извозчики будут пальцами показывать.

Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.

— Глупость ты делаешь большую, Лихонин, — говорил лениво Платонов, — но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль — вот и дело. Смелый ты и прекрасный парень.

— Со вступлением! — смеялась Женя. — Смотрите, на крестины-то не забудьте позвать.

— Не дождетесь! — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой.

Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее смягчившихся глазах слезы.

— Дай бог, дай бог, — шептала она.

— Что с тобою сегодня было, Женя? — спросил он ласково. — Что? Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?

Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.

— Как тебе написать, если нужно будет? — спросила она глухо.

— Да просто. В редакцию «Отголосков». Такому-то. Мне живо передадут.

— Я... я... я... — начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо, — я напишу тебе...

И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

До сих пор еще, спустя десять лет, вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, а кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ею же созданное гнездо узаконенной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие, оставшиеся в живых, прежние, вконец одряхлевшие хозяйки и жирные, хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением.

Точно картофель из мешка, посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому, как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше вырастает выше человеческого роста и, наконец, одним последним небольшим усилием свергается в овраг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, конечно, никогда не слыхали о роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года.

И, правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные, обособленные группы, — там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, нагромождения событий, их эпидемичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность. Это бывает, как давно заметила народная мудрость, в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на

близких неотвратимым, загадочным чередом. «Беда одна не ходит». «Пришла беда — отворяй ворота». Это замечается также в монастырях, банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где, подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке, и вдруг, после какого-нибудь совсем не значительного случая, начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, проигрыши, болезни. Члены общества, точно сговорившись, умирают, сходят с ума, проворовываются, стреляются или вешаются, освобождается вакансия за вакансией, повышения следуют за повышениями, вливаются новые элементы, и, смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей, все новое, если только учреждение не распалось окончательно, не расползлось вкось. И не та ли же самая удивительная судьба постигает громадные общественные, мировые организации — города, государства, народы, страны и, почем знать, может быть, даже целые планетные миры?

Нечто, подобное этому непостижимому року, пронеслось и над Ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных Ямков осталась мирная, будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники с ближних боен. По ходатайству этих почтенных людей, даже самое название Ямской слободы, как позорящее обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку, в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина, ктитора местной церкви.

Первые подземные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяща. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства: постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай хлеба и в особенности свекловицы; открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации;

сооружение новой дороги на расстояние в семьсот пятьдесят верст; главное же — строительная горячка, охватившая весь город, все банки и другие финансовые учреждения и всех домовладельцев. Кирпичные заводы росли на окраине города, как грибы. Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными, прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с семидесяти пяти копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекшее к себе сотни тысяч рабочих и стоившее бог знает каких денег.

Надо еще прибавить, что город в это время справлял тысячелетнюю годовщину своей знаменитой лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России. Со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей, собрались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею, в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монастырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, лежали по ночам вповалку, как дрова, на обширных дворах и улицах лавры.

Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втрое всяким пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки, праздные бездельники, туристы, воры, шулеры — все они переполнили город, и ни в одной, самой грязной, сомнительной гостинице

не было свободного номера. За квартиры платились бешеные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из одних рук в другие, а из этих в третьи. Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались, и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, дрогали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой босяк при разгрузке барж с арбузами получал не менее четырех-пяти рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой старинного, прелестного города, очарованная сладостной теплотой южных ночей, напоенных вкрадчивым ароматом белой акации, — эти сотни тысяч ненасытных, разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой волей кричали: «Женщину!»

В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений — шикарных Тиволи, Шато-де-Флеров, Олимпий, Альказаров и так далее, с хором и с опереткой, много ресторанов и портерных, с летними садиками, и простых кабачков — вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно «фиалочные заведения» — маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собою, тут же рядом за перегородкой из шелевок, по две, по три старых девки, и многим матерям и отцам тяжело и памятно это лето по унизительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих, случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот, из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из-за границы наехало бесчисленное множество иностранок, кокоток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных француженок и венок. Властно сказалось раз-

вращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краж и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивалась с ног. Но впоследствии, обкормившись обильными взятками, она стала походить на сытого удава, поневоле сонного и ленивого. Людей убивали ни за что ни про что, так себе. Случалось, просто подходили среди бела дня где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали: «Как твоя фамилия?» — «Федоров». — «Ага, Федоров? Так получай!» — и распарывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шалунов «подкалывателями», и были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника: Полищуки, два брата (Митька и Дундас), Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Сивохо, Добровольский, Шпачек и многие другие.

И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на Ямках. Несмотря на то, что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрое увеличили цены, их бедные, обезумевшие девушки не успевали удовлетворять требованиям пьяной шальной публики, швырявшей деньгами, как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно, как на базаре, каждую девушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время!

С него-то и начались все злоключения Ямков, приведшие их к гибели. А вместе с Ямками погиб и знакомый нам дом толстой старой бледноглазой Анны Марковны.

II

Пассажирский поезд весело бежал с юга на север, пересекая золотые хлебные поля и прекрасные дубовые рощи, с грохотом проносясь по железным мостам

над светлыми речками, оставляя после себя крутящиеся клубы дыма.

В купе второго класса, даже при открытом окне, стояла страшная духота и было жарко. Запах серного дыма першил в горле. Качка и жара совсем утомили пассажиров, кроме одного, веселого, энергичного, подвижного еврея, прекрасно одетого, услужливого, общительного и разговорчивого. Он ехал с молодой женщиной, и сразу было видно, особенно по ней, что они молодожены: так часто ее лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой, самой маленькой нежности мужа. А когда она подымала свои ресницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ее сияли, как звезды, и становились влажными. И лицо ее было так прекрасно, как бывают только прекрасны лица у молодых влюбленных еврейских девушек, — все нежно-розовое, с розовыми губами, прелестно-невинно очерченными, и с глазами такими черными, что на них нельзя было различить зрачка от райка.

Не стесняясь присутствия трех посторонних людей, он поминутно расточал ласки, и, надо сказать, довольно грубые, своей спутнице. С бесцеремонностью обладателя, с тем особенным эгоизмом влюбленного, который как будто бы говорит всему миру: «Посмотрите, как мы счастливы, — ведь это и вас делает счастливыми, не правда ли?» — он то гладил ее по ноге, которая упруго и рельефно выделялась под платьем, то щипал ее за щеку, то щекотал ей шею своими жесткими, черными, завитыми кверху усами... Но хотя он и сверкал от восторга, однако что-то хищное, опасливое, беспокойное мелькало в его часто моргавших глазах, в подергивании верхней губы и в жестком рисунке его бритого, выдвинувшегося вперед квадратного подбородка, с едва заметным угибом посредине.

Против этой влюбленной парочки помещались трое пассажиров: отставной генерал, сухонький, опрятный старичок, нафиксатуаренный, с начесанными наперед височками; толстый помещик, снявший свой крахмальный воротник и все-таки задыхавшийся от жары и поминутно вытиравший мокрое лицо мокрым платком,

и молодой пехотный офицер. Бесконечная разговорчивость Семена Яковлевича (молодой человек уже успел уведомить соседей, что его зовут Семен Яковлевич Горизонт) немного утомляла и раздражала пассажиров, точно жужжание мухи, которая в знойный летний день ритмически бьется об оконное стекло закрытой душной комнаты. Но он все-таки умел подымать настроение: показывал фокусы, рассказывал еврейские анекдоты, полные тонкого, своеобразного юмора. Когда его жена уходила на платформу освежиться, он рассказывал такие вещи, от которых генерал расплывался в блаженную улыбку, помещик ржал, колыхая черноземным животом, а подпоручик, только год выпущенный из училища, безусый мальчик, едва сдерживая смех и любопытство, отворачивался в сторону, чтобы соседи не видели, что он краснеет.

Жена ухаживала за Горизонтом с трогательным, наивным вниманием: вытирала ему лицо платком, обмахивала его веером, поминутно поправляла ему галстук. И лицо его в эти минуты становилось смешно-надменным и глупо-самодовольным.

— А позвольте узнать, — спросил, вежливо покашливая, сухонький генерал. — Позвольте узнать, почтеннейший, чем вы изволите заниматься?

— Ах, боже мой! — с милой откровенностью возразил Семен Яковлевич. — Ну, чем может заниматься в наше время бедный еврей? Я себе немножко коммивояжер и комиссионер. В настоящее время я далек от дела. Вы, хе! хе! хе! сами понимаете, господа. Медовый месяц, — не красней, Сарочка, — это ведь не по три раза в год повторяется. Но потом мне придется очень много ездить и работать. Вот мы приедем с Сарочкой в город, нанесем визиты ее родственникам, и потом опять в путь. На первый вояж я думаю взять с собой жену. Знаете, вроде свадебного путешествия. Я представитель Сидриса и двух английских фирм. Не угодно ли поглядеть: вот со мной образчики...

Он очень быстро достал из маленького красивого, желтой кожи, чемодана несколько длинных картонных складных книжечек и с ловкостью портного стал

разворачивать их, держа за один конец, отчего створки их быстро падали вниз с легким треском.

— Посмотрите, какие прекрасные образцы: совсем не уступают заграничным. Обратите внимание. Вот, например, русское, а вот английское трико или вот кангар и шевиот. Сравните, пощупайте, и вы убедитесь, что русские образцы почти не уступают заграничным. А ведь это говорит о прогрессе, о росте культуры. Так что совсем напрасно Европа считает нас, русских, такими варварами.

Итак, мы нанесем наши семейные визиты, посмотрим ярмарку, побываем себе немножко в Шато-де-Флер, погуляем, пофланируем, а потом на Волгу, вниз до Царицына, на Черное море, по всем курортам и опять к себе на родину, в Одессу.

— Прекрасное путешествие, — сказал скромно подпоручик.

— Что и говорить, прекрасное, — согласился Семен Яковлевич, — но нет розы без шипов. Дело коммивояжера чрезвычайно трудное и требует многих знаний, и не так знаний дела, как знаний, как бы это сказать... человеческой души. Другой человек и не хочет дать заказа, а ты его должен уговорить, как слона, и до тех пор уговариваешь, покамест он не почувствует ясности и справедливости твоих слов. Потому что я берусь только исключительно за дела совершенно чистые, в которых нет никаких сомнений. Фальшивого или дурного дела я не возьму, хотя бы мне за это предлагали миллионы. Спросите где угодно, в любом магазине, который торгует сукнами или подтяжками Глуар, — я тоже представитель этой фирмы, — или пуговицами Гелиос, — вы спросите только, кто такой Семен Яковлевич Горизонт, — и вам каждый ответит: «Семен Яковлевич, — это не человек, а золото, это человек бескорыстный, человек брильянтовой честности». — И Горизонт уже разворачивал длинные коробки с патентованными подтяжками и показывал блестящие картонные листики, усеянные правильными рядами разноцветных пуговиц.

— Бывают большие неприятности, когда место избито, когда до тебя являлось много вояжеров. Тут ни-

чего не сделаешь: даже тебя совсем не слушают, только махают себе руками. Но это только для других. Я — Горизонт! Я сумею его уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании. Но еще неприятнее бывает, когда сойдутся в одном городе два конкурента по одному и тому же делу. Да и еще хуже бывает, когда какой-нибудь шмаровоз и сам не сможет ничего и тебе же дело портит. Тут на всякие хитрости пускаешься: напоишь его пьяным или пустишь куда-нибудь по ложному следу. Нелегкое ремесло! Кроме того, у меня еще есть одно представительство — это вставные глаза и зубы. Но дело невыгодное. Я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я понимаю, хорошо порхать, как мотылек, человеку молодому, в цвете сил, но раз имеешь жену, а может быть и целую семью... — Он игриво похлопал по ноге женщину, отчего та сделалась пунцовой и необыкновенно похорошела. — Ведь нас, евреев, господь одарил за все наши несчастья плодородием... то хочется иметь какое-нибудь собственное дело, хочется, понимаете, усесться на месте, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухня. Не так ли, ваше превосходительство?

— Да... да... э-э... Да, конечно, конечно, — снисходительно отозвался генерал.

— И вот я взял себе за Сарочкой небольшое приданое. Что значит небольшое приданое?! Такие деньги, на которые Ротшильд и поглядеть не захочет, в моих руках уже целый капитал. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какие сбережения. Знакомые фирмы дадут мне кредит. Если господь даст, мы таки себе будем кушать кусок хлеба с маслицем и по субботам вкусную рыбу-фиш.

— Прекрасная рыба: щука по-жидовски! — сказал задыхающийся помещик.

— Мы откроем себе фирму «Горизонт и сын». Не правда ли, Сарочка, «и сын»? И вы, надеюсь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами? Как увидите вывеску «Горизонт и сын», то прямо и вспомните, что вы однажды ехали в вагоне вместе с

молодым человеком, который адски оглупел от любви и от счастья.

— Об-бязательно! — сказал помещик.

И Семен Яковлевич сейчас же обратился к нему:

— Но я тоже занимаюсь и комиссионерством. Продать имение, купить имение, устроить вторую закладную — вы не найдете лучшего специалиста, чем я, и притом самого дешевого. Могу вам служить, если понадобится, — и он протянул с поклоном помещику свою визитную карточку, а кстати уже вручил по карточке и двум его соседям.

Помещик полез в боковой карман и тоже вытащил карточку.

— «Иосиф Иванович Венгженовский», — прочитал вслух Семен Яковлевич. — Очень, очень приятно! Так вот, если я вам понадоблюсь...

— Отчего же? Может быть... — сказал раздумчиво помещик. — Да что: может быть, в самом деле, нас свел благоприятный случай! Я ведь как раз еду в К. насчет продажи одной лесной дачи. Так, пожалуй, вы того, наведайтесь ко мне. Я всегда останавливаюсь в Гранд-отеле. Может быть, и сладим что-нибудь.

— О! Я уже почти уверен, дражайший Иосиф Иванович, — воскликнул радостный Горизонт и слегка кончиками пальцев потрепал осторожно по коленке Венгженовского. — Уж будьте покойны: если Горизонт за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить, как родного отца, ни более ни менее!

Через полчаса Семен Яковлевич и безусый подпоручик стояли на площадке вагона и курили.

— Вы часто, господин поручик, бываете в К.? — спросил Горизонт.

— Представьте себе, только в первый раз. Наш полк стоит в Чернобобе. Сам я родом из Москвы.

— Ай, ай, ай! Как это вы так далеко забрались?

— Да так уж пришлось. Не было другой вакансии при выпуске.

— Да ведь Чернобоб же — это дыра! Самый паскудный городишко во всей Подолии.

— Правда, но уж так пришлось.

— Значит, теперь молодой господин офицер едет в К., чтобы немножко себе развлечься?

— Да. Я думаю там остановиться денька на два, на три. Еду я, собственно, в Москву. Получил двухмесячный отпуск, но интересно было бы по дороге поглядеть город. Говорят, очень красивый.

— Ох! Что вы мне будете говорить? Замечательный город! Ну, совсем европейский город. Если бы вы знали, какие улицы, электричество, трамваи, театры! А если бы вы знали, какие кафешантаны! Вы сами себе пальчики оближете. Непременно, непременно советую вам, молодой человек, сходите в Шато-де-Флер, в Тиволи, а также проезжайте на остров. Это что-нибудь особенное. Какие женщины, ка-ак-кие женщины!

Поручик покраснел, отвел глаза и спросил дрогнувшим голосом:

— Да, мне приходилось слышать. Неужели так красивы?

— Ой! Накажи меня бог! Поверьте мне, там вовсе нет красивых женщин.

— То есть как это?

— А так: там только одни красавицы. Вы понимаете, какое счастливое сочетание кровей: польская, малорусская и еврейская. Как я вам завидую, молодой человек, что вы свободный и одинокий. В свое время я таки показал бы там себя! И замечательнее всего, что необыкновенно страстные женщины. Ну прямо как огонь! И знаете, что еще? — спросил он вдруг многозначительным шепотом.

— Что?! — испуганно спросил подпоручик.

— Замечательно то, что нигде — ни в Париже, ни в Лондоне, — поверьте, это мне рассказывали люди, которые видели весь белый свет, — никогда нигде таких утонченных способов любви, как в этом городе, вы не встретите. Это что-нибудь особенное, как говорят наши еврейчики. Такие выдумывают штуки, которые никакое воображение не может себе представить. С ума можно сойти!

— Да неужели? — тихо проговорил подпоручик, которого захлестнуло дыхание.

— Да накажи меня бог! А впрочем, позвольте, молодой человек! Вы сами понимаете. Я был холостой, и, конечно, понимаете, всякий человек грешен... Теперь уж, конечно, не то. Записался в инвалиды. Но от прежних дней у меня осталась замечательная коллекция. Подождите, я вам сейчас покажу ее. Только, пожалуйста, смотрите осторожнее.

Горизонт боязливо оглянулся налево и направо и извлек из кармана узенькую длинную сафьяновую коробочку, вроде тех, в которых обыкновенно хранятся игральные карты, и протянул ее подпоручику.

— Вот, поглядите. Только прошу осторожнее.

Подпоручик принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографии и цветной, на которых во всевозможных видах изображалась в самых скотских образах, в самых неправдоподобных положениях та внешняя сторона любви, которая иногда делает человека неизмеримо ниже и подлее павиана. Горизонт заглядывал ему через плечо, подталкивал локтем и шептал:

— Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!

Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящичек обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец.

— А знаете что? — вдруг воскликнул весело Горизонт. — Мне все равно: я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли... сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За ценой я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили. Не желаете ли приобрести, господин офицер?

— Что же... Я то есть... Почему же?.. Пожалуй...

— И прекрасно! По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, бог с вами! Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить: так и быть по тридцать. Что? Тоже не дешево?! Ну, по рукам. Двадцать пять

копеек штука! Ой! Какой вы несговорчивый! По двадцать! Потом сами меня будете благодарить! И потом знаете что? Я когда приезжаю в К., то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». Вы меня там очень просто можете застать или рано утречком, или часов около восьми вечера. У меня есть масса знакомых прехорошеньких дамочек. Так я вас познакомлю. И понимаете, не за деньги. О нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной, вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там! Они сами охотно заплатят за вино, за бутылку шампанского. Так помните же: «Эрмитаж», Горизонт. А если не это, то все равно помните!.. Может быть, я вам буду полезен. А карточки — это такой товар, такой товар, что он никогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потом, вы знаете, — Горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом, — знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый: сколько у вас еще будет романов!

Получив деньги и тщательно пересчитав их, Горизонт еще имел нахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смел на него поднять глаз, и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало, вернулся в коридор вагона.

Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочки, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал:

— А сто, куда зе балисня едет? Ой, ой, ой! Такая больсая! Едет одна, без мамы? Сама себе купила билет и едет одна? Ай! Какая нехолосая девочка. А где же у девочки мама?

В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно:

— Отстаньте от ребенка. Что за гадость привязываться к чужим детям!

Горизонт вскочил на ноги и засуетился:

— Мадам! Я не мог удержаться... Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок! Настоящий купидон! Поймите, мадам, я сам отец, у меня у самого дети... Я не мог удержаться от восторга!..

Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив Горизонта расшаркиваться и бормотать комплименты и извинения.

Несколько раз в продолжение суток Горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины в обществе чернобородого, молчаливого, сумрачного мужчины. С ним Горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая и не решаясь о чем-то спросить. Раз только, около полудня, одна из них позволила себе робко произнести:

— Так это правда? То, что вы говорили о месте?.. Вы понимаете: у меня как-то сердце тревожится!

— Ах! Что вы, Маргарита Ивановна! Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке. Послушайте, Лазер, — обратился он к бородатому, — сейчас будет станция. Купите барышням разных бутербродов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут.

— Я бы хотела бульону, — несмело произнесла маленькая блондинка, с волосами, как спелая рожь, и с глазами, как васильки.

— Милая Бэла, все, что вам угодно! На станции я пойду и распоряжусь, чтобы вам принесли бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю.

В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины с огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряске вагона, точно

яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии.

Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты, в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином.

Горизонт был здесь совсем неузнаваем: он был величественно-небрежен и свысока-шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех — эту странную смесь румынок, евреек, полек и русских — и удостоверясь, что все в порядке, распоряжался насчет бутербродов и величественно удалялся. В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять начинал миндальничать с женой, и еврейские анекдоты, точно горох, сыпались из его рта.

При больших остановках он выходил в буфет для того только, чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям:

— Вы знаете, мне все равно, что трефное, что кошерное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу поделать с моим желудком! На этих станциях черт знает какой гадостью иногда накормят. Заплатишь каких-нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. Вот, может быть, ты, Сарочка, — обращался он к жене, — может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?

Сарочка, счастливая его вниманием, краснела, сияла ему благодарными глазами и отказывалась.

— Ты очень добрый, Сеня, но только мне не хочется. Я сыта.

Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинского вина, не торопясь, с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно

заворачивал остатки в бумагу и не торопясь аккуратно укладывал их в корзинку.

Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколен. Мимо купе прошел кондуктор и сделал Горизонту какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку.

— Сейчас контроль пройдет, — сказал кондуктор, — так уж вы будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса..

— Ну, ну, ну! — согласился Горизонт.

— А теперь пожалуйте денежки, по уговору.

— Сколько же тебе?

— Да как уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесят копеек.

— Что?! — вскипел вдруг Горизонт. — Два рубля восемьдесят копеек?! Что я сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари бога!

— Простите, господин! Это даже совсем несообразно: ведь уговаривались мы с вами?

— Уговаривались, уговаривались!.. На тебе еще полтинник и больше никаких. Что это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай! Не на такого напал!

Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью.

— У! Жидова̀! — зарычал он. — Взять бы тебя, подлеца, да под поезд!

Но Горизонт тотчас же петухом налетел на него:

— Что?! Под поезд?! А ты знаешь, что за такие слова бывает?! Угроза действием! Вот я сейчас пойду и крикну «караул!» и поверну сигнальную ручку, — и он с таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плюнул.

— Подавись ты моими деньгами, жид пархатый!

Горизонт вызвал из купе свою жену:

— Сарочка! Пойдем посмотрим на платформу: там виднее. Ну, так красиво, — просто, как на картине!

Сара покорно пошла за ним, поддерживая неловкой рукой новое, должно быть, впервые надетое платье,

изгибаясь и точно боясь прикоснуться к двери или к стене.

Вдали, в розовом праздничном тумане вечерней зари, сияли золотые купола и кресты. Высоко на горе белые стройные церкви, казалось, плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А отвесный белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь, точно зелеными жилками и бородавками, был изборожден случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду.

Когда поезд остановился, Горизонт приказал носильщикам отнести вещи в первый класс и велел жене идти за ним следом. А сам задержался в выходных дверях, чтобы пропустить обе свои партии. Старухе, наблюдавшей за дюжиной женщин, он коротко бросил на ходу:

— Так помните, мадам Берман! Гостиница «Америка», Иванюковская, двадцать два!

А чернобородому мужчине он сказал:

— Не забудьте, Лазер, накормить девушек обедом и сведите их куда-нибудь в кинематограф. Часов в одиннадцать вечера ждите меня. Я приеду поговорить. А если кто-нибудь будет вызывать меня экстренно, то вы знаете мой адрес: «Эрмитаж». Позвоните. Если же там меня почему-нибудь не будет, то забегите в кафе к Рейману или напротив, в еврейскую столовую. Я там буду кушать рыбу-фиш. Ну, счастливого пути!

III

Все рассказы Горизонта о его коммивояжерстве были просто наглым и бойким лганьем. Все эти образчики портновских материалов, подтяжки Глуар и пуговицы Гелиос, искусственные зубы и вставные глаза служили только щитом, прикрывавшим его настоящую деятельность, а именно торговлю женским телом. Правда, когда-то, лет десять тому назад, он разъезжал по России представителем сомнительных вин от какой-

то неизвестной фирмы, и эта деятельность сообщила его языку ту развязную непринужденность, которой вообще отличаются коммивояжеры. Эта же прежняя деятельность натолкнула его на настоящую профессию. Как-то, едучи в Ростов-на-Дону, он сумел влюбить в себя молоденькую швейку. Эта девушка еще не успела попасть в официальные списки полиции, но на любовь и на свое тело глядела без всяких возвышенных предрассудков. Горизонт, тогда еще совсем зеленый юноша, влюбчивый и легкомысленный, потащил швейку за собою в свои скитания, полные приключений и неожиданностей. Спустя полгода она страшно надоела ему. Она, точно тяжелая обуза, точно мельничный жернов, повисла на шее у этого человека энергии, движения и натиска. К тому же вечные сцены ревности, недоверие, постоянный контроль и слезы... неизбежные последствия долговременной совместной жизни... Тогда он стал исподволь поколачивать свою подругу. В первый раз она изумилась, а со второго раза притихла, стала покорной. Известно, что «женщины любви» никогда не знают середины в любовных отношениях. Они или истеричные лгуньи, обманщицы, притворщицы, с холодно-развращенным умом и извилистой темной душой, или же безгранично самоотверженные, слепо преданные, глупые, наивные животные, которые не знают меры ни в уступках, ни в потере личного достоинства. Швейка принадлежала ко второй категории, и скоро Горизонту удалось без большого труда, убедить ее выходить на улицу торговать собой. И с того же вечера, когда любовница подчинилась ему и принесла домой первые заработанные пять рублей, Горизонт почувствовал к ней безграничное отвращение. Замечательно, что, сколько Горизонт после этого ни встречал женщин, — а прошло их через его руки несколько сотен, — это чувство отвращения и мужского презрения к ним никогда не покидало его. Он всячески издевался над бедной женщиной и истязал ее нравственно, выискивая самые больные места. Она только молчала, вздыхала, плакала и, становясь перед ним на колени, целовала его руки. И эта бессловесная покорность еще более раздражала Горизонта. Он гнал ее от себя. Она не уходила.

Он выталкивал ее на улицу, а она через час или два возвращалась назад, дрожащая от холода, в измокшей шляпе, в загнутых полях которой, как в желобах, плескалась дождевая вода. Наконец какой-то темный приятель подал Семену Яковлевичу жесткий и коварный совет, положивший след на всю остальную его жизнедеятельность, — продать любовницу в публичный дом.

По правде сказать, пускаясь в это предприятие, Горизонт в душе почти не верил в его успех. Но, против ожидания, дело скроилось как нельзя лучше. Хозяйка заведения (это было в Харькове) с охотой пошла навстречу его предложению. Она давно и хорошо знала Семена Яковлевича, который забавно играл на рояле, прекрасно танцевал и смешил своими выходками весь зал, а главное, умел с необыкновенной беззастенчивой ловкостью «выставить из монет» любую кутящую компанию. Оставалось только уговорить подругу жизни, и это оказалось самым трудным. Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила самоубийством, клялась, что выжжет ему глаза серной кислотой, обещала поехать и пожаловаться полицеймейстеру, — а она действительно знала за Семеном Яковлевичем несколько грязных делишек, пахнувших уголовщиной. Тогда Горизонт переменил тактику. Он сделался вдруг нежным, внимательным другом, неутомимым любовником. Потом внезапно он впал в черную меланхолию. На беспокойные расспросы женщины он только отмалчивался, проговорился сначала как будто случайно, намекнул вскользь на какую-то жизненную ошибку, а потом принялся врать отчаянно и вдохновенно. Он говорил о том, что за ним следит полиция, что ему не миновать тюрьмы, а может быть, даже каторги и виселицы, что ему нужно скрыться на несколько месяцев за границу. А главное, на что он особенно сильно упирал, было какое-то громадное фантастическое дело, в котором ему предстояло заработать несколько сот тысяч рублей. Швейка поверила и затревожилась той бескорыстной, женской, почти святой тревогой, в которой у каждой женщины так много чего-то материнского. Теперь очень нетрудно было убедить ее в том, что ехать

с ней вместе Горизонту представляет большую опасность для него и что лучше ей остаться здесь и переждать время, пока дела у любовника не сложатся благоприятно. После этого уговорить ее скрыться, как в самом надежном убежище, в публичном доме, где она могла жить в полной безопасности от полиции и сыщиков, было пустым делом. Однажды утром Горизонт велел одеться ей получше, завить волосы, попудриться, положить немного румян на щеки и повез ее в притон, к своей знакомой. Девушка там произвела благоприятное впечатление, и в тот же день ее паспорт был сменен в полиции на так называемый желтый билет. Расставшись с нею после долгих объятий и слез, Горизонт зашел в комнату хозяйки и получил плату — пятьдесят рублей (хотя он запрашивал двести). Но он и не особенно сокрушался о малой цене; главное было то, что он нашел, наконец, сам себя, свое призвание и положил краеугольный камень своему будущему благополучию.

Конечно, проданная им женщина так и оставалась навсегда в цепких руках публичного дома. Горизонт настолько основательно забыл ее, что уже через год не мог даже вспомнить ее лица. Но почем знать... может быть, сам перед собою притворялся?

Теперь он был одним из самых главных спекулянтов женским телом на всем юге России. Он имел дела с Константинополем и с Аргентиной, он переправлял целыми партиями девушек из публичных домов Одессы в Киев, киевских перевозил в Харьков, а харьковских — в Одессу. Он же рассовывал по разным второстепенным губернским городам и по уездным, которые побогаче, товар, забракованный или слишком примелькавшийся в больших городах. У него завязалась громаднейшая клиентура, и в числе своих потребителей Горизонт мог бы насчитать немало людей с выдающимся общественным положением: вице-губернаторы, жандармские полковники, видные адвокаты, известные доктора, богатые помещики, кутящие купцы. Весь темный мир: хозяек публичных домов, кокоток-одиночек, своден, содержательниц домов свиданий, сутенеров, выходных актрис и хористок — был ему знаком, как астроному звездное небо. Его изумительная память, которая

позволяла ему благоразумно избегать записных книжек, держала в уме тысячи имен, фамилий, прозвищ, адресов, характеристик. Он в совершенстве знал вкусы всех своих высокопоставленных потребителей: одни из них любили необыкновенно причудливый разврат, другие платили бешеные деньги за невинных девушек, третьим надо было выискивать малолетних. Ему приходилось удовлетворять и садические и мазохические наклонности своих клиентов, а иногда обслуживать и совсем противоестественные половые извращения, хотя, надо сказать, что за последнее он брался только в редких случаях, суливших большую несомненную прибыль. Раза два-три ему приходилось отсиживать в тюрьме, но эти высидки шли ему впрок: он не только не терял хищнического нахрапа и упругой энергии в делах, но с каждым годом становился смелее, изобретательнее и предприимчивее. С годами к его наглой стремительности присоединилась огромная житейская деловая мудрость.

Раз пятнадцать за это время он успел жениться и всегда изловчался брать порядочное приданое. Завладев деньгами жены, он в один прекрасный день вдруг исчезал бесследно, а если бывала возможность, то выгодно продавал жену в тайный дом разврата или в шикарное публичное заведение. Случалось, что его разыскивали через полицию родители обманутой жертвы. Но в то время, когда повсюду наводили справки о нем, как о Шперлинге, он уже разъезжал из города в город под фамилией Розенблюма. Во время своей деятельности, вопреки своей завидной памяти, он переменил столько фамилий, что не только позабыл, в каком году он был Натанаэльзоном, а в каком Бакаляром, но даже его собственная фамилия ему начинала казаться одним из псевдонимов.

Замечательно, что он не находил в своей профессии ничего преступного или предосудительного. Он относился к ней так же, как если бы торговал селедками, известкой, мукой, говядиной или лесом. По-своему он был набожен. Если позволяло время, с усердием посещал по пятницам синагогу. Судный день, пасха и кущи неизменно и благоговейно справлялись им всюду, куда бы ни забрасывала его судьба. В Одессе у него оста-

вались старушка мать и горбатая сестра, и он неуклонно высылал им то большие, то маленькие суммы денег, не регулярно, но довольно часто, почти из всех городов: от Курска до Одессы и от Варшавы до Самары. У него уже скопились порядочные денежные сбережения в Лионском Кредите, и он постепенно увеличивал их, никогда не затрогивая процентов. Но жадности или скупости почти совсем был чужд. Его скорее влекли к себе в деле острота, риск и профессиональное самолюбие. К женщинам он был совершенно равнодушен, хотя понимал их и умел ценить, и был в этом отношении похож на хорошего повара, который при тонком понимании дела страдает хроническим отсутствием аппетита. Чтобы уговорить, прельстить женщину, заставить ее сделать все, что он хочет, ему не требовалось никаких усилий: они сами шли на его зов и становились в его руках беспрекословными, послушными и податливыми. В его обращении с ними выработался какой-то твердый, непоколебимый, самоуверенный апломб, которому они так же подчинялись, как инстинктивно подчиняется строптивая лошадь голосу, взгляду и поглаживанию опытного наездника.

Он пил очень умеренно, а без компании совсем не пил. К еде был совершенно равнодушен. Но, конечно, как у всякого человека, у него была своя маленькая слабость: он страшно любил одеваться и тратил на свой туалет немалые деньги. Модные воротнички всевозможных фасонов, галстуки, брильянтовые запонки, брелоки, щегольское нижнее белье и шикарная обувь — составляли его главнейшие увлечения.

С вокзала он прямо поехал в «Эрмитаж». Гостиничные носильщики, в синих блузах и форменных шапках, внесли его вещи в вестибюль. Вслед за ними вошел и он под руку с своей женой, оба нарядные, представительные, а он-таки прямо великолепный, в своем широком, в виде колокола, английском пальто, в новой широкополой панаме, держа небрежно в руке тросточку серебряным набалдашником в виде голой женщины.

— Не полагается без права жительства, — сказал,

глядя на него сверху вниз, огромный, толстый швейцар, храня на лице сонное и неподвижно-холодное выражение.

— Ах, Захар! Опять «не полагается»! — весело воскликнул Горизонт и потрепал гиганта по плечу. — Что такое «не полагается»? Каждый раз вы мне тычете этим самым своим «не полагается». Мне всего только на три дня. Только заключу арендный договор с графом Ипатьевым и сейчас же уеду. Бог с вами! Живите себе хоть один во всех номерах. Но вы только поглядите, Захар, какую я вам привез игрушку из Одессы! Вы таки будете довольны!

Он осторожным, ловким, привычным движением всунул золотой в руку швейцара, который уже держал ее за спиной приготовленной и сложенной в виде лодочки.

Первое, что сделал Горизонт, водворившись в большом, просторном номере с альковом, это выставил в коридор за двери номера шесть пар великолепных ботинок, сказав прибежавшему на звонок коридорному:

— Немедленно все вычистить! Чтобы блестело, как зеркало! Тебя Тимофей, кажется? Так ты меня должен знать: за мной труд никогда не пропадет. Чтобы блестело, как зеркало!

IV

Горизонт жил в гостинице «Эрмитаж» не более трех суток, и за это время он успел повидаться с тремястами людей. Приезд его как будто оживил большой веселый портовый город. К нему приходили содержательницы контор для найма прислуги, номерные хозяйки и старые, опытные, поседелые в торговле женщинами, сводни. Не так из-за корысти, как из-за профессиональной гордости, Горизонт старался во что бы то ни стало выторговать как можно больше процентов, купить женщину как можно дешевле. Конечно, у него не было расчета в том, чтобы получить десятью — пятнадцатью рублями больше, но одна мысль о том, что конкурент Ямпольский получит при продаже более, чем он, приводила его в бешенство.

После приезда, на другой день, он отправился к фотографу Мезеру, захватив с собою соломенную девушку Бэлу, и снялся с ней в разных позах, причем за каждый негатив получил по три рубля, а женщине дал по рублю. Снимков было двадцать. После этого он поехал к Барсуковой.

Это была женщина, вернее сказать, отставная девка, которые водятся только на юге России, не то полька, не то малороссиянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себе роскошь содержать мужа (а вместе с ним и кафешантан), красивого и ласкового полячка. Горизонт и Барсукова встретились, как старые знакомые. Кажется, у них не было ни страха, ни стыда, ни совести, когда они разговаривали друг с другом.

— Мадам Барсукова! Я вам могу предложить что-нибудь особенного! Три женщины: одна большая, брюнетка, очень скромная, другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все, третья — загадочная женщина, которая только улыбается и ничего не говорит, но много обещает и — красавица!

Мадам Барсукова глядела на него и недоверчиво покачивала головой.

— Господин Горизонт! Что вы мне голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сделать, что в прошлый раз?

— Дай бог мне так жить, как я хочу вас обманывать! Но главное не в этом. Я вам еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Делайте с ней, что хотите. Вероятно, у вас найдется любитель.

Барсукова тонко улыбнулась и спросила:

— Опять жена?

— Нет. Но дворянка.

— Значит, опять неприятности с полицией?

— Ах! Боже мой! Я с вас не беру больших денег: за всех четырех какая-нибудь паршивая тысяча рублей.

— Ну, будем говорить откровенно: пятьсот. Не хочу покупать кота в мешке.

— Кажется, мадам Барсукова, мы с вами не в первый раз имеем дело. Обманывать я вас не буду и сейчас же ее привезу сюда. Только прошу вас не забыть, что вы

моя тетка, и в этом направлении, пожалуйста, работайте. Я не пробуду здесь, в городе, более чем три дня.

Мадам Барсукова, со всеми своими грудями, животами и подбородками, весело заколыхалась.

— Не будем торговаться из-за мелочей. Тем более что ни вы меня, ни я вас не обманываем. Теперь большой спрос на женщин. Что вы сказали бы, господин Горизонт, если бы я предложила вам красного вина?

— Благодарю вас, мадам Барсукова, с удовольствием.

— Поговоримте как старые друзья. Скажите, сколько вы зарабатываете в год?

— Ах, мадам,' как сказать? Тысяч двенадцать, двадцать приблизительно. Но, подумайте, какие громадные расходы постоянно в поездках.

— Вы откладываете немножко?

— Ну, это пустяки: какие-нибудь две-три тысячи в год.

— Я думала, десять, двадцать...

Горизонт насторожился. Он чувствовал, что его начинают ощупывать, и спросил вкрадчиво:

— А почему это вас интересует?

Анна Михайловна нажала кнопку электрического звонка и приказала нарядной горничной дать кофе с топлеными сливками и бутылку шамбертена. Она знала вкусы Горизонта. Потом она спросила:

— Вы знаете господина Шепшеровича?

Горизонт так и вскрикнул:

— Боже мой! Кто же не знает Шепшеровича! Это —бог, это — гений!

И, оживившись, забыв, что его тянут в ловушку, он восторженно заговорил:

— Представьте себе, что в прошлом году сделал Шепшерович! Он отвез в Аргентину тридцать женщин из Ковно, Вильно, Житомира. Каждую из них он продал по тысяче рублей, итого, мадам, считайте, — тридцать тысяч! Вы думаете на этом Шепшерович успокоился? На эти деньги, чтобы оплатить себе расходы по пароходу, он купил несколько негритянок и рассовал их в Москву, Петербург, Киев, Одессу и

в Харьков. Но вы знаете, мадам, это не человек, а орел. Вот кто умеет делать дела!

Барсукова ласково положила ему руку на колено. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно:

— Так вот я вам и предлагаю, господин... впрочем, я не знаю, как вас теперь зовут...

— Скажем, Горизонт...

— Вот я вам и предлагаю, господин Горизонт, — не найдется ли у вас невинных девушек? Теперь на них громадный спрос. Я с вами играю в открытую. За деньгами мы не постоим. Теперь это в моде. Заметьте, Горизонт, вам возвратят ваших клиенток совершенно в том же виде, в каком они были. Это, вы понимаете, — маленький разврат, в котором я никак не могу разобраться...

Горизонт потупился, потер голову и сказал:

— Видите ли, у меня есть жена... Вы почти угадали.

— Так. Но почему же почти?

— Мне стыдно сознаться, что она, как бы сказать... она мне невеста...

Барсукова весело расхохоталась.

— Вы знаете, Горизонт, я никак не могла ожидать, что вы такой мерзавец! Давайте вашу жену, все равно. Да неужели вы в самом деле удержались?

— Тысячу? — спросил Горизонт серьезно.

— Ах! Что за пустяки: скажем, тысячу. Но скажите, удастся ли мне с ней справиться?

— Пустяки! — сказал самоуверенно Горизонт. — Предположим, опять вы — моя тетка, и я оставляю у вас жену. Представьте себе, мадам Барсукова, что эта женщина в меня влюблена, как кошка. И если вы скажете ей, что для моего благополучия она должна сделать то-то и то-то, — то никаких разговоров!

Кажется, им больше не о чем было разговаривать. Мадам Барсукова вынесла вексельную бумагу, где она с трудом написала свое имя, отчество и фамилию. Вексель, конечно, был фантастический, но есть связь, спайка, каторжная совесть. В таких делах не обманывают. Иначе грозит смерть. Все равно: в остроге, на улице или в публичном доме.

Затем тотчас же, точно привидение из люка, появился ее сердечный друг, молодой полячок, с высоко закрученными усами, хозяин кафешантана. Выпили вина, поговорили о ярмарке, о выставке, немножко пожаловались на плохие дела. Затем Горизонт телефонировал к себе в гостиницу, вызвал жену. Познакомил ее с теткой и с двоюродным братом тетки и сказал, что таинственные политические дела вызывают его из города. Нежно обнял Сару, прослезился и уехал.

V

С приездом Горизонта (впрочем, бог знает, как его звали: Гоголевич, Гидалевич, Окунев, Розмитальский), словом, с приездом этого человека все переменилось на Ямской улице. Пошли громадные перетасовки. От Треппеля переводили девушек к Анне Марковне, от Анны Марковны — в рублевое заведение и из рублевого — в полтинничное. Повышений не было: только понижения. На каждом перемещении Горизонт зарабатывал от пяти до ста рублей. Поистине, у него была энергия, равная приблизительно водопаду Иматре! Сидя днем у Анны Марковны, он говорил, щурясь от дыма папиросы и раскачивая ногу на ноге:

— Спрашивается... для чего вам эта самая Сонька? Ей не место в порядочном заведении. Ежели мы ее сплавим, то вы себе заработаете сто рублей, я себе двадцать пять. Скажите мне откровенно, она ведь не в спросе?

— Ах, господин Шацкий! Вы всегда сумеете уговорить! Но представьте себе, что я ее жалею. Такая деликатная девушка...

Горизонт на минутку задумался. Он искал подходящей цитаты и вдруг выпалил:

— Падающего толкни! И я уверен, мадам Шайбес, что на нее нет никакого спроса.

Исай Саввич, маленький, болезненный, мнительный старичок, но в нужные минуты очень решительный, поддержал Горизонта:

— И очень просто. На нее действительно нет никакого спроса. Представь себе, Анечка, что ее барахло стоит пятьдесят рублей, двадцать пять рублей получит господин Шацкий, пятьдесят рублей нам с тобой останется. И слава богу, мы с ней развязались! По крайней мере она не будет компрометировать нашего заведения.

Таким-то образом Сонька Руль, минуя рублевое заведение, была переведена в полтинничное, где всякий сброд целыми ночами, как хотел, издевался над девушками. Там требовалось громадное здоровье и большая нервная сила. Сонька однажды задрожала от ужаса ночью, когда Фекла, бабища пудов около шести весу, выскочила на двор за естественной надобностью и крикнула проходившей мимо нее экономке:

— Экономочка! Послушайте: тридцать шестой человек!.. Не забудьте.

К счастью, Соньку беспокоили немного: даже и в этом учреждении она была слишком некрасива. Никто не обращал внимания на ее прелестные глаза, и брали ее только в тех случаях, когда под рукой не было никакой другой. Фармацевт разыскал ее и приходил каждый вечер к ней. Но трусость ли, или специальная еврейская щепетильность, или, может быть, даже физическая брезгливость не позволяла ему взять и увести эту девушку из дома. Он просиживал около нее целые ночи и по-прежнему терпеливо ждал, когда она возвратится от случайного гостя, делал ей сцены ревности и все-таки любил и, торча днем в своей аптеке за прилавком и закатывая какие-нибудь вонючие пилюли, неустанно думал о ней и тосковал.

VI

Сейчас же при входе в загородный кафешантан сияла разноцветными огнями искусственная клумба, с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла в глубь сада такая же огненная аллея из широких полукруглых арок, сужавшихся к концу. Дальше была широкая, усыпанная желтым песком площадка: налево — открытая сцена, театр и тир, прямо — эстрада для

военных музыкантов (в виде раковины) и балаганчики с цветами и пивом, направо — длинная терраса ресторана. Площадку ярко, бледно и мертвенно освещали электрические шары со своих высоких мачт. Об их матовые стекла, обтянутые проволочными сетками, бились тучи ночных бабочек, тени которых — смутные и большие — реяли внизу, на земле. Взад и вперед ходили попарно уже усталою, волочащеюся походкой голодные женщины, слишком легко, нарядно и вычурно одетые, сохраняя на лицах выражение беспечного веселья или надменной, обиженной неприступности.

В ресторане были заняты все столы, — и над ними плыл сплошной стук ножей о тарелки и пестрый, скачущий волнами говор. Пахло сытным и едким кухонным чадом. Посредине ресторана, на эстраде, играли румыны в красных фраках, все смуглые, белозубые, с лицами усатых, напомаженных и прилизанных обезьян. Дирижер оркестра, наклоняясь вперед и манерно раскачиваясь, играл на скрипке и делал публике непристойно-сладкие глаза, — глаза мужчины-проститутки. И все вместе — это обилие назойливых электрических огней, преувеличенно яркие туалеты дам, запахи модных пряных духов, эта звенящая музыка, с произвольными замедлениями темпа, со сладострастными замираниями в переходах, с взвинчиванием в бурных местах, — все шло одно к одному, образуя общую картину безумной и глупой роскоши, обстановку подделки веселого непристойного кутежа.

Наверху, кругом всей залы, шли открытые хоры, на которые, как на балкончики, выходили двери отдельных кабинетов. В одном из таких кабинетов сидело четверо — две дамы и двое мужчин: известная всей России артистка — певица Ровинская, большая красивая женщина с длинными зелеными египетскими глазами и длинным, красным, чувственным ртом, на котором углы губ хищно опускались книзу; баронесса Тефтинг, маленькая, изящная, бледная,— ее повсюду видели вместе с артисткой; знаменитый адвокат Рязанов и Володя Чаплинский, богатый светский молодой человек, композитор-дилетант, автор нескольких маленьких романсов и многих злободневных острот, ходивших по городу.

Стены в кабинете были красные с золотым узором. На столе, между зажженными канделябрами, торчали из мельхиоровой вазы, отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и свет жидким, дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином. Снаружи у дверей дежурил, прислонясь к стене, лакей, а толстый, рослый, важный метрдотель, у которого на всегда оттопыренном мизинце правой руки сверкал огромный брильянт, часто останавливался у этих дверей и внимательно прислушивался одним ухом к тому, что делалось в кабинете.

Баронесса со скучающим бледным лицом лениво глядела сквозь лорнет вниз, на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших коренастых черных жуков. Ровинская небрежно, но в то же время и пристально глядела вниз на эстраду и на зрителей, и лицо ее выражало усталость, скуку, а может быть, и то пресыщение всеми зрелищами, какие так свойственны знаменитостям. Её прекрасные длинные, худые пальцы левой руки лежали на малиновом бархате ложи. Редкостной красоты изумруды так небрежно держались на них, что, казалось, вот-вот свалятся, и вдруг она рассмеялась.

— Посмотрите, — сказала она, — какая смешная фигура, или, вернее сказать, какая смешная профессия. Вот, вот на этого, который играет на «семиствольной цевнице».

Все поглядели по направлению ее руки. И в самом деле, картина была довольно смешная. Сзади румынского оркестра сидел толстый, усатый человек, вероятно, отец, а может быть, даже и дедушка многочисленного семейства, и изо всех сил свистел в семь деревянных свистулек, склеенных вместе. Так как ему было, вероятно, трудно передвигать этот инструмент между губами, то он с необыкновенной быстротой поворачивал голову то влево, то вправо.

— Удивительное занятие, — сказала Ровинская. — А ну-ка вы, Чаплинский, попробуйте так помотать головой.

Володя Чаплинский, тайно и безнадежно влюбленный в артистку, сейчас же послушно и усердно постарался это сделать, но через полминуты отказался.

— Это невозможно, — сказал он, — тут нужна или долгая тренировка, или, может быть, наследственные способности. Голова кружится.

Баронесса в это время отрывала лепестки у своей розы и бросала их в бокал, потом, с трудом подавив зевоту, она сказала, чуть-чуть поморщившись:

— Но, боже мой, как скучно развлекаются у вас в К.! Посмотрите: ни смеха, ни пения, ни танцев. Точно какое-то стадо, которое пригнали, чтобы нарочно веселиться!

Рязанов лениво взял свой бокал, отхлебнул немного и ответил равнодушно своим очаровательным голосом:

— Ну, а у вас, в Париже или Ницце, разве веселее? Ведь надо сознаться: веселье, молодость и смех навсегда исчезли из человеческой жизни, да и вряд ли когда-нибудь вернутся. Мне кажется, что нужно относиться к людям терпеливее. Почем знать, может быть для всех, сидящих тут, внизу, сегодняшний вечер — отдых, праздник?

— Защитительная речь, — вставил со своей спокойной манерой Чаплинский.

Но Ровинская быстро обернулась к мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились. А это у нее служило признаком гнева, от которого иногда делали глупости и коронованные особы. Впрочем, она тотчас же сдержалась и продолжала вяло:

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю даже, для чего мы сюда приехали. Ведь зрелищ теперь совсем нет на свете. Вот я, например, видала бои быков в Севилье, Мадриде и Марсели — представление, которое, кроме отвращения, ничего не вызывает. Видала и бокс и борьбу — гадость и грубость. Пришлось мне также участвовать на охоте на тигра, причем я сидела под балдахином на спине большого умного белого слона... словом, вы это хорошо сами знаете. И от всей моей большой, пестрой, шумной жизни, от которой я состарилась...

— О, что вы, Елена Викторовна! — сказал с ласковым упреком Чаплинский.

— Бросьте, Володя, комплименты! Я сама знаю, что еще молода и прекрасна телом, но, право, иногда мне кажется, что мне девяносто лет. Так износилась душа. Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильных впечатления врезались в мою душу. Первое — это когда я еще девочкой видела, как кошка кралась за воробьем, и я с ужасом и с интересом следила за ее движениями и за зорким взглядом птицы. До сих пор я и сама не знаю, чему я сочувствовала более: ловкости ли кошки, или увертливости воробья. Воробей оказался проворнее. Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвост трубою и старалась сама перед собою делать вид, что ничего особенного не произошло. В другой раз мне пришлось петь в опере дуэт с одним великим артистом...

— С кем? — спросила быстро баронесса.

— Не все ли равно? К чему имена? И вот, когда мы с ним пели, я вся чувствовала себя во власти гения. Как чудесно, в какую дивную гармонию слились наши голоса! Ах! Невозможно передать этого впечатления. Вероятно, это бывает только раз в жизни. Мне по роли нужно было плакать, и я плакала искренними, настоящими слезами. И когда после занавеса он подошел ко мне и погладил меня своей большой горячей рукой по волосам и со своей обворожительно-светлой улыбкой сказал: «Прекрасно! Первый раз в жизни я так пел»... и вот я, — а я очень гордый человек, — я поцеловала у него руку. А у меня еще стояли слезы в глазах...

— А третье? — спросила баронесса, и глаза ее зажглись злыми искрами ревности.

— Ах, третье, — ответила грустно артистка, — третье проще простого. В прошлогоднем сезоне я жила в Ницце и вот видела на открытой сцене, во Фрежюссе, «Кармен» с участием Сесиль Кеттен, которая теперь, — артистка искренно перекрестилась,— умерла... не знаю, право, к счастью или к несчастью для себя?

Вдруг, мгновенно, ее прелестные глаза наполнились слезами и засияли таким волшебным зеленым светом, каким сияет летними теплыми сумерками вечерняя звезда. Она обернула лицо к сцене, и некоторое время ее длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась к своим друзьям, то глаза уже были сухи и на загадочных, порочных и властных губах блестела непринужденная улыбка.

Тогда Рязанов спросил ее вежливо, нежным, но умышленно спокойным тоном:

— Но ведь, Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонники, рев толпы, цветы, роскошь... Наконец тот восторг, который вы доставляете своим зрителям. Неужели даже это не щекочет ваших нервов?

— Нет, Рязанов, — ответила она усталым голосом, — вы сами не хуже меня знаете, чего это стоит. Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его знакомых, а кстати, и двадцать пять рублей в конверте. Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашивают у вас карточки с надписями. Какой-нибудь старый болван в генеральском чине, который громко мне подпевает во время моей арии. Вечный шепот сзади тебя, когда ты проходишь: «Вот она, та самая, знаменитая!» Анонимные письма, наглость закулисных завсегдатаев... да всего и не перечислишь! Ведь, наверное, вас самого часто осаждают судебные психопатки?

— Да, — сказал твердо Рязанов.

— Вот и все. А прибавьте к этому самое ужасное, то, что каждый раз, почувствовав настоящее вдохновение, я тут же мучительно ощущаю сознание, что я притворяюсь и кривляюсь перед людьми... А боязнь успеха соперницы? А вечный страх потерять голос, сорвать его или простудиться? Вечная мучительная возня с горловыми связками? Нет, право, тяжело нести на своих плечах известность.

— Но артистическая слава? — возразил адвокат. — Власть гения! Это ведь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свете!

— Да, да, конечно, вы правы, мой дорогой. Но слава, знаменитость сладки лишь издали, когда о них только мечтаешь. Но когда их достиг — то чувствуешь одни их шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый золотник их убыли. И еще я забыла сказать. Ведь мы, артисты, несем каторжный труд. Утром упражнения, днем репетиция, а там едва хватит времени на обед и пора на спектакль. Чудом урвешь часок, чтобы почитать или развлечься вот, как мы с вами. Да и то... развлечение совсем из средних...

Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьере.

Володя Чаплинский, взволнованный этим разговором, вдруг спросил:

— Ну, а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотели, что бы развлекло ваше воображение и скуку?

Она посмотрела на него своими загадочными глазами и тихо, как будто даже немножко застенчиво, ответила:

— В прежнее время люди жили веселее и не знали никаких предрассудков. Вот тогда, мне кажется, я была бы на месте и жила бы полной жизнью. О, древний Рим!

Никто ее не понял, кроме Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнес своим бархатным актерским голосом классическую, всем известную латинскую фразу:

— Ave, Caesar, morituri te salutant! [1]

— Именно! Я вас очень люблю, Рязанов, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль на лету, хотя должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И в самом деле, сходятся два человека, вчерашние друзья, собеседники, застольники, и сегодня один из них должен погибнуть. Понимаете, уйти из жизни навсегда. Но у них нет ни злобы, ни страха. Вот

---

[1] Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!

настоящее прекрасное зрелище, которое я только могу себе представить!

— Сколько в тебе жестокости, — сказала раздумчиво баронесса.

— Да, уж ничего не поделаешь! Мои предки были всадниками и грабителями. Однако, господа, не уехать ли нам?

Они все вышли из сада. Володя Чаплинский велел крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку. И вдруг она спросила:

— Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ездите, когда прощаетесь с так называемыми порядочными женщинами?

Володя замялся. Однако он знал твердо, что лгать Ровинской нельзя.

— М-м-м... Я боюсь оскорбить ваш слух. М-м-м... К цыганам, например... в ночные кабаре...

— А еще что-нибудь? похуже?

— Право, вы ставите меня в неловкое положение. С тех пор как я в вас так безумно влюблен...

— Оставьте романтику!

— Ну, как сказать... — пролепетал Володя, почувствовав, что он краснеет не только лицом, но телом, спиной,— ну, конечно, к женщинам. Теперь со мною лично этого, конечно, не бывает...

Ровинская злобно прижала к себе локоть Чаплинского.

— В публичный дом?

Володя ничего не ответил. Тогда она сказала:

— Итак, вот сейчас вы нас туда свезете на автомобиле и познакомите нас с этим бытом, который для меня чужд. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство.

Остальные двое согласились на это, вероятно, неохотно, но Елене Викторовне сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда делала все, что хотела. И потом все они слышали и знали, что в Петербурге светские кутящие дамы и даже девушки позволяют себе из модного снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Ровинская.

VII

По дороге на Ямскую улицу Ровинская сказала Володе:

— Вы меня повезете сначала в самое роскошное учреждение, потом в среднее, а потом в самое грязное.

— Дорогая Елена Викторовна, — горячо возразил Чаплинский, — я для вас готов все сделать. Говорю без ложного хвастовства, что отдам свою жизнь по вашему приказанию, разрушу свою карьеру и положение по вашему одному знаку... Но я не рискую вас везти в эти дома. Русские нравы — грубые, а то и просто бесчеловечные нравы. Я боюсь, что вас оскорбят резким, непристойным словом или случайный посетитель сделает при вас какую-нибудь нелепую выходку...

— Ах, боже мой, — нетерпеливо прервала Ровинская, — когда я пела в Лондоне, то в это время за мной многие ухаживали, и я не постеснялась в избранной компании поехать смотреть самые грязные притоны Уайтчепля. Скажу, что ко мне там относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были в это время двое английских аристократов, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильные физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидеть женщину. Впрочем, может быть, вы, Володя, из породы трусов?..

Чаплинский вспыхнул:

— О нет, нет, Елена Викторовна. Я вас предупреждал только из любви к вам. Но если вы прикажете, то я готов идти, куда хотите. Не только в это сомнительное предприятие, но хоть и на самую смерть.

В это время они уже подъехали к самому роскошному заведению на Ямках — к Треппелю. Адвокат Рязанов сказал, улыбаясь своей обычной иронической улыбкой:

— Итак, начинается обозрение зверинца.

Их провели в кабинет с малиновыми обоями, а на обоях повторялся, в стиле «ампир», золотой рисунок в виде мелких лавровых венков. И сразу Ровинская узнала своей зоркой артистической памятью, что совер-

шенно такие же обои были и в том кабинете, где они все четверо только что сидели.

Вышли четыре остзейские немки. Все толстые, полногрудые блондинки, напудренные, очень важные и почтительные. Разговор сначала не завязывался. Девушки сидели неподвижно, точно каменные изваяния, чтобы изо всех сил притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовал Рязанов, не улучшило настроения. Ровинская первая пришла на помощь обществу, обратившись к самой толстой, самой белокурой, похожей на булку, немке. Она спросила вежливо по-немецки:

— Скажите, — откуда вы родом? Вероятно, из Германии?

— Нет, gnädige Frau[1], я из Риги.

— Что же вас заставляет здесь служить? Надеюсь, — не нужда?

— Конечно, нет, gnädige Frau. Но, понимаете, мой жених Ганс служит кельнером в ресторане-автомате, и мы слишком бедны для того, чтобы теперь жениться. Я отношу мои сбережения в банк, и он делает то же самое. Когда мы накопим необходимые нам десять тысяч рублей, то мы откроем свою собственную пивную, и, если бог благословит, тогда мы позволим себе роскошь иметь детей. Двоих детей. Мальчика и девочку.

— Но послушайте же, meine Fräulein[2], — удивилась Ровинская. — Вы молоды, красивы, знаете два языка...

— Три, мадам, — гордо вставила немка. — Я знаю еще и эстонский. Я окончила городское училище и три класса гимназии.

— Ну вот, видите, видите... — загорячилась Ровинская. — С таким образованием вы всегда могли бы найти место на всем готовом рублей на тридцать. Ну, скажем, в качестве экономки, бонны, старшей приказчицы в хорошем магазине, кассирши... И если ваш будущий жених... Фриц...

— Ганс, мадам...

---

[1] Сударыня *(нем.)*.
[2] Девушка *(нем.)*.

— Если Ганс оказался бы трудолюбивым и бережливым человеком, то вам совсем нетрудно было бы через три-четыре года стать совершенно на ноги. Как вы думаете?

— Ах, мадам, вы немного ошибаетесь. Вы упустили из виду то, что на самом лучшем месте я, даже отказывая себе во всем, не сумею отложить в месяц более пятнадцати — двадцати рублей, а здесь, при благоразумной экономии, я выгадываю до ста рублей и сейчас же отношу их в сберегательную кассу на книжку. А кроме того, вообразите себе, gnädige Frau, какое унизительное положение быть в доме прислугой! Всегда зависеть от каприза или расположения духа хозяев! И хозяин всегда пристает с глупостями. Пфуй!.. А хозяйка ревнует, придирается и бранится.

— Нет... не понимаю... — задумчиво протянула Ровинская, не глядя немке в лицо, а потупив глаза в пол.— Я много слышала о вашей жизни здесь, в этих... как это называется?.. в домах. Рассказывают что-то ужасное. Что вас принуждают любить самых отвратительных, старых и уродливых мужчин, что вас обирают и эксплуатируют самым жестоким образом...

— О, никогда, мадам... У нас, у каждой, есть своя расчетная книжка, где вписывается аккуратно мой доход и расход. За прошлый месяц я заработала немного больше пятисот рублей. Как всегда, хозяйке две трети за стол, квартиру, отопление, освещение, белье... Мне остается больше чем сто пятьдесят, не так ли? Пятьдесят я трачу на костюмы и на всякие мелочи. Сто сберегаю... Какая же это эксплуатация, мадам, я вас спрашиваю? А если мужчина мне совсем не нравится, — правда, бывают чересчур уж гадкие, — я всегда могу сказаться больной, и вместо меня пойдет какая-нибудь из новеньких...

— Но, ведь... простите, я не знаю вашего имени...

— Эльза.

— Говорят, Эльза, что с вами обращаются очень грубо... иногда бьют... принуждают к тому, чего вы не хотите и что вам противно?

— Никогда, мадам! — высокомерно уронила Эльза. — Мы все здесь живем своей дружной семьей. Все

мы землячки или родственницы, и дай бог, чтобы многим так жилось в родных фамилиях, как нам здесь. Правда, на Ямской улице бывают разные скандалы, и драки, и недоразумения. Но это там... в этих... в рублевых заведениях. Русские девушки много пьют и всегда имеют одного любовника. И они совсем не думают о своем будущем.

— Вы благоразумны, Эльза, — сказала тяжелым тоном Ровинская. — Все это хорошо. Ну, а случайная болезнь? Зараза? Ведь это смерть! А как угадать?

— И опять — нет, мадам. Я не пущу к себе в кровать мужчину, прежде чем не сделаю ему подробный медицинский осмотр... Я гарантирована по крайней мере на семьдесят пять процентов.

— Черт! — вдруг горячо воскликнула Ровинская и стукнула кулаком по столу. — Но ведь ваш Альберт...

— Ганс... — кротко поправила немка.

— Простите... Ваш Ганс, наверно, не очень радуется тому, что вы живете здесь и что вы каждый день изменяете ему?

Эльза поглядела на нее с искренним, живым изумлением.

— Но, gnädige Frau... Я никогда и не изменяла ему! Это другие погибшие девчонки, особенно русские, имеют себе любовников, на которых они тратят свои тяжелые деньги. Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого? Пфуй!

— Большего падения я не воображала! — сказала брезгливо и громко Ровинская, вставая. — Заплатите, господа, и пойдем отсюда дальше.

Когда они вышли на улицу, Володя взял ее под руку и сказал умоляющим голосом:

— Ради бога, не довольно ли вам одного опыта?

— О, какая пошлость! Какая пошлость!

— Вот я поэтому и говорю, бросим этот опыт.

— Нет, во всяком случае, я иду до конца. Покажите мне что-нибудь среднее, попроще.

Володя Чаплинский, который все время мучился за Елену Викторовну, предложил самое подходящее —

зайти в заведение Анны Марковны, до которого всего десять шагов.

Но тут-то их и ждали сильные впечатления. Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколько рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, только немножко более ободранный и полинялый. По приказанию Эммы Эдуардовны согнали в кабинет девиц. Но это было то же самое, что смешать соду и кислоту. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку — злую, раздраженную, с дерзкими огнями в глазах. Последней вошла скромная, тихая Тамара со своей застенчивой и развратной улыбкой Монны-Лизы. В кабинете собрался в конце концов почти весь состав заведения. Ровинская уже не рисковала спрашивать — «как дошла ты до жизни такой?» Но надо сказать, что обитательницы дома встретили ее с внешним гостеприимством. Елена Викторовна попросила спеть их обычные канонные песни, и они охотно спели:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает, —
Ну, так черт его дери.

И дальше:

Бедная, бедная, бедная я —
Казенка закрыта,
Болит голова...

Любовь шармача
Горяча, горяча,
А проститутка,
Как лед, холодна...
Ха-ха-ха.

Сошлися они
На подбор, на подбор:
Она — проститутка,
Он — карманный вор...
Ха-ха-ха!

Вот утро приходит,
Он о краже хлопочет,

Она же на кровати
Лежит и хохочет...
Ха-ха-ха!

Наутро мальчишку
В сыскную ведут,
Ее ж, проститутку,
Товарищи ждут...
Ха-ха-ха!

И еще дальше арестантскую:

Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда,
А годы за годами —
Проходят лета.

И еще:

Не плачь ты, Маруся,
Будешь ты моя,
Как отбуду призыв,
Женюсь на тебя.

Но тут вдруг, к общему удивлению, расхохоталась толстая, обычно молчаливая Катька. Она была родом из Одессы.

— Позвольте и мне спеть одну песню. Ее поют у нас на Молдаванке и на Пересыпи воры и хипесницы в трактирах.

И ужасным басом, заржавленным и неподатливым голосом она запела, делая самые нелепые жесты, но, очевидно, подражая когда-то виденной ею шансонетной певице третьего разбора:

Ах, пойдю я к «дюковку»,
Сядю я за стол,
Сбрасиваю шляпу,
Кидаю под стол.
Спрасиваю милую,
Что ты будишь пить?
А она мне отвечать:
Голова болить.
Я тебе не спрасюю,
Что в тебе болить,
А я тебе спрасюю,
Что ты будешь пить?
Или же пиво, или же вино,
Или же фиалку, или ничего?

И все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не ворвалась в кабинет Манька Беленькая в одной нижней рубашке и в белых кружевных штанишках. С нею кутил какой-то купец, который накануне устраивал райскую ночь, и злосчастный бенедиктин, который на девушку всегда действовал с быстротою динамита, привел ее в обычное скандальное состояние. Она уже не была больше «Манька Маленькая» и не «Манька Беленькая», а была «Манька Скандалистка». Вбежав в кабинет, она сразу от неожиданности упала на пол и, лежа на спине, расхохоталась так искренно, что и все остальные расхохотались. Да. Но смех этот был недолог... Манька вдруг уселась на полу и закричала:

— Ура, к нам новые девки поступили!

Это было совсем уже неожиданностью. Еще большую бестактность сделала баронесса. Она сказала:

— Я — патронесса монастыря для падших девушек, и поэтому я, по долгу моей службы, должна собирать сведения о вас.

Но тут мгновенно вспыхнула Женька:

— Сейчас же убирайся отсюда, старая дура! Ветошка! Половая тряпка!.. Ваши приюты Магдалины — это хуже, чем тюрьма. Ваши секретари пользуются нами, как собаки падалью. Ваши отцы, мужья и братья приходят к нам, и мы заражаем их всякими болезнями... Нарочно!.. А они в свою очередь заражают вас. Ваши надзирательницы живут с кучерами, дворниками и городовыми, а нас сажают в карцер за то, что мы рассмеемся или пошутим между собою. И вот, если вы приехали сюда, как в театр, то вы должны выслушать правду прямо в лицо.

Но Тамара спокойно остановила ее:

— Перестань, Женя, я сама... Неужели вы и вправду думайте, баронесса, что мы хуже так называемых порядочных женщин? Ко мне приходит человек, платит мне два рубля за визит или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю ни от кого в мире... А скажите, баронесса, неужели вы знаете хоть одну семейную, замужнюю даму, которая не отдавалась бы тайком либо ради страсти — молодому, либо ради денег — старику? Мне прекрасно известно, что пятьдесят процен-

тов из вас состоят на содержании у любовников, а пятьдесят остальных, из тех, которые постарше, содержат молодых мальчишек. Мне известно также, что многие — ах, как многие! — из вас живут со своими отцами, братьями и даже сыновьями, но вы эти секреты прячете в какой-то потайной сундучок. И вот вся разница между нами. Мы — падшие, но мы не лжем и не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжете. Подумайте теперь сами — в чью пользу эта разница?

— Браво, Тамарочка, так их! — закричала Манька, не вставая с полу, растрепанная, белокурая, курчавая, похожая сейчас на тринадцатилетнюю девочку.

— Ну, ну! — подтолкнула и Женька, горя воспламененными глазами.

— Отчего же, Женечка! Я пойду и дальше. Из нас едва-едва одна на тысячу делала себе аборт. А вы все по нескольку раз. Что? Или это неправда? И те из вас, которые это делали, делали не ради отчаяния или жестокой бедности, а вы просто боитесь испортить себе фигуру и красоту — этот ваш единственный капитал. Или вы искали лишь скотской похоти, а беременность и кормление мешали вам ей предаваться!

Ровинская сконфузилась и быстрым шепотом произнесла:

— Faites attention, baronne, que dans sa position cette demoiselle est instruite.

— Figurez-vous, que moi, j'ai aussi remarqué cet étrange visage. Comme si je l'ai déjà vu... est-ce en rêve?.. en demi-delire? ou dans sa petite enfance?

— Ne vous donnez pas la peine de chercher dans vos souvenires, baronne, — вдруг дерзко вмешалась в их разговор Тамара. — Je puis de suite vous venir en aide. Rappelez-vous seulement Kharkoffe, et la chambre d'hotel de Koniakine, l'entrepreneur Solovieitschik, et le ténor di grazzia... A ce moment vous n'étiez pas encore m-me la baronne de[1]... Впрочем, бросим французский

---

[1] — Обратите внимание, баронесса, в ее положении эта девушка довольно образованна.

— Представьте, я тоже заметила это странное лицо. Но где я его видела... Во сне?.. В бреду? В раннем детстве?

язык... Вы были простой хористкой и служили со мной вместе.

— Mais dites moi, au nom de dieu, comment vous trouvez vous ici, mademoiselle Marguerite? [1]

— О, об этом нас ежедневно расспрашивают. Просто взяла и очутилась...

И с непередаваемым цинизмом она спросила:

— Надеюсь, вы оплатите время, которое мы провели с вами?

— Нет, черт вас побрал бы! — вдруг вскрикнула, быстро поднявшись с ковра, Манька Беленькая.

И вдруг, вытащив из-за чулка два золотых, швырнула их на стол.

— Нате!.. Это я вам даю на извозчика. Уезжайте сейчас же, иначе я разобью здесь все зеркала и бутылки...

Ровинская встала и сказала с искренними теплыми слезами на глазах:

— Конечно, мы уедем, и урок mademoiselle Marguerite пойдет нам в пользу. Время ваше будет оплачено— позаботьтесь, Володя. Однако вы так много пели для нас, что позвольте и мне спеть для вас.

Ровинская подошла к пианино, взяла несколько аккордов и вдруг запела прелестный романс Даргомыжского:

Расстались гордо мы, ни вздохом, ни словами
Упрека ревности тебе не подала...
Мы разошлись навек, но если бы с тобою
Я встретиться могла!..
Ах, если б я хоть встретиться могла!

Без слез, без жалоб я склонилась пред судьбою...
Не знаю, сделав мне так много в жизни зла,
Любил ли ты меня? но если бы с тобою
Я встретиться могла!
Ах, если б я хоть встретиться могла!

— Не трудитесь напрягать вашу память, баронесса... Я сейчас приду вам на помощь. Вспомните только Харьков, гостиницу Конякина, антрепренера Соловейчика и одного лирического тенора... В то время вы еще не были баронессой де... *(Перев. с франц. автора.)*

[1] Но скажите, ради бога, как вы очутились здесь, мадемуазель Маргарита? *(Перев. с франц. автора.)*

Этот нежный и страстный романс, исполненный великой артисткой, вдруг напомнил всем этим женщинам о первой любви, о первом падении, о позднем прощании на весенней заре, на утреннем холодке, когда трава седа от росы, а красное небо красит в розовый цвет верхушки берез, о последних объятиях, так тесно сплетенных, и о том, как не ошибающееся чуткое сердце скорбно шепчет: «Нет, это не повторится, не повторится!» И губы тогда были холодны и сухи, а на волосах лежал утренний влажный туман.

Замолчала Тамара, замолчала Манька Скандалистка, и вдруг Женька, самая неукротимая из всех девушек, подбежала к артистке, упала на колени и зарыдала у нее в ногах.

И Ровинская, сама растроганная, обняла ее за голову и сказала:

— Сестра моя, дай я тебя поцелую!

Женька прошептала ей что-то на ухо.

— Да это — глупости, — сказала Ровинская, — несколько месяцев лечения, и все пройдет.

— Нет, нет, нет... Я хочу всех их сделать больными. Пускай они все сгниют и подохнут.

— Ах, милая моя, — сказала Ровинская, — я бы на вашем месте этого не сделала.

И вот Женька, эта гордая Женька, стала целовать колени и руки артистки и говорила:

— Зачем же меня люди так обидели?.. Зачем меня так обидели? Зачем? Зачем? Зачем?

Такова власть гения! Единственная власть, которая берет в свои прекрасные руки не подлый разум, а теплую душу человека! Самолюбивая Женька прятала свое лицо в платье Ровинской, Манька Беленькая скромно сидела на стуле, закрыв лицо платком, Тамара, опершись локтем о колено и склонив голову на ладонь, сосредоточенно глядела вниз, а швейцар Симеон, подглядывавший на всякий случай у дверей, таращил глаза от изумления.

Ровинская тихо шептала в самое ухо Женьки:

— Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так плохо, хоть вешайся, а—глядь—завтра жизнь круто переменилась. Милая моя, сестра моя, я теперь

мировая знаменитость. Но если бы ты знала, сквозь какие моря унижений и подлости мне пришлось пройти! Будь же здорова, дорогая моя, и верь своей звезде.

Она нагнулась к Женьке и поцеловала ее в лоб. И никогда потом Володя Чаплинский, с жутким напряжением следивший за этой сценой, не мог забыть тех теплых и прекрасных лучей, которые в этот момент зажглись в зеленых, длинных, египетских глазах артистки.

Компания невесело уехала, но на минутку задержался Рязанов.

Он подошел к Тамаре, почтительно и нежно поцеловал ее руку и сказал:

— Если возможно, простите нашу выходку... Это, конечно, не повторится. Но если я когда-нибудь вам понадоблюсь, то помните, что я всегда к вашим услугам. Вот моя визитная карточка. Не выставляйте ее на своих комодах, но помните, что с этого вечера я — ваш друг.

И он, еще раз поцеловав руку у Тамары, последним спустился с лестницы.

VIII

В четверг, с самого утра, пошел беспрерывный дождик, и вот сразу позеленели обмытые листья каштанов, акаций и тополей. И вдруг стало как-то мечтательно-тихо и медлительно-скучно. Задумчиво и однообразно.

В это время все девушки собрались, по обыкновению, в комнате у Женьки. Но с ней делалось что-то странное. Она не острила, не смеялась, не читала, как всегда, своего обычного бульварного романа, который теперь бесцельно лежал у нее на груди или на животе, но была зла, сосредоточенно-печальна, и в ее глазах горел желтый огонь, говоривший о ненависти. Напрасно Манька Беленькая, Манька Скандалистка, которая ее обожала, старалась обратить на себя ее внимание — Женька точно ее не замечала, и разговор совсем не ладился. Было тоскливо. А может быть, на всех на них влиял упорный августовский дождик, зарядивший подряд на несколько недель.

Тамара присела на кровать к Женьке, ласково обняла ее и, приблизив рот к самому ее уху, сказала шепотом:

— Что с тобою, Женечка? Я давно вижу, что с тобою делается что-то странное. И Манька это тоже чувствует. Посмотри, как она извелась без твоей ласки. Скажи. Может быть, я сумею чем-нибудь тебе помочь?

Женька закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Тамара немного отодвинулась от нее, но продолжала ласково гладить ее по плечу.

— Твое дело, Женечка. Я не смею лезть к тебе в душу. Я только потому спросила, что ты — единственный человек, который...

Женька вдруг решительно вскочила с кровати, схватила за руку Тамару и сказала отрывисто и повелительно:

— Хорошо! Выйдем отсюда на минутку. Я тебе все расскажу. Девочки, подождите нас немного.

В светлом коридоре Женька положила руки на плечи подруги и с исказившимся, внезапно побледневшим лицом сказала:

— Ну, так вот, слушай: меня кто-то заразил сифилисом.

— Ах, милая, бедная моя. Давно?

— Давно. Помнишь, когда у нас были студенты? Еще они затеяли скандал с Платоновым? Тогда я в первый раз узнала об этом. Узнала днем.

— Знаешь, — тихо заметила Тамара, — я об этом почти догадывалась, а в особенности тогда, когда ты встала на колени перед певицей и о чем-то говорила с ней тихо. Но все-таки, милая Женечка, ведь надо бы полечиться.

Женька гневно топнула ногой и разорвала пополам батистовый платок, который она нервно комкала в руках.

— Нет! Ни за что! Из вас я никого не заражу. Ты сама могла заметить, что в последние недели я не обедаю за общим столом и что сама мою и перетираю посуду. Потому же я стараюсь отвадить от себя Маньку, которую, ты сама знаешь, я люблю искренно, по-настоящему. Но этих двуногих подлецов я нарочно заражаю

и заражаю каждый вечер человек по десяти, по пятнадцати. Пускай они гниют, пускай переносят сифилис на своих жен, любовниц, матерей, да, да, и на матерей, и на отцов, и на гувернанток, и даже хоть на прабабушек. Пускай они пропадут все, честные подлецы!

Тамара осторожно и нежно погладила Женьку по голове.

— Неужели ты пойдешь до конца, Женечка?...

— Да. И без всякой пощады. Вам, однако, нечего опасаться меня. Я сама выбираю мужчин. Самых глупых, самых красивых, самых богатых и самых важных, но ни к одной из вас я потом их не пущу. О! я разыгрываю перед ними такие страсти, что ты бы расхохоталась, если бы увидела. Я кусаю их, царапаю, кричу и дрожу, как сумасшедшая. Они, дурачье, верят.

— Твое дело, твое дело, Женечка, — раздумчиво произнесла Тамара, глядя вниз, — может быть, ты и права. Почем знать? Но скажи, как ты уклонилась от доктора?

Женька вдруг отвернулась от нее, прижалась лицом к углу оконной рамы и внезапно расплакалась едкими, жгучими слезами — слезами озлобления и мести, и в то же время она говорила, задыхаясь и вздрагивая:

— Потому что... потому что... Потому что бог мне послал особенное счастье: у меня болит там, где, пожалуй, никакому доктору не видать. А наш, кроме того, стар и глуп...

И внезапно каким-то необыкновенным усилием воли Женька так же неожиданно, как расплакалась, так и остановила слезы.

— Пойдем ко мне, Тамарочка, — сказала она. — Конечно, ты не будешь болтать лишнее?

— Конечно, нет.

И они вернулись в комнату Женьки, обе спокойные и сдержанные.

В комнату вошел Симеон. Он, вопреки своей природной наглости, всегда относился с оттенком уважения к Женьке. Симеон сказал:

— Так что, Женечка, к Ванде приехали их превосходительство. Позвольте им уйти на десять минут.

Ванда, голубоглазая, светлая блондинка, с большим красным ртом, с типичным лицом литвинки, поглядела умоляюще на Женьку. Если бы Женька сказала: «Нет», то она осталась бы в комнате, но Женька ничего не сказала и даже умышленно закрыла глаза. Ванда покорно вышла из комнаты.

Этот генерал приезжал аккуратно два раза в месяц, через две недели (так же, как и к другой девушке, Зое, приезжал ежедневно другой почетный гость, прозванный в доме директором).

Женька вдруг бросила через себя старую, затрепанную книжку. Ее коричневые глаза вспыхнули настоящим золотым огнем.

— Напрасно вы брезгуете этим генералом, — сказала она. — Я знавала хуже эфиопов. У меня был один гость — настоящий болван. Он меня не мог любить иначе... иначе... ну, скажем просто, он меня колол иголками в грудь... А в Вильно ко мне ходил ксендз. Он одевал меня во все белое, заставлял пудриться, укладывал в постель. Зажигал около меня три свечки. И тогда, когда я казалась ему совсем мертвой, он кидался на меня.

Манька Беленькая вдруг воскликнула:

— Ты правду говоришь, Женька! У меня тоже был один ёлод. Он меня все время заставлял притворяться невинной, чтобы я плакала и кричала. А вот ты, Женечка, самая умная из нас, а все-таки не угадаешь, кто он был...

— Смотритель тюрьмы?

— Бранд-майор.

Вдруг басом расхохоталась Катя:

— А то у меня был один учитель. Он какую-то арифметику учил, я не помню, какую. Он меня все время заставлял думать, что будто бы я мужчина, а он женщина, и чтобы я его... насильно... И какой дурак! Представьте себе, девушки, он все время кричал: «Я твоя! Я вся твоя! Возьми меня! Возьми меня!»

— Шамашечкины! — сказала решительным и неожиданно низким контральто голубоглазая проворная Верка, — шамашечкины.

— Нет, отчего же? — вдруг возразила ласковая и скромная Тамара. — Вовсе не сумасшедший, а просто, как и все мужчины, развратник. Дома ему скучно, а здесь за свои деньги он может получить какое хочет удовольствие. Кажется, ясно?

До сих пор молчавшая Женя вдруг одним быстрым движением села на кровать.

— Все вы дуры! — крикнула она. — Отчего вы им все это прощаете? Раньше я и сама была глупа, а теперь заставляю их ходить передо мной на четвереньках, заставляю целовать мои пятки, и они это делают с наслаждением... Вы все, девочки, знаете, что я не люблю денег, но я обираю мужчин, как только могу. Они, мерзавцы, дарят мне портреты своих жен, невест, матерей, дочерей... Впрочем, вы, кажется, видали фотографии в нашем клозете? Но ведь подумайте, дети мои... Женщина любит один раз, но навсегда, а мужчина, точно борзой кобель... Это ничего, что он изменяет, но у него никогда не остается даже простого чувства благодарности ни к старой, ни к новой любовнице. Говорят, я слышала, что теперь среди молодежи есть много чистых мальчиков. Я этому верю, хотя сама не видела, не встречала. А всех, кого видела, все потаскуны, мерзавцы и подлецы. Не так давно я читала какой-то роман из нашей разнесчастной жизни. Это было почти то же самое, что я сейчас говорю.

Вернулась Ванда. Она медленно, осторожно уселась на край Жениной постели, там, где падала тень от лампового колпака. Из той глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна людям, приговоренным к смерти, каторжникам и проституткам, никто не осмелился ее спросить, как она провела эти полтора часа. Вдруг она бросила на стол двадцать пять рублей и сказала:

— Принесите мне белого вина и арбуз.

И, уткнувшись лицом в опустившиеся на стол руки, она беззвучно зарыдала. И опять никто не позволил себе задать ей какой-нибудь вопрос. Только Женька по-

бледнела от злобы и так прикусила себе нижнюю губу, что на ней потом остался ряд белых пятен.

— Да, — сказала она, — вот теперь я понимаю Тамару. Ты слышишь, Тамара, я перед тобой извиняюсь. Я часто смеялась над тем, что ты влюблена в своего вора Сеньку. А вот я теперь скажу, что из всех мужчин самый порядочный — это вор или убийца. Он не скрывает того, что любит девчонку, и, если нужно, сделает для нее преступление — воровство или убийство. А эти, остальные! Все вранье, ложь, маленькая хитрость, разврат исподтишка. У мерзавца три семьи, жена и пятеро детей. Гувернантка и два ребенка за границей. Старшая дочь от первого жениного брака, и от нее ребенок. И это все, все в городе знают, кроме его маленьких детей. Да и те, может быть, догадываются и перешептываются. И, представьте себе, он — почтенное лицо, уважаемое всем миром... Дети мои, кажется, у нас никогда не было случая, чтобы мы пускались друг с другом в откровенности, а вот я вам скажу, что меня, когда мне было десять с половиной лет, моя собственная мать продала в городе Житомире доктору Тарабукину. Я целовала его руки, умоляла пощадить меня, я кричала ему: «Я маленькая!» А он мне отвечал: «Ничего, ничего: подрастешь». Ну, конечно, боль, отвращенье, мерзость... А он потом это пустил, как ходячий анекдот. Отчаянный крик моей души.

— Ну, говорить, так говорить до конца, — спокойно сказала вдруг Зоя и улыбнулась небрежно и печально. — Меня лишил невинности учитель министерской школы Иван Петрович Сус. Просто позвал меня к себе на квартиру, а жена его в это время пошла на базар за поросенком, — было рождество. Угостил меня конфетами, а потом сказал, что одно из двух: либо я должна его во всем слушаться, либо он сейчас же меня выгонит из школы за дурное поведение. А ведь вы сами знаете, девочки, как мы боимся учителей. Здесь они нам не страшны, потому что мы с ними что хотим, то и делаем, а тогда! Тогда ведь он нам казался более чем царь и бог.

— А меня студент. Учил у нас барчуков. Там, где я служила...

— Нет, а я... — воскликнула Нюра, но, внезапно обернувшись назад, к двери, так и осталась с открытым ртом. Поглядев по направлению ее взгляда, Женька всплеснула руками. В дверях стояла Любка, исхудавшая, с черными кругами под глазами и, точно сомнамбула, отыскивала рукою дверную ручку, как точку опоры.

— Любка, дура, что с тобой?! — закричала громко Женька. — Что?!

— Ну, конечно, что: он взял и выгнал меня.

Никто не сказал ни слова. Женька закрыла глаза руками и часто задышала, и видно было, как под кожей ее щек быстро ходят напряженные мускулы скул.

— Женечка, на тебя только вся и надежда, — сказала с глубоким выражением тоскливой беспомощности Любка. — Тебя так все уважают. Поговори, душенька, с Анной Марковной или с Симеоном... Пускай меня примут обратно.

Женька выпрямилась на постели, вперилась в Любку сухими, горящими, но как будто плачущими глазами и спросила отрывисто:

— Ты ела что-нибудь сегодня?

— Нет. Ни вчера, ни сегодня. Ничего.

— Послушай, Женечка, — тихо спросила Ванда, — а что, если я дам ей белого вина? А Верка покамест сбегает на кухню за мясом. А?

— Делай, как знаешь. Конечно, это хорошо. Да поглядите, девчонки, ведь она вся мокрая. Ах, какая дурища! Ну! Живо! Раздевайся! Манька Беленькая или ты, Тамарочка, дайте ей сухие панталоны, теплые чулки и туфли. Ну, теперь, — обратилась она к Любке, — рассказывай, идиотка, все, что с тобой случилось!

IX

В то раннее утро, когда Лихонин так внезапно и, может быть, неожиданно даже для самого себя увез Любку из веселого заведения Анны Марковны, был перелом лета. Деревья еще стояли зелеными, но в запахе воздуха, листьев и травы уже слегка чувствовался,

точно издали, нежный, меланхолический и в то же время очаровательный запах приближающейся осени. С удивлением глядел студент на деревья, такие чистые, невинные и тихие, как будто бы бог, незаметно для людей, рассадил их здесь ночью, и деревья сами с удивлением оглядываются вокруг на спокойную голубую воду, как будто еще дремлющую в лужах и канавах и под деревянным мостом, перекинутым через мелкую речку, оглядываются на высокое, точно вновь вымытое небо, которое только что проснулось и в заре, спросонок, улыбается розовой, ленивой, счастливой улыбкой навстречу разгоравшемуся солнцу.

Сердце студента ширилось и трепетало: и от красоты этого блаженного утра, и от радости существования, и от сладостного воздуха, освежавшего его легкие после ночи, проведенной без сна в тесном и накуренном помещении. Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка.

«Да, он поступил, как человек, как настоящий человек, в самом высоком смысле этого слова! Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал. Хорошо им (кому это «им», Лихонин и сам не понимал как следует), хорошо им говорить об ужасах проституции, говорить, сидя за чаем с булками и колбасой, в присутствии чистых и развитых девушек. А сделал ли кто-нибудь из коллег какой-нибудь действительный шаг к освобождению женщины от гибели? Ну-ка? А то есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез, и сейчас же сам расплачется и начнет утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует сначала в щеку, потом в губы, ну, и известно что! Тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом никогда не расходится».

Он обнял Любку за стан и поглядел на нее ласковыми, почти влюбленными глазами, хотя сам подумал сейчас же, что смотрит на нее, как отец или брат.

Любку страшно морил сон, слипались глаза, и она с усилием таращила их, чтобы не заснуть, а на губах лежала та же наивная, детская, усталая улыбка, кото-

рую Лихонин заметил еще и там, в кабинете. И из одного угла ее рта слегка тянулась слюна.

— Люба, дорогая моя! Милая, многострадальная женщина! Посмотри, как хорошо кругом! Господи! Вот уже пять лет, как я не видал как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то в университет надо спешить. Посмотри, душенька, вон там заря расцвела. Солнце близко! Это — твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая жизнь. Ты смело обопрешься на мою сильную руку. Я выведу тебя на дорогу честного труда, на путь смелой, лицом к лицу, борьбы с жизнью!

Любка искоса взглянула на него. «Ишь, хмель-то еще играет, — ласково подумала она. — А ничего, — добрый и хороший. Только немножко некрасивый». И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тоном капризного упрека:

— Да-а! Обма-анете небось? Все вы мужчины такие. Вам бы сперва своего добиться, получить свое удовольствие, а потом нуль внимания!

— Я?! О! чтобы я?! — воскликнул горячо Лихонин и даже свободной рукой ударил себя в грудь. — Плохо же ты меня знаешь! Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку. Нет! Я положу все свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой ум, расширить твой кругозор, заставить твое бедное, исстрадавшееся сердце забыть все раны и обиды, которые нанесла ему жизнь! Я буду тебе отцом и братом! Я оберегу каждый твой шаг! А если ты полюбишь кого-нибудь истинно чистой, святой любовью, то я благословлю тот день и час, когда вырвал тебя из этого дантова ада!

В продолжение этой пылкой тирады старый извозчик многозначительно, хотя и молча, рассмеялся, и от этого беззвучного смеха тряслась его спина. Старые извозчики очень многое слышат, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозревают разговаривающие седоки, и многое старые извозчики знают из того, что происходит между людьми. Почем знать, может быть, он слышал не раз и более беспорядочные, более возвышенные речи?

Любке почему-то показалось, что Лихонин на нее рассердился или заранее ревнует ее к воображаемому сопернику. Уж слишком он громко и возбужденно декламировал. Она совсем проснулась, повернула к Лихонину свое лицо, с широко раскрытыми, недоумевающими и в то же время покорными глазами, и слегка прикоснулась пальцами к его правой руке, лежавшей на ее талии.

— Не сердитесь, мой миленький. Я никогда не сменю вас на другого. Вот вам, ей-богу, честное слово! Честное слово, что никогда! Разве я не чувствую, что вы меня хочете обеспечить? Вы думаете, разве я не понимаю? Вы же такой симпатичный, хорошенький, молоденький! Вот если бы вы были старик и некрасивый...

— Ах! Ты не про то! — закричал Лихонин и опять высоким слогом начал говорить ей о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла.

Из всех его слов Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя в чем-то виноватой, и вся как-то съежилась, запечалилась, опустила вниз голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы, но, к счастью, они в это время подъехали к дому, где квартировал Лихонин.

— Ну, вот мы и дома, — сказал студент. — Стой, извозчик!

А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически, с рукой, театрально протянутой вперед, прямо перед собой:

И в дом мой смело и спокойно
Хозяйкой полною войди!

И опять непонятная пророческая улыбка съежила старческое коричневое лицо извозчика.

X

Комната, в которой жил Лихонин, помещалась в пятом с половиной этаже. С половиной потому, что есть такие пяти-шести и семиэтажные доходные дома, битком набитые и дешевые, сверху которых возводятся

еще жалкие клоповники из кровельного железа, нечто вроде мансард, или, вернее, скворечников, в которых страшно холодно зимой, а летом жарко, точно на тропиках. Любка с трудом карабкалась наверх. Ей казалось, что вот-вот, еще два шага, и она свалится прямо на ступени лестницы и беспробудно заснет. А Лихонин между тем говорил:

— Дорогая моя! Я вижу, вы устали. Но ничего. Обопритесь на меня. Мы идем всё вверх! Всё выше и выше! Не это ли символ всех человеческих стремлений? Подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку!

Тут бедной Любке стало еще хуже. Она и так еле-еле поднималась одна, а ей пришлось еще тащить на буксире Лихонина, который чересчур отяжелел. И это бы еще ничего, что он был грузен, но ее понемногу начинало раздражать его многословие. Так иногда раздражает непрестанный, скучный, как зубная боль, плач грудного ребенка, пронзительное верещанье канарейки или если кто беспрерывно и фальшиво свистит в комнате рядом.

Наконец они добрались до комнаты Лихонина. Ключа в двери не было. Да обыкновенно ее никогда и не запирали на ключ. Лихонин толкнул дверь, и они вошли. В комнате было темно, потому что занавески были спущены. Пахло мышами, керосином, вчерашним борщом, заношенным постельным бельем, старым табачным дымом. В полутьме кто-то, кого не было видно, храпел оглушительно и разнообразно.

Лихонин приподнял штору. Обычная обстановка бедного холостого студента: провисшая, неубранная кровать со скомканным одеялом, хромой стол и на нем подсвечник без свечи, несколько книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати, вдоль другой стены — старый-престарый диван, на котором сейчас спал и храпел, широко раскрыв рот, какой-то чернокудрый и черноусый молодой человек. Ворот его рубахи был расстегнут, и сквозь ее прореху можно было видеть грудь и черные волосы, такие густые и курчавые, какие бывают только у карачаевских барашков.

— Нижерадзе! Эй, Нижерадзе, вставай! — крикнул Лихонин и толкнул спящего в бок. — Князь!

— М-м-м...

— Вставай, я тебе говорю, ишак кавказский, идиот осетинский!

— М-м-м...

— Да будет проклят твой род в лице предков и потомков! Да будут они изгнаны с высот прекрасного Кавказа! Да не увидят они никогда благословенной Грузии! Вставай, подлец! Вставай, дромадер аравийский! Кинтошка!..

Но вдруг, совсем неожиданно для Лихонина, вмешалась Любка. Она взяла его за руку и сказала робко:

— Миленький, зачем же его мучить? Может быть, он спать хочет, может быть, он устал? Пускай поспит. Уж лучше я поеду домой. Вы мне дадите полтинник на извозчика? Завтра вы опять ко мне приедете. Правда, душенька?

Лихонин смутился. Таким странным ему показалось вмешательство этой молчаливой, как будто сонной девушки. Конечно, он не сообразил того, что в ней говорила инстинктивная, бессознательная жалость к человеку, который недоспал, или, может быть, профессиональное уважение к чужому сну. Но удивление было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Он поднял свесившуюся до полу руку лежащего, между пальцами которой так и осталась потухшая папироса, и, крепко встряхнув ее, сказал серьезным, почти строгим голосом:

— Слушай же, Нижерадзе, я тебя, наконец, серьезно прошу. Пойми же, черт тебя побери, что я не один, а с женщиной. Свинья!

Случилось точно чудо: лежавший человек вдруг вскочил, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась под ним. Он сел на диване, быстро потер ладонями глаза, лоб, виски, увидал женщину, сразу сконфузился и пробормотал, торопливо застегивая косоворотку:

— Это ты, Лихонин? А я тут тебя дожидался, дожидался и заснул. Попроси незнакомого товарища, чтобы она отвернулась на минутку.

Он поспешно натянул на себя серую студенческую тужурку и взлохматил обеими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка, со свойственным всем женщинам кокетством, в каком бы возрасте и положении они ни находились, подошла к осколку зеркала, висевшему на стене, поправить прическу. Нижерадзе искоса, вопросительно, одним движением глаз показал на нее Лихонину.

— Ничего. Не обращай внимания, — ответил тот вслух. — А впрочем, выйдем отсюда. Я тебе сейчас же все расскажу. Извините, Любочка, я только на одну минуту. Сейчас вернусь, устрою вас, а затем испарюсь, как дым.

— Да вы не беспокойте себя, — возразила Любка, — мне и здесь, на диване, будет хорошо. А вы устраивайтесь себе на кровати.

— Нет, это уж не модель, ангел мой! У меня здесь есть один коллега. Я к нему и пойду ночевать. Сию минуту я вернусь.

Оба студента вышли в коридор.

— Что сей сон значит? — спросил Нижерадзе, широко раскрывая свои восточные, немножко бараньи глаза. — Откуда это прелестное дитя, этот товарищ в юбке?

Лихонин многозначительно покрутил головой и сморщился. Теперь, когда поездка, свежий воздух, утро и деловая, будничная, привычная обстановка почти совсем отрезвили его, он начал ощущать в душе смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапного поступка и в то же время что-то вроде бессознательного раздражения и против самого себя и против увезенной им женщины. Он уже предчувствовал тягость совместной жизни, множество хлопот, неприятностей и расходов, двусмысленные улыбки или даже просто бесцеремонные расспросы товарищей, наконец серьезную помеху во время государственных экзаменов. Но, едва заговорив с Нижерадзе, он сразу устыдился своего малодушия и, начав вяло, к концу опять загарцевал на героическом коне.

— Видишь ли, князь, — сказал он, в смущении вертя пуговицу на тужурке товарища и не глядя ему

в глаза, — ты ошибся. Это вовсе не товарищ в юбке, а это... просто я сейчас был с коллегами, был... то есть не был, а только заехал на минутку с товарищами на Ямки, к Анне Марковне.

— С кем? — спросил, оживившись, Нижерадзе.

— Ну, не все ли тебе равно, князь? Был Толпыгин, Рамзес, приват-доцент один — Ярченко, Боря Собашников и другие... не помню. Катались на лодке целый вечер, потом нырнули в кабачару, а уж потом, как свиньи, на Ямки. Я, ты знаешь, человек очень воздержанный. Я только сидел и насасывался коньяком, как губка, с одним знакомым репортером. Ну, а прочие все грехопаднули. И вот поутру отчего-то я совсем размяк. Так мне стало грустно и жалко глядеть на этих несчастных женщин. Подумал я и о том, что вот наши сестры пользуются нашим вниманием, любовью, покровительством, наши матери окружены благоговейным обожанием. Попробуй кто-нибудь сказать им грубое слово, толкнуть, обидеть, — ведь мы горло готовы перегрызть каждому! Не правда ли?

— М-м?.. — протянул не то вопросительно, не то выжидательно грузин и скосил глаза вбок.

— Ну вот, я и подумал: а ведь каждую из этих женщин любой прохвост, любой мальчишка, любой развалившийся старец может взять себе на минуту или на ночь, как мгновенную прихоть, и равнодушно еще в лишний, тысяча первый раз осквернить и опоганить в ней то, что в человеке есть самое драгоценное — любовь... Понимаешь, надругаться, растоптать ногами, заплатить за визит и уйти спокойно, ручки в брючки, посвистывая. А ужаснее всего, что это все вошло уже у них в привычку: и ей все равно, и ему все равно. Притупились чувства, померкла душа. Так ведь? А ведь в каждой из них погибает и прекрасная сестра и святая мать. А? Не правда ли?

— Н-на?.. — промычал Нижерадзе и опять отвел глаза в сторону.

— Я и подумал: к чему слова и лишние восклицания? К черту лицемерные речи на съездах. К черту аболиционизм, регламентацию (ему вдруг невольно пришли на ум недавние слова репортера) и все эти раздачи

священных книг в заведениях и магдалинские приюты! Вот я возьму и поступлю как настоящий честный человек, вырву девушку из омута, внедрю ее в настоящую твердую почву, успокою ее, ободрю, приласкаю.

— Гм! — крякнул Нижерадзе, усмехнувшись.

— Эх, князь! У тебя всегда сальности на уме. Ты же понимаешь, что я не о женщине говорю, а о человеке, не о мясе, а о душе.

— Хорошо, хорошо, душа мой, дальше!

— А дальше то, что я как задумал, так и сделал. Взял ее сегодня от Анны Марковны и привез покамест к себе. А там что бог даст. Научу ее сначала читать, писать, потом открою для нее маленькую кухмистерскую или, скажем, бакалейную лавочку. Думаю, товарищи мне не откажутся помочь. Сердце человеческое, братец мой, князь, всякое сердце в согреве, в тепле нуждается. И вот посмотри: через год, через два я возвращу обществу хорошего, работящего, достойного члена, с девственной душой, открытой для всяких великих возможностей... Ибо она отдавала только тело, а душа ее чиста и невинна.

— Це, це, це, — почмокал языком князь.

— Что это значит, ишак тифлисский?

— А купишь ей швейную машинку?

— Почему именно швейную машинку? Не понимаю.

— Всегда, душа мой, так в романах. Как только герой спас бедное, но погибшее создание, сейчас же он ей заводит швейную машинку.

— Перестань говорить глупости, — сердито отмахнулся от него рукой Лихонин. — Паяц!

Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышались кавказские интонации.

— Нет, не глупости, душа мой! Тут одно из двух, и все с один и тот же результат. Или ты с ней сойдешься и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом или пойдет на панель. Это факт! Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труд и бу-

дешь стараться развивать ее невежественный, темный ум, и она от скуки убежит от тэбэ и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме. Это тоже факт! Впрочем, есть еще третья комбинация. Ты будешь о ней заботиться, как брат, как рыцарь Ланчелот, а она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женшшына, покамэст она женшшына, так она — женшшына. И без любви жить не может. Тогда она сбежит от тебя к другому. А другой поиграется немножко с ее телом, а через три месяца выбросит ее на улицу или в публычный дом.

Лихонин глубоко вздохнул. Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания промелькнуло у него что-то похожее на мысль о том, что Нижерадзе прав. Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно:

— Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхела ты эриванская, бадриджан армавирский, поставишь мне дюжину кахетинского.

— Ва! Идет! — Князь с размаху ударил ладонью по руке Лихонина. — С удовольствием. А если по-моему, то — ты.

— То я. Однако до свиданья, князь. Ты у кого ночуешь?

— Я здесь же, по этому коридору, у Соловьева. А ты, конечно, как средневековый рыцарь, положишь обоюдоострый меч между собой и прекрасной Розамундой? Да?

— Глупости. Я сам было хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду поброжу по улицам и завернy к кому-нибудь: к Зайцевичу или к Штрумпу. Прощай, князь!

— Постой, постой! — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов. — Самое главное я тебе забыл сказать: Парцан провалился!

— Вот как? — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул.

— Да. Но ничего страшного нет: только одно хранение брошюрятины. Отсидит не больше года.

— Ничего, он хлопец крепкий, не раскиснет.
— Крепкий, — подтвердил князь.
— Прощай!
— До свиданья, рыцарь Грюнвальдус.
— До свиданья, жеребец кабардинский.

XI

Лихонин остался один. В полутемном коридоре пахло керосиновым чадом догоравшей жестяной лампочки и запахом застоявшегося дурного табака. Дневной свет тускло проникал только сверху, из двух маленьких стеклянных рам, проделанных в крыше над коридором.

Лихонин находился в том одновременно расслабленном и приподнятом настроении, которое так знакомо каждому человеку, которому случалось надолго выбиться из сна. Он как будто бы вышел из пределов обыденной человеческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной, но в то же время его мысли и чувства приобрели какую-то спокойную ясность и равнодушную четкость, и в этой хрустальной нирване была скучная и томительная прелесть.

Он стоял около своего номера, прислонившись к стене, и точно ощущал, видел и слышал, как около него и под ним спят несколько десятков людей, спят последним крепким утренним сном, с открытыми ртами, с мерным глубоким дыханием, с вялой бледностью на глянцевитых от сна лицах, и в голове его пронеслась давнишняя, знакомая еще с детства мысль о том, как страшны спящие люди, — гораздо страшнее, чем мертвецы.

Потом он вспомнил о Любке. Его подвальное, подпольное, таинственное «я» быстро-быстро шепнуло о том, что надо было бы зайти в комнату и поглядеть, удобно ли девушке, а также сделать некоторые распоряжения насчет утреннего чая, но он сам сделал перед собой вид, что вовсе и не думал об этом, и вышел на улицу.

Он шел, вглядываясь во все, что встречали его глаза, с новым для себя, ленивым и метким любопытством, и каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто он ощупывает ее пальцами... Вот прошла баба. У нее через плечо коромысло, а на обоих концах коромысла по большому ведру с молоком; лицо у нее немолодое, с сетью морщинок на висках и с двумя глубокими бороздами от ноздрей к углам рта, но ее щеки румяны и, должно быть, тверды на ощупь, а карие глаза лучатся бойкой хохлацкой усмешкой. От движения тяжелого коромысла и от плавной поступи ее бедра раскачиваются ритмично то влево, то вправо, и в их волнообразных движениях есть грубая, чувственная красота.

«Бедовая бабенка, и прожила она пеструю жизнь»,— подумал Лихонин. И вдруг, неожиданно для самого себя, почувствовал и неудержимо захотел эту совсем незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вероятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, как ему представилось, на крупное яблоко антоновку-падалку, немного подточенное червем, чуть-чуть полежалое, но еще сохранившее яркий цвет и душистый винный аромат.

Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалк; две лошади в запряжке, а две привязаны сзади, к задним колонкам. Факельщики и гробовщики, уже с утра пьяные, с красными звероподобными лицами, с порыжелыми цилиндрами на головах, сидели беспорядочной грудой на своих форменных ливреях, на лошадиных сетчатых попонах, на траурных фонарях и ржавыми, сиплыми голосами орали какую-то нескладную песню. «Должно быть, к выносу торопятся, а пожалуй, уже и закончили, — подумал Лихонин, — веселые ребята!» На бульваре он остановился и присел на низенькую деревянную, крашенную зеленым скамейку. Два ряда мощных столетних каштанов уходили вдаль, сливаясь где-то далеко в одну прямую зеленую стрелу. На деревьях уже висели колючие крупные орехи. Лихонин вдруг вспомнил, что в самом начале весны он сидел именно на этом бульваре и именно на этом

самом месте. Тогда был тихий, нежный, пурпурно-дымчатый вечер, беззвучно засыпавший, точно улыбающаяся усталая девушка. Тогда могучие каштаны, с листвой широкой внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цветов, растущих светлыми, розовыми, тонкими шишками прямо к небу, точно кто-то по ошибке взял и прикрепил на все каштаны, как на люстры, розовые елочные рождественские свечи. И вдруг с необычайной остротой Лихонин почувствовал, — каждый человек неизбежно рано или поздно проходит через эту полосу внутреннего чувства, — что вот уже зреют орехи, а тогда были розовые цветущие свечечки, и что будет еще много весен и много цветов, но той, что прошла, никто и ничто не в силах ему возвратить. Грустно глядя в глубь уходящей густой аллеи, он вдруг заметил, что сентиментальные слезы щиплют ему глаза.

Он встал и пошел дальше, приглядываясь ко всему встречному с неустанным, обостренным и в то же время спокойным вниманием, точно он смотрел на созданный богом мир в первый раз. Мимо него прошла по мостовой артель каменщиков, и все они преувеличенно ярко и цветисто, точно на матовом стекле камер-обскуры, отразились в его внутреннем зрении. И старший рабочий, с рыжей бородой, свалявшейся набок, и с голубыми строгими глазами; и огромный парень, у которого левый глаз затек и от лба до скулы и от носа до виска расплывалось пятно черно-сизого цвета; и мальчишка с наивным, деревенским лицом, с разинутым ртом, как у птенца, безвольным, мокрым; и старик, который, приподзавши, бежал за артелью смешной козлиной рысью; и их одежды, запачканные известкой, их фартуки и их зубила — все это мелькнуло перед ним неодушевленной вереницей — цветной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа.

Ему пришлось пересекать Ново-Кишиневский базар. Вдруг вкусный жирный запах чего-то жареного заставил его раздуть ноздри. Лихонин вспомнил, что со вчерашнего полдня он еще ничего не ел, и сразу почувствовал голод. Он свернул направо, в глубь базара.

В дни голодовок, — а ему приходилось испытывать

их неоднократно, — он приходил сюда на базар и на жалкие, с трудом добытые гроши покупал себе хлеба и жареной колбасы. Это бывало чаще всего зимою. Торговка, укутанная во множество одежд, обыкновенно сидела для теплоты на горшке с угольями, а перед нею на железном противне шипела и трещала толстая домашняя колбаса, нарезанная кусками по четверть аршина длиною, обильно сдобренная чесноком. Кусок колбасы обыкновенно стоил десять копеек, хлеб — две копейки.

Сегодня на базаре было очень много народа. Еще издали, протискиваясь к знакомому любимому ларьку, Лихонин услыхал звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую один из ларьков сплошным кольцом, он увидал наивное и милое зрелище, какое можно увидеть только на благословенном юге России. Десять или пятнадцать торговок, в обыкновенное время злоязычных сплетниц и неудержимых, неистощимых в словесном разнообразии ругательниц, а теперь льстивых и ласковых подруг, очевидно, разгулялись еще с прошлого вечера, прокутили целую ночь и теперь вынесли на базар свое шумное веселье. Наемные музыканты — две скрипки, первая и вторая, и бубен — наяривали однообразный, но живой, залихватский и лукавый мотив. Одни бабы чокались и целовались, поливая друг друга водкой, другие — разливали ее по рюмкам и по столам, следующие, прихлопывая в ладоши в такт музыке, ухали, взвизгивали и приседали на месте. А посредине круга, на камнях мостовой, вертелась и дробно топталась на месте толстая женщина лет сорока пяти, но еще красивая, с красными мясистыми губами, с влажными, пьяными, точно обмасленными глазами, весело сиявшими под высокими дугами черных правильных малорусских бровей. Вся прелесть и все искусство ее танца заключались в том, что она то наклоняла вниз головку и выглядывала задорно исподлобья, то вдруг откидывала ее назад и опускала вниз ресницы и разводила руки в стороны, а также в том, как в размер пляске колыхались и вздрагивали у нее под красной ситцевой кофтой огромные груди. Во время пляски она

пела, перебирая то каблуками, то носками козловых башмаков:

На вулицы скрыпка грае,
Бас гуде, вымовляе.
Менэ маты не пускае,
А мий милый дожидае.

Это-то и была знакомая Лихонину баба Грипа, та самая, у которой в крутые времена он не только бывал клиентом, но даже кредитовался. Она вдруг узнала Лихонина, бросилась к нему, обняла, притиснула к груди и поцеловала прямо в губы мокрыми горячими толстыми губами. Потом она размахнула руки, ударила ладонь об ладонь, скрестила пальцы с пальцами и сладко, как умеют это только подольские бабы, заворковала:

— Панычу ж мий, золотко ж мое серебряное, любый мой! Вы ж мене, бабу пьяную, простыте. Ну, що ж? Загуляла! — Она кинулась было целовать ему руку. — Та я же знаю, що вы не гордый, як другие паны. Ну, дайте, рыбонька моя, я ж вам ручку поцелую! Ни, ни, ни! Просю, просю вас!..

— Ну, вот глупости, тетя Грипа! — перебил ее, внезапно оживляясь, Лихонин. — Уж лучше так поцелуемся. Губы у тебя больно сладкие!

— Ах ты, сердынятынько мое! Сонечко мое ясное, яблочко ж мое райское, — разнежилась Грипа, — дай же мне твои бузи! Дай же мне твои бузенятки!..

Она жарко прижала его к своей исполинской груди и опять обслюнявила влажными горячими готтентотскими губами. Потом схватила его за рукав, вывела на середину круга и заходила вокруг него плавно-семенящей походкой, кокетливо изогнув стан и голося:

Ой! хто до кого, а я до Параски,
Бо у мене черт ма в штанив,
А в неи запаски!

И потом вдруг перешла, поддержанная музыкантами, к развеселому малорусскому гопаку:

Ой, чук тай байдуже
Задрипала фартук дуже.
А ты, Прыско, не журысь,

Доки мокро, тай утрысь!
Траляля, траляля...
Спит Хима, тай не чуе,
Що казак с неи ночуе.
Брешешь, Хима, ты все чуешь,
Тылько так соби мандруешь.
Тай, тай, траляляй...

Лихонин, окончательно развеселенный, неожиданно для самого себя, вдруг заскакал козлом около нее, точно спутник вокруг несущейся планеты, длинноногий, длиннорукий, сутуловатый и совершенно нескладный. Его выход приветствовали общим, но довольно дружелюбным ржанием. Его усадили за стол, потчевали водкой и колбасой. Он со своей стороны послал знакомого босяка за пивом и со стаканом в руке произнес три нелепых речи: одну — о самостийности Украйны, другую — о достоинстве малорусской колбасы, в связи с красотою и семейственностью малорусских женщин, а третью — почему-то о торговле и промышленности на юге России. Сидя рядом с Грипой, он все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому. Но даже и его длинные руки не могли обхватить ее изумительного стана. Однако она крепко, до боли, тискала под столом его руку своей огромной, горячей, как огонь, мягкой рукою.

В это время между торговками, до сих пор нежно целовавшимися, вдруг промелькнули какие-то старые, неоплаченные ссоры и обиды. Две бабы, наклонившись друг к другу, точно петухи, готовые вступить в бой, подпершись руками в бока, поливали друг дружку самыми посадскими ругательствами.

— Дура, стэрва, собачя дочь! — кричала одна, — ты не достойна меня от сюда поцеловать. — И, обернувшись тылом к противнице, она громко шлепнула себя ниже спины. — От сюда! Ось!

А другая в ответ визжала бешено:

— Брешешь, курва, бо достойна, достойна!

Лихонин воспользовался минутой. Будто что-то вспомнив, он торопливо вскочил с лавки и крикнул:

— Подождите меня, тетя Грипа, я через три минуты приду! — и нырнул сквозь живое кольцо зрителей.

— Панычу! Панычу! — кричала ему вслед его

соседка, — вы же скорейше назад идыте! Я вам одно словцо маю сказаты.

Зайдя за угол, он некоторое время мучительно старался вспомнить, что такое ему нужно было непременно сделать сейчас, вот сию минуту. И опять в недрах души он знал о том, что именно надо сделать, но медлил сам себе в этом признаться. Был уже яркий, светлый день, часов около девяти-десяти. Дворники поливали улицы из резиновых рукавов. Цветочницы сидели на площадях и у калиток бульваров, с розами, левкоями и нарциссами. Светлый, южный, веселый, богатый город оживлялся. Продребезжала по мостовой железная клетка, наполненная собаками всевозможных мастей, пород и возрастов. На козлах сидело двое гицелей, — или, как они сами себя называют почтительно, «крулевских гицелей», то есть ловцов бродячих собак, — возвращавшихся домой с сегодняшним утренним уловом.

«Она уже, должно быть, проснулась, — оформил, наконец, свою тайную мысль Лихонин, — а если не проснулась, то я тихонько прилягу на диван и посплю».

В коридоре по-прежнему тускло светила и чадила умирающая керосиновая лампа, и водянисто-грязный полусвет едва проникал в узкий длинный ящик. Дверь номера так и осталась незапертой. Лихонин беззвучно отворил ее и вошел.

Слабый синий полусвет лился из прозоров между шторами и окном. Лихонин остановился посреди комнаты и с обостренной жадностью услышал тихое, сонное дыхание Любки. Губы у него сделались такими жаркими и сухими, что ему приходилось не переставая их облизывать. Колени задрожали.

«Спросить, не надо ли ей чего-нибудь», — вдруг пронеслось у него в голове.

Как пьяный, тяжело дыша, с открытым ртом, шатаясь на трясущихся ногах, он подошел к кровати.

Люба спала на спине, протянув одну голую руку вдоль тела, а другую положив на грудь. Лихонин наклонился к ней ближе, к самому ее лицу. Она дышала ровно и глубоко. Это дыхание молодого здорового тела было, несмотря на сон, чисто и почти ароматно. Он осторожно провел пальцами по голой руке и погладил

грудь немножко ниже ключиц. «Что я делаю?!» — с ужасом крикнул вдруг в нем рассудок, но кто-то другой ответил за Лихонина: «Я же ничего не делаю. Я только хочу спросить, удобно ли ей было спать и не хочет ли она чаю».

Но Любка вдруг проснулась, открыла глаза, зажмурила их на минуту и опять открыла. Потянулась длинно-длинно и с ласковой, еще не осмыслившейся улыбкой окружила жаркой крепкой рукой шею Лихонина.

— Дуся! Милый, — ласково произнесла женщина воркующим, немного хриплым со сна голосом, — а я тебя ждала, ждала и даже рассердилась. А потом заснула и всю ночь тебя во сне видела. Иди ко мне, моя цыпочка, моя ляленька! — Она притянула его к себе, грудь к груди.

Лихонин почти не противился; он весь трясся, как от озноба, и бессмысленно повторял скачущим шепотом, ляская зубами:

— Нет же, Люба, не надо... Право, не надо, Люба, так... Ах, оставим это, Люба... Не мучай меня. Я не ручаюсь за себя... Оставь же меня, Люба, ради бога!..

— Глупенький мо-ой! — воскликнула она смеющимся, веселым голосом. — Иди ко мне, моя радость! — и, преодолевая последнее, совсем незначительное сопротивление, она прижала его рот к своему и поцеловала крепко и горячо, поцеловала искренне, может быть, в первый и последний раз в своей жизни.

«О, подлец! Что я делаю?» — продекламировал в Лихонине кто-то честный, благоразумный и фальшивый.

— Ну, что? Полегшало? — спросила ласково Любка, целуя в последний раз губы Лихонина. — Ах ты, студентик мой!..

XII

С душевной болью, со злостью и с отвращением к себе, и к Любке и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин, не раздеваясь, на деревянный кособокий пролежанный диван и от жгучего стыда даже заскрежетал зубами. Сон не шел к нему, а мысли все время верте-

лись около этого дурацкого, как он сам называл увоз Любки, поступка, в котором так противно переплелся скверный водевиль с глубокой драмой. «Все равно, — упрямо твердил он сам тебе, — раз я обещался, я доведу дело до конца. И, конечно, то, что было сейчас, никогда-никогда не повторится! Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов? Глубокую, замечательную истину высказал какой-то философ, который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Но все-таки черт бы побрал весь сегодняшний идиотский день, и этого двусмысленного резонера-репортера Платонова, и его собственный, Лихонина, нелепый рыцарский порыв! Точно, в самом деле, все это было не из действительной жизни, а из романа «Что делать?» писателя Чернышевского. И как, черт побери, какими глазами погляжу я на нее завтра?»

У него горела голова, жгло веки глаз, сохли губы. Он нервно курил папиросу за папиросой и часто приподымался с дивана, чтобы взять со стола графин с водой и жадно, прямо из горлышка, выпить несколько больших глотков. Потом каким-то случайным усилием воли ему удалось оторвать свои мысли от прошедшей ночи, и сразу тяжелый сон, без всяких видений и образов, точно обволок его черной ватой.

Он проснулся далеко за полдень, часа в два или в три, и сначала долго не мог прийти в себя, чавкал ртом и озирался по комнате мутными отяжелевшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетело из его памяти. Но когда он увидел Любку, которая тихо и неподвижно сидела на кровати, опустив голову и сложив на коленях руки, он застонал и закряхтел от досады и смущения. Теперь он вспомнил все. И в эту минуту он сам на себе испытал, как тяжело бывает утром воочию увидеть результаты сделанной вчера ночью глупости.

— Проснулся, дусенька? — спросила ласково Любка.

Она встала с кровати, подошла к дивану, села в ногах у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверх одеяла.

— А я давно уже проснулась и все сидела: боялась тебя разбудить. Очень уж ты крепко спал.

Она потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Лихонин поморщился и слегка отстранил ее от себя.

— Подожди, Любочка! Подожди, этого не надо. Понимаешь, совсем, никогда не надо. То, что вчера было, ну, это случайность. Скажем, моя слабость. Даже более: может быть, мгновенная подлость. Но, ей-богу, поверь мне, я вовсе не хотел сделать из тебя любовницу. Я хотел видеть тебя другом, сестрой, товарищем... Нет, нет ничего: все сладится, стерпится. Не надо только падать духом. А покамест, дорогая моя, подойди и посмотри немножко в окно: я только приведу себя в порядок.

Любка слегка надула губы и отошла к окну, повернувшись спиной к Лихонину. Всех этих слов о дружбе, братстве и товариществе она не могла осмыслить своим куриным мозгом и простой крестьянской душой. Ее воображению гораздо более льстило, что студент, — все-таки не кто-нибудь, а человек образованный, который может на доктора выучиться, или на адвоката, или на судью, — взял ее к себе на содержание... А вот теперь вышло так, что он только исполнил свой каприз, добился, чего ему нужно, и уже на попятный. Все они таковы, мужчины!

Лихонин поспешно поднялся, плеснул себе на лицо несколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потом он поднял шторы и распахнул обе ставни. Золотой солнечный свет, лазоревое небо, грохот города, зелень густых лип и каштанов, звонки конок, сухой запах горячей пыльной улицы — все это сразу вторгнулось в маленькую чердачную комнатку. Лихонин подошел к Любке и дружелюбно потрепал ее по плечу.

— Ничего, радость моя... Сделанного не поправишь, а вперед наука. Вы еще не спрашивали себе чаю, Любочка?

— Нет, я все вас дожидалась. Да и не знала, кому сказать. И вы тоже хороши. Я ведь слышала, как вы после того, как ушли с товарищем, вернулись назад и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это?

«Первая семейная ссора», — подумал Лихонин, но подумал беззлобно, шутя.

Умывание, прелесть золотого и синего южного неба и наивное, отчасти покорное, отчасти недовольное лицо Любки и сознание того, что он все-таки мужчина и что ему, а не ей надо отвечать за кашу, которую он заварил, — все это вместе взбудоражило его нервы и заставило взять себя в руки. Он отворил дверь и рявкнул во тьму вонючего коридора:

— Ал-лекса-андра! Самова-ар! Две бу-улки, ма-асла и колбасы! И мерзавчик во-одки!

В коридоре послышалось шлепанье туфель, и старческий голос еще издали зашамкал:

— Чего орешь? Чего орешь-то? Го-го-го! Го-го-го! Точно жеребец стоялый. Чай, не маленький: запсовел уж, а держишь себя, как мальчишка уличный! Ну, чего тебе?

В комнату вошла маленькая старушка, с красноверкими глазами, узкими, как щелочки, и с удивительно пергаментным лицом, на котором угрюмо и зловеще торчал вниз длинный острый нос. Это была Александра, давнишняя прислуга студенческих скворечников, друг и кредитор всех студентов, женщина лет шестидесяти пяти, резонерка и ворчунья.

Лихонин повторил ей свое распоряжение и дал рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толклась на месте, сопела, жевала губами и недружелюбно глядела на девушку, сидевшую спиной к свету.

— Ты что же, Александра, точно окостенела? — смеясь, спросил Лихонин. — Или залюбовалась? Ну, так знай: это моя кузина, то есть двоюродная сестра, Любовь... — он замялся всего лишь на секунду, но тотчас же выпалил, — Любовь Васильевна, а для меня просто Любочка. Я вот такой еще ее знал, — показал он на четверть аршина от стола. — И за уши драл и шлепал за капризы по тому месту, откуда ноги растут. И там... жуков для нее разных ловил... Ну, однако... однако ты иди, иди, египетская мумия, обломок прежних веков! Чтобы одна нога там, другая здесь!

Но старуха медлила. Топчась вокруг себя, она еле-еле поворачивалась к дверям и не спускала острого,

ехидного, бокового взгляда с Любки. И в то же время она бормотала запавшим ртом:

— Двоюродная! Знаем мы этих двоюродных! Много их по Каштановой улице ходит. Ишь кобели несытые!

— Ну, ты, старая барка! Живо и не ворчать! — прикрикнул на нее Лихонин. — А то я тебя, как твой друг, студент Трясов, возьму и запру в уборную на двадцать четыре часа!

Александра ушла, и долго еще слышались в коридоре ее старческие шлепающие шаги и невнятное бормотанье. Она склонна была в своей суровой ворчливой доброте многое прощать студенческой молодежи, которую она обслуживала уже около сорока лет. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое пение, долги, но, увы, она была девственницей, и ее целомудренная душа не переносила только одного: разврата.

XIII

— Вот и чудесно... И хорошо, и мило, — говорил Лихонин, суетясь около хромоногого стола и без нужды переставляя чайную посуду. — Давно я, старый крокодил, не пил чайку как следует, по-христиански, в семейной обстановке. Садитесь, Люба, садитесь, милая, вот сюда, на диван, и хозяйничайте. Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью... Это сразу подымает нервы. Мне, пожалуйста, покрепче, с кусочком лимона. Ах, что может быть вкуснее стакана горячего чая, налитого милыми женскими руками?

Любка слушала его болтовню, немного слишком шумную, чтобы казаться вполне естественной, и ее сначала недоверчивая, сторожкая улыбка смягчалась и светлела. Но с чаем у нее не особенно ладилось. Дома, в глухой деревне, где этот напиток считался еще почти редкостью, лакомой роскошью зажиточных семейств, и заваривался лишь при почетных гостях и по большим праздникам, — там над разливанием чая священнодействовал старший мужчина семьи. Позднее, когда Любка служила «за все» в маленьком уездном городишке,

сначала у попа, а потом у страхового агента, который первый и толкнул ее на путь проституции, то ей обыкновенно оставляла жидкий, спитой, чуть тепловатый чай с обгрызком сахара сама хозяйка, тощая, желчная, ехидная попадья, или агентиха, толстая, старая, обрюзглая, злая, засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дело приготовления чая было ей так же трудно, как для всех нас в детстве уменье отличать левую руку от правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонин только мешал ей и конфузил ее.

— Дорогая моя, искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку, — от этого чай становится чище и ароматнее, да и, кстати, известно, что китайцы — язычники и приготовляют свою траву очень грязно. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться — и у вас, моя дорогая, готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий.

Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое от веснушек, как кукушечье яйцо, немного вытянулось и побледнело.

— Вы уж, ради бога, на меня не сердитесь... Ведь вас Василь Василич?.. Не сердитесь, миленький Василь Василич... Я, право же, скоро выучусь, я ловкая. И что же это вы мне всё — вы да вы? Кажется, не чужие теперь?

Она посмотрела на него ласково. И правда, она сегодня утром в первый раз за всю свою небольшую, но исковерканную жизнь отдала мужчине свое тело — хотя и не с наслаждением, а больше из признательности и жалости, но добровольно, не за деньги, не по принуждению, не под угрозой расчета или скандала. И ее женское сердце, всегда неувядаемое, всегда тянущееся

к любви, как подсолнечник к свету, было сейчас чисто и разнежено.

Но Лихонин вдруг почувствовал колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное против этой, вчера ему незнакомой женщины, теперь — его случайной любовницы. «Начались прелести семейного очага», — подумал он невольно, однако поднялся со стула, подошел к Любке и, взяв ее за руку, притянул к себе и погладил по голове.

— Дорогая моя, милая сестра моя, — сказал он трогательно и фальшиво, — то, что случилось сегодня, не должно никогда больше повторяться. Во всем виноват только один я, и, если хочешь, я готов на коленях просить у тебя прощения. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, как-то стихийно, вдруг, внезапно. Я и сам не ожидал, что это будет так! Понимаешь, я очень давно... не знал близко женщины... Во мне проснулся зверь, отвратительный, разнузданный зверь... и... я не устоял. Но, господи, разве так уже велика моя вина? Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столпники, пустынники, мученики — не чета мне по крепости духа, — и они падали в борьбе с искушением дьявольской плоти. Но зато чем хочешь клянусь, что это больше не повторится... Ведь так?

Любка упрямо вырывала его руку из своей. Губы ее немного отторбучились, и опущенные веки часто заморгали.

— Да-а, — протянула она, как ребенок, который упрямится мириться, — я же вижу, что я вам не нравлюсь. Так что ж, — вы мне лучше прямо скажите и дайте немного на извозчика, и еще там, сколько захотите... Деньги за ночь все равно заплачены, и мне только доехать... туда.

Лихонин схватился за волосы, заметался по комнате и задекламировал:

— Ах, не то, не то, не то! Пойми же меня, Люба! Продолжать то, что случилось утром, — это... это свинство, скотство и недостойно человека, уважающего себя. Любовь! Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь — громадное, великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не

валянье в постели. Такой любви нет между нами, Любочка. Если она придет, это будет чудесным счастьем и для тебя и для меня. А пока — я твой друг, верный товарищ на жизненном пути. И довольно, и баста... Я хотя и не чужд человеческих слабостей, но считаю себя честным человеком.

Любка точно завяла. «Он думает, что я хочу, чтобы он на мне женился. И совсем мне это не надо, — печально думала она. — Можно жить и так. Живут же другие на содержании. И, говорят, — гораздо лучше, чем покрутившись вокруг аналоя. Что тут худого? Мирно, тихо, благородно... Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стряпала... что попроще. Конечно, ему когда-нибудь выйдет линия жениться на богатой. Ну уж, наверно, он так не выбросит на улицу, в чем мать родила. Хоть и дурачок и болтает много, а видно, человек порядочный. Обеспечит все-таки чем-нибудь. А может быть, и взаправду приглядится, привыкнет? Я девица простая, скромная и на измену никогда не согласная. Ведь, говорят, бывает так-то... Надо только вида ему не показывать. А что он опять придет ко мне в постель и придет сегодня же вечером — это как бог свят».

И Лихонин тоже задумался, замолк и заскучал; он уже чувствовал тяготу взятого на себя непосильного подвига. Поэтому он даже обрадовался, когда в дверь постучали, и на его окрик «войдите» вошли два студента: Соловьев и ночевавший у него Нижерадзе.

Соловьев, рослый и уже тучноватый, с широким румяным волжским лицом и светлой маленькой вьющейся бородкой, принадлежал к тем добрым, веселым и простым малым, которых достаточно много в любом университете. Он делил свои досуги, — а досуга у него было двадцать четыре часа в сутки, — между пивной и шатаньем по бульварам, между бильярдом, винтом, театром, чтением газет и романов и зрелищами цирковой борьбы; короткие же промежутки употреблял на еду, спанье, домашнюю починку туалета, при помощи ниток, картона, булавок и чернил, и на сокращенную, самую реальную любовь к случайной женщине из кухни, передней или с улицы. Как и вся молодежь его круга, он сам считал себя

революционером, хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными колкостями и, не перенося чтения революционных брошюр и журналов, был в деле почти полным невеждой. Поэтому он не достиг даже самого малого партийного посвящения, хотя иногда ему давались кое-какие поручения вовсе небезопасного свойства, смысл которых ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую совесть: он все исполнял быстро, точно, со смелой верой в мировую важность дела, с беззаботной улыбкой и с широким презрением к возможной погибели. Он укрывал нелегальных товарищей, хранил запретную литературу и шрифты, передавал паспорта и деньги. В нем было много физической силы, черноземного добродушия и стихийного простосердечия. Он нередко получал из дому, откуда-то из глуши Симбирской или Уфимской губернии, довольно крупные для студента денежные суммы, но в два дня разбрасывал и рассовывал их повсюду с небрежностью французского вельможи XVII столетия, а сам оставался зимою в одной тужурке, с сапогами, реставрированными собственными средствами.

Кроме всех этих наивных, трогательных, смешных, возвышенных и безалаберных качеств старого русского студента, уходящего — и бог весть, к добру ли? — в область исторических воспоминаний, он обладал еще одной изумительной способностью — изобретать деньги и устраивать кредиты в маленьких ресторанах и кухмистерских. Все служащие ломбарда и ссудных касс, тайные и явные ростовщики, старьевщики были с ним в самом тесном знакомстве.

Если же по некоторым причинам нельзя было к ним прибегнуть, то и тут Соловьев оставался на высоте своей находчивости. Предводительствуя кучкой обедневших друзей и удрученный своей обычной деловой ответственностью, он иногда мгновенно озарялся внутренним вдохновением, делал издали, через улицу, таинственный знак проходившему со своим узлом за плечами татарину и на несколько секунд исчезал с ним в ближайших воротах. Он быстро возвращался назад без тужурки, в одной рубахе навы-

пуск, подпоясанный шнурочком, или зимой без пальто, в легоньком костюмчике, или вместо новой, только что купленной фуражки — в крошечном жокейском картузике, чудом державшемся у него на макушке.

Его все любили: товарищи, прислуга, женщины, дети. И все были с ним фамильярны. Особенным благорасположением пользовался он со стороны своих кунаков татар, которые, кажется, считали его за блаженненького. Они иногда летом приносили ему в подарок крепкий, пьяный кумыс в больших четвертных бутылях, а на байрам приглашали к себе есть молочного жеребенка. Как это ни покажется неправдоподобным, но Соловьев в критические минуты отдавал на хранение татарам некоторые книги и брошюры. Он говорил при этом с самым простым и значительным видом: «То, что я тебе даю, — Великая книга. Она говорит о том, что Аллах Акбар и Магомет его пророк, что много зла и бедности на земле и что люди должны быть милостивы и справедливы друг к другу».

У него были и еще две особенности: он очень хорошо читал вслух и удивительно, мастерски, прямо-таки гениально играл в шахматы, побеждая шутя первоклассных игроков. Его нападение было всегда стремительно и жестоко, защита мудра и осторожна, преимущественно в облическом[1] направлении, уступки противнику исполнены тонкого дальновидного расчета и убийственного коварства. При этом делал он свои ходы точно под влиянием какого-то внутреннего инстинкта или вдохновения, не задумываясь более чем на четыре-пять секунд и решительно презирая почтенные традиции.

С ним неохотно играли, считали его манеру играть дикарской, но все-таки играли иногда на крупные деньги, которые, неизменно выигрывая, Соловьев охотно возлагал на алтарь товарищеских нужд. Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение звезды в шахматном мире, он по-

---

[1] Обходном (от *лат.* obliquus).

стоянно отказывался: «У меня нет в натуре ни любви к этой ерунде, ни уважения, — говорил он, — просто я обладаю какой-то механической способностью ума, каким-то психическим уродством. Ну, вот, как бывают левши. И потому у меня нет ни профессионального самолюбия, ни гордости при победе, ни желчи при проигрыше.

Таков был матерóй студент Соловьев. А Нижерадзе приходился ему самым близким товарищем, что не мешало, однако, обоим с утра до вечера зубоскалить друг над другом, спорить и ругаться. Бог ведает, чем и как существовал грузинский князь. Он сам про себя говорил, что обладает способностью верблюда питаться впрок на несколько недель вперед, а потом месяц ничего не есть. Из дому, из своей благословенной Грузии, он получал очень мало, и то больше съестными припасами. На рождество, на пасху или в день именин (в августе) ему присылали, — и непременно через приезжих земляков, — целые клады из корзин с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмалой, рахат-лукумом, бадриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки с отличным домашним вином, крепким и ароматным, но отдававшим чуть-чуть овчиной. Тогда князь сзывал к кому-нибудь из товарищей (у него никогда не было своей квартиры) всех близких друзей и земляков и устраивал такое пышное празднество, — по-кавказски «той», — на котором истреблялись дотла дары плодородной Грузии, на котором пели грузинские песни и, конечно, в первую голову «Мравол-джамием» и «Нам каждый гость ниспослан богом, какой бы ни был он страны», плясали без устали лезгинку, размахивая дико в воздухе столовыми ножами, и говорил свои импровизации тулумбаш (или, кажется, он называется томада?); по большей части говорил сам Нижерадзе.

Говорить он был великий мастер и умел, разгорячась, произносить около трехсот слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал ее кавказский

акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальдшнепа, то на орлиный клекот. И о чем бы он ни говорил, он всегда сводил монолог на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и в то же время самую обиженную страну — Грузию. И неизменно цитировал он строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного на Гомера.

Он был хотя и вспыльчив, но отходчив и в обращении женственно-мягок, ласков, предупредителен, не теряя природной гордости... Одно в нем не нравилось товарищам — какое-то преувеличенное, экзотическое женолюбие. Он был непоколебимо, до святости или до глупости убежден в том, что он неотразимо прекрасен собою, что все мужчины завидуют ему, все женщины влюблены в него, а мужья ревнуют... Это хвастливое, навязчивое бабничество ни на минуту, должно быть, даже и во сне, не покидало его. Идя по улице, он поминутно толкал локтем в бок Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорил, причмокивая и кивая назад головой на прошедшую мимо женщину: «Це, це, це... вай-вай! Заммэчатытыльный женшшына! Ка-ак она на меня посмотрела. Захочу — моя будет!..»

За ним этот смешной недостаток знали, высмеивали эту его черту добродушно и бесцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слову, данному мужчине (клятвы женщинам были не в счет), которыми он обладал так естественно. Впрочем, надо сказать, что он пользовался в самом деле большим успехом у женщин. Швейки, модистки, хористки, кондитерские и телефонные барышни таяли от пристального взгляда его тяжелых, сладких и томных черно-синих глаз...

— До-ому сему и всем праведно, мирно и непорочно обитающим в нем... — заголосил было по-протодьяконски Соловьев и вдруг осекся. — Отцы-святители, — забормотал он с удивлением, стараясь про-

должать неудачную шутку. — Да ведь это... Это же... ах, дьявол... это Соня, нет, виноват, Надя... Ну да! Люба от Анны Марковны...

Любка горячо, до слез, покраснела и закрыла лицо ладонями. Лихонин заметил это, понял, прочувствовал смятенную душу девушки и пришел ей на помощь. Он сурово, почти грубо остановил Соловьева.

— Совершенно верно, Соловьев. Как в адресном столе. Люба из Ямков. Прежде — проститутка. Даже больше, еще вчера — проститутка. А сегодня — мой друг, моя сестра. Так на нее пускай и смотрит всякий, кто хоть сколько-нибудь меня уважает. Иначе...

Грузный Соловьев торопливо, искренно и крепко обнял и помял Лихонина.

— Ну, милый, ну, будет... я впопыхах сделал глупость. Больше не повторится. Здравствуйте, бледнолицая сестра моя. — Он широко через стол протянул руку Любке и стиснул ее безвольные, маленькие и короткие пальцы с обгрызенными крошечными ногтями. — Прекрасно, что вы пришли в наш скромный вигвам. Это освежит нас и внедрит в нашу среду тихие и приличные нравы. — Александра! Пива-а! — закричал он громко. — Мы одичали, огрубели, погрязли в сквернословии, пьянстве, лености и других пороках. И все оттого, что были лишены благотворного, умиротворяющего влияния женского общества. Еще раз жму вашу руку. Милую, маленькую руку. Пива!

— Иду, — послышался за дверью недовольный голос Александры. — Иду я. Чего кричишь? На сколько?

Соловьев пошел в коридор объясниться. Лихонин благодарно улыбнулся ему вслед, а грузин по пути благодушно шлепнул его по спине между лопатками. Оба поняли и оценили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева.

— Теперь, — сказал Соловьев, возвратившись в номер и садясь осторожно на древний стул, — теперь приступим к порядку дня. Буду ли я вам чем-нибудь полезен? Если вы мне дадите полчаса сроку,

я сбегаю на минутку в кофейную и выпотрошу там самого лучшего шахматиста. Словом — располагайте мною.

— Какой вы смешной! — сказала Любка, стесняясь и смеясь. Она не понимала шутливого и необычного слога студента, но что-то влекло ее простое сердце к нему.

— Этого вовсе и не нужно, — вставил Лихонин.— Я покамест еще зверски богат. Мы, я думаю, пойдем все вместе куда-нибудь в трактирчик. Мне надо будет с вами кое о чем посоветоваться. Все-таки — вы для меня самые близкие люди и, конечно, не так глупы и неопытны, как с первого взгляда кажетесь. Затем я пойду попробую устроиться с ее... с Любиным паспортом. Вы подождете меня. Это недолго... Словом, вы понимаете, в чем заключается все это дело, и не будете расточать лишних шуток. Я, — его голос дрогнул сентиментально и фальшиво, — я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идет?

— Ва! идет! — воскликнул князь (у него вышло «идиот») и почему-то взглянул значительно на Любку и закрутил усы. Лихонин покосился на него. А Соловьев сказал простосердечно:

— И дело. Ты затеял нечто большое и прекрасное, Лихонин. Князь мне ночью говорил. Ну, что же, на то и молодость, чтобы делать святые глупости. Дай мне бутылку, Александра, я сам открою, а то ты надорвешься и у тебя жила лопнет. За новую жизнь, Любочка, виноват... Любовь... Любовь...

— Никоновна. Да зовите, как сказалось... Люба.

— Ну да, Люба. Князь, аллаверды!

— Якши-ол, — ответил Нижерадзе и чокнулся с ним пивом.

— И еще скажу, что я очень за тебя рад, дружище Лихонин, — продолжал Соловьев, поставив стакан и облизывая усы. — Рад и кланяюсь тебе. Именно только ты и способен на такой настоящий русский героизм, выраженный просто, скромно, без лишних слов.

— Оставь... Ну какой героизм, — поморщился Лихонин.

— И правда, — подтвердил Нижерадзе. — Ты все меня упрекаешь, что я много болтаю, а сам какую чепуху развел.

— Все равно! — возразил Соловьев.— Может быть, и витиевато, но все равно! Как староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу равноправным и почетным членом!

Он поднялся, широко простер руку и патетически произнес:

И в дом наш смело и свободно хозяйкой милою войди!

Лихонин ярко вспомнил, что ту же самую фразу он по-актерски сказал сегодня на рассвете, и даже зажмурился от стыда.

— Будет балаганить. Пойдемте, господа. Одевайся, Люба.

XIV

До ресторана «Воробьи» было недалеко, шагов двести. По дороге Любка незаметно взяла Лихонина за рукав и потянула к себе. Таким образом они опоздали на несколько шагов от шедших впереди Соловьева и Нижерадзе.

— Так это вы серьезно, Василь Василич, миленький мой? — спросила она, заглядывая снизу вверх на него своими ласковыми темными глазами. — Вы не шутите надо мной?

— Какие тут шутки, Любочка! Я был бы самым низким человеком, если бы позволял себе такие шутки. Повторяю, что я тебе более чем друг, я тебе брат, товарищ. И не будем об этом больше говорить. А то, что случилось сегодня поутру, это уж, будь покойна, не повторится. И сегодня же я найму тебе отдельную комнату.

Любка вздохнула. Не то, чтобы ее обижало целомудренное решение Лихонина, которому, по правде сказать, она плохо верила, но как-то ее узкий, темный ум не мог даже теоретически представить себе иного отношения мужчины к женщине, кроме чувственного. Кроме того, сказывалось давнишнее, креп-

ко усвоенное в доме Анны Марковны, в виде хвастливого соперничества, а теперь глухое, но искреннее и сердитое недовольство предпочтенной или отвергнутой самки. И Лихонину она почему-то довольно плохо верила, улавливая бессознательно много наигранного, не совсем искреннего в его словах. Вот Соловьев — тот хотя и говорил непонятно, как и прочее большинство знакомых ей студентов, когда они шутили между собой или с девицами в общем зале (отдельно, в комнате, все без исключения мужчины, все, как один, говорили и делали одно и то же), однако Соловьеву она поверила бы скорее и охотнее. Какая-то простота светилась из его широко расставленных, веселых, искристых серых глаз.

Лихонина в «Воробьях» уважали за солидность, добрый нрав и денежную аккуратность. Поэтому ему сейчас же отвели маленький отдельный кабинетик — честь, которой могли похвастаться очень немногие студенты. В этой комнате целый день горел газ, потому что свет проникал только из узенького низа обрезанного потолком окна, из которого можно было видеть только сапоги, ботинки, зонтики и тросточки людей, проходивших по тротуару.

Пришлось присоединить к компании еще одного студента, Симановского, с которым столкнулись у вешалки. «Что это, точно он напоказ меня водит, — подумала Любка, — похоже, что он хвастается перед ними». И, улучив свободную минуту, она шепнула нагнувшемуся над ней Лихонину:

— Миленький, зачем же так много народу? Я ведь такая стеснительная. Совсем не умею компанию поддержать.

— Ничего, ничего, дорогая Любочка, — быстро прошептал Лихонин, задерживаясь в дверях кабинета, — ничего, сестра моя, это всё люди свои, хорошие, добрые товарищи. Они помогут тебе, помогут нам обоим. Ты не гляди, что они иногда шутят и врут глупости. А сердца у них золотые.

— Да уж очень неловко мне, стыдно. Все уж знают, откуда ты меня взял.

— И ничего, ничего! И пусть знают, — горячо возразил Лихонин. — Зачем стесняться своего прошлого, замалчивать его? Через год ты взглянешь смело и прямо в глаза каждому человеку и скажешь: «Кто не падал, тот не поднимался». Идем, идем, Любочка!

Покамест подавали немудреную закуску и заказывали еду, все, кроме Симановского, чувствовали себя неловко и точно связанно. Отчасти причиной этому и был Симановский, бритый человек, в пенсне, длинноволосый, с гордо закинутой назад головою и с презрительным выражением в узких, опущенных вниз углами губах. У него не было близких, сердечных друзей между товарищами, но его мнения и суждения имели среди них значительную авторитетность. Откуда происходила эта его влиятельность, вряд ли кто-нибудь мог бы объяснить себе: от его ли самоуверенной внешности, от умения ли схватить и выразить в общих словах то раздробленное и неясное, что смутно ищется и желается большинством, или оттого, что свои заключения всегда приберегал к самому нужному моменту. Среди всякого общества много такого рода людей: одни из них действуют на среду софизмами, другие — каменной бесповоротной непоколебимостью убеждений, третьи — широкой глоткой, четвертые — злой насмешкой, пятые — просто молчанием, заставляющим предполагать за собою глубокомыслие, шестые — трескучей внешней словесной эрудицией, иные — хлесткой насмешкой надо всем, что говорят... многие — ужасным русским словом «ерунда!». «Ерунда!» — говорят они презрительно на горячее, искреннее, может быть правдивое, но скомканное слово. «Почему же ерунда?» — «Потому что чепуха, вздор», — отвечают они, пожимая плечами, и точно камнем по голове ухлопывают человека. Много еще есть сортов таких людей, главенствующих над робкими, застенчивыми, благородно-скромными и часто даже над большими умами, и к числу их принадлежал Симановский.

Однако к середине обеда языки развязались у всех, кроме Любки, которая молчала, отвечала «да» и «нет» и почти не притрогивалась к еде. Больше

всех говорили Лихонин, Соловьев и Нижерадзе. Первый — решительно и деловито, стараясь скрыть под заботливыми словами что-то настоящее, внутреннее, колючее и неудобное. Соловьев — с мальчишеским восторгом, с размашистыми жестами, стуча кулаком по столу. Нижерадзе — с легким сомнением и с недомолвками, точно он знал то, что нужно сказать, но скрывал это. Всех, однако, казалось, захватила, заинтересовала странная судьба девушки, и каждый, высказывая свое мнение, почему-то неизбежно обращался к Симановскому. Он же больше помалкивал и поглядывал на каждого из-под низа стекол пенсне, высоко поднимая для этого голову.

— Так, так, так, — сказал он, наконец, пробарабанив пальцами по столу. — То, что сделал Лихонин, прекрасно и смело. И то, что князь и Соловьев идут ему навстречу, тоже очень хорошо. Я, с своей стороны, готов, чем могу, содействовать вашим начинаниям. Но не лучше ли будет, если мы поведем нашу знакомую по пути, так сказать, естественных ее влечений и способностей. Скажите, дорогая моя, — обратился он к Любке, — что вы знаете, умеете? Ну там работу какую-нибудь или что. Ну там шить, вязать, вышивать.

— Я ничего не знаю, — ответила Любка шепотом, низко опустив глаза, вся красная, тиская под столом свои пальцы. — Я ничего здесь не понимаю.

— А ведь и в самом деле, — вмешался Лихонин, — ведь мы не с того конца начали дело. Разговаривая о ней в ее присутствии, мы только ставим ее в неловкое положение. Ну, посмотрите, у нее от растерянности и язык не шевелится. Пойдем-ка, Люба, я тебя провожу на минутку домой и вернусь через десять минут. А мы покамест здесь без тебя обдумаем, что и как. Хорошо?

— Мне что же, я ничего, — еле слышно ответила Любка. — Я, как вам, Василь Василич, угодно. Только я бы не хотела домой.

— Почему так?

— Мне одной там неудобно. Я уж лучше вас на бульваре подожду, в самом начале, на скамейке.

— Ах, да! — спохватился Лихонин, — это на нее Александра такого страха нагнала. Задам же я перцу этой старой ящерице! Ну, пойдем, Любочка.

Она робко, как-то сбоку, лопаточкой протянула каждому свою руку и вышла в сопровождении Лихонина.

Через несколько минут он вернулся и сел на свое место. Он чувствовал, что без него что-то говорили о нем, и тревожно обежал глазами товарищей. Потом, положив руки на стол, он начал:

— Я знаю вас всех, господа, за хороших, близких друзей, — он быстро и искоса поглядел на Симановского, — и людей отзывчивых. Я сердечно прошу вас прийти мне на помощь. Дело мною сделано впопыхах, — в этом я должен признаться, — но сделано по искреннему, чистому влечению сердца.

— А это главное, — вставил Соловьев.

— Мне решительно все равно, что обо мне станут говорить знакомые и незнакомые, а от своего намерения спасти, — извините за дурацкое слово, которое сорвалось, — от намерения ободрить, поддержать эту девушку я не откажусь. Конечно, я в состоянии нанять ей дешевую комнатку, дать первое время что-нибудь на прокорм, но вот что делать дальше, это меня затрудняет. Дело, конечно, не в деньгах, которые я всегда для нее нашел бы, но ведь заставить ее есть, пить и притом дать ей возможность ничего не делать — это значит осудить ее на лень, равнодушие, апатию, а там известно, какой бывает конец. Стало быть, нужно ей придумать какое-нибудь занятие. Вот эту-то сторону и надо обмозговать. Понатужьтесь, господа, посоветуйте что-нибудь.

— Надо знать, на что она способна, — сказал Симановский. — Ведь делала же она что-нибудь до поступления в дом.

Лихонин с видом безнадежности развел руками.

— Почти что ничего. Чуть-чуть шить, как и всякая крестьянская девчонка. Ведь ей пятнадцати лет не было, когда ее совратил какой-то чиновник. Подмести комнату, постирать, ну, пожалуй, еще сварить щи и кашу. Больше, кажется, ничего.

— Маловато, — сказал Симановский и прищелкнул языком.

— Да к тому же еще и неграмотна.

— Да это и неважно! — горячо вступился Соловьев. — Если бы мы имели дело с девушкой интеллигентной, а еще хуже полуинтеллигентной, то из всего, что мы собираемся сделать, вышел бы вздор, мыльный пузырь, а здесь перед нами девственная почва, непочатая целина.

— Гы-ы! — заржал двусмысленно Нижерадзе.

Соловьев, теперь уже не шутя, а с настоящим гневом, накинулся на него:

— Слушай, князь! Каждую святую мысль, каждое благое дело можно опаскудить и опохабить. В этом нет ничего ни умного, ни достойного. Если ты так по-жеребячьи относишься к тому, что мы собираемся сделать, то вот тебе бог, а вот и порог. Иди от нас!

— Да ведь ты сам только что сейчас в номере...— смущенно возразил князь.

— Да, и я... — Соловьев сразу смягчился и потух, — я выскочил с глупостью и жалею об этом. А теперь я охотно признаю, что Лихонин молодчина и прекрасный человек, и я все готов сделать со своей стороны. И повторяю, что грамотность — дело второстепенное. Ее легко постигнуть шутя. Таким непочатым умом научиться читать, писать, считать, а особенно без школы, в охотку, это как орех разгрызть. А что касается до какого-нибудь ручного ремесла, на которое можно жить и кормиться, то есть сотни ремесл, которым легко выучиться в две недели.

— Например? — спросил князь.

— А например... например... ну вот, например, делать искусственные цветы. Да, а еще лучше поступить в магазин цветочницей. Милое дело, чистое и красивое.

— Нужен вкус, — небрежно уронил Симановский.

— Врожденных вкусов нет, как и способностей. Иначе бы таланты зарождались только среди изысканного высокообразованного общества, а художники рождались бы только от художников, а певцы

от певцов, а этого мы не видим. Впрочем, я не буду спорить. Ну, не цветочница, так что-нибудь другое. Я, например, недавно видал на улице, в магазинной витрине сидит барышня и перед нею какая-то машинка ножная.

— В-ва! Опять машинка! — сказал князь, улыбаясь и поглядывая на Лихонина.

— Перестань, Нижерадзе, — тихо, но сурово ответил Лихонин. — Стыдно.

— Болван! — бросил ему Соловьев и продолжал: — Так вот, машинка движется взад и вперед, а на ней, на квадратной рамке, натянуто тонкое полотно, и уж я, право, не знаю, как это там устроено, я не понял, но только барышня водит по экрану какой-то металлической штучкой, и у нее выходит чудесный рисунок разноцветными шелками. Представьте себе озеро, все поросшее кувшинками с их белыми венчиками и желтыми тычинками, и кругом большие зеленые листья. А по воде плывут друг другу навстречу два белых лебедя, и сзади темный парк с аллеей, и все это тонко, четко, как акварельная живопись. Я так заинтересовался, что нарочно зашел спросить, что стоит. Оказывается, чуть-чуть дороже обыкновенной швейной машины и продается в рассрочку. А научиться этому искусству может в течение часа каждый, кто немножко умеет шить на простой машине. И имеется множество прелестных оригиналов. А главное, что такую работу очень охотно берут для экранов, альбомов, абажуров, занавесок и для прочей дряни, и деньги платят порядочные.

— Что же, и это дело, — согласился Лихонин и задумчиво погладил бороду. — А я, признаться, вот что хотел. Я хотел открыть для нее... открыть небольшую кухмистерскую или столовую, сначала, конечно, самую малюсенькую, но в которой готовилось бы все очень дешево, чисто и вкусно. Ведь многим студентам решительно все равно, где обедать и что есть. В студенческой почти никогда не хватает мест. Так вот, может быть, нам удастся как-нибудь затащить всех знакомых и приятелей.

— Это верно, — согласился князь, — но и непрактично: начнем столоваться в кредит. А ты знаешь, какие мы аккуратные плательщики. В таком деле нужно человека практичного, жоха, а если бабу, то со щучьими зубами, и то непременно за ее спиной должен торчать мужчина. В самом деле, ведь не Лихонину же стоять за выручкой и глядеть, что вдруг кто-нибудь наест, напьет и ускользнет.

Лихонин посмотрел на него прямо и дерзко, но только сжал челюсти и промолчал.

Начал своим размеренным беспрекословным тоном, поигрывая стеклами пенсне, Симановский:

— Намерение ваше прекрасно, господа, нет спору. Но обратили ли вы внимание на одну, так сказать, теневую сторону? Ведь открыть столовую, завести какое-нибудь мастерство — все это требует сначала денег, помощи — так сказать, чужой спины. Денег не жалко — это правда, я согласен с Лихониным, но ведь такое начало трудовой жизни, когда каждый шаг заранее обеспечен, не ведет ли оно к неизбежной распущенности и халатности и в конце концов к равнодушному пренебрежению к делу. Ведь и ребенок, пока он раз пятьдесят не хлопнется, не научится ходить. Нет, уж если вы действительно хотите помочь этой бедной девушке, то дайте ей возможность сразу стать на ноги, как трудовому человеку, а не как трутню. Правда, тут большой искус, тягость работы, временная нужда, но зато, если она превозможет все это, то она превозможет и остальное.

— Что же ей, по-вашему, в судомойки идти? — спросил с недоверием Соловьев.

— Ну да, — спокойно возразил Симановский, — в судомойки, в прачки, в кухарки. Всякий труд возвышает человека.

Лихонин покачал головой.

— Золотые слова. Сама мудрость вещает вашими устами, Симановский. Судомойкой, кухаркой, горничной, экономкой... но, во-первых, вряд ли она на это способна, во-вторых, она уже была горничной и вкусила все прелести барских окриков при всех и

барских щипков за дверями, в коридоре. Скажите, разве вы не знаете, что девяносто процентов проституции вербуется из числа женской прислуги? И, значит, бедная Люба при первой же несправедливости, при первой неудаче легче и охотнее пойдет туда же, откуда я ее извлек, если еще не хуже, потому что это для нее и не так страшно и привычно, а может быть, даже от господского обращения и в охотку покажется. А кроме того, стоит ли мне, то есть, я хочу сказать, стоит ли нам всем, столько хлопотать, стараться, беспокоиться для того, чтобы, избавив человека от одного рабства, ввергнуть в другое?

— Верно, — подтвердил Соловьев.

— Как хотите, — с презрительным видом процедил Симановский.

— А что касается до меня, — заметил князь, — то я готов, как твой приятель и как человек любознательный, присутствовать при этом опыте и участвовать в нем. Но я тебя еще утром предупреждал, что такие опыты бывали и всегда оканчивались позорной неудачей, по крайней мере те, о которых мы знаем лично, а те, о которых мы знаем только понаслышке, сомнительны в смысле достоверности. Но ты начал дело, Лихонин, — и делай. Мы тебе помощники.

Лихонин ударил ладонью по столу.

— Нет! — воскликнул он упрямо. — Симановский отчасти прав насчет того, что большая опасность для человека, если его водить на помочах. Но не вижу другого исхода. На первых порах помогу ей комнатой и столом... найду нетрудную работу, куплю для нее необходимые принадлежности. Будь что будет! И сделаем все, чтобы хоть немного образовать ее ум, а что сердце и душа у нее прекрасные — в этом я уверен. Не имею никаких оснований для веры, но уверен, почти знаю. Нижерадзе! Не паясничай! — резко крикнул он, бледнея. — Я сдерживался уж много раз при твоих дурацких выходках. Я до сих пор считал тебя за человека с совестью и с чувством. Еще одна неуместная острота, и я переменю о тебе мнение, и знай, что это навсегда.

— Да я же ничего... Я же, право... Зачем кирпичиться, душа мой? Тебе не нравится, что я веселый человек, ну, замолчу. Давай твою руку, Лихонин, выпьем!

— Ну, ладно, отвяжись. Будь здоров! Только не веди себя мальчишкой, барашек осетинский. Ну, так я продолжаю, господа. Если мы не отыщем ничего, что удовлетворяло бы справедливому мнению Симановского о достоинстве независимого, ничем не поддержанного труда, тогда я все-таки остаюсь при моей системе: учить Любу чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи, читать вслух, доставлять ей возможность слушать музыку, конечно, понятную. Одному мне, понятно, не справиться со всем этим. Жду от вас помощи, а там что бог даст.

— Что же, — сказал Симановский, — дело новое, незатасканное, и как знать, чего не знаешь, — может быть, вы, Лихонин, сделаетесь настоящим духовным отцом хорошего человека. Я тоже предлагаю свои услуги.

— И я! И я! — поддержали другие двое, и тут же, не выходя из-за стола, четверо студентов выработали очень широкую и очень диковинную программу образования и просвещения Любки.

Соловьев взял на себя обучить девушку грамматике и письму. Чтобы не утомлять ее скучными уроками и в награду за ее успехи, он будет читать ей вслух доступную художественную беллетристику, русскую и иностранную. Лихонин оставил за собою преподавание арифметики, географии и истории.

Князь же сказал простосердечно, без обычной шутливости на этот раз:

— Я, дети мои, ничего не знаю, а что и знаю, то — очень плохо. Но я ей буду читать замечательное произведение великого грузинского поэта Руставели и переводить строчка за строчкой. Признаюсь вам, что я никакой педагог: я пробовал быть репетитором, но меня вежливо выгоняли после второго же урока. Однако никто лучше меня не сумеет научить играть на гитаре, мандолине и зурне.

Нижерадзе говорил совершенно серьезно, и поэтому Лихонин с Соловьевым добродушно рассмеялись, но совсем неожиданно, ко всеобщему удивлению, его поддержал Симановский.

— Князь говорит дело. Умение владеть инструментом во всяком случае повышает эстетический вкус, да и в жизни иногда бывает подспорьем. Я же, с своей стороны, господа... я предлагаю читать с молодой особой «Капитал» Маркса и историю человеческой культуры. А кроме того, проходить с ней физику и химию.

Если бы не обычный авторитет Симановского и не важность, с которой он говорил, то остальные трое расхохотались бы ему в лицо. Они только поглядели на него выпученными глазами.

— Ну да, — продолжал невозмутимо Симановский, — я покажу ей целый ряд возможных произвести дома химических и физических опытов, которые всегда занимательны и полезны для ума и искореняют предрассудки. Попутно я объясню ей кое-что о строении мира, о свойствах материи. Что же касается до Карла Маркса, то помните, что великие книги одинаково доступны пониманию и ученого и неграмотного крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста.

Лихонин нашел Любку на условленном месте, на бульварной скамеечке. Она очень неохотно шла с ним домой. Как и предполагал Лихонин, ее, давно отвыкшую от будничной, суровой и обильной всякими неприятностями действительности, страшила встреча с ворчливой Александрой, и, кроме того, на нее угнетающе подействовало то, что Лихонин не хотел скрывать ее прошлое. Но она, давно уже потерявшая в учреждении Анны Марковны свою волю, обезличенная, готовая идти вслед за всяким чужим зовом, не сказала ему ни слова и пошла вслед за ним.

Коварная Александра успела уже за это время сбегать к управляющему домом пожаловаться, что

вот, мол, приехал Лихонин с какой-то девицей, ночевал с ней в комнате, а кто она, того Александра не знает, что Лихонин говорит, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявил. Пришлось очень долго, пространно и утомительно объясняться с управляющим, человеком грубым и наглым, который обращался со всеми жильцами дома как с обывателями завоеванного города, и только слегка побаивался студентов, дававших ему иногда суровый отпор. Умилостивил его Лихонин лишь только тем, что тут же занял для Любки другой номер через несколько комнат от себя, под самым скосом крыши, так что он представлял из себя внутри круто усеченную, низкую, четырехстороннюю пирамиду с одним окошком.

— А все же вы паспорт, господин Лихонин, непременно завтра же предъявите, — настойчиво сказал управляющий на прощанье. — Как вы человек почтенный, работящий, и мы с вами давно знакомы, также и платите вы аккуратно, то только для вас делаю. Времена, вы сами знаете, какие теперь тяжелые. Донесет кто-нибудь, и меня не то что оштрафуют, а и выселить могут из города. Теперь строго.

Вечером Лихонин с Любкой гуляли по Княжескому саду, слушали музыку, игравшую в Благородном собрании, и рано возвратились домой. Он проводил Любку до дверей ее комнаты и сейчас же простился с ней, впрочем, поцеловав ее нежно, по-отечески, в лоб. Но через десять минут, когда он уже лежал в постели раздетый и читал государственное право, вдруг Любка, точно кошка, поцарапавшись в дверь, вошла к нему.

— Миленький, душенька! Извините, что я вас побеспокоила. Нет ли у вас иголки с ниткой? Да вы не сердитесь на меня: я сейчас уйду.

— Люба! Я тебя прошу не сейчас, а сию секунду уйти. Наконец я требую!

— Голубчик мой, хорошенький мой, — смешно и жалобно запела Любка, — ну что вы всё на меня кричите? — и, мгновенно дунув на свечку, она в темноте приникла к нему, смеясь и плача.

— Нет, так нельзя, Люба! Так невозможно дальше, — говорил десять минут спустя Лихонин, стоя у дверей, укутанный, как испанский гидальго плащом, одеялом. — Завтра же я найму тебе комнату в другом доме. И вообще, чтобы этого не было! Иди с богом, спокойной ночи! Все-таки ты должна дать честное слово, что у нас отношения будут только дружеские.

— Даю, миленький, даю, даю, даю! — залепетала она, улыбаясь, и быстро чмокнула его сначала в губы, а потом в руку.

Последнее было сделано совсем инстинктивно и, пожалуй, неожиданно даже для самой Любки. Никогда еще в жизни она не целовала мужской руки, кроме как у попа. Может быть, она хотела этим выразить признательность Лихонину и преклонение перед ним, как перед существом высшим.

XV

Среди русских интеллигентов, как уже многими замечено, есть порядочное количество диковинных людей, истинных детей русской страны и культуры, которые сумеют героически, не дрогнув ни одним мускулом, глядеть прямо в лицо смерти, которые способны ради идеи терпеливо переносить невообразимые лишения и страдания, равные пытке, но зато эти люди теряются от высокомерности швейцара, съеживаются от окрика прачки, а в полицейский участок входят с томительной и робкой тоской. Вот именно таким-то и был Лихонин. На следующий день (вчера было нельзя из-за праздника и позднего времени), проснувшись очень рано и вспомнив о том, что ему нужно ехать хлопотать о Любкином паспорте, он почувствовал себя так же скверно, как в былое время, когда еще гимназистом шел на экзамен, зная, что наверное провалится. У него болела голова, а руки и ноги казались какими-то чужими, ненужными, к тому же на улице с утра шел мелкий и точно грязный дождь. «Всегда вот, когда

предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идет дождь», — думал Лихонин, медленно одеваясь.

До Ямской улицы от него было не особенно далеко, не более версты. Он вообще нередко бывал в этих местах, но никогда ему не приходилось идти туда днем, и по дороге ему все казалось, что каждый встречный, каждый извозчик и городовой смотрят на него с любопытством, с укором или с пренебрежением, точно угадывая цель его путешествия. Как и всегда это бывает в ненастное мутное утро, все попадавшиеся ему на глаза лица казались бледными, некрасивыми, с уродливо подчеркнутыми недостатками. Десятки раз он воображал себе все, что он скажет сначала в доме, а потом в полиции, и каждый раз у него выходило по-иному. Сердясь на самого себя за эту преждевременную репетицию, он иногда останавливал себя:

— Ах! Не надо думать, не надо предполагать, что скажешь. Всегда гораздо лучше выходит, когда это делается сразу...

И сейчас же опять в голове у него начинались воображаемые диалоги:

— Вы не имеете права удерживать девушку против ее желания.

— Да, но пускай она сама заявит о своем уходе.

— Я действую по ее поручению.

— Хорошо, но чем вы это можете доказать? — И опять он мысленно обрывал сам себя.

Начался городской выгон, на котором паслись коровы, дощатый тротуар вдоль забора, шаткие мостики через ручейки и канавы. Потом он свернул на Ямскую. В доме Анны Марковны все окна были закрыты ставнями с вырезными посредине отверстиями в форме сердец. Также были закрыты и все остальные дома безлюдной улицы, опустевшей точно после моровой язвы. Со стесненным сердцем Лихонин потянул рукоятку звонка.

На звонок отворила горничная, босая, с подтыканным подолом, с мокрой тряпкой в руке, с

лицом, полосатым от грязи, — она только что мыла пол.

— Мне бы Женьку, — попросил Лихонин несмело.

— Так что барышня Женя заняты с гостем. Еще не просыпались.

— Ну, тогда Тамару.

Горничная посмотрела на него недоверчиво.

— Барышня Тамара — не знаю... Кажется, тоже занята. Да вы как, с визитом или что?

— Ах, не все ли равно. Ну, скажем, с визитом.

— Не знаю. Пойду погляжу. Подождите.

Она ушла, оставив Лихонина в полутемной зале. Голубые пыльные столбы, исходившие из отверстий в ставнях, пронизывали прямо и вкось тяжелый сумрак. Безобразными пятнами выступали из серой мути раскрашенная мебель и слащавые олеографии на стенах. Пахло вчерашним табаком, сыростью, кислятиной и еще чем-то особенным, неопределенным, нежилым, чем всегда пахнут по утрам помещения, в которых живут только временно: *пустые театры, танцевальные залы, аудитории.* Далеко в городе прерывисто дребезжали дрожки. Стенные часы однозвучно тикали за стеной. В странном волнении ходил Лихонин взад и вперед по зале и потирал и мял дрожавшие руки, и почему-то сутулился, и чувствовал холод.

«Не нужно было затеивать всю эту фальшивую комедию, — думал он раздраженно. — Нечего уж и говорить о том, что я стал теперь позорной сказкою всего университета. Дернул меня черт! А ведь даже и вчера днем было не поздно, когда она говорила, что готова уехать назад. Дать бы ей только на извозчика и немножко на булавки, и поехала бы, и все было бы прекрасно, и был бы я теперь независим, свободен и не испытывал бы этого мучительного и позорного состояния духа. А теперь уже поздно отступать. Завтра будет еще позднее, а послезавтра — еще. Отколов одну глупость, нужно ее сейчас же прекратить, а если не сделаешь этого вовремя, то она влечет за собою две других, а те — двадцать

новых. Или, может быть, и теперь не поздно? Ведь она же глупа, неразвита и, вероятно, как и большинство из них, истеричка. Она — животное, годное только для еды и для постели! О! Черт! — Лихонин крепко стиснул себе руками щеки и лоб и зажмурился. — И хоть бы я устоял от простого, грубого физического соблазна! Вот, сам видишь, это уже случилось дважды, а потом и пойдет, и пойдет...»

Но рядом с этими мыслями бежали другие, противоположные:

«Но ведь я мужчина! Ведь я господин своему слову. Ведь то, что толкнуло меня на этот поступок, было прекрасно, благородно и возвышенно. Я отлично помню восторг, который охватил меня, когда моя мысль перешла в дело! Это было чистое, огромное чувство. Или это просто была блажь ума, подхлестнутого алкоголем, следствие бессонной ночи, курения и длинных отвлеченных разговоров?»

И тотчас же представлялась ему Любка, представлялась издалека, точно из туманной глубины времен, неловкая, робкая, с ее некрасивым и милым лицом, которое стало вдруг казаться бесконечно родственным, давным-давно привычным и в то же время несправедливо, без повода, неприятным.

«Неужели я трус и тряпка?! — внутренне кричал Лихонин и заламывал пальцы. — Чего я боюсь, перед кем стесняюсь? Не гордился ли я всегда тем, что я один хозяин своей жизни? Предположим даже, что мне пришла в голову фантазия, блажь сделать психологический опыт над человеческой душой, опыт редкий, на девяносто девять шансов неудачный. Неужели я должен отдавать кому-нибудь в этом отчет или бояться чьего-либо мнения? Лихонин! Погляди на человечество сверху вниз!»

В комнату вошла Женя, растрепанная, заспанная, в белой ночной кофточке поверх белой нижней юбки.

— А-а! — зевнула она, протягивая Лихонину руку. — Здравствуйте, милый студент! Как ваша Любочка себя чувствует на новоселье? Позовите когда

в гости. Или вы справляете свой медовой месяц потихоньку? Без посторонних свидетелей?

— Брось пустое, Женечка. Я насчет паспорта пришел.

— Та-ак. Насчет паспорта, — задумалась Женька. — То есть тут не паспорт, а надо вам взять у экономки бланк. Понимаете, наш обыкновенный проститутский бланк, а уж вам его в участке обменят на настоящую книжку. Только, видите, голубчик, в этом деле я вам буду плохая помощница. Они меня, чего доброго, изобьют, если я сунусь к экономке со швейцаром. А вы вот что сделайте. Пошлите-ка лучше горничную за экономкой, скажите, чтобы она передала, что, мол, пришел один гость, постоянный, по делу, что очень нужно видеть лично. А меня вы извините — я отступаюсь, и не сердитесь, пожалуйста. Сами знаете: своя рубашка ближе к телу. Да что вам здесь в темноте шататься одному? Идите лучше в кабинет. Если хотите, я вам пива туда пришлю. Или, может быть, кофе хотите? А то, — и она лукаво заблестела глазами, — а то, может быть, девочку? Тамара занята, так, может быть, Нюру или Верку?

— Перестаньте, Женя! Я пришел по серьезному и важному вопросу, а вы...

— Ну, ну, не буду, не буду! Это я только так. Вижу, что верность соблюдаете. Это очень благородно с вашей стороны. Так идемте же.

Она повела его в кабинет и, открыв внутренний болт ставни, распахнула ее. Дневной свет мягко и скучно расплескался по красным с золотом стенам, по канделябрам, по мягкой красной вельветиновой мебели.

«Вот здесь это началось», — подумал Лихонин с тоскливым сожалением.

— Я ухожу, — сказала Женька. — Вы перед ней не очень-то пасуйте и перед Семеном тоже. Собачьтесь с ними вовсю. Теперь день, и они вам ничего не посмеют сделать. В случае чего, скажите прямо, что, мол, поедете сейчас к губернатору и донесете. Скажите, что их в двадцать четыре часа закроют и

выселят из города. Они от окриков шелковыми становятся. Ну-с, желаю успеха!

Она ушла. Спустя десять минут в кабинет вплыла экономка Эмма Эдуардовна в сатиновом голубом пеньюаре, дебелая, с важным лицом, расширявшимся от лба вниз к щекам, точно уродливая тыква, со всеми своими массивными подбородками и грудями, с маленькими, зоркими, черными, безресницыми глазами, с тонкими, злыми, поджатыми губами. Лихонин, привстав, пожал протянутую ему пухлую руку, унизанную кольцами, и вдруг подумал брезгливо:

«Черт возьми! Если бы у этой гадины была душа, если бы эту душу можно было прочитать, то сколько прямых и косвенных убийств таятся в ней скрытыми!»

Надо сказать, что, идя в Ямки, Лихонин, кроме денег, захватил с собою револьвер и часто по дороге, на ходу, лазил рукой в карман и ощущал там холодное прикосновение металла. Он ждал оскорбления, насилия и готовился встретить их надлежащим образом. Но, к его удивлению, все, что он предполагал и чего он боялся, оказалось трусливым, фантастическим вымыслом. Дело обстояло гораздо проще, скучнее, прозаичнее и в то же время неприятнее.

— Ja, mein Herr [1], — сказала равнодушно и немного свысока экономка, усаживаясь в низкое кресло и закуривая папиросу. — Вы заплатиль за одна ночь и вместо этого взяль девушка еще на одна день и еще на одна ночь. Also [2], вы должен еще двадцать пять рублей. Когда мы отпускаем девочка на ночь, мы берем десять рублей, а за сутки двадцать пять. Это, как такса. Не угодно ли вам, молодой человек, курить? — Она протянула ему портсигар, и Лихонин как-то нечаянно взял папиросу.

— Я хотел поговорить с вами совсем о другом.

— О! Не беспокойтесь говорить: я все прекрасно понимаю. Вероятно, молодой человек хочет взять эта

---

[1] Да, сударь (*нем.*).
[2] Стало быть (*нем.*).

девушка, эта Любка, совсем к себе на задержание или чтобы ее, — как это называется по-русску, — чтобы ее спасай? Да, да, да, это бывает. Я двадцать два года живу в публичный дом и всегда в самый лучший, приличный публичный дом, и я знаю, что это случается с очень глупыми молодыми людьми. Но только уверяю вас, что из этого ничего не выйдет.

— Выйдет, не выйдет — это уж мое дело, — глухо ответил Лихонин, глядя вниз, на свои пальцы, подрагивавшие у него на коленях.

— О, конечно, ваше дело, молодой студент, — и дряблые щеки и величественные подбородки Эммы Эдуардовны запрыгали от беззвучного смеха. — От души желаю вам на любовь и дружбу, но только вы потрудитесь сказать этой мерзавке, этой Любке, чтобы она не смела сюда и носа показывать, когда вы ее, как собачонку, выбросите на улицу. Пусть подыхает с голоду под забором или идет в полтинничное заведение для солдат!

— Поверьте, не вернется. Прошу вас только дать мне немедленно ее свидетельство.

— Свидетельство? Ах, пожалуйста! Хоть сию минуту. Только вы потрудитесь сначала заплатить за все, что она брала здесь в кредит. Посмотрите, вот ее расчетная книжка. Я ее нарочно взяла с собой. Уж я знала, чем кончится наш разговор. — Она вынула из разреза пеньюара, показав на минутку Лихонину свою жирную, желтую, огромную грудь, маленькую книжку в черном переплете с заголовком: «Счет девицы Ирины Вощенковой в доме терпимости, содержимом Анной Марковной Шайбес, по Ямской улице, в доме № такой-то», и протянула ему через стол. Лихонин перевернул первую страницу и прочитал три или четыре параграфа печатных правил. Там сухо и кратко говорилось о том, что расчетная книжка имеется в двух экземплярах, из которых один хранится у хозяйки, а другой у проститутки, что в обе книжки заносятся все приходы и расходы, что по уговору проститутка получает стол,

квартиру, отопление, освещение, постельное белье, баню и прочее и за это выплачивает хозяйке никак не более двух третей своего заработка, из остальных же денег она обязана одеваться чисто и прилично, имея не менее двух выходных платьев. Дальше упоминалось о том, что расплата производится при помощи марок, которые хозяйка выдает проститутке по получении от нее денег, а счет заключается в конце каждого месяца. И наконец, что проститутка во всякое время может оставить дом терпимости, даже если бы за ней оставался и долг, который, однако, она обязывается погасить на основании общих гражданских законов.

Лихонин ткнул пальцем в последний пункт и, перевернув книжку лицом к экономке, сказал торжествующе:

— Ага! Вот видите: имеет право оставить дом во всякое время. Следовательно, она может во всякое время бросить ваш гнусный вертеп, ваше проклятое гнездо насилия, подлости и разврата, в котором вы... — забарабанил было Лихонин, но экономка спокойно оборвала его:

— О! Я не сомневаюсь в этом. Пускай уходит. Пускай только заплатит деньги.

— А векселя? Она может дать векселя.

— Пст! Векселя! Во-первых, она неграмотна, а во-вторых, что стоят её векселя? Тьфу! и больше ничего! Пускай она найдет себе поручителя, который бы заслуживал доверие, и тогда я ничего не имею против.

— Но ведь в правилах ничего не сказано о поручителях.

— Мало ли что не сказано! в правилах тоже не сказано, что можно увозить из дому девицу, не предупредив хозяев.

— Но во всяком случае вы должны мне будете отдать ее бланк.

— Никогда не сделаю такой глупости! Явитесь сюда с какой-нибудь почтенной особой и с полицией, и пусть полиция удостоверит, что этот ваш знакомый есть человек состоятельный, и пускай этот человек за вас поручится, и пускай, кроме того, полиция

удостоверит, что вы берете девушку не для того, чтобы торговать ею или перепродать в другое заведение, — тогда пожалуйста! С руками и ногами!

— Чертовщина! — воскликнул Лихонин. — Но если этим поручителем буду я, я сам! Если я вам сейчас же подпишу векселя...

— Молодой человек! Я не знаю, чему вас учат в разных ваших университетах, но неужели вы меня считаете за такую уже окончательную дуру? Дай бог, чтобы у вас были, кроме этих, которые на вас, еще какие-нибудь штаны! Дай бог, чтобы вы хоть через день имели на обед обрезки колбасы из колбасной лавки, а вы говорите: вексель! Что вы мне голову морочите?

Лихонин окончательно рассердился. Он вытащил из кармана бумажник и шлепнул его на стол.

— В таком случае я плачу лично и сейчас же!

— Ах, ну это дело другого рода, — сладко, но все-таки с недоверием пропела экономка. — Потрудитесь перевернуть страничку и посмотрите, каков счет вашей возлюбленной.

— Молчи, стерва! — крикнул на нее Лихонин.

— Молчу, дурак, — спокойно отозвалась экономка.

На разграфленных листочках по левой стороне обозначался приход, по правой — расход.

«Получено марками 15-го февраля, — читал Лихонин, — 10 рублей, 16-го — 4 р., 17-го — 12 р., 18-го больна, 19-го больна, 20-го — 6 р., 21-го — 24 р.».

«Боже мой! — с омерзением, с ужасом подумал Лихонин, — двенадцать человек! В одну ночь!»

В конце месяца стояло:

«Итого 330 рублей».

«Господи! Ведь это бред какой-то! Сто шестьдесят пять визитов», — думал, механически подсчитав, Лихонин и все продолжал перелистывать страницы. Потом он перешел на правые столбцы.

«Сделано платье красное шелковое с кружевам 84 р. Портниха Елдокимова. Матине кружевное 35 р. Портниха Елдокимова. Чулки шелковые 6 пар 36 рублей» и т. д. и т. д. «Дано на извозчика, дано на конфеты, куплено духов» и т. д. и т. д.

«Итого 205 рублей». Затем из 330 р. вычиталось 220 р. — доля хозяйки за пансион. Получалась цифра 110 р. Конец месячного расчета гласил:

«Итого, за уплатой портнихе и за прочие предметы ста десяти рублей, за Ириной Вощенковой остается долгу девяносто пять (95) рублей, а с оставшимися от прошлого года четыреста восемнадцатью рублями — пятьсот тринадцать (513) рублей».

Лихонин упал духом. Сначала он пробовал было возмущаться дороговизной поставляемых материалов, но экономка хладнокровно возражала, что это ее совсем не касается, что заведение только требует, чтобы девушка одевалась прилично, как подобает девице из порядочного, благородного дома, а до остального ему нет дела. Заведение только оказывает ей кредит, уплачивая ее расходы.

— Но ведь это мегера, это паук в образе человека — эта ваша портниха! — кричал исступленно Лихонин. — Ведь она же в заговоре с вами, кровососная банка вы этакая, черепаха вы гнусная! Каракатица! Где у вас совесть?!

Чем он больше волновался, тем Эмма Эдуардовна становилась спокойнее и насмешливее.

— Опять повторяю: это не мое дело. А вы, молодой человек, не выражайтесь, потому что я позову швейцара, и он вас выкинет из дверей.

Лихонину приходилось долго, озверело, до хрипоты в горле торговаться с жестокой женщиной, пока она, наконец, не согласилась взять двести пятьдесят рублей наличными деньгами и на двести рублей векселями. И то только тогда, когда Лихонин семестровым свидетельством доказал ей, что он в этом году кончает и делается адвокатом...

Экономка пошла за билетом, а Лихонин принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Он пересмотрел уже все картинки на стенах: и Леду с лебедем, и купанье на морском берегу, и одалиску в гареме, и сатира, несущего на руках голую нимфу, но вдруг его внимание привлек полузакрытый портье-

рой небольшой печатный плакат в рамке и за стеклом. Это был свод правил и постановлений, касающихся обихода публичных домов. Он попался впервые на глаза Лихонину, и студент с удивлением и брезгливостью читал эти строки, изложенные мертвым, казенным языком полицейских участков. Там с постыдной деловою холодностью говорилось о всевозможных мероприятиях и предосторожностях против заражений, об интимном женском туалете, об еженедельных медицинских осмотрах и обо всех приспособлениях для них. Лихонин прочитал также о том, что заведение не должно располагаться ближе чем на сто шагов от церквей, учебных заведений и судебных зданий, что содержать дом терпимости могут только лица женского пола, что селиться при хозяйке могут только ее родственники и то исключительно женского пола и не старше семи лет и что как девушки, так и хозяева дома и прислуга должны в отношениях между собою и также с гостями соблюдать вежливость, тишину, учтивость и благопристойность, отнюдь не позволяя себе пьянства, ругательства и драки. А также и о том, что проститутка не должна позволять себе любовных ласк, будучи в пьяном виде или с пьяным мужчиною, а кроме того, во время известных отправлений. Тут же строжайше воспрещалось проституткам производить искусственные выкидыши. «Какой серьезный и нравственный взгляд на вещи!» — со злобной насмешкой подумал Лихонин.

Наконец дело с Эммой Эдуардовной было покончено. Взяв деньги и написав расписку, она протянула ее вместе с бланком Лихонину, а тот протянул ей деньги, причем во время этой операции оба глядели друг другу в глаза и на руки напряженно и сторожко. Видно было, что оба чувствовали не особенно большое взаимное доверие. Лихонин спрятал документы в бумажник и собирался уходить. Экономка проводила его до самого крыльца, и когда студент уже стоял на улице, она, оставаясь на лестнице, высунулась наружу и окликнула:

— Студент! Эй! Студент!

Он остановился и обернулся.

— Что еще?

— А еще вот что. Теперь я должна вам сказать, что ваша Любка дрянь, воровка и больна сифилисом! У нас никто из хороших гостей не хотел ее брать, и все равно, если бы вы не взяли ее, то завтра мы ее выбросили бы вон! Еще скажу, что она путалась со швейцаром, с городовыми, с дворниками и с воришками. Поздравляю вас с законным браком!

— У-у! Гадина! — зарычал на нее Лихонин.

— Болван зеленый! — крикнула экономка и захлопнула дверь.

В участок Лихонин поехал на извозчике. По дороге он вспомнил, что не успел как следует поглядеть на бланк, на этот пресловутый «желтый билет», о котором он так много слышал. Это был обыкновенный белый листочек не более почтового конверта. На одной стороне в соответствующей графе были прописаны имя, отчество и фамилия Любки и ее профессия — «проститутка», а на другой стороне — краткие извлечения из параграфов того плаката, который он только что прочитал, — позорные, лицемерные правила о приличном поведении и внешней и внутренней чистоте: «Каждый посетитель, — прочитал он, — имеет право требовать от проститутки письменное удостоверение доктора, свидетельствовавшего ее в последний раз». И опять сентиментальная жалость овладела сердцем Лихонина.

«Бедные женщины! — подумал он со скорбью. — Чего только с вами не делают, как не издеваются над вами, пока вы не привыкнете ко всему, точно слепые лошади на молотильном приводе!»

В участке его принял околоточный Кербеш. Он провел ночь на дежурстве, не выспался и был сердит. Его роскошная, веерообразная рыжая борода была помята. Правая половина румяного лица еще пунцово рдела от долгого лежания на неудобной клеенчатой подушке. Но удивительные ярко-синие глаза, холодные и светлые, глядели ясно и жестко, как голубой фарфор. Окончив допрашивать, переписывать и ругать скверными словами кучу обор-

ванцев, забранных ночью для вытрезвления и теперь отправляемых по своим участкам, он откинулся на спинку дивана, заложил руки за шею и так крепко потянулся всей своей огромной богатырской фигурой, что у него затрещали все связки и суставы. Поглядел он на Лихонина, точно на вещь, и спросил:

— А вам что, господин студент?

Лихонин вкратце изложил свое дело.

— И вот я хочу, — закончил он, — взять ее к себе... как это у вас полагается?.. в качестве прислуги или, если хотите, родственницы, словом... как это делается?..

— Ну, скажем, содержанки или жены, — равнодушно возразил Кербеш и покрутил в руках серебряный портсигар с монограммами и фигурками. — Я решительно ничего не могу для вас сделать... по крайней мере сейчас. Если вы желаете на ней жениться, представьте соответствующее разрешение своего университетского начальства. Если же вы берете на содержание, то подумайте, какая же тут логика? Вы берете девушку из дома разврата для того, чтобы жить с ней в развратном сожительстве.

— Прислугой, наконец, — вставил Лихонин.

— Да и прислугой тоже. Потрудитесь представить свидетельство от вашего квартирохозяина, — ведь, надеюсь, вы сами не домовладелец?.. Так вот, свидетельство о том, что вы в состоянии держать прислугу, а кроме того, все документы, удостоверяющие, что вы именно та личность, за которую себя выдаете, например, свидетельство из вашего участка и из университета и все такое прочее. Ведь вы, надеюсь, прописаны? Или, может быть, того?.. Из нелегальных?

— Нет, я прописан! — возразил Лихонин, начиная терять терпение.

— И чудесно. А девица, о которой вы хлопочете?

— Нет, она еще не прописана. Но у меня имеется ее бланк, который вы, надеюсь, обменяете мне на ее настоящий паспорт, и тогда я сейчас же пропишу ее.

Кербеш развел руками, потом опять заиграл портсигаром.

— Ничего не могу поделать для вас, господин студент, ровно ничего, покамест вы не представите всех требуемых бумаг. Что касается до девицы, то она, как не имеющая жительства, будет немедленно отправлена в полицию и задержана при ней, если только сама лично не пожелает отправиться туда, откуда вы ее взяли. Имею честь кланяться.

Лихонин резко нахлобучил шапку и пошел к дверям. Но вдруг у него в голове мелькнула остроумная мысль, от которой, однако, ему самому стало противно. И, чувствуя под ложечкой тошноту, с мокрыми, холодными руками, испытывая противное щемление в пальцах ног, он опять подошел к столу и сказал, как будто бы небрежно, но срывающимся голосом:

— Виноват, господин околоточный. Я забыл самое главное: один наш общий знакомый поручил мне передать вам его небольшой должок.

— Хм! Знакомый? — спросил Кербеш, широко раскрывая свои прекрасные лазурные глаза. — Это кто же такой?

— Бар... Барбарисов.

— А, Барбарисов? Так, так, так! Помню, помню!

— Так вот, не угодно ли вам принять эти десять рублей?

Кербеш покачал головой, но бумажку не взял.

— Ну и свинья же этот ваш... то есть наш Барбарисов. Он мне должен вовсе не десять рублей, а четвертную. Подлец этакий! Двадцать пять рублей, да еще там мелочь какая-то. Ну, мелочь я ему, конечно, не считаю. Бог с ним! Это, видите ли, бильярдный долг. Я должен сказать, что он, негодяй, играет нечисто... Итак, молодой человек, гоните еще пятнадцать.

— Ну, и жох же вы, господин околоточный! — сказал Лихонин, доставая деньги.

— Помилуйте! — совсем уж добродушно возразил Кербеш. — Жена, дети... Жалованье наше, вы сами знаете, какое... Получайте, молодой человек, паспортишко. Распишитесь в принятии. Желаю...

Странное дело! Сознание того, что паспорт, наконец, у него в кармане, почему-то вдруг успокоило и опять взбодрило и приподняло нервы Лихонина.

«Что же! — думал он, быстро идя по улице, — самое начало положено, самое трудное сделано. Держись крепко теперь, Лихонин, и не падай духом! То, что ты сделал, — прекрасно и возвышенно. Пусть я буду даже жертвой этого поступка — все равно! Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды. Я не цирковая собачка, и не дрессированный верблюд, и не первая ученица института благородных девиц. Напрасно только я вчера разболтался с этими носителями просвещения. Вышло глупо, бестактно и во всяком случае преждевременно. Но все поправимо в жизни. Перетерпишь самое тяжелое, самое позорное, а пройдет время, вспомнишь о нем, как о пустяках...»

К его удивлению, Любка не особенно удивилась и совсем не обрадовалась, когда он торжественно показал ей паспорт. Она была только рада опять увидеть Лихонина. Кажется, эта первобытная, наивная душа успела уже прилепиться к своему покровителю. Она кинулась было к нему на шею, но он остановил ее и тихо, почти на ухо спросил:

— Люба, скажи мне... не бойся говорить правду, что бы ни было... Мне сейчас там, в доме, сказали, что будто ты больна одной болезнью... знаешь, такой, которая называется дурной болезнью. Если ты мне хоть сколько-нибудь веришь, скажи, голубчик, скажи, так это или нет?

Она покраснела, закрыла лицо руками, упала на диван и расплакалась.

— Миленький мой! Василь Василич! Васенька! Ей-богу! Вот, ей-богу, никогда ничего подобного! Я всегда была такая осторожная. Я ужасно этого

боялась. Я вас так люблю! Я вам непременно бы сказала. — Она поймала его руки, прижала их к своему мокрому лицу и продолжала уверять его со смешной и трогательной искренностью несправедливо обвиняемого ребенка.

И он тотчас же в душе поверил ей.

— Я тебе верю, дитя мое, — сказал он тихо, поглаживая ее волосы. — Не волнуйся, не плачь. Только не будем опять поддаваться нашим слабостям. Ну, случилось — пусть случилось, и больше не повторим этого.

— Как хотите, — лепетала девушка, целуя то его руки, то сукно его сюртука. — Если я вам так не нравлюсь, то, конечно, как хотите.

Однако и в этот же вечер соблазн опять повторился и до тех пор повторялся, пока моменты грехопадения перестали возбуждать в Лихонине жгучий стыд и не обратились в привычку, поглотив и потушив раскаяние.

XVI

Надо отдать справедливость Лихонину: он сделал все, чтобы устроить Любке спокойное и безбедное существование. Так как он знал, что им все равно придется оставить их мансарду, этот скворечник, возвышавшийся над всем городом, оставить не так из-за тесноты и неудобства, как из-за характера старухи Александры, которая с каждым днем становилась все лютее, придирчивее и бранчивее, то он решился снять на краю города, на Борщаговке, маленькую квартиренку, состоявшую из двух комнат и кухни. Квартира попалась ему недорогая, за девять рублей в месяц, без дров. Правда, Лихонину приходилось бегать оттуда очень далеко по его урокам, но он твердо полагался на свою выносливость и здоровье и часто говаривал:

— У меня ноги свои. Жалеть их нечего.

И правда, ходить пешком он был великий мастер. Однажды, ради шутки, положив себе в жилетный карман шагомер, он к вечеру насчитал двадцать

верст, что, принимая во внимание необыкновенную длину его ног, равнялось верстам двадцати пяти. А бегать ему надо было довольно-таки много, потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведение кое-какою домашнею рухлядью съели весь его случайный карточный выигрыш. Он пробовал было опять приняться за игру, сначала по маленькой, но вскоре убедился, что теперь его карточная звезда вступила в полосу рокового невезения.

Ни для кого из его товарищей уже, конечно, не был тайной настоящий характер его отношений к Любке, но он еще продолжал в их присутствии разыгрывать с девушкой комедию дружеских и братских отношений. Почему-то он не мог или не хотел сознать того, что было бы гораздо умнее и выгоднее для него не лгать, не фальшивить и не притворяться. Или, может быть, он хотя и знал это, но не умел перевести установившегося тона? А в интимных отношениях он неизбежно играл второстепенную, пассивную роль. Инициатива, в виде нежности, ласки, всегда исходила от Любки (она так и осталась Любкой, и Лихонин как-то совсем позабыл о том, что в паспорте сам же прочитал ее настоящее имя — Ирина). Она, еще так недавно отдававшая безучастно или, наоборот, с имитацией знойной страсти свое тело десяткам людей в день, сотням в месяц, привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувством, мыслями. Ей был смешон и занимателен князь, близок душевно и интересно-забавен размашистый Соловьев, к подавляющей авторитетности Симановского она чувствовала суеверный ужас, но Лихонин был для нее одновременно и властелином, и божеством, и, что всего ужаснее, ее собственностью, и ее телесной радостью.

Давно наблюдено, что изжившийся, затасканный мужчина, изгрызенный и изжеванный челюстями любовных страстей, никогда уже не полюбит крепкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины в этом отношении нет ни законов, ни пределов. Это наблюдение

в особенности подтверждалось на Любке. Она с наслаждением готова была пресмыкаться перед Лихониным, служить ему как раба, но в то же время хотела, чтобы он принадлежал ей больше, чем стол, чем собачка, чем ночная кофта. И он оказывался всегда неустойчивым, всегда падающим под натиском этой внезапной любви, которая из скромного ручейка так быстро превратилась в реку и вышла из берегов. И нередко он с горечью и насмешкой думал про себя:

«Каждый вечер я играю роль прекрасного Иосифа, но тот по крайней мере хоть вырвался, оставив в руках у пылкой дамы свое нижнее белье, а когда же я, наконец, освобожусь от своего ярма?»

И тайная вражда к Любке уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы освобождения. И иные из них были настолько нечестны, что через несколько часов или на другой день, вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда.

«Я падаю нравственно и умственно! — думал иногда он с ужасом. — Недаром же я где-то читал или от кого-то слышал, что связь культурного человека с малоинтеллигентной женщиной никогда не поднимет ее до уровня мужчины, а наоборот, его пригнет и опустит до умственного и нравственного кругозора женщины».

И через две недели она уже совсем перестала волновать его воображение. Он уступал, как насилию, длительным ласкам, просьбам, а часто и жалости.

А между тем, отдохнувшая и почувствовавшая у себя под ногами живую, настоящую почву, Любка стала хорошеть с необыкновенной быстротою, подобно тому как внезапно развертывается после обильного и теплого дождя цветочный бутон, еще вчера почти умиравший. Веснушки сбежали с ее нежного лица, и в темных глазах исчезло недоумевающее, растерянное, точно у молодого галчонка, выражение, и они посвежели и заблестели. Окрепло

и налилось тело, покраснели губы. Но Лихонин, видаясь ежедневно с Любкой, не замечал этого и не верил тем комплиментам, которые ей расточали его приятели. «Дурацкие шутки, — думал он, хмурясь. — Дразнятся мальчишки».

Хозяйкой Любка оказалась менее чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие, бесформенные котлеты и довольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великим искусством заваривания чая (в семьдесят пять копеек фунт), но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого человека есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь. Зато она очень любила мыть полы и исполняла это занятие так часто и с таким усердием, что в квартире скоро завелась сырость и показались мокрицы.

Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонин приобрел для нее в рассрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владеть этим инструментом, сулившим, судя по объявлению, три рубля в день чистого заработка его владельцу, оказалось настолько нехитрым, что Лихонин, Соловьев и Нижерадзе легко овладели им в несколько часов, а Лихонин даже ухитрился связать целый чулок необыкновенной прочности и таких размеров, что он оказался бы велик даже для ног Минина и Пожарского, что в Москве, на Красной площади. Одна только Любка никак не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибке или путанице ей приходилось обращаться к содействию мужчин. Но зато делать искусственные цветы она научилась довольно быстро и вопреки мнению Симановского делала их очень изящно и с большим вкусом, так что через месяц шляпные и специальные магазины стали покупать у нее работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки, а остальному научилась по самоучителю, руководясь только приложенными к нему рисунками. Она не ухитрялась выработать цветов более чем на рубль в неделю, но и эти деньги были

ее гордостью, и на первый же вырученный полтинник она купила Лихонину мундштук для курения.

Несколько лет спустя Лихонин сам в душе сознавался с раскаянием и тихой тоской, что этот период времени был самым тихим, мирным и уютным за всю его университетскую и адвокатскую жизнь. Эта неуклюжая, неловкая, может быть, даже глупая Любка обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незаметной способностью создавать вокруг себя светлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милым, тихим центром, где чувствовали себя как-то просто, по-семейному, и отдыхали душою после тяжелых мытарств, нужды и голодания все товарищи Лихонина, которым, как и большинству студентов того времени, приходилось выдерживать ожесточенную борьбу с суровыми условиями жизни. Вспоминал Лихонин с благодарной грустью об ее дружеской услужливости, об ее скромной и внимательной молчаливости в эти вечера за самоваром, когда так много говорилось, спорилось и мечталось.

С учением дело шло очень туго. Все эти самозванные развиватели, вместе и порознь, говорили о том, что образование человеческого ума и воспитание человеческой души должны исходить из индивидуальных мотивов, но на самом деле они пичкали Любку именно тем, что им самим казалось нужным и необходимым, и старались преодолеть с нею именно те научные препятствия, которые без всякого ущерба можно было бы оставить в стороне.

Так, например, Лихонин ни за что не хотел примириться, обучая ее арифметике, с ее странным, варварским, дикарским или, вернее, детским, самобытным способом считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Так, например, двенадцать у нее были два раза по две тройки, девятнадцать — три пятерки и две двойки, и надо сказать, что по своей системе она с быстротою счетных костяшек оперировала почти до ста. Дальше идти она не решалась, да, впрочем, ей и не было в

этом практической надобности. Тщетно Лихонин старался перевести ее на десятеричную систему. Из этого ничего не получалось, кроме того, что он выходил из себя, кричал на Любку, а она глядела на него молча, изумленными, широко открытыми и виноватыми глазами, на которых ресницы от слез слипались длинными черными стрелами. Так же, по капризному складу ума, она сравнительно легко начала овладевать сложением и умножением, но вычитание и деление было для нее непроницаемой стеной. Зато с удивительной быстротой, легкостью и остроумием она умела решать всевозможные устные шутливые задачи-головоломки, да и сама помнила их еще очень много из деревенского тысячелетнего обихода. К географии она была совершенно тупа. Правда, она в сотни раз лучше, чем Лихонин, умела на улице, в саду и в комнате ориентироваться по странам света, — в ней сказывался древний мужицкий инстинкт, — но она упорно отвергала сферичность земли и не признавала горизонта, а когда ей говорили, что земной шар движется в пространстве, она только фыркала. Географические карты для нее всегда были непонятной мазней в несколько красок, но отдельные фигуры она запоминала точно и быстро. «Где Италия?» — спрашивал ее Лихонин. «Вот он. Сапог», — говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. «Швеция и Норвегия?» — «Это собака, которая прыгает с крыши». — «Балтийское море?» — «Вдова стоит на коленях». — «Черное море?» — «Башмак». — «Испания?» — «Толстяк в фуражке. Вот он...» и так далее. С историей дело шло не лучше. Лихонин не учитывал того, что она с ее детской душой, жаждущей вымысла, легко освоилась бы с историческими событиями по разным смешным и героически-трогательным анекдотам, а он, привыкший натаскивать к экзаменам и репетировать гимназистов четвертого или пятого класса, морил ее именами и годами. Кроме того, он был очень нетерпелив, несдержан, вспыльчив, скоро утомлялся, и тайная, обыкновенно скрываемая, но все возраставшая ненависть к этой девушке, так внезапно и

нелепо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливее срывалась во время этих уроков.

Гораздо большим успехом пользовался, как педагог, Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висели в столовой, прикрепленные лентами к гвоздям. Любку более влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чем раздражающее металлическое блеяние мандолины. Когда Нижерадзе приходил к ним в гости (раза три или четыре в неделю, вечером), она сама снимала гитару со стены, тщательно вытирала ее платком и передавала ему. Он, повозившись некоторое время с настройкой, откашливался, клал ногу на ногу, небрежно отваливался на спинку стула и начинал горловым, немного хриплым, но приятным и верным тенорком:

Паридетльскай завукэ пацилуя
Разыдался ва пачиной тишинее,
Он, пылакая серадаца чаруя,
Дасытупин валюбленной чите.

За мига савиданья...

И при этом он делал вид, что млеет от собственного пения, зажмуривал глаза, в страстных местах потрясал головою или во время пауз, оторвав правую руку от струн, вдруг на секунду окаменевал и вонзался в глаза Любки томными, влажными, бараньими глазами. Он знал бесконечное множество романсов, песенок и старинных шутливых штучек. Больше всего нравились Любке всем известные армянские куплеты про Карапета:

У Карапета есть буфет,
На буфете есть конфет,
На конфете есть портрет, —
Этот самый Карапет.

Куплетов этих (они на Кавказе называются «кинтоури» — песня разносчиков) князь знал беспредельно много, но нелепый припев был всегда один и тот же:

Браво, браво, Катенька,
Катерин Петровна,
Не целуй меня в щека,
Целуй на затылкам.

Пел эти куплеты Нижерадзе всегда уменьшенным голосом, сохраняя на лице выражение серьезного удивления к Карапету, а Любка смеялась до боли, до слез, до нервных спазм. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у них пение вышло очень согласное. Мало-помалу, когда постепенно она перестала стесняться князя, они все чаще и чаще пели вместе. У Любки оказалось очень мягкое и низкое, хотя и маленькое, контральто, на котором совсем не оставила следов ее прошлая жизнь с простудами, питьем и профессиональными излишествами. А главное — что уже было случайным курьезным даром божиим — она обладала инстинктивною, прирожденною способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голос. Настало уже то время, под конец их знакомства, когда не Любка князя, а, наоборот, князь ее упрашивал спеть какую-нибудь из любимых народных песен, которых она знала множество. И вот, положив локоть на стол и подперев по-бабьи голову ладонью, она заводила под бережный, тщательный тихий аккомпанемент:

Ой, да надоели мне ночи, да наскучили,
Со милым, со дружком, быть разлученной!
Ой, не сама ли я, баба, глупость сделала,
Моего дружка распрогневала:
Назвала его горьким пьяницей!..

— Горьким пьяницей! — повторял князь вместе с ней последние слова и уныло покачивал склоненной набок курчавой головой, и оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струн и голоса постепенно стихали и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание.

Зато с «Барсовой кожей», сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке, но едва только он начинал нараспев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы, — Любка сначала долго тряслась от непреодоли-

мого смеха, пока, наконец, не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бранил Любку ишаком и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились.

Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывал на нее преувеличенно страстные глаза и театральным изнывающим шепотом произносил:

— Душя мой! Лучший роза в саду Аллаха! Мед и молоко на устах твоих, а дыхание твое лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испить блаженство нирваны из кубка твоих уст, о ты, моя лучшая тифлисская чурчхела!

А она смеялась, сердилась, била его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину.

— Вва! — разводил князь руками. — Что такое Лихонин? Лихонин — мой друг, мой брат и кунак. Но разве он знает, что такое любофф? Разве вы, северные люди, понимаете любофф? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба! Я тебе покажу сейчас, что такое любофффф! — Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрежетал зубами и рычал львиным голосом, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату.

Однако, надо сказать, что для этого парня, вообще очень невоздержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери-грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и, должно быть, он понимал, — а надо сказать, что эти восточные человеки, несмотря на их кажущуюся наивность, а может быть, и благодаря ей, обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем, — понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого семейного вечернего уюта, к которому

он так привык. А он, который был на «ты» почти со всем университетом, тем не менее чувствовал себя таким одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране!

Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву. Этот большой, сильный и небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя, стал подчиняться тому скрытому, неуловимому, изящному обаянию женственности, которое нередко таится под самой грубой оболочкой, в самой жесткой, корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, например, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотело при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот; в письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она вопреки общему обыкновению учащихся чувствовала большую склонность: писала, низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, дула от старания на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языком. Соловьев не прекословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой к этому случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к хрупкому, беспомощному желтопухому цыпленку.

Чтение для них обоих было лакомством, и опять-таки выбором произведений руководил вкус Любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, например, Любка не одолела Дон-Кихота, устала и, наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала Робинзона и особенно обильно

поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты были ей чужды и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом, на другой день, бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бранилась, всплескивала руками и все время восклицала:

— Господи! Откуда он все это берет и как ловко! Ведь точь-в-точь как у нас!

Однажды он принес с собою книжку, озаглавленную: «История Манон Леско и кавалера де Грие, сочинение аббата Прево». Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые. Но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма — все это вместе взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами и всем наивно открытым сердцем радостные, печальные, трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа.

«Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Дени, — читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой, — мы преступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами».

— Что же это они? Самоволкой, значит? Без попа? Так? — спросила тревожно Любка, отрываясь от своих искусственных цветов.

— Конечно. Так что же? Свободная любовь, и больше никаких. Вот, как и вы с Лихониным.

— То я! Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете, откуда. А она — барышня невинная и благородная. Это подлость с его стороны так делать. И, поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка! Ну, ну, ну, читайте дальше.

Но уже через несколько страниц все симпатии и сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера.

«Впрочем, посещения и уход украдкой г. де Б. приводили меня в смущение. Я вспомнил также небольшие покупки Манон, которые превосходили наши средства. Все это попахивало щедростью нового любовника. Но нет, нет! — повторял я, — невозможно, чтобы Манон изменила мне! Она знает, что я живу только для нее, она прекрасно знает, что я ее обожаю».

— Ах, дурачок, дурачок! — воскликнула Любка. — Да разве же не видно сразу, что она у этого богача на содержании. Ах, она дрянь какая!

И чем дальше развертывался роман, тем более живое и страстное участие принимала в нем Любка. Она ничего не имела против того, что Манон обирала при помощи любовника и брата своих очередных покровителей, а де Грие занимался шулерской игрой в притонах, но каждая ее новая измена приводила Любку в неистовство, а страдания кавалера вызывали у нее слезы. Однажды она спросила:

— Соловьев, милочка, а он кто был, этот сочинитель?

— Это был один французский священник.

— Он был не русский?

— Нет, говорю тебе, француз. Видишь, там у него все: и города французские и люди с французскими именами.

— Так вы говорите, он был священник? Откуда же он все это знал?

— Да так уж, знал. Раньше он был обыкновенным светским человеком, дворянином, а уж потом стал

монахом. Он многое видел в своей жизни. Потом он опять вышел из монахов. Да, впрочем, здесь впереди книжки все о нем подробно написано.

Он прочитал ей биографию аббата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачала головою, переспросила в некоторых местах о том, что ей было непонятно, и, когда он кончил, она задумчиво протянула:

— Так вот он какой! Ужасно хорошо написал. Только зачем она такая подлая? Ведь он вот как ее любит, на всю жизнь, а она постоянно ему изменяет.

— Что же, Любочка, поделаешь? Ведь и она его любила. Только она пустая девчонка, легкомысленная. Ей бы только тряпки, да собственные лошади, да брильянты.

Любка вспыхнула и крепко ударила кулаком об кулак.

— Я бы ее, подлую, в порошок стерла! Тоже это называется любила! Если ты любишь человека, то тебе все должно быть мило от него. Он в тюрьму, и ты с ним в тюрьму. Он сделался вором, а ты ему помогай. Он нищий, а ты все-таки с ним. Что тут особенного, что корка черного хлеба, когда любовь? Подлая она и подлая! А я бы, на его месте, бросила бы ее или, вместо того чтобы плакать, такую задала ей взбучку, что она бы целый месяц с синяками ходила, гадина!

Конца повести она долго не могла дослушать и все разражалась такими искренними горячими слезами, что приходилось прерывать чтение, и последнюю главу они одолели только в четыре приема. И сам чтец не раз прослезился при этом.

Беды и злоключения любовников в тюрьме, насильственное отправление Манон в Америку и самоотверженность де Грие, добровольно последовавшего за нею, так овладели воображением Любки и потрясли ее душу, что она уже забывала делать свои замечания. Слушая рассказ о тихой, прекрасной смерти Манон среди пустынной равнины, она, не двигаясь, с стиснутыми на груди руками глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто бежали из ее

раскрытых глаз и падали, как дождик, на стол. Но когда кавалер де Грие, пролежавший двое суток около трупа своей дорогой Манон, не отрывая уст от ее рук и лица, начинает, наконец, обломком шпаги копать могилу, — Любка так разрыдалась, что Соловьев напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, она долго еще всхлипывала дрожащими распухшими губами и лепетала:

— Ах! Жизнь их была какая разнесчастная! Вот судьба-то горькая какая! И уже кого мне жалеть больше, я теперь не знаю: его или ее. И неужели это всегда так бывает, милый Соловьев, что как только мужчина и женщина вот так вот влюбятся, как они, то непременно их бог накажет? Голубчик, почему же это? Почему?

XVII

Но если грузин и добродушный Соловьев служили в курьезном образовании ума и души Любки смягчающим началом против острых шипов житейской премудрости и если Любка прощала педантизм Лихонина ради первой искренней и безграничной любви к нему и прощала так же охотно, как простила бы ему брань, побои или тяжелое преступление, — зато для нее искренним мучением и постоянной длительной тяготой были уроки Симановского. А надо сказать, что он, как назло, был в своих уроках гораздо аккуратнее и точнее, чем всякий педагог, отрабатывающий свои недельные поурочные.

Неопровержимостью своих мнений, уверенностью тона, дидактичностью изложения он так же отнимал волю у бедной Любки и парализовал ее душу, как иногда во время университетских собраний или на массовках он влиял на робкие и застенчивые умы новичков. Он бывал оратором на сходках, он был видным членом по устройству студенческих столовых, он участвовал в записывании, литографировании и издании лекций, он бывал выбираем старостой курса и, наконец, принимал очень большое участие в студенческой кассе. Он был из числа тех людей,

которые, после того как оставят студенческие аудитории, становятся вожаками партий, безграничными властителями чистой и самоотверженной совести, отбывают свой политический стаж где-нибудь в Чухломе, обращая острое внимание всей России на свое героически-бедственное положение, и затем, прекрасно опираясь на свое прошлое, делают себе карьеру благодаря солидной адвокатуре, депутатству или же женитьбе, сопряженной с хорошим куском черноземной земли и с земской деятельностью. Незаметно для самих себя и совсем уже незаметно для постороннего взгляда они осторожно правеют или, вернее, линяют до тех пор, пока не отрастят себе живот, не наживут подагры и болезни печени. Тогда они ворчат на весь мир, говорят, что их не поняли, что их время было временем святых идеалов. А в семье они деспоты и нередко отдают деньги в рост.

Путь образования Любкиного ума и души был для него ясен, как было ясно и неопровержимо все, что он ни задумывал; он хотел сначала заинтересовать Любку опытами по химии и физике.

«Девственно-женский ум, — размышлял он, — будет поражен, тогда я овладею ее вниманием и от пустяков, от фокусов я перейду к тому, что введет ее в центр всемирного познания, где нет ни суеверия, ни предрассудков, где есть только широкое поле для испытания природы».

Надо сказать, что он был непоследовательным в своих уроках. Он таскал, на удивление Любки, все, что ему попадалось под руки. Однажды приволок к ней большую самодельную шутиху — длинную картонную кишку, наполненную порохом, согнутую в виде гармонии и перевязанную крепко поперек шнуром. Он зажег ее, и шутиха долго с треском прыгала по столовой и по спальне, наполняя комнату дымом и вонью. Любка почти не удивилась и сказала, что это просто фейерверки, и что она это уже видела, и что ее этим не удивишь. Однако попросила позволения открыть окно. Затем он принес большую склянку, свинцовой бумаги, канифоли и кошачий

хвост и таким образом устроил лейденскую банку. Разряд, хотя и слабый, но все-таки получился.

— Ну тебя к нечистому, сатана! — закричала Любка, почувствовав сухой щелчок в мизинце.

Затем из нагретой перекиси марганца, смешанного с песком, был добыт при помощи аптекарского пузырька, гуттаперчивого конца от эсмарховой кружки, таза, наполненного водой, и банки из-под варенья — кислород. Разожженная пробка, уголь и проволока горели в банке так ослепительно, что глазам становилось больно. Любка хлопала в ладоши и визжала в восторге:

— Господин профессор, еще! Пожалуйста, еще, еще!..

Но когда, соединив в принесенной пустой бутылке из-под шампанского водород с кислородом и обмотав бутыль для предосторожности полотенцем, Симановский велел Любке направить горлышко на горящую свечу и когда раздался взрыв, точно разом выпалили из четырех пушек, взрыв, от которого посыпалась штукатурка с потолка, тогда Любка струсила и, только с трудом оправившись, произнесла дрожащими губами, но с достоинством:

— Вы уж извините меня, пожалуйста, но так как у меня собственная квартира и теперь я вовсе не девка, а порядочная женщина, то прошу больше у меня не безобразничать. Я думала, что вы, как умный и образованный человек, все чинно и благородно, а вы только глупостями занимаетесь. За это могут и в тюрьму посадить.

Впоследствии, много, много спустя, она рассказывала о том, что у нее был знакомый студент, который делал при ней динамит.

Должно быть, в конце концов Симановский, этот загадочный человек, такой влиятельный в своей юношеской среде, где ему приходилось больше иметь дело с теорией, и такой несуразный, когда ему попался практический опыт над живой душой, был просто-напросто глуп, но только умел искусно скрывать это единственное в нем искреннее качество.

Потерпев неудачу в прикладных науках, он сразу перешел к метафизике. Однажды он очень самоуверенно и таким тоном, после которого не оставалось никаких возражений, заявил Любке, что бога нет и что он берется это доказать в продолжение пяти минут. Тогда Любка вскочила с места и сказала ему твердо, что она, хотя и бывшая проститутка, но верует в бога и не позволит его обижать в своем присутствии и что если он будет продолжать такие глупости, то она пожалуется Василию Васильевичу.

— Я ему тоже скажу, — прибавила она плачущим голосом, — что вы, вместо того чтобы меня учить, только болтаете всякую чушь и тому подобную гадость, а сами все время держите руку у меня на коленях. А это даже совсем неблагородно. — И в первый раз за все их знакомство она, раньше робевшая и стеснявшаяся, резко отодвинулась от своего учителя.

Однако Симановский, потерпев несколько неудач, все-таки упрямо продолжал действовать на ум и воображение Любки. Он пробовал ей объяснить теорию происхождения видов, начиная от амебы и кончая Наполеоном. Любка слушала его внимательно, и в глазах ее при этом было умоляющее выражение: «Когда же ты перестанешь наконец?» Она зевала в платок и потом виновато объясняла: «Извините, это у меня от нервов». Маркс тоже не имел успеха: товар, добавочная стоимость, фабрикант и рабочий, превратившиеся в алгебраические формулы, были для Любки лишь пустыми звуками, сотрясающими воздух, и она, очень искренняя в душе, всегда с радостью вскакивала с места, услышав, что, кажется, борщ вскипел или самовар собирается убежать.

Нельзя сказать, чтобы Симановский не имел успеха у женщин. Его апломб и его веский, решительный тон всегда действовали на простые души, в особенности на свежие, наивно-доверчивые души. От длительных связей он отделывался всегда очень легко: либо на нем лежало громадное ответственное призвание, перед которым семейные любовные отношения — ничто, либо он притворялся сверхчеловеком, которому все позволено (о ты, Ницше, так давно и так позорно перетол-

канный для гимназистов!). Пассивное, почти незаметное, но твердо уклончивое сопротивление Любки раздражало и волновало его. Именно раззадоривало его то, что она, прежде всем такая доступная, готовая отдать свою любовь в один день нескольким людям подряд, каждому за два рубля, и вдруг она теперь играет в какую-то чистую и бескорыстную влюбленность!

«Ерунда, — думал он. — Этого не может быть. Она ломается, и, вероятно, я с нею не нахожу настоящего тона».

И с каждым днем он становился требовательнее, придирчивее и суровее. Он вряд ли сознательно, вернее что по привычке, полагался на свое всегдашнее влияние, устрашающее мысль и подавляющее волю, которое ему редко изменяло.

Однажды Любка пожаловалась на него Лихонину.

— Уж очень он, Василий Васильевич, со мной строгий, и ничего я не понимаю, что он говорит, и я больше не хочу с ним учиться.

Лихонин кое-как с грехом пополам успокоил ее, но все-таки объяснился с Симановским. Тот ему ответил хладнокровно:

— Как хотите, дорогой мой, если вам или Любе не нравится мой метод, то я готов и отказаться. Моя задача состоит лишь в том, чтобы в ее образование ввести настоящий элемент дисциплины. Если она чего-нибудь не понимает, то я заставляю ее зубрить наизусть. Со временем это прекратится. Это неизбежно. Вспомните, Лихонин, как нам был труден переход от арифметики к алгебре, когда нас заставляли заменять простые числа буквами, и мы не знали, для чего это делается. Или для чего нас учили грамматике, вместо того чтобы просто рекомендовать нам самим писать повести и стихи?

А на другой же день, склонившись низко под висячим абажуром лампы над телом Любки и обнюхивая ее грудь и под мышками, он говорил ей:

— Нарисуйте треугольник... Ну да, вот так и вот так. Вверху я пишу «Любовь». Напишите просто букву

Л, а внизу М и Ж. Это будет: любовь женщины и мужчины.

С видом жреца, непоколебимым и суровым, он говорил всякую эротическую белиберду и почти неожиданно окончил:

— Итак, поглядите, Люба. Желание любить — это то же, что желание есть, пить и дышать воздухом. — Он крепко сжимал ее ляжку гораздо выше колена, и она опять, конфузясь и не желая его обидеть, старалась едва заметно, постепенно отодвинуть ногу.

— Скажите, ну разве будет для вашей сестры, матери или для вашего мужа обидно, что вы случайно не пообедали дома, а зашли в ресторан или в кухмистерскую и там насытили свой голод. Так и любовь. Не больше, не меньше. Физиологическое наслаждение. Может быть, более сильное, более острое, чем всякие другие, но и только. Так, например, сейчас: я хочу вас, как женщину. А вы...

— Да бросьте, господин, — досадливо прервала его Любка. — Ну, что все об одном и том же. Заладила сорока Якова. Сказано вам: нет и нет. Разве я не вижу, к чему вы подбираетесь? А только я на измену никогда не согласна, потому что как Василий Васильевич мой благодетель и я их обожаю всей душой... А вы мне даже довольно противны с вашими глупостями.

Однажды он причинил Любке, — и все из-за своих теоретических начал, — большое и скандальное огорчение. Так как в университете давно уже говорили о том, что Лихонин спас девушку из такого-то дома и теперь занимается ее нравственным возрождением, то этот слух, естественно, дошел и до учащихся девушек, бывавших в студенческих кружках. И вот не кто иной, как Симановский, однажды привел к Любке двух медичек, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которая, кстати, писала уже и критические статьи. Он познакомил их самым серьезным и самым дурацким образом.

— Вот, — сказал он, протягивая руки то по направлению к гостям, то к Любке, — вот, товарищи, познакомьтесь. Вы, Люба, увидите в них настоящих друзей, которые помогут вам на вашем светлом пути, а вы, —

товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль, — вы отнеситесь как старшие сестры к человеку, который только что выбился из того ужасного мрака, в который ставит современную женщину социальный строй.

Он говорил, может быть, и не так, но во всяком случае приблизительно в этом роде. Любка краснела, протягивала барышням в цветных кофточках и в кожаных кушаках руку, неуклюже сложенную всеми пальцами вместе, потчевала их чаем с вареньем, поспешно давала им закуривать, но, несмотря на все приглашения, ни за что не хотела сесть. Она говорила: «Да-с, нет-с, как изволите». И когда одна из барышень уронила на пол платок, она кинулась торопливо поднимать его.

Одна из девиц, красная, толстая и басистая, у которой всего-навсего были в лице только пара красных щек, из которых смешно выглядывал намек на вздернутый нос и поблескивала из глубины пара черных изюминок-глазок, все время рассматривала Любку с ног до головы, точно сквозь воображаемый лорнет, водя по ней ничего не говорящим, но презрительным взглядом. «Да ведь я ж никого у ей не отбивала», — подумала виновато Любка. Но другая была настолько бестактна, что, — может быть, для нее в первый раз, а для Любки в сотый, — начала разговор о том, как она попала на путь проституции. Это была барышня суетливая, бледная, очень хорошенькая, воздушная, вся в светлых кудряшках, с видом избалованного котенка и даже с розовым кошачьим бантиком на шее.

— Но скажите, кто же был этот подлец... который первый... ну, вы понимаете?..

В уме Любки быстро мелькнули образы прежних ее подруг — Женьки и Тамары, таких гордых, смелых и находчивых, — о, гораздо умнее, чем эти девицы, — и она почти неожиданно для самой себя вдруг сказала резко:

— Их много было. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржик, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська с компанией. А почему вам интересно?

— Да... нет... то есть я, как человек, который вам вполне сочувствует.

— А у вас любовник есть?

— Простите, я не понимаю, что вы говорите. Господа, нам пора идти.

— То есть как это вы не понимаете? Вы когда-нибудь с мужчиной спали?

— Товарищ Симановский, я не предполагала, что вы нас приведете к такой особе. Благодарю вас. Чрезвычайно мило с вашей стороны!

Любке было только трудно преодолеть первый шаг. Она была из тех натур, которые долго терпят, но быстро срываются, и ее, обыкновенно такую робкую, нельзя было узнать в этот момент.

— А я знаю! — кричала она в озлоблении. — Я знаю, что и вы такие же, как и я! Но у вас папа, мама, вы обеспечены, а если вам нужно, так вы и ребенка вытравите, — многие так делают. А будь вы на моем месте, — когда жрать нечего, и девчонка еще ничего не понимает, потому что неграмотная, а кругом мужчины лезут, как кобели, — то и вы бы были в публичном доме! Стыдно так над бедной девушкой изголяться, — вот что!

Попавший в беду Симановский сказал несколько общих утешительных слов таким рассудительным басом, каким в старинных комедиях говорили благородные отцы, и увел своих дам.

Но ему суждено было сыграть еще одну, очень постыдную, тяжелую и последнюю роль в свободной жизни Любки.

Она давно уже жаловалась Лихонину на то, что ей тяжело присутствие Симановского, но Лихонин не обращал на женские пустяки внимания: был силен в нем пустошный, выдуманный фразерский гипноз этого человека повелений. Есть влияния, от которых освободиться трудно, почти невозможно. С другой стороны, он уже давно тяготился сожительством с Любкой. Часто он думал про себя: «Она заедает мою жизнь, я пошлею, глупею, я растворился в дурацкой добродетели; кончится тем, что я женюсь на ней, поступлю в акциз, или в сиротский суд, или в педагоги, буду брать

взятки, сплетничать и сделаюсь провинциальным гнусным сморчком. И где же мои мечты о власти ума, о красоте жизни, общечеловеческой любви и подвигах?» — говорил он иногда даже вслух и теребил свои волосы. И потому, вместо того чтобы внимательно разобраться в жалобах Любки, он выходил из себя, кричал, топал ногами, а терпеливая, кроткая Любка смолкала и удалялась в кухню, чтобы там выплакаться.

Теперь все чаще и чаще, после семейных ссор, в минуты примирения, он говорил Любке:

— Дорогая Люба, мы с тобой не подходим друг к другу, пойми это. Смотри: вот тебе сто рублей, поезжай домой. Родные тебя примут, как свою. Поживи, осмотрись. Я приеду за тобой через полгода, ты отдохнешь, и, конечно, все грязное, скверное, что привито тебе городом, отойдет, отомрет. И ты начнешь новую жизнь самостоятельно, без всякой поддержки, одинокая и гордая!

Но разве сделаешь что-нибудь с женщиной, которая полюбила в первый и, конечно, как ей кажется, в последний раз? Разве ее убедишь в необходимости разлуки? Разве для нее существует логика?

Благоговея всегда перед твердостью слов и решений Симановского, Лихонин, однако, догадывался и чутьем понимал истинное его отношение к Любке, и в своем желании освободиться, стряхнуть с себя случайный и непосильный груз, он ловил себя на гаденькой мысли: «Она нравится Симановскому, а ей разве не все равно: он, или я, или третий? Объяснюсь-ка я с ним начистоту и уступлю ему Любку по-товарищески. Но ведь не пойдет дура. Визг подымет».

«Или хоть бы застать их как-нибудь вдвоем, — думал он дальше, — в какой-нибудь решительной позе... поднять крик, сделать скандал... Благородный жест... немного денег и... убежать».

Он теперь часто по несколько дней не возвращался домой и потом, придя, переживал мучительные часы женских допросов, сцен, слез, даже истерических припадков. Любка иногда тайком следила за ним, когда он уходил из дома, останавливалась против того подъезда, куда он входил, и часами дожидалась его воз-

вращения для того, чтобы упрекать его и плакать на улице. Не умея читать, она перехватывала его письма и, не решаясь обратиться к помощи князя или Соловьева, копила их у себя в шкафчике вместе с сахаром, чаем, лимоном и всякой другой дрянью. Она уже дошла до того, что в сердитые минуты угрожала ему серной кислотой.

«Черт бы ее побрал, — размышлял Лихонин в минуты «коварных планов». — Все равно, пусть даже между ними ничего нет. А все-таки возьму и сделаю страшную сцену ему и ей».

И он декламировал про себя:

«Ах, так!.. Я тебя пригрел на своей груди, и что же я вижу? Ты платишь мне черной неблагодарностью... А ты, мой лучший товарищ, ты посягнул на мое единственное счастье!.. О нет, нет, оставайтесь вдвоем, я ухожу со слезами на глазах. Я вижу, что я лишний между вами! Я не хочу препятствовать вашей любви, и т. д. и т. д.»

И вот именно эти мечты, затаенные планы, такие мгновенные, случайные и в сущности подлые, — из тех, в которых люди потом самим себе не признаются, — вдруг исполнились. Был очередной урок Соловьева. К его большому счастью, Любка наконец-таки прочитала почти без запинки: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сысоя... ласточка... качели... дети любят бога...» И в награду за это Соловьев прочитал ей вслух «О купце Калашникове и опричнике Кирибеевиче». Любка от восторга скакала в кресле, хлопала в ладоши. Ее всю захватила красота этого монументального, героического произведения. Но ей не пришлось высказать полностью своих впечатлений. Соловьев торопился на деловое свидание. И тотчас же навстречу Соловьеву, едва обменявшись с ним в дверях приветствием, пришел Симановский. У Любки печально вытянулось лицо и надулись губы. Уж очень противен стал ей за последнее время этот педантичный учитель и грубый самец.

На этот раз он начал лекцию на тему о том, что для человека не существует ни законов, ни прав, ни обязанностей, ни чести, ни подлости и что человек есть

величина самодовлеющая, ни от кого и ни от чего не зависимая.

— Можно быть богом, можно быть и глистом, солитером — это все равно.

Он уже хотел перейти к теории любовных чувств, но, к сожалению, от нетерпения поспешил немного: он обнял Любку, притянул к себе и начал ее грубо тискать. «Она опьянеет от ласки. Отдастся!» — думал расчетливый Симановский. Он добивался прикоснуться губами к ее рту для поцелуя, но она кричала и фыркала в него слюнями. Вся наигранная деликатность оставила ее.

— Убирайся, черт паршивый, дурак, свинья, сволочь, я тебе морду разобью!..

К ней вернулся весь лексикон заведения, но Симановский, потеряв пенсне, с перекошенным лицом глядел на нее мутными глазами и городил что попало:

— Дорогая моя... все равно... секунда наслаждения!.. Мы сольемся с тобою в блаженстве!.. Никто не узнает!.. Будь моею!..

Как раз в эту минуту и вошел в комнату Лихонин.

Конечно, в душе он сам себе не сознавался в том, что сию минуту сделает гадость, он лишь только как-то сбоку, издали подумал о том, что его лицо бледно и что его слова сейчас будут трагичны и многозначительны.

— Да! — сказал он глухо, точно актер в четвертом действии драмы, и, опустив бессильно руки, закачал упавшим на грудь подбородком. — Я всего ожидал, только не этого. Тебе я извиняю, Люба, — ты пещерный человек, но вы, Симановский... Я считал вас... впрочем, и до сих пор считаю за порядочного человека. Но я знаю, что страсть бывает иногда сильнее доводов рассудка. Вот здесь есть пятьдесят рублей, я их оставляю для Любы, вы мне, конечно, вернете потом, я в этом не сомневаюсь. Устройте ее судьбу... Вы умный, добрый, честный человек, а я («подлец!» — мелькнул у него в голове чей-то явственный голос)... я ухожу, потому что не выдержу больше этой муки. Будьте счастливы.

Он выхватил из кармана и эффектно бросил свой бумажник на стол, потом схватился за волосы и выбежал из комнаты.

Это был все-таки для него наилучший выход. И сцена разыгралась именно так, как он о ней мечтал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Все это очень длинно и сбивчиво рассказала Любка, рыдая на Женькином плече. Конечно, эта трагикомическая история выходила в ее личном освещении совсем не так, как она случилась на самом деле.

Лихонин, по ее словам, взял ее к себе только для того, чтобы увлечь, соблазнить, попользоваться, сколько хватит, ее глупостью, а потом бросить. А она, дура, сделалась и взаправду в него влюбимшись, а так как она его очень ревновала ко всем этим кудлатым в кожаных поясах, то он и сделал подлость: нарочно подослал своего товарища, сговорился с ним, а тот начал обнимать Любку, а Васька вошел, увидел и сделал большой скандал и выгнал Любку на улицу.

Конечно, в ее передаче были почти равные две части правды и неправды, но так по крайней мере все ей представлялось.

Рассказала она также с большими подробностями и о том, как, очутившись внезапно без мужской поддержки или вообще без чьего-то бы ни было крепкого постороннего влияния, она наняла комнату в плохонькой гостинице, в захолустной улице, как с первого же дня коридорный, обстрелянная птица, тертый калач, покушался ею торговать, даже не спрося на это ее разрешения, как она переехала из гостиницы на частную квартиру, но и там ее настигла опытная старуха сводня, которыми кишат дома, обитаемые беднотой.

Значит, даже и при спокойной жизни было в лице, в разговоре и во всей манере Любки что-то особенное, специфическое, для ненаметанного глаза, может быть,

и совсем не заметное, но для делового чутья ясное и неопровержимое, как день.

Но случайная, короткая искренняя любовь дала ей силу, которой она сама от себя не ожидала, силу сопротивляться неизбежности вторичного падения. В своем героическом мужестве она дошла до того, что сделала даже несколько публикаций в газетах о том, что ищет место горничной за все. Однако у нее не было никакой рекомендации. К тому же ей приходилось при найме иметь дело исключительно с женщинами, а те тоже каким-то внутренним безошибочным инстинктом угадывали в ней старинного врага — совратительницу их мужей, братьев, отцов и сыновей.

Домой ехать ей не было ни смысла, ни расчета. Ее родной Васильковский уезд отстоит всего в пятнадцати верстах от губернского города, и молва о том, что она поступила в такое заведение, уже давно проникла через земляков в деревню. Об этом писали в письмах и передавали устно те деревенские соседи, которым случалось ее видеть и на улице и у самой Анны Марковны, — швейцары и номерные гостиниц, лакеи маленьких ресторанов, извозчики, мелкие подрядчики. Она знала, чем пахла бы эта слава, если бы она вернулась в родные места. Лучше было повеситься, чем это переносить.

Она была нерасчетлива и непрактична в денежных делах, как пятилетний ребенок, и в скором времени осталась без копейки, а возвращаться назад в публичный дом было страшно и позорно. Но соблазны уличной проституции сами собой подвертывались и на каждом шагу лезли в руки. По вечерам, на главной улице, ее прежнюю профессию сразу безошибочно угадывали старые закоренелые уличные проститутки. То и дело одна из них, поравнявшись с нею, начинала сладким, заискивающим голосом:

— Что это вы, девица, ходите одне? Давайте будем подругами, давайте ходить вместе. Это завсегда удобнее. Которые мужчины хочут провести приятно время с девушками, всегда любят, чтобы завести компанию вчетвером.

И тут же опытная, искусившаяся вербовщица сначала вскользь, а потом уж горячо, от всего сердца, начинала расхваливать все удобства житья у своей хозяйки — вкусную пищу, полную свободу выхода, возможность всегда скрыть от хозяйки квартиры излишек сверх положенной платы. Тут же, кстати, говорилось много злого и обидного по поводу женщин закрытых домов, которых называли «казенными шкурами», «казенными», «благородными девицами». Любка знала цену этим насмешкам, потому что в свою очередь жилицы публичных домов тоже с величайшим презрением относятся к уличным проституткам, обзывая их «босявками» и «венеричками».

Понятно, в конце концов случилось то, что должно было случиться. Видя в перспективе целый ряд голодных дней, а в глубине их — темный ужас неизвестного будущего, Любка согласилась на очень учтивое приглашение какого-то приличного маленького старичка, важного, седенького, хорошо одетого и корректного. За этот позор Любка получила рубль, но не смела протестовать: прежняя жизнь в доме совсем вытравила в ней личную инициативу, подвижность и энергию. Потом несколько раз подряд он и совсем ничего не заплатил.

Один молодой человек, развязный и красивый, в фуражке с приплюснутыми полями, лихо надетой набекрень, в шелковой рубашке, опоясанной шнурком с кисточками, тоже повел ее с собой в номера, спросил вина и закуску, долго врал Любке о том, что он побочный сын графа и что он первый бильярдист во всем городе, что его любят все девки и что он из Любки тоже сделает фартовую «маруху». Потом он вышел из номера на минутку, как бы по своим делам, и исчез навсегда. Суровый косоглазый швейцар довольно долго, молча, с деловым видом, сопя и прикрывая Любкин рот рукой, колотил ее. Но, наконец, убедившись, должно быть, что вина не ее, а гостя, отнял у нее кошелек, в котором было рубль с мелочью, и взял под залог ее дешевенькую шляпку и верхнюю кофточку.

Другой, очень недурно одетый мужчина лет сорока пяти, промучив девушку часа два, заплатил за номер

и дал ей восемьдесят копеек; когда же она стала жаловаться, он со зверским лицом приставил к самому ее носу огромный, рыжеволосый кулак и сказал решительно:

— Поскули у меня еще... Я тебе поскулю... Вот вскричу сейчас полицию и скажу, что ты меня обокрала, когда я спал. Хочешь? Давно в части не была?

И ушел.

И таких случаев было много.

В тот день, когда ее квартирные хозяева — лодочник с женой — отказали ей в комнате и просто-напросто выкинули ее вещи на двор и когда она без сна пробродила всю ночь по улицам, под дождем, прячась от городовых, — только тогда с отвращением и стыдом решилась она обратиться к помощи Лихонина. Но Лихонина уже не было в городе: он малодушно уехал в тот же день, когда несправедливо обиженная и опозоренная Любка убежала с квартиры. И вот наутро ей и пришла в голову последняя отчаянная мысль — возвратиться в публичный дом и попросить там прощения.

— Женечка, вы такая умная, такая смелая, такая добрая, попросите за меня Эмму Эдуардовну — экономочка вас послушает, — умоляла она Женьку, и целовала ее голые плечи, и мочила их слезами.

— Никого она не послушает, — мрачно ответила Женька. — И надо тебе было увязаться за таким дураком и подлецом.

— Женечка, ведь вы же сами мне посоветовали, — робко возразила Любка.

— Посоветовала... Ничего я тебе не советовала. Что ты врешь на меня как на мертвую... Ну да ладно — пойдем.

Эмма Эдуардовна уже давно знала о возвращении Любки и даже видела ее в тот момент, когда она проходила, озираясь, через двор дома. В душе она вовсе не была против того, чтобы принять обратно Любку. Надо сказать, что и отпустила она ее только потому, что соблазнилась деньгами, из которых половину присвоила себе. Да к тому же рассчитывала, что при теперешнем

сезонном наплыве новых проституток у нее будет большой выбор, в чем, однако, она ошиблась, потому что сезон круто прекратился. Но во всяком случае она твердо решила взять Любку. Только надо было для сохранения и округления престижа как следует напугать ее.

— Что-о? — заорала она на Любку, едва выслушав ее смущенный лепет. — Ты хочешь, чтобы тебя опять приняли?.. Ты там черт знает с кем валялась по улицам, под заборами, и ты опять, сволочь, лезешь в приличное, порядочное заведение!.. Пфуй, русская свинья! Вон!..

Любка ловила ее руки, стремясь поцеловать, но экономка грубо их выдергивала. Потом вдруг побледнев, с перекошенным лицом, закусив наискось дрожащую нижнюю губу, Эмма расчетливо и метко, со всего размаха ударила Любку по щеке, отчего та опустилась на колени, но тотчас же поднялась, задыхаясь и заикаясь от рыданий.

— Миленькая, не бейте... Дорогая же вы моя, не бейте...

И опять упала, на этот раз плашмя, на пол.

И это систематическое, хладнокровное, злобное избиение продолжалось минуты две. Женька, смотревшая сначала молча, со своим обычным злым, презрительным видом, вдруг не выдержала: дико завизжала, кинулась на экономку, вцепилась ей в волосы, сорвала шиньон и заголосила в настоящем истерическом припадке:

— Дура!.. Убийца!.. Подлая сводница!.. Воровка!..

Все три женщины голосили вместе, и тотчас же ожесточенные вопли раздались по всем коридорам и каморкам заведения. Это был тот общий припадок великой истерии, который овладевает иногда заключенными в тюрьмах, или то стихийное безумие (raptus), которое охватывает внезапно и повально весь сумасшедший дом, отчего бледнеют даже опытные психиатры.

Только спустя час порядок был водворен Симеоном и пришедшими к нему на помощь двумя товарищами по профессии. Крепко досталось всем тринадцати девушкам, а больше других Женьке, пришедшей в настоящее исступление. Избитая Любка до тех пор пресмыкалась перед экономкой, покамест ее не при-

няли обратно. Она знала, что Женькин скандал рано или поздно отзовется на ней жестокой отплатой. Женька же до самой ночи сидела, скрестив по-турецки ноги, на своей постели, отказалась от обеда и выгоняла вон всех подруг, которые заходили к ней. Глаз у нее был ушиблен, и она прикладывала к нему усердно медный пятак. Из-под разорванной сорочки краснела на шее длинная поперечная царапина, точно след от веревки. Это содрал ей кожу в борьбе Симеон. Она сидела так одна, с глазами, которые светились в темноте, как у дикого зверя, с раздутыми ноздрями, с судорожно двигавшимися скулами, и шептала злобно:

— Подождите же... Постойте, проклятые, — я вам покажу... Вы еще увидите... У-у, людоеды...

Но когда зажгли огни и младшая экономка Зося постучала ей в дверь со словами: «Барышня, одеваться!.. В залу!» — она быстро умылась, оделась, припудрила синяк, замазала царапину белилами и розовой пудрой и вышла в залу, жалкая, но гордая, избитая, но с глазами, горевшими нестерпимым озлоблением и нечеловеческой красотой.

Многие люди, которым приходилось видеть самоубийц за несколько часов до их ужасной смерти, рассказывают, что в их облике в эти роковые предсмертные часы они замечали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. И все, кто видели Женьку в эту ночь и на другой день в немногие часы, подолгу, пристально и удивленно останавливались на ней взглядом.

И всего страннее (это была одна из мрачных проделок судьбы), что косвенным виновником ее смерти, последней песчинкой, которая перетягивает вниз чашу весов, явился не кто иной, как милый, добрейший кадет Коля Гладышев...

II

Коля Гладышев был славный, веселый, застенчивый парнишка, большеголовый, румяный, с белой, смешной, изогнутой, точно молочной, полоской на

верхней губе, под первым пробившимся пушком усов, с широко расставленными синими наивными глазами и такой стриженый, что из-под его белокурой щетинки, как у породистого йоркширского поросенка, просвечивала розовая кожа. Это именно с ним прошлой зимой играла Женька не то в материнские отношения, не то как в куклы и совала ему яблочко или пару конфеток на дорогу, когда он уходил из дома терпимости, корчась от стыда.

В этот раз, когда он пришел, в нем сразу, после долгого житья в лагерях, чувствовалась та быстрая перемена возраста, которая так неуловимо и быстро превращает мальчика в юношу. Он уже окончил кадетский корпус и с гордостью считал себя юнкером, хотя с отвращением еще ходил в кадетской форме. Он вырос, стал стройнее и ловче; лагерная жизнь пошла ему в пользу. Говорил он басом, и в эти месяцы к его величайшей гордости нагрубли у него соски грудей, самый главный — он уже знал об этом — и безусловный признак мужской зрелости. Теперь для него покамест, до строевых строгостей военного училища, было время обольстительной полусвободы. Уже дома ему разрешили официально, при взрослых, курить, и даже сам отец подарил ему кожаный портсигар с его монограммой, а также, в подъеме семейной радости, определил ему пятнадцать рублей месячного жалованья.

Именно здесь — у Анны Марковны — он и узнал впервые женщину, ту же Женьку.

Падение невинных душ в домах терпимости или у уличных одиночек совершается гораздо чаще, чем обыкновенно думают. Когда об этом щекотливом деле расспрашивают не только зеленых юношей, но даже и почетных пятидесятилетних мужчин, почти дедушек, они вам наверное скажут древнюю трафаретную ложь о том, как их соблазнила горничная или гувернантка. Но это — одна из тех длительных, идущих назад, в глубину прошедших десятилетий, странных лжей, которые почти не подмечены ни одним из профессиональных наблюдателей и во всяком случае никем не описаны.

Если каждый из нас попробует положить, выражаясь пышно, руку на сердце и смело дать себе отчет в прошлом, то всякий поймает себя на том, что однажды, в детстве, сказав какую-нибудь хвастливую или трогательную выдумку, которая имела успех, и повторив ее поэтому еще два, и пять, и десять раз, он потом не может от нее избавиться во всю свою жизнь и повторяет совсем уже твердо никогда не существовавшую историю, твердо до того, что в конце концов верит в нее. Со временем и Коля рассказывал своим товарищам о том, что его соблазнила его двоюродная тетка — светская молодая дама. Надо, однако, сказать, что интимная близость к этой даме, большой, черноглазой, белолицей, сладко пахнувшей южной женщине, действительно существовала, но существовала только в Колином воображении, в те печальные, трагические и робкие минуты одиноких половых наслаждений, через которые проходят из всех мужчин если не сто процентов, то во всяком случае девяносто девять.

Испытав очень рано механические половые возбуждения, приблизительно с девяти или девяти с половиною лет, Коля совсем не имел ни малейшего понятия о том, что такое из себя представляет тот конец влюбленности и ухаживания, который так ужасен, если на него поглядеть въявь, со стороны, или если его объяснять научно. К несчастью, около него в то время не было ни одной из теперешних прогрессивных и ученых дам, которые, отвернув шею классическому аисту и вырвав с корнем капусту, под которой находят детей, рекомендуют в лекциях, в сравнениях и уподоблениях беспощадно и даже чуть ли не графическим порядком объяснять детям великую тайну любви и зарождения.

Надо сказать, что в то отдаленное время, о котором идет речь, закрытые заведения — мужские пансионы и мужские институты, а также кадетские корпуса — представляли из себя какие-то тепличные рассадники. Попечение об уме и нравственности мальчуганов старались по возможности вверять воспитателям, чиновникам-формалистам, и вдобавок нетерпеливым, вздорным, капризным в своих симпатиях и истеричным,

точно старые девы, классным дамам. Теперь иначе. Но в то время мальчики были предоставлены самим себе. Едва оторванные, говоря фигурально, от материнской груди, от ухода преданных нянек, от утренних и вечерних ласк, тихих и сладких, они хотя и стыдились всякого проявления нежности, как «бабства», но их неудержимо и сладостно влекло к поцелуям, прикосновениям, беседам на ушко.

Конечно, внимательное, заботливое отношение, купанье, упражнения на свежем воздухе, — именно не гимнастика, а вольные упражнения, каждому по своей охотке, — всегда могли бы отдалить приход этого опасного периода или смягчить и образумить его.

Повторяю, — *тогда* этого не было.

Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, так грубо и внезапно оборванной, обратилась в уродливые формы ухаживания (точь-в-точь как в женских институтах «обожание») за хорошенькими мальчиками, за «мазочками»; любили шептаться по углам и, ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, говорить друг другу на ухо несбыточные истории о приключениях с женщинами. Это была отчасти и потребность детства в сказочном, а отчасти и просыпавшаяся чувственность. Нередко какой-нибудь пятнадцатилетний пузырь, которому только впору играть в лапту или уписывать жадно гречневую кашу с молоком, рассказывал, начитавшись, конечно, кой-каких романишек, о том, что теперь каждую субботу, когда отпуск, он ходит к одной красивой вдове миллионерше, и о том, как она страстно в него влюблена, и как около их ложа всегда стоят фрукты и драгоценное вино, и как она любит его неистово и страстно.

Тут, кстати, подоспела и неизбежная полоса затяжного запойного чтения, через которую, конечно, проходили каждый мальчик и каждая девочка. Как бы ни был строг в этом отношении классный надзор, все равно юнцы читали, читают и будут читать именно то, что им не позволено. Здесь есть особенный азарт, шик, прелесть запретного. Уже в третьем классе ходили по рукам рукописные списки Баркова, подложного

Пушкина, юношеские грехи Лермонтова и других: «Первая ночь», «Вишня», «Лука», «Петергофский праздник», «Уланша», «Горе от ума», «Поп» и т. д.

Но, как это ни может показаться странным, выдуманным или парадоксальным, однако и эти сочинения, и рисунки, и похабные фотографические карточки не возбуждали сладостного любопытства. На них глядели, как на проказу, на шалость и на прелесть контрабандного риска. В кадетской библиотеке были целомудренные выдержки из Пушкина и Лермонтова, весь Островский, который только смешил, и почти весь Тургенев, который и сыграл в жизни Коли главную и жестокую роль. Как известно, у покойного великого Тургенева любовь всегда окружена дразнящей завесой, какой-то дымкой, неуловимой, запретной, но соблазнительной: девушки у него предчувствуют любовь, и волнуются от ее приближения, и стыдятся свыше меры, и дрожат, и краснеют. Замужние женщины или вдовы совершают этот мучительный путь несколько иначе: они долго борются с долгом, или с порядочностью, или с мнением света, и, наконец, — ах! — падают со слезами, или — ах! — начинают бравировать, или, что еще чаще, неумолимый рок прерывает ее или его жизнь в самый — ах! — нужный момент, когда созревшему плоду недостает только легкого дуновения ветра, чтобы упасть. И все его персонажи все-таки жаждут этой постыдной любви, светло плачут и радостно смеются от нее, и она заслоняет для них весь мир. Но так как мальчики думают совершенно иначе, чем мы, взрослые, и так как все запретное, все недосказанное или сказанное по секрету имеет в их глазах громадный, не только сугубый, но трегубый интерес, то, естественно, что из чтения они выводили смутную мысль, что взрослые что-то скрывают от них.

Да и то надо сказать, разве Коля, подобно большинству его сверстников, не видал, как горничная Фрося, такая краснощекая, вечно веселая, с ногами твердости стали (он иногда, развозившись, хлопал ее по спине), как она однажды, когда Коля случайно быстро вошел в папин кабинет, прыснула оттуда во весь дух, закрыв

лицо передником, и разве он не видал, что в это время у папы было лицо красное, с сизым, как бы удлинившимся носом, и Коля подумал: «Папа похож на индюка». Разве у того же папы Коля, отчасти по свойственной всем мальчикам проказливости и озорству, отчасти от скуки, не открыл случайно в незапертом ящике папиного письменного стола громадную коллекцию карточек, где было представлено именно то, что приказчики называют увенчанием любви, а светские оболтусы — неземною страстью.

И разве он не видал, что каждый раз перед визитом благоухающего и накрахмаленного Павла Эдуардовича, какого-то балбеса при каком-то посольстве, с которым мама, в подражание модным петербургским прогулкам на Стрелку, ездила на Днепр глядеть на то, как закатывается солнце на другой стороне реки, в Черниговской губернии, — разве он не видел, как ходила мамина грудь и как рдели ее щеки под пудрой, разве он не улавливал в эти моменты много нового и странного, разве он не слышал ее голос, совсем чужой голос, как бы актерский, нервно прерывающийся, беспощадно злой к семейным и прислуге и вдруг нежный, как бархат, как зеленый луг под солнцем, когда приходил Павел Эдуардович. Ах, если бы мы, люди, умудренные опытом, знали о том, как много и даже чересчур много знают окружающие нас мальчуганы и девчонки, о которых мы обыкновенно говорим:

— Ну, что стесняться Володи (или Пети, или Кати)?.. Ведь они маленькие. Они ничего не понимают!..

Также не напрасно прошла для Гладышева и история его старшего брата, который только что вышел из военного училища в один из видных гренадерских полков и, находясь в отпуску до той поры, когда ему можно будет расправить крылья, жил в двух отдельных комнатах в своей семье. В то время у них служила горничная Нюша, которую иногда шутя называли синьорита Анита, прелестная черноволосая девушка, которую, если бы переменять на ней костюмы, можно было бы по наружности принять и за драматическую

актрису, и за принцессу крови, и за политическую деятельницу. Мать Коли явно покровительствовала тому, что Колин брат полушутя, полусерьезно увлекался этой девушкой. Конечно, у нее был один только святой материнский расчет: если уже суждено Бореньке пасть, то пускай он отдаст свою чистоту, свою невинность, свое первое физическое влечение не проститутке, не потаскушке, не искательнице приключений, а чистой девушке. Конечно, ею руководило только бескорыстное, безрассудное, истинно материнское чувство. Коля в то время переживал эпоху льяносов, пампасов, апачей, следопытов и вождя по имени «Черная Пантера» и, конечно, внимательно следил за романом брата и делал свои, иногда чересчур верные, иногда фантастические умозаключения. Через шесть месяцев он из-за двери был свидетелем, вернее, слушателем возмутительной сцены. Генеральша, всегда такая приличная и сдержанная, кричала в своем будуаре на синьориту Аниту, топала ногами и ругалась извозчичьими словами: синьорита была беременна на пятом месяце. Если бы она не плакала, то, вероятно, ей просто дали бы отступного и она ушла бы благополучно, но она была влюблена в молодого паныча, ничего не требовала, а только голосила, и потому ее удалили при помощи полиции.

В классе пятом-шестом многие из товарищей Коли уже вкусили от древа познания зла. В эту пору у них в корпусе считалось особенным хвастливым мужским шиком называть все сокровенные вещи своими именами. Аркаша Шкарин заболел не опасной, но все-таки венерической болезнью, и он стал на целых три месяца предметом поклонения всего старшего возраста (тогда еще не было рот). Многие же посещали публичные дома, и, право, о своих кутежах они рассказывали гораздо красивее и шире, чем гусары времен Дениса Давыдова. Эти дебоши считались ими последней точкой молодечества и взрослости.

И вот однажды — не то, что уговорили Гладышева, а, вернее, он сам напросился поехать к Анне Марковне: так слабо он сопротивлялся соблазну. Этот вечер он вспоминал всегда с ужасом, с отвращением и смутно,

точно какой-то пьяный сон. С трудом вспоминал он, как для храбрости пил он на извозчике отвратительно пахнувший настоящими постельными клопами ром, как его мутило от этого пойла, как он вошел в большую залу, где огненными колесами вертелись огни люстр и канделябров на стенах, где фантастическими розовыми, синими, фиолетовыми пятнами двигались женщины и ослепительно-пряным, победным блеском сверкала белизна шей, грудей и рук. Кто-то из товарищей прошептал одной из этих фантастических фигур что-то на ухо. Она подбежала к Коле и сказала:

— Послушайте, хорошенький кадетик, товарищи вот говорят, что вы еще невинный... Идем... Я тебя научу всему...

Фраза была сказана ласково, но эту фразу стены заведения Анны Марковны слышали уже несколько тысяч раз. Дальше произошло то, что было настолько трудно и больно вспоминать, что на половине воспоминаний Коля уставал и усилием воли возвращал воображение к чему-нибудь другому. Он только помнил смутно вращающиеся и расплывающиеся круги от света лампы, настойчивые поцелуи, смущающие прикосновения, потом внезапную острую боль, от которой хотелось и умереть в наслаждении, и закричать от ужаса, и потом он сам с удивлением видел свои бледные, трясущиеся руки, которые никак не могли застегнуть одежды.

Конечно, все мужчины испытывали эту первоначальную tristia post coitus, но эта великая нравственная боль, очень серьезная по своему значению и глубине, весьма быстро проходит, оставаясь, однако, у большинства надолго, иногда на всю жизнь, в виде скуки и неловкости после известных моментов. В скором времени Коля свыкся с нею, осмелел, освоился с женщиной и очень радовался тому, что когда он приходил в заведение, то все девушки, а раньше всех Верка, кричат:

— Женечка, твой любовник пришел!

Приятно было, рассказывая об этом товарищам, пощипывать воображаемый ус.

III

Было еще рано — часов девять августовского дождливого вечера. Освещенная зала в доме Анны Марковны почти пустовала. Только у самых дверей сидел, застенчиво и неуклюже поджав под стул ноги, молоденький телеграфный чиновник и старался завести с толстомясой Катькой тот светский, непринужденный разговор, который полагается в приличном обществе за кадрилью, в антрактах между фигурами. Да длинноногий старый Ванька-Встанька блуждал по комнате, присаживаясь то к одной, то к другой девице и занимая их своей складной болтовней.

Когда Коля Гладышев вошел в переднюю, то первая его узнала круглоглазая Верка, одетая в свой обычный жокейский костюм. Она завертелась вокруг самой себя, запрыгала, захлопала в ладоши и закричала:

— Женька, Женька, иди скорее, к тебе твой любовничек пришел. Кадетик... Да хорошенький какой!

Но Женьки в это время не было в зале: ее уже успел захватить толстый обер-кондуктор.

Этот пожилой, степенный и величественный человек, тайный продавец казенных свечей, был очень удобным гостем, потому что никогда не задерживался в доме более сорока минут, боясь пропустить свой поезд, да и то все время поглядывал на часы. Он за это время аккуратно выпивал четыре бутылки пива и, уходя, непременно давал полтинник девушке на конфеты и Симеону двадцать копеек на чай.

Коля Гладышев был не один, а вместе с товарищем-одноклассником Петровым, который впервые переступал порог публичного дома, сдавшись на соблазнительные уговоры Гладышева. Вероятно, он в эти минуты находился в том же диком, сумбурном, лихорадочном состоянии, которое переживал полтора года тому назад и сам Коля, когда у него тряслись ноги, пересыхало во рту, а огни ламп плясали перед ним кружащимися колесами.

Симеон принял от них шинели и спрятал отдельно, в сторонку, так, чтобы не было видно погон и пуговиц.

Надо сказать, что этот суровый человек, не одобряв-

ший студентов за их развязную шутливость и непонятный слог в разговоре, не любил также, когда появлялись в заведении вот такие мальчики в форме.

— Ну, что хорошего? — мрачно говорил он порою своим коллегам по профессии. — Придет вот такой шибздик, да и столкнется нос к носу со своим начальством? Трах, и закрыли заведение! Вот как Лупендиху три года тому назад. Это, конечно, ничего, что закрыли — она сейчас же его на другое имя перевела, — а как приговорили ее на полтора месяца в арестный дом на высидку, так стало ей это в ха-арошую копеечку. Одному Кербешу четыреста пришлось отсыпать... А то еще бывает: наварит себе такой подсвинок какую-нибудь болезнь и расхнычется: «Ах, папа! Ах, мама! Умираю!» — «Говори, подлец, где получил?» — «Там-то...» Ну и потянут опять на цугундер: суди меня, судья неправедный!

— Проходите, проходите, — сказал он кадетам сурово.

Кадеты вошли, жмурясь от яркого света. Петров, выпивший для храбрости, пошатывался и был бледен. Они сели под картиной «Боярский пир», и сейчас же к ним присоединились с обеих сторон две девицы — Верка и Тамара.

— Угостите покурить, прекрасный брюнетик! — обратилась Верка к Петрову и точно нечаянно приложила к его ноге свою крепкую, плотно обтянутую белым трико, теплую ляжку. — Какой вы симпатичненький!..

— А где же Женя? — спросил Гладышев Тамару. — Занята с кем-нибудь?

Тамара внимательно поглядела ему в глаза, — поглядела так пристально, что мальчику даже стало не по себе и он отвернулся.

— Нет. Зачем же занята? Только у нее сегодня весь день болела голова: она проходила коридором, а в это время экономка быстро открыла дверь и нечаянно ударила ее в лоб, — ну и разболелась голова. Целый день она, бедняжка, лежит с компрессом. А что? или не терпится? Подождите, минут через пять выйдет. Останетесь ею очень довольны.

Верка приставала к Петрову:

— Дусенька, миленький, какой же вы ляленька! Обожаю таких бледных брунетов: они ревнивые и очень горячие в любви.

И вдруг запела вполголоса:

Не то брунетик,
Не то мой светик,
Он не обманет, не продасть.
Он терпит муки,
Пальто и брюки —
Он все для женщины отдасть.

— Как вас зовут, мусенька?

— Георгием, — ответил сиплым кадетским басом Петров.

— Жоржик! Жорочка! Ах, как очень приятно!

Она приблизилась вдруг к его уху и прошептала с лукавым лицом:

— Жорочка, пойдем ко мне.

Петров потупился и уныло пробасил:

— Я не знаю... Вот как товарищ скажет...

Верка громко расхохоталась:

— Вот так штука! Скажите, младенец какой! Таких, как вы, Жорочка, в деревне давно уж женят, а он: «Как товарищ!» Ты бы еще у нянюшки или у кормилки спросился! Тамара, ангел мой, вообрази себе: я его зову спать, а он говорит: «Как товарищ!» Вы что же, господин товарищ, гувернан ихний?

— Не лезь, черт! — неуклюже, совсем как кадет перед ссорой, пробурчал басом Петров.

К кадетам подошел длинный, вихлястый, еще больше поседевший Ванька-Встанька и, склонив свою длинную узкую голову набок и сделав умильную гримасу, запричитал:

— Господа кадеты, высокообразованные молодые люди, так сказать, цветы интеллигенции, будущие фельцихместеры [1], не одолжите ли старичку, аборигену здешних злачных мест, одну добрую старую папиросу? Нищ есмь. Омниа меа мекум порто [2]. Но табачок обожаю.

---

[1] Генералы (от *нем.* Feldzeugmeister).

[2] Все свое ношу с собой *(лат.)*.

И получив папиросу, вдруг сразу встал в развязную, непринужденную позу, отставил вперед согнутую правую ногу, подперся рукою в бок и запел дряблой фистулой:

Бывало, задавал обеды,
Шампанское лилось рекой,
Теперь же нету корки хлеба,
На шкалик нету, братец мой.

Бывало, захожу в «Саратов»,
Швейцар бежит ко мне стрелой,
Теперь же гонят все по шее.
На шкалик дай мне, братец мой.

— Господа! — вдруг патетически воскликнул Ванька-Встанька, прервав пение и ударив себя в грудь. — Вот вижу я вас и знаю, что вы — будущие генералы Скобелев и Гурко, но и я ведь тоже в некотором отношении военная косточка. В мое время, когда я учился на помощника лесничего, все наше лесное ведомство было военное, и потому, стучась в усыпанные бриллиантами золотые двери ваших сердец, прошу: пожертвуйте на сооружение прапорщику таксации малой толики spiritus vini, его же и монаси приемлют.

— Ванька! — крикнула с другого конца толстая Катька, — покажи молодым офицерам молнию, а то, гляди, только даром деньги берешь, дармоед верблюжий!

— Сейчас! — весело отозвался Ванька-Встанька. — Ясновельможные благодетели, обратите внимание. Живые картины. Гроза в летний июньский день. Сочинение непризнанного драматурга, скрывшегося под псевдонимом Ваньки-Встаньки. Картина первая.

«Был прекрасный июньский день. Палящие лучи полуденного солнца озаряли цветущие луга и окрестности...»

Ваньки-Встанькина донкихотская образина расплылась в морщинистую сладкую улыбку, и глаза сузились полукругами.

«...Но вот вдали на горизонте показались первые облака. Они росли, громоздились, как скалы, покрывая мало-помалу голубой небосклон...»

Постепенно с Ваньки-Встанькиного лица сходила улыбка, и оно делалось все серьезнее и суровее.

«...Наконец тучи заволокли солнце... Настала зловещая темнота...»

Ванька-Встанька сделал совсем свирепую физиономию.

«...Упали первые капли дождя...»

Ванька забарабанил пальцами по спинке стула.

«...В отдалении блеснула первая молния...»

Правый глаз Ваньки-Встаньки быстро моргнул, и дернулся левый угол рта.

«...Затем дождь полил как из ведра, и сверкнула вдруг ослепительная молния...»

И с необыкновенным искусством и быстротой Ванька-Встанька последовательным движением бровей, глаз, носа, верхней и нижней губы изобразил молниеносный зигзаг.

«...Раздался потрясающий громовой удар — тррру-у-у. Вековой дуб упал на землю, точно хрупкая тростинка...»

И Ванька-Встанька с неожиданной для его лет легкостью и смелостью, не сгибая ни колен, ни спины, только угнув вниз голову, мгновенно упал, прямо как статуя, на пол, но тотчас же ловко вскочил на ноги.

«...Но вот гроза постепенно утихает. Молния блещет все реже. Гром звучит глуше, точно насытившийся зверь, — ууу-ууу... Тучи разбегаются. Проглянули первые лучи солнышка...»

Ванька-Встанька сделал кислую улыбку.

«...И вот, наконец, дневное светило снова засияло над омытой землей...»

И глупейшая блаженная улыбка снова разлилась по старческому лицу Ваньки-Встаньки.

Кадеты дали ему по двугривенному. Он положил их на ладонь, другой рукой сделал в воздухе пасс, сказал: ейн, цвей, дрей, щелкнул двумя пальцами — и монеты исчезли.

— Тамарочка, это нечестно, — сказал он укоризненно. — Как вам не стыдно у бедного отставного почти обер-офицера брать последние деньги? Зачем вы их спрятали сюда?

И, опять щелкнув пальцами, он вытащил монеты из Тамариного уха.

— Сейчас я вернусь, не скучайте без меня, — успокоил он молодых людей, — а ежели вы меня не дождетесь, то я буду не особенно в претензии. Имею честь!..

— Ванька-Встанька! — крикнула ему вдогонку Манька Беленькая, — купи-ка мне на пятнадцать копеек конфет... помадки на пятнадцать копеек. На, держи!

Ванька-Встанька чисто поймал на лету брошенный пятиалтынный, сделал комический реверанс и, нахлобучив набекрень форменную фуражку с зелеными кантами, исчез.

К кадетам подошла высокая старая Генриетта, тоже попросила покурить и, зевнув, сказала:

— Хоть бы потанцевали вы, молодые люди, а то барышни сидят-сидят, аж от скуки дохнут.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Коля. — Сыграйте вальс и там что-нибудь.

Музыканты заиграли. Девушки закружились одна с другой, по обыкновению, церемонно, с вытянутыми прямо спинами и с глазами, стыдливо опущенными вниз.

Коля Гладышев, очень любивший танцевать, не утерпел и пригласил Тамару: он еще с прошлой зимы знал, что она танцует легче и умелее остальных. Когда он вертелся в вальсе, то сквозь залу, изворотливо пробираясь между парами, незаметно проскользнул поездной толстый обер-кондуктор. Коля не успел его заметить.

Как ни приставала Верка к Петрову, его ни за что не удалось стянуть с места. Теперь недавний легкий хмель совсем уже вышел из его головы, и все страшнее, все несбыточнее и все уродливее казалось ему то, для чего он сюда пришел. Он мог бы уйти, сказать, что ему здесь ни одна не нравится, сослаться на головную боль, что ли, но он знал, что Гладышев не выпустит его, а главное — казалось невыносимо тяжелым встать с места и пройти одному несколько шагов. И, кроме того, он чувствовал, что не в силах заговорить с Колей об этом.

Окончили танцевать. Тамара с Гладышевым опять уселись рядом.

— Что же, в самом деле, Женька до сих пор не идет? — спросил нетерпеливо Коля.

Тамара быстро поглядела на Верку с непонятным для непосвященного вопросом в глазах. Верка быстро опустила вниз ресницы. Это означало: да, ушел...

— Я пойду сейчас, позову ее, — сказала Тамара.

— Да что вам ваша Женька так уж полюбилась, — сказала Генриетта. — Взяли бы меня.

— Ладно, в другой раз, — ответил Коля и нервно закурил.

Женька еще не начинала одеваться. Она сидела у зеркала и припудривала лицо.

— Ты что, Тамарочка? — спросила она.

— Пришел к тебе кадет твой. Ждет.

— Ах, это прошлогодний бебешка.. а ну его!

— Да и то правда. А поздоровел как мальчишка, похорошел, вырос... один восторг! Так если не хочешь, я сама пойду.

Тамара увидела в зеркало, как Женька нахмурила брови.

— Нет, ты подожди, Тамара, не надо. Я посмотрю. Пошли мне его сюда. Скажи, что я нездорова, скажи, что голова болит.

— Я уж и так ему сказала, что Зося отворила дверь неудачно и ударила тебя по голове и что ты лежишь с компрессом. Но только стоит ли, Женечка?

— Стоит, не стоит — это дело не твое, Тамара, — грубо ответила Женька.

Тамара спросила осторожно:

— Неужели тебе совсем, совсем-таки не жаль?

— А тебе меня не жаль? — И она провела по красной полосе, перерезавшей ее горло. — А тебе себя не жаль? А эту Любку разнесчастную не жаль? А Пашку не жаль? Кисель ты клюквенный, а не человек!

Тамара улыбнулась лукаво и высокомерно:

— Нет, когда настоящее дело, я не кисель. Ты это,

пожалуй, скоро увидишь, Женечка. Только не будем лучше ссориться — и так не больно сладко живется. Хорошо, я сейчас пойду и пришлю его к тебе.

Когда она ушла, Женька уменьшила огонь в висячем голубом фонарике, надела ночную кофту и легла. Минуту спустя вошел Гладышев, а вслед за ним Тамара, тащившая за руку Петрова, который упирался и не поднимал головы от пола. А сзади просовывалась розовая, остренькая, лисья мордочка косоглазой экономки Зоси.

— Вот и прекрасно, — засуетилась экономка. — Прямо глядеть сладко: два красивых паныча и две сличных паненки. Прямо букет. Чем вас угощать, молодые люди? Пива или вина прикажете?

У Гладышева было в кармане много денег, столько, сколько еще ни разу не было за его небольшую жизнь — целых двадцать пять рублей, и он хотел кутнуть. Пиво он пил только из молодечества, но не выносил его горького вкуса и сам удивлялся, как это его пьют другие. И потому брезгливо, точно старый кутила, оттопырив нижнюю губу, он сказал недоверчиво:

— Да ведь у вас, наверное, дрянь какая-нибудь?

— Что вы, что вы, красавчик! Самые лучшие господа одобряют... Из сладких — кагор, церковное, тенериф, а из французских — лафит... Портвейн тоже можно. Лафит с лимонадом девочки очень обожают.

— А почем?

— Не дороже денег. Как всюду водится в хороших заведениях: бутылка лафита — пять рублей, четыре бутылки лимонаду по полтиннику — два рубля, и всего только семь...

— Да будет тебе, Зося, — равнодушно остановила ее Женька, — стыдно мальчиков обижать. Довольно и пяти. Видишь, люди приличные, а не какие-нибудь...

Но Гладышев покраснел и с небрежным видом бросил на стол десятирублевую бумажку.

— Что там еще разговаривать. Хорошо, принесите.

— Я заодно уж и деньги возьму за визит. Вы как, молодые люди — на время или на ночь? Сами знаете таксу: на время — по два рубля, на ночь — по пяти.

— Ладно, ладно. На время, — перебила, вспыхнув, Женька. — Хоть в этом-то поверь.

Принесли вино. Тамара выклянчила, кроме того, пирожных. Женька попросила позволения позвать Маньку Беленькую. Сама Женька не пила, не вставала с постели и все время куталась в серый оренбургский платок, хотя в комнате было жарко. Она пристально глядела, не отрываясь, на красивое, загоревшее, ставшее таким мужественным лицо Гладышева.

— Что с тобою, милочка? — спросил Гладышев, садясь к ней на постель и поглаживая ее руку.

— Ничего особенного... Голова немного болит. Ударилась.

— Да ты не обращай внимания.

— Да вот увидела тебя, и уж мне полегче стало. Что давно не был у нас?

— Никак нельзя было урваться — лагери. Сама знаешь... По двадцать верст приходилось в день отжаривать. Целый день ученье и ученье: полевое, строевое, гарнизонное. С полной выкладкой. Бывало, так измучаешься с утра до ночи, что к вечеру ног под собой не слышишь... На маневрах тоже были... Не сахар...

— Ах вы бедненькие! — всплеснула вдруг руками Манька Беленькая. — И за что это вас, ангелов таких, мучают? Кабы у меня такой брат был, как вы, или сын — у меня бы просто сердце кровью обливалось. За ваше здоровье, кадетик!

Чокнулись. Женька все так же внимательно разглядывала Гладышева.

— А ты, Женечка? — спросил он, протягивая стакан.

— Не хочется, — ответила она лениво, — но, однако, барышни, попили винца, поболтали, — пора и честь знать.

— Может быть, ты останешься у меня на всю ночь? — спросила она Гладышева, когда другие ушли. — Ты, миленький, не бойся: если у тебя денег не хватит, я за тебя доплачу. Вот видишь, какой ты красивый, что для тебя девчонка даже денег не жалеет, — засмеялась она.

Гладышев обернулся к ней: даже и его ненаблюдательное ухо поразил странный тон Женьки, — не то печальный, не то ласковый, не то насмешливый.

— Нет, душенька, я бы очень был рад, мне самому хотелось бы остаться, но никак нельзя: обещал быть дома к десяти часам.

— Ничего, милый, подождут: ты уже совсем взрослый мужчина. Неужели тебе надо слушаться кого-нибудь?.. А впрочем, как хочешь. Может быть, свет совсем потушить, или и так хорошо? Ты как хочешь, — с краю или у стенки?

— Мне безразлично, — ответил он вздрагивающим голосом и, обняв рукой горячее, сухое тело Женьки, потянулся губами к ее лицу. Она слегка отстранила его.

— Подожди, потерпи, голубчик, — успеем еще нацеловаться. Полежи минуточку... так вот... тихо, спокойно... не шевелись...

Эти слова, страстные и повелительные, действовали на Гладышева как гипноз. Он повиновался ей и лег на спину, положив руки под голову. Она приподнялась немного, облокотилась и, положив голову на согнутую руку, молча, в слабом полусвете, разглядывала его тело, такое белое, крепкое, мускулистое, с высокой и широкой грудной клеткой, с стройными ребрами, с узким тазом и с мощными выпуклыми ляжками. Темный загар лица и верхней половины шеи резкой чертой отделялся от белизны плеч и груди.

Гладышев на секунду зажмурился. Ему казалось, что он ощущает на себе, на лице, на всем теле этот напряженно-пристальный взгляд, который как бы касался его кожи и щекотал ее, подобно паутинному прикосновению гребенки, которую сначала потрешь о сукно, — ощущение тонкой невесомой живой материи.

Он открыл глаза и увидел совсем близко от себя большие, темные, жуткие глаза женщины, которая ему показалась теперь совсем незнакомой.

— Что ты смотришь, Женя? — спросил он тихо. — О чем ты думаешь?

— Миленький мой мальчик!.. Ведь правда: тебя Колей звать?

— Да.

— Не сердись на меня, исполни, пожалуйста, один мой каприз: закрой опять глаза... нет, совсем, крепче, крепче... Я хочу прибавить огонь и поглядеть на тебя хорошенько. Ну вот, так... Если бы ты знал, как ты красив теперь... сейчас вот... сию секунду. Потом ты загрубеешь, и от тебя станет пахнуть козлом, а теперь от тебя пахнет мехом и молоком... и немного каким-то диким цветком. Да закрой же, закрой глаза!

Она прибавила свет, вернулась на свое место и села в своей любимой позе — по-турецки. Оба молчали. Слышно было, как далеко, за несколько комнат, тренькало разбитое фортепиано, несся чей-то вибрирующий смех, а с другой стороны — песенка и быстрый веселый разговор. Слов не было слышно. Извозчик громыхал где-то по отдаленной улице...

«И вот я его сейчас заражу, как и всех других, — думала Женька, скользя глубоким взглядом по его стройным ногам, красивому торсу будущего атлета и по закинутым назад рукам, на которых, выше сгиба локтя, выпукло, твердо напряглись мышцы. — Отчего же мне так жаль его? Или оттого, что он хорошенький? Нет. Я давно уже не знаю этих чувств. Или оттого, что он — мальчик? Ведь еще год тому назад с небольшим я совала ему в карман яблоки, когда он уходил от меня ночью. Зачем я тогда не сказала ему того, что могу и смею сказать теперь? Или все равно он не поверил бы мне? Рассердился бы? Пошел бы к другой? Ведь рано или поздно каждого мужчину ждет эта очередь... А то, что он покупал меня за деньги, — разве это простительно? Или он поступал так, как и все они, сослепу?..»

— Коля! — сказала она тихо, — открой глаза.

Он повиновался, открыл глаза, повернулся к ней, обвил рукой ее шею, притянул немного к себе и хотел поцеловать в вырез рубашки — в грудь. Она опять нежно, но повелительно отстранила его.

— Нет, подожди, подожди, — выслушай меня... еще минутку. Скажи мне, мальчик, зачем ты к нам сюда ходишь, — к женщинам?

Коля тихо и хрипло рассмеялся.

— Какая ты глупая! Ну зачем же все ходят? Разве я тоже не мужчина? Ведь, кажется, я в таком возрасте, когда у каждого мужчины созревает... ну, известная потребность... в женщине... Ведь не заниматься же мне всякой гадостью!

— Потребность? Только потребность? Значит, вот так же, как в той посуде, которая стоит у меня под кроватью?

— Нет, отчего же? — ласково смеясь, возразил Коля. — Ты мне очень нравилась... с самого первого раза. Если хочешь, я даже... немножко влюблен в тебя... по крайней мере ни с кем с другими я не оставался.

— Ну, хорошо! А тогда, в первый раз, неужели потребность?

— Нет, пожалуй, что и не потребность, но как-то смутно хотелось женщины... Товарищи уговорили... Многие уже раньше меня ходили сюда... Вот и я...

— А что, тебе не стыдно было в первый раз?

Коля смутился: весь этот допрос был ему неприятен, тягостен. Он чувствовал, что это не пустой, праздный, постельный разговор, так хорошо ему знакомый из его небольшого опыта, а что-то другое, более важное.

— Положим... не то что стыдно... ну, а все-таки же было неловко. Я тогда выпил для храбрости.

Женя опять легла на бок, оперлась локтем и опять сверху поглядывала на него близко и пристально.

— А скажи, душенька, — спросила она еле слышно, так, что кадет с трудом разбирал ее слова, — скажи еще одно: а то, что ты платил деньги, эти поганые два рубля, — понимаешь? — платил за любовь, за то, чтобы я тебя ласкала, целовала, отдавала бы тебе свое тело, — за это платить тебе не стыдно было? никогда?

— Ах, боже мой! Какие странные вопросы задаешь ты сегодня! Но ведь все же платят деньги! Не я, так другой заплатил бы, — не все ли тебе равно?

— А ты любил кого-нибудь, Коля? Признайся! Ну хоть не по-настоящему, а так... в душе... Ухаживал? Подносил цветочки какие-нибудь... под ручку прогуливался при луне? Было ведь?

— Ну да, — сказал Коля солидным басом. — Мало ли какие глупости бывают в молодости! Понятное дело...

— Какая-нибудь двоюродная сестренка? барышня воспитанная? институтка? гимназисточка?.. Ведь было?

— Ну да, конечно, — у всякого это бывало.

— Ведь ты бы ее не тронул?.. Пощадил бы? Ну, если бы она тебе сказала: возьми меня, но только дай мне два рубля, — что бы ты сказал ей?

— Не понимаю я тебя, Женька! — рассердился вдруг Гладышев. — Что ты ломаешься! Какую-то комедию разыгрываешь! Ей-богу, я сейчас оденусь и уйду.

— Подожди, подожди, Коля! Еще, еще один, последний, самый-самый последний вопрос.

— Ну тебя! — недовольно буркнул Коля.

— А ты никогда не мог себе представить... ну, представь сейчас хоть на секунду... что твоя семья вдруг обеднела, разорилась... Тебе пришлось бы зарабатывать хлеб перепиской или там, скажем, столярным или кузнечным делом, а твоя сестра свихнулась бы, как и все мы... да, да, твоя, твоя родная сестра... соблазнил бы ее какой-нибудь болван, и пошла бы она гулять... по рукам... что бы ты сказал тогда?

— Чушь!.. Этого быть не может!.. — резко оборвал ее Коля. — Ну, однако, довольно, — я ухожу!

— Уходи, сделай милость! У меня там, у зеркала, в коробочке от шоколада, лежат десять рублей, — возьми их себе. Мне все равно не нужно. Купи на них маме пудреницу черепаховую в золотой оправе, а если у тебя есть маленькая сестра, купи ей хорошую куклу. Скажи: на память от одной умершей девки. Ступай, мальчишка!

Коля, нахмурившись, злой, одним толчком ловко сбитого тела соскочил с кровати, почти не касаясь ее. Теперь он стоял на коврике у постели голый, стройный, прекрасный — во всем великолепии своего цветущего юношеского тела.

— Коля! — позвала его тихо, настойчиво и ласково Женька. — Колечка!

Он обернулся на ее зов и коротко, отрывисто вдохнул в себя воздух, точно ахнул: он никогда еще в жизни не встречал нигде, даже на картинах, такого прекрасного выражения нежности, скорби и женственного молчаливого упрека, какое сейчас он видел в глазах Женьки, наполненных слезами. Он присел на край кровати и порывисто обнял ее вокруг обнаженных смуглых рук.

— Не будем же ссориться, Женечка, — сказал он нежно.

И она обвилась вокруг него, положила руки на шею, а голову прижала к его груди. Так они помолчали несколько секунд.

— Коля, — спросила Женя вдруг глухо, — а ты никогда не боялся заразиться?

Коля вздрогнул. Какой-то холодный, омерзительный ужас шевельнулся и прополз у него в душе. Он ответил не сразу.

— Конечно, это было бы страшно... страшно... спаси бог! Да ведь я только к тебе одной хожу, только к тебе! Ты бы, наверное, сказала мне?..

— Да, сказала бы, — произнесла она задумчиво. И тут же прибавила быстро, сознательно, точно взвесив смысл своих слов: — Да, конечно, конечно, сказала бы! А ты не слыхал когда-нибудь, что это за штука болезнь, которая называется сифилисом?

— Конечно, слышал... Нос проваливается...

— Нет, Коля, не только нос! Человек заболевает весь: заболевают его кости, жилы, мозги... Говорят иные доктора такую ерунду, что можно от этой болезни вылечиться. Чушь! Никогда не вылечишься! Человек гниет десять, двадцать, тридцать лет. Каждую секунду его может разбить паралич, так что правая половина лица, правая рука, правая нога умирают, живет не человек, а какая-то половинка. Получеловек-полутруп. Большинство из них сходит с ума. И каждый понимает... каждый человек... каждый такой зараженный понимает, что, если он ест, пьет, целуется, просто даже дышит, — он не может быть уверенным, что не заразит сейчас кого-нибудь из окружающих, самых близких — сестру, жену, сына... У всех сифилитиков дети родятся уродами, недоносками, зобастыми, чахоточными, идио-

тами. Вот, Коля, что такое из себя представляет эта болезнь! А теперь, — Женька вдруг быстро выпрямилась, крепко схватила Колю за голые плечи, повернула его лицом к себе, так что он был почти ослеплен сверканием ее печальных, мрачных, необыкновенных глаз, — а теперь, Коля, я тебе скажу, что я уже больше месяца больна этой гадостью. Вот оттого-то я тебе и не позволяла поцеловать себя...

— Ты шутишь!.. Ты нарочно дразнишь меня, Женя!.. — бормотал злой, испуганный и растерявшийся Гладышев.

— Шучу?.. Иди сюда!

Она резко заставила его встать на ноги, зажгла спичку и сказала:

— Теперь смотри внимательно, что я тебе покажу...

Она широко открыла рот и поставила огонь так, чтобы он освещал ей гортань. Коля поглядел и отшатнулся.

— Ты видишь эти белые пятна? Это — сифилис, Коля! Понимаешь — сифилис в самой страшной, самой тяжелой степени. Теперь одевайся и благодари бога.

Он, молча и не оглядываясь на Женьку, стал торопливо одеваться, не попадая ногами в одежду. Руки его тряслись, и нижняя челюсть прыгала так, что зубы стучали нижние о верхние, а Женька говорила с поникнутой головой:

— Слушай, Коля, это твое счастье, что ты попал на честную женщину, другая бы не пощадила тебя. Слышишь ли ты это? Мы, которых вы лишаете невинности и потом выгоняете из дома, а потом платите нам два рубля за визит, мы всегда — понимаешь ли ты? — она вдруг подняла голову, — мы всегда ненавидим вас и никогда не жалеем!

Полуодетый Коля вдруг бросил свой туалет, сел на кровать около Женьки и, закрыв ладонями лицо, расплакался искренно, совсем по-детски...

— Господи, господи, — шептал он, — ведь это правда!.. Какая же это подлость!.. И у нас, у нас дома было это: была горничная Нюша... горничная... ее еще звали синьоритой Анитой... хорошенькая... и с нею жил

брат... мой старший брат... офицер... и когда он уехал, она стала беременная и мать выгнала ее... ну да, — выгнала... вышвырнула из дома, как половую тряпку... Где она теперь? И отец... отец... Он тоже с гор... горничной.

И полуголая Женька, эта Женька-безбожница, ругательница и скандалистка, вдруг поднялась с постели, стала перед кадетом и медленно, почти торжественно перекрестила его.

— Да хранит тебя господь, мой мальчик! — сказала она с выражением глубокой нежности и благодарности.

И тотчас же побежала к двери, открыла ее и крикнула:

— Экономка!

На зов ее пришла Зося.

— Вот что, экономочка, — распорядилась Женька, — подите узнайте, пожалуйста, кто из них свободен — Тамара или Манька Беленькая. И свободную пришлите сюда.

Коля проворчал что-то сзади, но Женька нарочно не слушала его.

— Да поскорее, пожалуйста, экономочка, будь такая добренькая.

— Сейчас, сейчас, барышня.

— Зачем, зачем ты это делаешь, Женя? — спросил Гладышев с тоской. — Ну для чего это?.. Неужели ты хочешь рассказать?..

— Подожди, это не твое дело... Подожди, я ничего не сделаю неприятного для тебя.

Через минуту пришла Манька Беленькая в своем коричневом, гладком, умышленно скромном и умышленно обтянутом коротком платье гимназистки.

— Ты что меня звала, Женя? Или поссорились?

— Нет, не поссорились, Манечка, а у меня очень голова болит, — ответила спокойно Женька, — и поэтому мой дружок находит меня очень холодной! Будь добренькая, Манечка, останься с ним, замени меня!

— Будет, Женя, перестань, милая! — тоном искреннего страдания возразил Коля. — Я все, все понял, не нужно теперь... Не добивай же меня!..

— Ничего не понимаю, что случилось, — развела руками легкомысленная Манька. — Может быть, угостите чем-нибудь бедную девочку?

— Ну, иди, иди! — ласково отправила ее Женька. — Я сейчас приду. Мы пошутили.

Уже одетые, они долго стояли в открытых дверях, между коридором и спальней, и без слов, грустно глядели друг на друга. И Коля не понимал, но чувствовал, что в эту минуту в его душе совершается один из тех громадных переломов, которые властно сказываются на всей жизни.

Потом он крепко пожал Жене руку и сказал:

— Прости!.. Ты простишь меня, Женя? Простишь?..

— Да, мой мальчик!.. Да, мой хороший!.. Да... Да...

Она нежно, тихо, по-матерински погладила его низко стриженную жесткую голову и слегка подтолкнула его в коридор.

— Куда же ты теперь? — спросила она вдогонку, полуоткрыв дверь...

— Я сейчас возьму товарища и домой.

— Как знаешь!.. Будь здоров, миленький!

— Прости меня!.. Прости меня!.. — еще раз повторил Коля, протягивая к ней руки.

— Я уже сказала, мой славный мальчик... И ты меня прости... Больше ведь не увидимся!..

И она, затворив дверь, осталась одна.

В коридоре Гладышев замялся, потому что он не знал, как найти тот номер, куда удалился Петров с Тамарой. Но ему помогла экономка Зося, пробегавшая мимо него очень быстро и с очень озабоченным, встревоженным видом.

— Ах, не до вас тут! — огрызнулась она на вопрос Гладышева. — Третья дверь налево.

Коля подошел к указанной двери и постучался. В комнате послышалась какая-то возня и шепот. Он постучался еще раз.

— Керковиус, отвори! Это я — Солитеров.

Среди кадетов, отправлявшихся в подобного рода экспедиции, всегда было условлено называть друг друга вымышленными именами. Это была не так кон-

спирация, или уловка против бдительности начальства, или боязнь скомпрометировать себя перед случайным семейным знакомым, как своего рода игра в таинственность и переодевание, — игра, ведшая свое начало еще с тех времен, когда молодежь увлекается Густавом Эмаром, Майн-Ридом и сыщиком Лекоком.

— Нельзя! — послышался из-за двери голос Тамары. — Нельзя входить. Мы заняты.

Но ее сейчас же перебил басистый голос Петрова:

— Пустяки! Она врет. Входи. Можно!

Коля отворил дверь.

Петров сидел на стуле одетый, но весь красный, суровый, с надутыми по-детски губами, с опущенными глазами.

— Тоже и товарища привели — нечего сказать! — заговорила Тамара насмешливо и сердито. — Я думала, он в самом деле мужчина, а это — девчонка какая-то! Скажите, пожалуйста, жалко ему свою невинность потерять. Тоже нашел сокровище! Да возьми назад, возьми свои два рубля! — закричала она вдруг на Петрова и швырнула на стол две монеты. — Все равно отдашь их горняшке какой-нибудь! А то на перчатки себе прибереги, суслик!

— Да что же вы ругаетесь! — бурчал Петров, не поднимая глаз. — Ведь я вас не ругаю. Зачем же вы первая ругаетесь? Я имею полное право поступать, как я хочу. Но я провел с вами время, и возьмите себе. А насильно я не хочу. И с твоей стороны, Гладышев... то бишь, Солитеров, совсем это нехорошо. Я думал, она порядочная девушка, а она все лезет целоваться и бог знает что делает...

Тамара, несмотря на свою злость, расхохоталась.

— Ах ты, глупыш, глупыш! Ну, не сердись — возьму я твои деньги. Только смотри: сегодня же вечером пожалеешь, плакать будешь. Ну не сердись, не сердись, ангел, давай помиримся. Протяни мне руку, как я тебе.

— Идем, Керковиус, — сказал Гладышев. — До свидания, Тамара!

Тамара опустила деньги, по привычке всех проституток, в чулок и пошла проводить мальчиков.

Еще в то время, когда они проходили коридором, Гладышева поразила странная, молчаливая, напряженная суета в зале, топот ног и какие-то заглушенные, вполголоса, быстрые разговоры.

Около того места, где они только что сидели под картиной, собрались все обитатели дома Анны Марковны и несколько посторонних людей. Они стояли тесной кучкой, наклонившись вниз. Коля с любопытством подошел и, протиснувшись немного, заглянул между головами: на полу, боком, как-то неестественно скорчившись, лежал Ванька-Встанька. Лицо у него было синее, почти черное. Он не двигался и лежал странно маленький, съежившись, с согнутыми ногами. Одна рука была у него поджата под грудь, а другая откинута назад.

— Что с ним? — спросил испуганно Гладышев.

Ему ответила Нюрка, заговорив быстрым, прерывающимся шепотом:

— Ванька-Встанька только что пришел сюда... Отдал Маньке конфеты, а потом стал нам загадывать армянские загадки... «Синего цвета, висит в гостиной и свистит...» Мы никак не могли угадать, а он говорит: «Селедка»... Вдруг засмеялся, закашлялся и начал валиться на бок, а потом — хлоп на землю и не движется... Послали за полицией... Господи, вот страсть-то какая!.. Ужасно я боюсь упокойников!..

— Подожди! — остановил ее Гладышев. — Надо пощупать лоб: может быть, еще жив...

Он сунулся было вперед, но пальцы Симеона, точно железные клещи, схватили его выше локтя и оттащили назад.

— Нечего, нечего разглядывать, — сурово приказал Симеон, — идите-ка, панычи, вон отсюда! Не место вам здесь: придет полиция, позовет вас в свидетели, — тогда вас из военной гимназии — киш, к чертовой матери! Идите-ка подобру-поздорову!

Он проводил их до передней, сунул им в руки шинели и прибавил еще более строго:

— Ну, теперь — гэть бегом!.. Живо! Чтобы духу вашего не было! А другой раз придете, так и вовсе не пустю. Тоже — умницы! Дали старому псу на водку, — вот и околел.

— Ну, ты не больно-то! — ершом налетел на него Гладышев.

— Что не больно?.. — закричал вдруг бешено Симеон, и его черные безбровые и безресницые глаза сделались такими страшными, что кадеты отшатнулись. — Я тебя так съезжу по сусалам, что ты папу-маму говорить разучишься! Ноги из заду выдерну. Ну, мигом! А то козырну по шее!

Мальчики спустились с лестницы.

В это время наверх поднимались двое мужчин в суконных картузах набекрень, в пиджаках нараспашку, один в синей, другой в красной рубахах навыпуск под расстегнутыми пиджаками — очевидно, товарищи Симеона по профессии.

— Что, — весело крикнул один из них снизу, обращаясь к Симеону, — каюк Ваньке-Встаньке?

— Да, должно быть, амба, — ответил Симеон. — Надо пока что, хлопцы, выбросить его на улицу, а то пойдут духи цепляться. Черт с ним, пускай думают, что напился пьян и подох на дороге.

— А ты его... не того?.. не пришил?

— Ну вот глупости! Было бы за что. Безвредный был человек. Совсем ягненок. Так, должно быть, пора ему своя пришла.

— И нашел же место, где помереть! Хуже-то не мог придумать? — сказал тот, что был в красной рубахе.

— Это уж верно! — подтвердил другой. — Жил смешно и умер грешно. Ну, идем, что ли, товарищ!

Кадеты бежали, что есть мочи. Теперь в темноте фигура скорчившегося на полу Ваньки-Встаньки с его синим лицом представлялась им такой страшной, какими кажутся покойники в ранней молодости, да если о них еще вспоминать ночью, в темноте.

IV

С утра моросил мелкий, как пыль, дождик, упрямый и скучный. Платонов работал в порту над разгрузкой арбузов. На заводе, где он еще с лета предполагал устроиться, ему не повезло: через неделю уже

он поссорился и чуть не подрался со старшим мастером, который был чрезвычайно груб с рабочими. С месяц Сергей Иванович перебивался кое-как, с хлеба на воду, где-то на задворках Темниковской улицы, таская время от времени в редакцию «Отголосков» заметки об уличных происшествиях или смешные сценки из камер мировых судей. Но черное газетное дело давно уже опостылело ему. Его всегда тянуло к приключениям, к физическому труду на свежем воздухе, к жизни, совершенно лишенной хотя бы малейшего намека на комфорт, к беспечному бродяжничеству, в котором человек, отбросив от себя всевозможные внешние условия, сам не знает, что с ним будет завтра. И поэтому, когда с низовьев Днепра потянулись первые баржи с арбузами, он охотно вошел в артель, в которой его знали еще с прошлого года и любили за веселый нрав, за товарищеский дух и за мастерское умение вести счет.

Работа шла дружно и ловко. На каждой барже работало одновременно четыре партии, каждая из пяти человек. Первый номер доставал арбуз из баржи и передавал его второму, стоявшему на борту. Второй бросал его третьему, стоявшему уже на набережной, третий перекидывал четвертому, а четвертый подавал пятому, который стоял на подводе и укладывал арбузы — то темно-зеленые, то белые, то полосатые — в ровные блестящие ряды. Работа эта чистая, веселая и очень спорая. Когда подбирается хорошая партия, то любо смотреть, как арбузы летят из рук в руки, ловятся с цирковой быстротой и удачей и вновь, и вновь, без перерыва, летят, чтобы в конце концов наполнить телегу. Трудно бывает только новичкам, которые еще не наловчились, не вошли в особенное чувство темпа. И не так трудно ловить арбуз, как суметь бросить его.

Платонов хорошо помнил свои первые прошлогодние опыты. Какая ругань, ядовитая, насмешливая, грубая, посыпалась на него, когда на третьем или на четвертом разе он зазевался и замедлил передачу: два арбуза, не брошенные в такт, с сочным хрустом разбились о мостовую, а окончательно растерявшийся

Платонов уронил и тот, который держал в руках. На первый раз к нему отнеслись мягко, на второй же день за каждую ошибку стали вычитать с него по пяти копеек за арбуз из общей дележки. В следующий раз, когда это случилось, ему пригрозили без всякого расчета сейчас же вышвырнуть его из партии. Платонов и теперь еще помнил, как внезапная злоба охватила его: «Ах, так? черт вас побери! — подумал он. — Чтобы я еще стал жалеть ваши арбузы! Так вот нате, нате!..» Эта вспышка как будто мгновенно помогла ему. Он небрежно ловил арбузы, так же небрежно их перебрасывал и, к своему удивлению, вдруг почувствовал, что именно теперь-то он весь со своими мускулами, зрением и дыханием вошел в настоящий пульс работы, и понял, что самым главным было вовсе не думать о том, что арбуз представляет собой какую-то стоимость, и тогда все идет хорошо. Когда он, наконец, совсем овладел этим искусством, то долгое время оно служило для него своего рода приятной и занимательной атлетической игрой. Но и это прошло. Он дошел, наконец, до того, что стал чувствовать себя безвольным, механически движущимся колесом общей машины, состоявшей из пяти человек, и бесконечной цепи летящих арбузов.

Теперь он был вторым номером. Наклоняясь ритмически вниз, он, не глядя, принимал в обе руки холодный, упругий, тяжелый арбуз, раскачивал его вправо и, тоже почти не глядя или глядя только краем глаза, швырял его вниз и сейчас же опять нагибался за следующим арбузом. И ухо его улавливало в это время, как чмок-чмок... чмок-чмок... шлепались в руках пойманные арбузы, и тотчас же нагибался вниз и опять бросал, с шумом выдыхая из себя воздух — гхе... гхе...

Сегодняшняя работа была очень выгодной: их артель, состоявшая из сорока человек, взялась благодаря большой спешке за работу не поденно, а сдельно, по-подводно. Старосте — огромному, могучему полтавцу Заворотному — удалось чрезвычайно ловко обойти хозяина, человека молодого и, должно быть, еще не очень опытного. Хозяин, правда, спохватился позднее и хотел переменить условия, но ему вовремя отсоветовали опыт-

ные бахчевники. «Бросьте. Убьют», — сказали ему просто и твердо. Вот из-за этой-то удачи каждый член артели зарабатывал теперь до четырех рублей в сутки. Все они работали с необыкновенным усердием, даже с какой-то яростью, и если бы возможно было измерить каким-нибудь прибором работу каждого из них, то, наверно, по количеству сделанных пудо-футов она равнялась бы рабочему дню большого воронежского битюга.

Однако Заворотный и этим был недоволен — он все поторапливал и поторапливал своих хлопцев. В нем говорило профессиональное честолюбие: он хотел довести ежедневный заработок каждого члена артели до пяти рублей на рыло. И весело, с необычайной легкостью мелькали от пристани до подводы, вертясь и сверкая, мокрые зеленые и белые арбузы, и слышались их сочные всплески о привычные ладони.

Но вот в порту на землечерпательной машине раздался длинный гудок. Ему отозвался другой, третий на реке, еще несколько на берегу, и долго они ревели вместе мощным разноголосым хором.

— Ба-а-а-ст-а-а! — хрипло и густо, точь-в-точь как паровозный гудок, заревел Заворотный.

И вот последние чмок-чмок — и работа мгновенно остановилась.

Платонов с наслаждением выпрямил спину и выгнул ее назад и расправил затекшие руки. Он с удовольствием подумал о том, что уже переболел ту первую боль во всех мускулах, которая так сказывается в первые дни, когда с отвычки только что втягиваешься в работу. А до этого дня, просыпаясь по утрам в своем логовище на Темниковской, — тоже по условному звуку фабричного гудка, — он в первые минуты испытывал такие страшные боли в шее, спине, в руках и ногах, что ему казалось, будто только чудо сможет заставить его встать и сделать несколько шагов.

— Иди-и-и обед-а-ть! — завопил опять Заворотный.

Крючники сходили к воде, становились на колени или ложились ничком на сходнях или на плотах и, зачерпывая горстями воду, мыли мокрые разгоревшиеся лица и руки. Тут же на берегу, в стороне, где еще осталось немного травы, расположились они к

обеду: положили в круг десяток самых спелых арбузов, черного хлеба и двадцать тараней. Гаврюшка Пуля уже бежал с полуведерной бутылкой в кабак и пел на ходу солдатский сигнал к обеду:

Бери ложку, тащи бак,
Нету хлеба, лопый так.

Босой мальчишка, грязный и такой оборванный, что на нем было гораздо больше голого собственного тела, чем одежды, подбежал к артели.

— Который у вас тут Платонов? — спросил он, быстро бегая вороватыми глазами.

Сергей Иванович назвал себя:

— Я — Платонов, а тебя как дразнят?

— Тут за углом, за церковью, тебя барышня какая-то ждет... На̀ записку тебе.

Артель густо заржала.

— Чего рты-то порасстегивали, дурачье! — сказал спокойно Платонов. — Давай сюда записку.

Это было письмо от Женьки, написанное круглым, наивным, катящимся детским почерком и не очень грамотное.

«Сергей Иваныч. Простите, что я вас без—покою. Мне нужно с вами поговорить по очень, очень важному делу. Не стала бы тревожить, если бы Пустяки. Всего только на 10 минут. Известная вам Женька от Анны Марковны».

Платонов встал.

— Я пойду ненадолго, — сказал он Заворотному. — Как начнете, буду на месте.

— Тоже дело нашел, — лениво и презрительно отозвался староста. — На это дело ночь есть... Иди, иди, кто ж тебя держит. А только как начнем работать, тебя не будет, то нонешний день не в счет. Возьму любого босяка. А сколько он наколотит кавунов, — тоже с тебя... Не думал я, Платонов, про тебя, что ты такой кобель...

Женька ждала его в маленьком скверике, приютившемся между церковью и набережной и состоявшем из десятка жалких тополей. На ней было серое цельное выходное платье, простая круглая соломенная шляпа

с черной ленточкой. «А все-таки, хоть и скромно оделась, — подумал Платонов, глядя на нее издали своими привычно прищуренными глазами, — а все-таки каждый мужчина пройдет мимо, посмотрит и непременно три-четыре раза оглянется: сразу почувствует особенный тон».

— Здравствуй, Женька! Очень рад тебя видеть, — приветливо сказал он, пожимая руку девушки. — Вот уж не ждал-то!

Женька была скромна, печальна и, видимо, чем-то озабочена. Платонов это сразу понял и почувствовал.

— Ты меня извини, Женечка, я сейчас должен обедать, — сказал он, — так, может быть, ты пойдешь вместе со мной и расскажешь, в чем дело, а я заодно успею поесть. Тут неподалеку есть скромный кабачишко. В это время там совсем нет народа, и даже имеется маленькое стойлице вроде отдельного кабинета, — там нам с тобой будет чудесно. Пойдем! Может быть, и ты что-нибудь скушаешь.

— Нет, я есть не буду, — ответила Женька хрипло, — и я недолго тебя задержу... несколько минут. Надо посоветоваться, поговорить, а мне не с кем.

— Очень хорошо... Идем же! Чем только могу, готов всем служить. Я тебя очень люблю, Женька!

Она поглядела на него грустно и благодарно.

— Я это знаю, Сергей Иванович, оттого и пришла.

— Может быть, денег нужно? Говори прямо. У меня у самого немного, но артель мне поверит вперед.

— Нет, спасибо... Совсем не то. Я уж там, куда пойдем, все разом расскажу.

В темноватом низеньком кабачке, обычном притоне мелких воров, где торговля производилась только вечером, до самой глубокой ночи, Платонов занял маленькую полутемную каморку.

— Дай мне мяса вареного, огурцов, большую рюмку водки и хлеба, — приказал он половому.

Половой — молодой малый с грязным лицом, курносый, весь такой засаленный и грязный, как будто его только что вытащили из помойной ямы, — вытер губы и сипло спросил:

— На сколько копеек хлеба?

— На сколько выйдет.

Потом он рассмеялся:

— Неси как можно больше, — потом посчитаемся... И квасу!..

— Ну, Женя, говори, какая у тебя беда... Я уж по лицу вижу, что беда или вообще что-то кислое... Рассказывай!

Женька долго теребила свой носовой платок и глядела себе на кончики туфель, точно собираясь с силами. Ею овладела робость — никак не приходили на ум нужные, важные слова. Платонов пришел ей на помощь:

— Не стесняйся, милая Женя, говори все, что есть! Ты ведь знаешь, что я человек свой и никогда не выдам. А может быть, и впрямь что-нибудь хорошее посоветую. Ну, бух с моста в воду — начинай!

— Вот я именно и не знаю, как начать-то, — сказала Женька нерешительно. — Вот что, Сергей Иванович, больная я... Понимаете? — нехорошо больна... Самою гадкою болезнью... Вы знаете, — какой?

— Дальше! — сказал Платонов, кивнув головой.

— И давно это у меня... больше месяца... может быть, полтора... Да, больше чем месяц, потому что я только на троицу узнала об этом...

Платонов быстро потер лоб рукой.

— Подожди, я вспомнил... Это в тот день, когда я там был вместе со студентами... Не так ли?

— Верно, Сергей Иванович, так...

— Ах, Женька, — сказал Платонов укоризненно и с сожалением. — А ведь знаешь, что после этого двое студентов заболели... Не от тебя ли?

Женька гневно и презрительно сверкнула глазами.

— Может быть, и от меня... Почем я знаю? Их много было... Помню, вот этот был, который еще все лез с вами подраться... Высокий такой, белокурый, в пенсне...

— Да, да... Это — Собашников. Мне передавали... Это — он... Ну, этот еще ничего — фатишка! А вот другой, — того мне жаль. Я хоть давно его знаю, но как-то никогда не справлялся толком об его фамилии...

Помню только, что фамилия происходит от какого-то города — Полянска... Звенигородска... Товарищи его звали Рамзес... Когда врачи, — он к нескольким врачам обращался, — когда они сказали ему бесповоротно, что он болен люэсом, он пошел домой и застрелился... И в записке, которую он написал, были удивительные слова, приблизительно такие: «Я полагал весь смысл жизни в торжестве ума, красоты и добра; с этой же болезнью я не человек, а рухлядь, гниль, падаль, кандидат в прогрессивные паралитики. С этим не мирится мое человеческое достоинство. Виноват же во всем случившемся, а значит, и в моей смерти, только один я, потому что, повинуясь минутному скотскому влечению, взял женщину без любви, за деньги. Потому я и заслужил наказание, которое сам на себя налагаю...» Мне его очень жаль... — прибавил Платонов тихо.

Женька раздула ноздри.

— А мне вот ни чуточки.

— Напрасно... Ты теперь, малый, уйди. Когда нужно будет, я тебя покричу, — сказал Платонов услужающему. — Совсем напрасно, Женечка! Это был необыкновенно крупный и сильный человек. Такие попадаются один на сотни тысяч. Я не уважаю самоубийц. Чаще всего это — мальчишки, которые стреляются и вешаются по пустякам, подобно ребенку, которому не дали конфетку, и он бьется назло окружающим об стену. Но перед его смертью я благоговейно и с горечью склоняю голову. Он был умный, щедрый, ласковый человек, внимательный ко всем и, как видишь, слишком строгий к себе.

— А мне это решительно все равно, — упрямо возразила Женька, — умный или глупый, честный или нечестный, старый или молодой, — я их всех возненавидела! Потому что, — погляди на меня, — что я такое? Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место. Подумай, Платонов, ведь тысячи, тысячи человек брали меня, хватали, хрюкали, сопели надо мной, и всех тех, которые были, и тех, которые могли бы еще быть на моей постели, — ах! как нена-

вижу я их всех! Если бы могла, я осудила бы их на пытку огнем и железом!.. Я велела бы...

— Ты злая и гордая, Женя, — тихо сказал Платонов.

— Я была и не злая и не гордая... Это только теперь. Мне не было десяти лет, когда меня продала родная мать, и с тех пор я пошла гулять по рукам... Хоть бы кто-нибудь во мне увидел человека! Нет!.. Гадина, отребье, хуже нищего, хуже вора, хуже убийцы!.. Даже палач... — у нас и такие бывают в заведении, — и тот отнесся бы ко мне свысока, с омерзением: я — ничто, я — публичная девка! Понимаете ли вы, Сергей Иванович, какое это ужасное слово? Пу-бли-чная!.. Это значит ничья: ни своя, ни папина, ни мамина, ни русская, ни рязанская, а просто — публичная! И никому ни разу в голову не пришло подойти ко мне и подумать: а ведь это тоже человек, у него сердце и мозг, он о чем-то думает, что-то чувствует, ведь он сделан не из дерева и набит не соломой, трухой или мочалкой! И все-таки это чувствую только я. Я, может быть, одна из всех, которая чувствует ужас своего положения, эту черную, вонючую, грязную яму. Но ведь все девушки, с которыми я встречалась и с которыми вот теперь живу, — поймите, Платонов, поймите меня! — ведь они ничего не сознают!.. Говорящие, ходящие куски мяса! И это еще хуже, чем моя злоба!..

— Ты права! — тихо сказал Платонов, — и вопрос этот такой, что с ним всегда упрешься в стену. Вам никто не поможет...

— Никто, никто!.. — страстно воскликнула Женька. — Помнишь ли, — при тебе это было: увез студент нашу Любку...

— Как же, хорошо помню!.. Ну и что же?

— А то, что вчера она вернулась обтрепанная, мокрая... Плачет... Бросил, подлец!.. Поиграл в доброту, да и за щеку! Ты, говорит, — сестра! Я, говорит, тебя спасу, я тебя сделаю человеком...

— Неужели так?

— Так!.. Одного человека я видела, ласкового и снисходительного, без всяких кобелиных расчетов, — это тебя. Но ведь ты совсем другой. Ты какой-то стран-

ный. Ты все где-то бродишь, ищешь чего-то... Вы простите меня, Сергей Иванович, вы блаженненький какой-то!.. Вот потому-то я к вам и пришла, к вам одному!..

— Говори, Женечка...

— И вот, когда я узнала, что больна, я чуть с ума не сошла от злобы, задохлась от злобы... Я подумала: вот и конец, стало быть, нечего жалеть больше, не о чем печалиться, нечего ждать... Крышка!.. Но за все, что я перенесла, — неужели нет отплаты? Неужели нет справедливости на свете? Неужели я не могу наслаждаться хоть местью? — за то, что я никогда не знала любви, о семье знаю только понаслышке, что меня, как паскудную собачонку, подзовут, погладят и потом сапогом по голове — пошла прочь! — что меня сделали из человека, равного всем им, не глупее всех, кого я встречала, сделали половую тряпку, какую-то сточную трубу для их пакостных удовольствий? Тьфу!.. Неужели за все за это я должна еще принять и такую болезнь с благодарностью?.. Или я раба? Бессловесный предмет?.. Вьючная кляча?.. И вот, Платонов, тогда-то я решила заражать их всех — молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых, — всех, всех, всех!..

Платонов, давно уже отставивший от себя тарелку, глядел на нее с изумлением и даже больше — почти с ужасом. Ему, видевшему в жизни много тяжелого, грязного, порою даже кровавого, — ему стало страшно животным страхом перед этим напряжением громадной неизлившейся ненависти. Очнувшись, он сказал:

— Один великий французский писатель рассказывает о таком случае. Пруссаки завоевали французов и всячески издевались над ними: расстреливали мужчин, насиловали женщин, грабили дома, поля сжигали... И вот одна красивая женщина — француженка — очень красивая, заразившись, стала назло заражать всех немцев, которые попадали к ней в объятья. Она сделала больными целые сотни, может быть даже тысячи... И когда она умирала в госпитале, она с радостью и с гордостью вспоминала об этом... Но ведь то были

враги, попиравшие ее отечество и избивавшие ее братьев... Но ты, ты, Женечка?..

— А я всех, именно всех! Скажите мне, Сергей Иванович, по совести только скажите, если бы вы нашли на улице ребенка, которого кто-то обесчестил, надругался над ним... ну, скажем, выколол бы ему глаза, отрезал уши, — и вот вы бы узнали, что этот человек сейчас проходит мимо вас и что только один бог, если только он есть, смотрит на вас в эту минуту с небеси, — что бы вы сделали?

— Не знаю, — ответил глухо и потупившись Платонов, но он побледнел, и пальцы его под столом судорожно сжались в кулаки. — Может быть, убил бы его...

— Не «может быть», а наверно! Я вас знаю, я вас чувствую. Ну, а теперь подумайте: ведь над каждой из нас так надругались, когда мы были детьми!.. Детьми! — страстно простонала Женька и закрыла на мгновение глаза ладонью. — Об этом ведь, помнится, и вы как-то говорили у нас, чуть ли не в тот самый вечер, на троицу... Да, детьми, глупыми, доверчивыми, слепыми, жадными, пустыми... И не можем мы вырваться из своей лямки... куда пойдешь? что сделаешь?.. И вы не думайте, пожалуйста, Сергей Иванович, что во мне сильна злоба только к тем, кто именно меня, лично меня обижали... Нет, вообще ко всем нашим гостям, к этим кавалерам, от мала до велика... Ну и вот я решилась мстить за себя и за своих сестер. Хорошо это или нет?..

— Женечка, я, право, не знаю... Я не могу... я ничего не смею сказать... Я не понимаю.

— Но и не в этом главное... А главное вот в чем... Я их заражала и не чувствовала ничего — ни жалости, ни раскаяния, ни вины перед богом или перед отечеством. Во мне была только радость, как у голодного волка, который дорвался до крови... Но вчера случилось что-то, чего и я не могу понять. Ко мне пришел кадет, совсем мальчишка, глупый, желторотый... Он ко мне ходил еще с прошлой зимы... И вот вдруг я пожалела его... Не оттого, что он был очень красив и очень молод, и не оттого, что он всегда был очень

вежлив, пожалуй, даже нежен... Нет, у меня бывали и такие и такие, но я не щадила их: я с наслаждением отмечала их, точно скотину, раскаленным клеймом... А этого я вдруг пожалела... Я сама не понимаю — почему? Я не могу разобраться. Мне казалось, что это все равно, что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слепого, или зарезать спящего... Если бы он был какой-нибудь заморыш, худосочный или поганенький, блудливый старикашка, я не остановилась бы. Но он был здоровый, крепкий, с грудью и с руками, как у статуи... и я не могла... Я отдала ему деньги, показала ему свою болезнь, словом, была дура дурой. Он ушел от меня... расплакался... И вот со вчерашнего вечера я не спала. Хожу как в тумане... Стало быть, — думаю я вот теперь, — стало быть, то, что я задумала — моя мечта заразить их всех, заразить их отцов, матерей, сестер, невест, — хоть весь мир, — стало быть, это все было глупостью, пустой фантазией, раз я остановилась?.. Опять-таки я ничего не понимаю... Сергей Иванович, вы такой умный, вы так много видели в жизни, — помогите же мне найти теперь себя!..

— Не знаю, Женечка! — тихо произнес Платонов. — Не то, что я боюсь говорить тебе или советовать, но я совсем ничего не знаю. Это выше моего рассудка... выше совести...

Женя скрестила пальцы с пальцами и нервно хрустнула ими.

— И я не знаю... Стало быть, то, что я думала, — неправда?.. Стало быть, мне остается только одно... Эта мысль сегодня утром пришла мне в голову...

— Не делай, не делай этого, Женечка!.. Женя!.. — быстро перебил ее Платонов.

— ...Одно: повеситься...

— Нет, нет, Женя, только не это!.. Будь другие обстоятельства, непреоборимые, я бы, поверь, смело сказал тебе: ну что же, Женя, пора кончить базар... Но тебе вовсе не это нужно... Если хочешь, я подскажу тебе один выход, не менее злой и беспощадный, но который, может быть, во сто раз больше насытит твой гнев...

— Какой это? — устало спросила Женя, сразу точно увядшая после своей вспышки.

— А вот какой... Ты еще молода, и, по правде я тебе скажу, ты очень красива, то есть ты можешь быть, если захочешь, необыкновенно эффектной... Это даже больше, чем красота. Но ты еще никогда не знала размеров и власти своей наружности, а главное, ты не знаешь, до какой степени обаятельны такие натуры, как ты, и как они властно приковывают к себе мужчин и делают из них больше чем рабов и скотов... Ты гордая, ты смелая, ты независимая, ты умница... Я знаю: ты много читала, предположим даже дрянных книжек, но все-таки читала, у тебя язык совсем другой, чем у других. При удачном обороте жизни ты можешь вылечиться, ты можешь уйти из этих «Ямков» на свободу. Тебе стоит только пальцем пошевельнуть, чтобы видеть у своих ног сотни мужчин, покорных, готовых для тебя на подлость, на воровство, на растрату... Владей ими на тугих поводьях, с жестоким хлыстом в руках!.. Разоряй их, своди с ума, пока у тебя хватит желания и энергии!.. Посмотри, милая Женя, кто ворочает теперь жизнью, как не женщины! Вчерашняя горничная, прачка, хористка раскусывают миллионные состояния, как тверская баба подсолнушки. Женщина, едва умеющая подписать свое имя, влияет иногда через мужчину на судьбу целого королевства. Наследные принцы женятся на вчерашних потаскушках, содержанках... Женечка, вот тебе простор для твоей необузданной мести, а я полюбуюсь тобою издали... А ты, — ты замешана именно из этого теста — хищницы, разорительницы... Может быть, не в таком размахе, но ты бросишь их себе под ноги.

— Нет, — слабо улыбнулась Женька. — Я думала об этом раньше... Но выгорело во мне что-то главное. Нет у меня сил, нет у меня воли, нет желаний... Я вся какая-то пустая внутри, трухлявая... Да вот, знаешь, бывает гриб такой — белый, круглый, — сожмешь его, а оттуда нюхательный порошок сыплется. Так и я. Все во мне эта жизнь выела, кроме злости. Да и вялая я, и злость моя вялая... Опять увижу какого-нибудь маль-

чишку, пожалею, опять буду казниться. Нет, уж лучше так...

Она замолчала. И Платонов не знал, что сказать. Стало обоим тяжело и неловко. Наконец Женька встала и, не глядя на Платонова, протянула ему холодную, слабую руку.

— Прощайте, Сергей Иванович! Простите, что я отняла у вас время... Что же, я сама вижу, что вы помогли бы мне, если бы сумели... Но уж, видно, тут ничего не попишешь. Прощайте!..

— Только глупости не делай, Женечка! Умоляю тебя!..

— Ладно уж! — сказала она и устало махнула рукой.

Выйдя из сквера, они разошлись, но, пройдя несколько шагов, Женька вдруг окликнула его:

— Сергей Иванович, а Сергей Иванович!..

Он остановился, обернулся, подошел к ней.

— Ванька-Встанька у нас вчера подох в зале. Прыгал-прыгал, а потом вдруг и окочурился... Что ж, по крайней мере легкая смерть! И еще я забыла вас спросить, Сергей Иванович... Это уж последнее... Есть бог или нет?

Платонов нахмурился.

— Что я тебе отвечу? Не знаю. Думаю, что есть, но не такой, как мы его воображаем. Он — больше, мудрее, справедливее...

— А будущая жизнь? Там, после смерти? Вот, говорят, рай есть или ад? Правда это? Или ровно ничего? Пустышка? Сон без сна? Темный подвал?

Платонов молчал, стараясь не глядеть на Женьку. Ему было тяжело и страшно.

— Не знаю, — сказал он, наконец, с усилием. — Не хочу тебе врать.

Женька вздохнула и улыбнулась жалкой, кривой улыбкой.

— Ну, спасибо, мой милый. И на том спасибо... Желаю вам счастья. От души. Ну, прощайте...

Она отвернулась от него и стала медленно, колеблющейся походкой взбираться в гору.

Платонов как раз вернулся на работу вовремя. Босячня, почесываясь, позевывая, разминая свои привычные вывихи, становилась по местам. Заворотный издали своими зоркими глазами увидал Платонова и закричал на весь порт:

— Поспел-таки, сутулый черт!.. А я уж хотел тебя за хвост и из компании вон... Ну, становись!..

— И кобель же ты у меня, Сережка!.. — прибавил он ласково. — Хоша бы ночью, а то, — гляди-ка, среди бела дня захороводил...

V

Суббота была обычным днем докторского осмотра, к которому во всех домах готовились очень тщательно и с трепетом, как, впрочем, готовятся и дамы из общества, собираясь с визитом к врачу-специалисту: старательно делали свой интимный туалет и непременно надевали чистое нижнее белье, даже по возможности более нарядное. Окна на улицу были закрыты ставнями, а у одного из тех окон, что выходили во двор, поставили стол с твердым валиком под спину.

Все девушки волновались... «А вдруг болезнь, которую сама не заметила?.. А там — отправка в больницу, позор, скука больничной жизни, плохая пища, тяжелое лечение...»

Только Манька Большая, или иначе Манька Крокодил, Зоя и Генриетта — тридцатилетние, значит уже старые по ямскому счету, проститутки, все видевшие, ко всему притерпевшиеся, равнодушные в своем деле, как белые жирные цирковые лошади, оставались невозмутимо спокойными. Манька Крокодил даже часто говорила о самой себе:

— Я огонь и воду прошла и медные трубы... Ничто уже больше ко мне не прилипнет.

Женька с утра была кротка и задумчива. Подарила Маньке Беленькой золотой браслет, медальон на тоненькой цепочке со своей фотографией и серебряный нашейный крестик. Тамару упросила взять на память два кольца: одно — серебряное раздвижное о трех обручах, в средине — сердце, а под ним две

руки, которые сжимали одна другую, когда все три части кольца соединялись, а другое — из золотой тонкой проволоки с альмандином.

— А мое белье, Тамарочка, отдай Аннушке, горничной. Пусть выстирает хорошенько и носит на здоровье, на память обо мне.

Они были вдвоем в комнате Тамары. Женька с утра еще послала за коньяком и теперь медленно, точно лениво, тянула рюмку за рюмкой, закусывая лимоном с кусочком сахара. В первый раз это наблюдала Тамара и удивлялась, потому что всегда Женька была не охотница до вина и пила очень редко и то только по принуждению гостей.

— Что это ты сегодня так раздарилась? — спросила Тамара. — Точно умирать собралась или в монастырь идти?..

— Да я и уйду,— ответила вя́ло Женька.— Скучно мне, Тамарочка!..

— Кому же весело из нас?

— Да нет!.. Не то что скучно, а как-то мне все — все равно... Гляжу вот я на тебя, на стол, на бутылку, на свои руки, ноги и думаю, что все это одинаково и все ни к чему... Нет ни в чем смысла... Точно на какой-то старой-престарой картине. Вот смотри: идет по улице солдат, а мне все равно, как будто завели куклу и она двигается... И что мокро ему под дождем, мне тоже все равно... И что он умрет, и я умру, и ты, Тамара, умрешь, — тоже в этом я не вижу ничего ни страшного, ни удивительного... Так все для меня просто и скучно...

Женька помолчала, выпила еще рюмку, пососала сахар и, все еще глядя на улицу, вдруг спросила:

— Скажи мне, пожалуйста, Тамара, я вот никогда еще тебя об этом не спрашивала, откуда ты к нам поступила сюда, в дом? Ты совсем не похожа на всех нас, ты все знаешь, у тебя на всякий случай есть хорошее, умное слово... Вон и по-французски как ты тогда говорила хорошо! А никто из нас о тебе ровно ничего не знает... Кто ты?

— Милая Женечка, право не стоит... Жизнь как жизнь... Была институткой, гувернанткой была, в хоре

пела, потом тир в летнем саду держала, а потом спуталась с одним шарлатаном и сама научилась стрелять из винчестера... По циркам ездила, — американскую амазонку изображала. Я прекрасно стреляла... Потом в монастырь попала. Там пробыла года два... Много было у меня... Всего не упомнишь... Воровала.

— Много ты пожила... пестро...

— Мне и лет-то немало. Ну, как ты думаешь, — сколько?

— Двадцать два, двадцать четыре?..

— Нет, ангел мой! Тридцать два ровно стукнуло неделю тому назад. Я, пожалуй что, старше всех вас здесь у Анны Марковны. Но только ничему я не удивлялась, ничего не принимала близко к сердцу. Как видишь, не пью никогда... Занимаюсь очень бережно уходом за своим телом, а главное — самое главное — не позволяю себе никогда увлекаться мужчинами...

— Ну, а Сенька твой?..

— Сенька — это особая статья: сердце бабье глупое, нелепое... Разве оно может жить без любви? Да и не люблю я его, а так... самообман... А впрочем, Сенька мне скоро очень понадобится.

Женька вдруг оживилась и с любопытством поглядела на подругу:

— Но здесь-то, в этой дыре, как ты застряла? — умница, красивая, обходительная такая...

— Долго рассказывать... Да и лень... Попала я сюда из-за любви: спуталась с одним молодым человеком и делала с ним вместе революцию. Ведь мы всегда так поступаем, женщины: куда милый смотрит, туда и мы, что милый видит, то и мы... Не верила я душой-то в его дело, а пошла. Льстивый был человек, умный, говорун, красавец... Только оказался он потом подлецом и предателем. Играл в революцию, а сам товарищей выдавал жандармам. Провокатором был. Как его убили и разоблачили, так с меня и вся дурь соскочила. Однако пришлось скрываться... Паспорт переменила. Тут мне посоветовали, что легче всего прикрыться желтым билетом... А там и пошло!.. Да и здесь я вроде как на подножном корму: придет время, удастся у меня минутка — уйду!

— Куда? — с нетерпением спросила Женя.

— Свет велик... А я жизнь люблю!.. Вот я так же и в монастыре: жила, жила, пела антифоны и задостойники, пока не отдохнула, не соскучилась вконец, а потом сразу — хоп! и в кафешантан... Хорош скачок? Так и отсюда... В театр пойду, в цирк, в кордебалет... а больше, знаешь, тянет меня, Женечка, все-таки воровское дело... Смелое, опасное, жуткое и какое-то пьяное... Тянет!.. Ты не гляди на меня, что я такая приличная и скромная и могу казаться воспитанной девицей. Я совсем-совсем другая.

У нее вдруг ярко и весело вспыхнули глаза.

— Во мне дьявол живет!

— Хорошо тебе! — задумчиво и с тоской произнесла Женя, — ты хоть хочешь чего-нибудь, а у меня душа дохлая какая-то... Вот мне двадцать лет, а душа у меня старушечья, сморщенная, землей пахнет... И хоть пожила бы толком!.. Тьфу!.. Только слякоть какая-то была.

— Брось, Женя, ты говоришь глупости. Ты умна, ты оригинальна, у тебя есть та особенная сила, перед которой так охотно ползают и пресмыкаются мужчины. Уходи отсюда и ты. Не со мной, конечно, — я всегда одна, — а уйди сама по себе.

Женька покачала головой и тихо, без слез, спрятала свое лицо в ладонях.

— Нет, — отозвалась она глухо после долгого молчания, — нет, у меня это не выходит: изжевала меня судьба!.. Не человек я больше, а какая-то поганая жвачка... Эх! — вдруг махнула она рукой. — Выпьем-ка, Женечка, лучше коньячку, — обратилась она сама к себе, — и пососем лимончик!.. Брр... гадость какая!.. И где это Аннушка всегда такую мерзость достанет? Собаке шерсть, если помазать, так облиняет... И всегда, подлая, полтинник лишний возьмет. Раз я как-то спрашиваю ее: «Зачем деньги копишь?» — «А я, говорит, на свадьбу коплю. Что ж, говорит, будет мужу моему за радость, что я ему одну свою невинность преподнесу! Надо еще сколько-нибудь сотен приработать». Счастливая она!.. Тут у меня, Тамара,

денег немножко есть, в ящичке под зеркалом, ты ей передай, пожалуйста...

— Да что ты, дура, помирать, что ли, хочешь? — резко, с упреком сказала Тамара.

— Нет, я так, на всякий случай... Возьми-ка, возьми деньги! Может быть, меня в больницу заберут... А там, как знать, что произойдет? Я мелочь себе оставила на всякий случай... А что же, если и в самом деле, Тамарочка, я захотела бы что-нибудь над собой сделать, неужели ты стала бы мешать мне?

Тамара поглядела на нее пристально, глубоко и спокойно. Глаза Женьки были печальны и точно пусты. Живой огонь погас в них, и они казались мутными, точно выцветшими, с белками, как лунный камень.

— Нет, — сказала, наконец, тихо, но твердо Тамара. — Если бы из-за любви — помешала бы, если бы из-за денег — отговорила бы, но есть случаи, когда мешать нельзя. Способствовать, конечно, не стала бы, но и цепляться за тебя и мешать тебе тоже не стала бы.

В это время по коридору пронеслась с криком быстроногая экономка Зося:

— Барышни, одеваться! — доктор приехал... Барышни, одеваться!.. Барышни, живо!..

— Ну, иди, Тамара, иди! — ласково сказала Женька, вставая. — Я к себе зайду на минутку, — я еще не переодевалась, хоть, правда, это тоже все равно. Когда будут меня вызывать, и если я не поспею, крикни, сбегай за мной.

И, уходя из Тамариной комнаты, она как будто невзначай обняла ее за плечо и ласково погладила.

Доктор Клименко — городской врач — приготовлял в зале все необходимое для осмотра: раствор сулемы, вазелин и другие вещи, и все это расставлял на отдельном маленьком столике. Здесь же у него лежали и белые бланки девушек, заменявшие им паспорта, и общий алфавитный список. Девушки, одетые только в сорочки, чулки и туфли, стояли и сидели в

отдалении. Ближе к столу стояла сама хозяйка — Анна Марковна, а немножко сзади ее — Эмма Эдуардовна и Зося.

Доктор, старый, опустившийся, грязноватый, ко всему равнодушный человек, надел криво на нос пенсне, поглядел в список и выкрикнул:

— Александра Будзинская!..

Вышла нахмуренная, маленькая, курносая Нина. Сохраняя на лице сердитое выражение и сопя от стыда, от сознания своей собственной неловкости и от усилий, она неуклюже взлезла на стол. Доктор, щурясь через пенсне и поминутно роняя его, произвел осмотр.

— Иди!.. Здорова.

И на оборотной стороне бланка отметил: «Двадцать восьмого августа, здорова» — и поставил каракульку. И, когда еще не кончил писать, крикнул:

— Вощенкова Ирина!..

Теперь была очередь Любки. Она за эти прошедшие полтора месяца своей сравнительной свободы успела уже отвыкнуть от еженедельных осмотров, и когда доктор завернул ей на грудь рубашку, она вдруг покраснела так, как умеют краснеть только очень стыдливые женщины, — даже спиной и грудью.

За нею была очередь Зои, потом Маньки Беленькой, затем Тамары и Нюрки, у которой Клименко нашел гонорею и велел отправить ее в больницу.

Доктор производил осмотр с удивительной быстротой. Вот уже около двадцати лет как ему приходилось каждую неделю по субботам осматривать таким образом несколько сотен девушек, и у него выработалась та привычная техническая ловкость и быстрота, спокойная небрежность в движениях, которая бывает часто у цирковых артистов, у карточных шулеров, у носильщиков и упаковщиков мебели и у других профессионалов. И производил он свои манипуляции с таким же спокойствием, с каким гуртовщик или ветеринар осматривают в день несколько сотен голов скота, с тем хладнокровием, какое не изменило ему дважды во время обязательного присутствия при смертной казни.

Думал ли он когда-нибудь о том, что перед ним живые люди, или о том, что он является последним и самым главным звеном той страшной цепи, которая называется узаконенной проституцией?..

Нет! Если и испытывал, то, должно быть, в самом начале своей карьеры. Теперь перед ним были только голые животы, голые спины и открытые рты. Ни одного экземпляра из этого ежесубботнего безликого стада он не узнал бы впоследствии на улице. Главное, надо было как можно скорее окончить осмотр в одном заведении, чтобы перейти в другое, третье, десятое, двадцатое...

— Сусанна Райцына! — выкрикнул, наконец, доктор.

Никто не подходил к столу.

Все обитательницы дома переглянулись и зашептались.

— Женька... Где Женька?..

Но ее не было среди девушек.

Тогда Тамара, только что отпущенная доктором, выдвинулась немного вперед и сказала:

— Ее нет. Она не успела еще приготовиться. Извините, господин доктор. Я сейчас пойду позову ее.

Она побежала в коридор и долго не возвращалась. Следом за нею пошла сначала Эмма Эдуардовна, потом Зося, несколько девушек и даже сама Анна Марковна.

— Пфуй! Что за безобразие!.. — говорила в коридоре величественная Эмма Эдуардовна, делая негодующее лицо. — И вечно эта Женька!.. Постоянно эта Женька!.. Кажется, мое терпение уже лопнуло...

Но Женьки нигде не было — ни в ее комнате, ни в Тамариной. Заглянули в другие каморки, во все закоулки... Но и там ее не оказалось.

— Надо поглядеть в ватере... Может быть, она там? — догадалась Зоя.

Но это учреждение было заперто изнутри на задвижку. Эмма Эдуардовна постучалась в дверь кулаком.

— Женя, да выходите же вы! Что это за глупости?!

И, возвысив голос, крикнула нетерпеливо и с угрозой:

— Слышишь, ты, свинья?.. Сейчас же иди — доктор ждет.

Не было никакого ответа.

Все переглянулись со страхом в глазах, с одной и той же мыслью в уме.

Эмма Эдуардовна потрясла дверь за медную ручку, но дверь не поддалась.

— Сходите за Симеоном! — распорядилась Анна Марковна.

Позвали Симеона... Он пришел, по обыкновению, заспанный и хмурый. По растерянным лицам девушек и экономок он уже видел, что случилось какое-то недоразумение, в котором требуется его профессиональная жестокость и сила. Когда ему объяснили в чем дело, он молча взялся своими длинными обезьяньими руками за дверную ручку, уперся в стену ногами и рванул.

Ручка осталась у него в руках, а сам он, отшатнувшись назад, едва не упал спиной на пол.

— А-а, черт! — глухо заворчал он. — Дайте мне столовый ножик.

Сквозь щель двери столовым ножом он прощупал внутреннюю задвижку, обстругал немного лезвием края щели и расширил ее так, что мог просунуть, наконец, туда кончик ножа, и стал понемногу отскребать назад задвижку. Все следили за его руками, не двигаясь, почти не дыша. Слышался только скрип металла о металл.

Наконец Симеон распахнул дверь.

Женька висела посреди ватерклозета на шнурке от корсета, прикрепленном к ламповому крюку. Тело ее, уже неподвижное после недолгой агонии, медленно раскачивалось в воздухе и описывало вокруг своей вертикальной оси едва заметные обороты влево и вправо. Лицо ее было сине-багрово, и кончик языка высовывался между прикушенных и обнаженных зубов. Снятая лампа валялась здесь же на полу.

Кто-то истерически завизжал, и все девушки, как испуганное стадо, толпясь и толкая друг друга в

узком коридоре, голося и давясь истерическими рыданиями, кинулись бежать.

На крики пришел доктор... Именно, *пришел,* а не прибежал. Увидев, в чем дело, он не удивился и не взволновался: за свою практику городского врача он насмотрелся таких вещей, что уже совсем одеревенел и окаменел к человеческим страданиям, ранам и смерти. Он приказал Симеону приподнять немного вверх труп Женьки и сам, забравшись на сиденье, перерезал шнурок. Для проформы он приказал отнести Женьку в ее бывшую комнату и пробовал при помощи того же Симеона произвести искусственное дыхание, но минут через пять махнул рукой, поправил свое скривившееся на носу пенсне и сказал:

— Позовите полицию составить протокол.

Опять пришел Кербеш, опять долго шептался с хозяйкой в ее маленьком кабинетике и опять захрустел в кармане новой сторублевкой.

Протокол был составлен в пять минут, и Женьку, такую же полуголую, какой она повесилась, отвезли в наемной телеге в анатомический театр, окутав и прикрыв ее двумя рогожами.

Эмма Эдуардовна первая нашла записку, которую оставила Женька у себя на ночном столике. На листке, вырванном из приходо-расходной книжки, обязательной для каждой проститутки, карандашом, наивным круглым детским почерком, по которому, однако, можно было судить, что руки самоубийцы не дрожали в последние минуты, было написано:

«В смерти моей прошу никого не винить. Умираю оттого, что заразилась, и еще оттого, что все люди подлецы и что жить очень гадко. Как разделить мои вещи, об этом знает Тамара. Я ей сказала подробно».

Эмма Эдуардовна обернулась назад к Тамаре, которая в числе других девушек была здесь же, и с глазами, полными холодной зеленой ненависти, прошипела:

— Так ты знала, подлая, что она собиралась сделать?.. Знала, гадина?.. Знала и не сказала?..

Она уже замахнулась, чтобы, по своему обыкновению, жестко и расчетливо ударить Тамару, но вдруг

так и остановилась с разинутым ртом и с широко раскрывшимися глазами. Она точно в первый раз увидела Тамару, которая глядела на нее твердым, гневным, непереносимо-презрительным взглядом и медленно, медленно подымала снизу и, наконец, подняла в уровень с лицом экономки маленький, блестящий белым металлом предмет.

VI

В тот же день вечером совершилось в доме Анны Марковны очень важное событие: все учреждение — с землей и с домом, с живым и мертвым инвентарем и со всеми человеческими душами — перешло в руки Эммы Эдуардовны.

Об этом уже давно поговаривали в заведении, но, когда слухи так неожиданно, тотчас же после смерти Женьки, превратились в явь, девицы долго не могли прийти в себя от изумления и страха. Они хорошо знали, испытав на себе власть немки, ее жестокий, неумолимый педантизм, ее жадность, высокомерие и, наконец, ее извращенную, требовательную, отвратительную любовь то к одной, то к другой фаворитке. Кроме того, ни для кого не было тайной, что из шестидесяти тысяч, которые Эмма Эдуардовна должна была уплатить прежней хозяйке за фирму и за имущество, треть принадлежала Кербешу, который давно уже вел с толстой экономкой полудружеские, полуделовые отношения. От соединения двух таких людей, бесстыдных, безжалостных и алчных, девушки могли ожидать для себя всяких напастей.

Анна Марковна так дешево уступила дом не только потому, что Кербеш, если бы даже и не знал за нею некоторых темных делишек, все-таки мог в любое время подставить ей ножку и съесть без остатка. Предлогов и зацепок к этому можно было найти хоть по сту каждый день, и иные из них грозили бы не одним только закрытием дома, а, пожалуй, и судом.

Но, притворяясь, охая и вздыхая, плачась на свою бедность, болезни и сиротство, Анна Марковна в душе была рада и такой сделке. Да и то сказать: она давно

уже чувствовала приближение старческой немощи вместе со всякими недугами и жаждала полного, ничем не смущаемого добродетельного покоя. Все, о чем Анна Марковна не смела и мечтать в ранней молодости, когда она сама еще была рядовой проституткой, — все пришло к ней теперь своим чередом, одно к одному: почтенная старость, дом — полная чаша на одной из уютных, тихих улиц, почти в центре города, обожаемая дочь Берточка, которая не сегодня-завтра должна выйти замуж за почтенного человека, инженера, домовладельца и гласного городской думы, обеспеченная солидным приданым и прекрасными драгоценностями... Теперь можно спокойно, не торопясь, со вкусом, сладко обедать и ужинать, к чему Анна Марковна всегда питала большую слабость, выпить после обеда хорошей домашней крепкой вишневки, а по вечерам поиграть в преферанс по копейке с уважаемыми знакомыми пожилыми дамами, которые хоть никогда и не показывали вида, что знают настоящее ремесло старушки, но на самом деле отлично его знали и не только не осуждали ее дела, но даже относились с уважением к тем громадным процентам, которые она зарабатывала на капитал. И этими милыми знакомыми, радостью и утешением безмятежной старости, были: одна — содержательница ссудной кассы, другая — хозяйка бойкой гостиницы около железной дороги, третья — владелица небольшого, но очень ходкого, хорошо известного между крупными ворами ювелирного магазина и так далее. И про них в свою очередь Анна Марковна знала и могла бы рассказать несколько темных и не особенно лестных анекдотов, но в их среде было не принято говорить об источниках семейного благополучия — ценились только ловкость, смелость, удача и приличные манеры.

Но и, кроме того, у Анны Марковны, довольно ограниченной умом и не особенно развитой, было какое-то удивительное внутреннее чутье, которое всю жизнь позволяло ей инстинктивно, но безукоризненно избегать неприятностей и вовремя находить разумные пути. Так и теперь, после скоропостижной смерти Ваньки-Встаньки и последовавшего на другой день

самоубийства Женьки, она своей бессознательно-проницательной душой предугадала, что судьба, до сих пор благоволившая к ее публичному дому, посылавшая удачи, отводившая всякие подводные мели, теперь собирается повернуться спиною. И она первая отступила.

Говорят, что незадолго до пожара в доме или до крушения корабля умные, нервные крысы стаями перебираются в другое место. Анной Марковной руководило то же крысиное, звериное пророческое чутье. И она была права: тотчас же после смерти Женьки над домом, бывшим Анны Марковны Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, точно нависло какое-то роковое проклятие: смерти, несчастия, скандалы так и падали на него беспрестанно, все учащаясь, подобно кровавым событиям в шекспировских трагедиях, как, впрочем, это было и во всех остальных домах Ям.

И одной из первых, через неделю после ликвидации дела, умерла сама Анна Марковна. Впрочем, это часто случается с людьми, выбитыми из привычной тридцатилетней колеи: так умирают военные герои, вышедшие в отставку, — люди несокрушимого здоровья и железной воли; так сходят быстро со сцены бывшие биржевые дельцы, ушедшие счастливо на покой, но лишенные жгучей прелести риска и азарта; так быстро старятся, опускаются и дряхлеют покинувшие сцену большие артисты... Смерть ее была смертью праведницы. Однажды за преферансом она почувствовала себя дурно, просила подождать, сказала, что вернется через минутку, прилегла в спальне на кровать, вздохнула глубоко и перешла в иной мир, со спокойным лицом, с мирной старческой улыбкой на устах. Исай Саввич — верный товарищ на ее жизненном пути, немного забитый, всегда игравший второстепенную, подчиненную роль,— пережил ее только на месяц.

Берточка осталась единственной наследницей. Она обратила очень удачно в деньги уютный дом и также и землю где-то на окраине города, вышла, как и предполагалось, очень счастливо замуж и до сих пор

убеждена, что ее отец вел крупное коммерческое дело по экспорту пшеницы через Одессу и Новороссийск в Малую Азию.

Вечером того дня, когда труп Жени увезли в анатомический театр, в час, когда ни один даже случайный гость еще не появлялся на Ямской улице, все девушки, по настоянию Эммы Эдуардовны, собрались в зале. Никто из них не осмелился роптать на то, что в этот тяжелый день их, еще не оправившихся от впечатлений ужасной Женькиной смерти, заставят одеться, по обыкновению, в дико-праздничные наряды и идти в ярко освещенную залу, чтобы танцевать, петь и заманивать своим обнаженным телом похотливых мужчин.

Наконец в залу вошла и сама Эмма Эдуардовна. Она была величественнее, чем когда бы то ни было,— одетая в черное шелковое платье, из которого, точно боевые башни, выступали ее огромные груди, на которые ниспадали два жирных подбородка, в черных шелковых митенках, с огромной золотой цепью, трижды обмотанной вокруг шеи и кончавшейся тяжелым медальоном, висевшим на самом животе.

— Барышни!.. — начала она внушительно, — я должна... Встать! — вдруг крикнула она повелительно. — Когда я говорю, вы должны стоя выслушивать меня.

Все переглянулись с недоумением: такой приказ был новостью в заведении. Однако девушки встали одна за другой, нерешительно, с открытыми глазами и ртами.

— Sie sollen... [1] вы должны с этого дня оказывать мне то уважение, которое вы обязаны оказывать вашей хозяйке, — важно и веско начала Эмма Эдуардовна. — Начиная от сегодня, заведение перешло законным порядком от нашей доброй и почтенной Анны Марковны ко мне, Эмме Эдуардовне Тицнер. Я надеюсь, что мы не будем ссориться и вы будете вести

[1] Вы должны... *(нем.)*.

себя, как разумные, послушные и благовоспитанные девицы. Я вам буду вместо родная мать, но только помните, что я не потерплю ни лености, ни пьянства, ни каких-нибудь фантазий или какой-нибудь беспорядок. Добрая мадам Шайбес, надо сказать, держала вас слишком на мягких вожжах. О-о, я буду гораздо строже. Дисциплина über alles...[1] раньше всего. Очень жаль, что русский народ, ленивый, грязный и глюпий, не понимает этого правила, но не беспокойтесь, я вас научу к вашей же пользе. Я говорю «к вашей пользе» потому, что моя главная мысль — убить конкуренцию Треппеля. Я хочу, чтобы мой клиент был положительный мужчина, а не какой-нибудь шарлатан и оборванец, какой-нибудь там студент или актерщик. Я хочу, чтобы мои барышни были самые красивые, самые благовоспитанные, самые здоровые и самые веселые во всем городе. Я не пожалею никаких денег, чтобы завести шикарную обстановку, и у вас будут комнаты с шелковой мебелью и с настоящими прекрасными коврами. Гости у вас не будут уже требовать пива, а только благородные бордоские и бургундские вина и шампанское. Помните, что богатый, солидный, пожилой клиент никогда не любит вашей простой, обыкновенной, грубой любви. Ему нужен кайенский перец, ему нужно не ремесло, а искусство, и этому вы скоро научитесь. У Треппеля берут три рубля за визит и десять рублей за ночь... Я поставлю так, что вы будете получать пять рублей за визит и двадцать пять за ночь. Вам будут дарить золото и брильянты. Я устрою так, что вам не нужно будет переходить в заведения низшего сорта und so weiter...[2] вплоть до солдатского грязного притона. Нет! У каждой из вас будут откладываться и храниться у меня ежемесячные взносы и откладываться на ваше имя в банкирскую контору, где на них будут расти проценты и проценты на проценты. И тогда, если девушка почувствует себя усталой или захочет выйти замуж за порядочного человека, в ее распоряжении всегда

---

[1] Выше всего... *(нем.)*.
[2] И так далее... *(нем.)*.

будет небольшой, но верный капитал. Так делается в лучших заведениях Риги и повсюду за границей. Пускай никто не скажет про меня, что Эмма Эдуардовна — паук, мегера, кровососная банка. Но за непослушание, за леность, за фантазии, за любовников на стороне я буду жестоко наказывать и, как гадкую сорную траву, выброшу вон на улицу или еще хуже. Теперь я все сказала, что мне нужно. Нина, подойди ко мне. И вы все остальные подходите по очереди.

Нинка нерешительно подошла вплотную к Эмме Эдуардовне и даже отшатнулась от изумления: Эмма Эдуардовна протягивала ей правую руку с опущенными вниз пальцами и медленно приближала ее к Нинкиным губам.

— Целуй!.. — внушительно и твердо произнесла Эмма Эдуардовна, прищурившись и откинув голову назад в великолепной позе принцессы, вступающей на престол.

Нинка была так растеряна, что правая рука ее дернулась, чтобы сделать крестное знамение, но она исправилась, громко чмокнула протянутую руку и отошла в сторону. Следом за нею также подошли Зоя, Генриетта, Ванда и другие. Одна Тамара продолжала стоять у стены спиной к зеркалу, к тому зеркалу, в которое так любила, бывало, прохаживаясь взад и вперед по зале, заглядывать, любуясь собой, Женька.

Эмма Эдуардовна остановила на ней повелительный, упорный взгляд удава, но гипноз не действовал. Тамара выдержала этот взгляд, не отворачиваясь, не мигая, но без всякого выражения на лице. Тогда новая хозяйка опустила руку, сделала на лице нечто похожее на улыбку и сказала хрипло:

— А с вами, Тамара, мне нужно поговорить немножко отдельно, с глазу на глаз. Пойдемте!

— Слушаю, Эмма Эдуардовна! — спокойно ответила Тамара.

Эмма Эдуардовна пришла в маленький кабинетик, где когда-то любила пить кофе с топлеными сливками Анна Марковна, села на диван и указала Тамаре

место напротив себя. Некоторое время женщины молчали, испытующе, недоверчиво оглядывая друг друга.

— Вы правильно поступили, Тамара, — сказала, наконец, Эмма Эдуардовна. — Вы умно сделали, что не подошли, подобно этим овцам, поцеловать у меня руку. Но все равно я вас до этого не допустила бы. Я тут же при всех хотела, когда вы подойдете ко мне, пожать вам руку и предложить вам место первой экономки, — вы понимаете? — моей главной помощницы — и на очень выгодных для вас условиях.

— Благодарю вас...

— Нет, подождите, не перебивайте меня. Я выскажусь до конца, а потом вы выскажете ваши за и против. Но объясните вы мне, пожалуйста, когда вы утром прицеливались в меня из револьвера, что вы хотели? Неужели убить меня?

— Наоборот, Эмма Эдуардовна, — почтительно возразила Тамара, — наоборот: мне показалось, что вы хотели ударить меня.

— Пфуй! Что вы, Тамарочка!.. Разве вы не обращали внимания, что за все время нашего знакомства я никогда не позволила себе не то что ударить вас, но даже обратиться к вам с грубым словом... Что вы, что вы?.. Я вас не смешиваю с этим русским быдлом... Слава богу, я — человек опытный и хорошо знающий людей. Я отлично вижу, что вы по-настоящему воспитанная барышня, гораздо образованнее, например, чем я сама. Вы тонкая, изящная, умная. Вы знаете иностранные языки. Я убеждена в том, что вы даже недурно знаете музыку. Наконец, если признаться, я немножко... как бы вам сказать... всегда была немножко влюблена в вас. И вот вы меня хотели застрелить! Меня, человека, который мог бы быть вам отличным другом! Ну что вы на это скажете?

— Но... ровно ничего, Эмма Эдуардовна, — возразила Тамара самым кротким и правдоподобным тоном. — Все было очень просто. Я еще раньше нашла под подушкой у Женьки револьвер и принесла, чтобы вам передать его. Я не хотела вам мешать, когда вы читали письмо, но вот вы обернулись ко мне, и я протянула вам револьвер и хотела сказать: поглядите,

Эмма Эдуардовна, что я нашла, — потому что, видите ли, меня ужасно поразило, как это покойная Женя, имея в распоряжении револьвер, предпочла такую ужасную смерть, как повешение? Вот и все!

Густые, страшные брови Эммы Эдуардовны поднялись кверху, глаза весело расширились, и по ее щекам бегемота расплылась настоящая, неподдельная улыбка. Она быстро протянула обе руки Тамаре.

— И только это? О, mein Kind! [1] А я думал... мне бог знает что представилось! Дайте мне ваши руки, Тамара, ваши милые белые ручки и позвольте вас прижать auf mein Herz, на мое сердце, и поцеловать вас.

Поцелуй был так долог, что Тамара с большим трудом и с отвращением едва высвободилась из объятий Эммы Эдуардовны.

— Ну, а теперь о деле. Итак, вот мои условия: вы будете экономкой, я вам даю пятнадцать процентов из чистой прибыли. Обратите внимание, Тамара: пятнадцать процентов. И, кроме того, небольшое жалованье — тридцать, сорок, ну, пожалуй, пятьдесят рублей в месяц. Прекрасные условия — не правда ли? Я глубоко уверена, что не кто другой, как именно вы поможете мне поднять дом на настоящую высоту и сделать его самым шикарным не то что в нашем городе, но и во всем юге России. У вас вкус, понимание вещей!.. Кроме того, вы всегда сумеете занять и расшевелить самого требовательного, самого неподатливого гостя. В редких случаях, когда очень богатый и знатный господин — по-русски это называется один «карась», а у нас Freier, — когда он увлечется вами, — ведь вы такая красивая, Тамарочка, (хозяйка поглядела на нее туманными, увлажненными глазами), — то я вовсе не запрещаю вам провести с ним весело время, только упирать всегда на то, что вы не имеете права по своему долгу, положению und so weiter, und so weiter... Aber sagen Sie bitte [2] объясняетесь ли вы легко по-немецки?

---

[1] О, мое дитя! (*нем.*).

[2] И так далее, и так далее... Но скажите, пожалуйста... (*нем.*)

— Die deutsche Sprache beherrsche ich in geringerem Grade, als die französische; indes kann ich stets in einer Salon-Plauderei mitmachen.

— O, wunderbar!.. Sie haben eine entzückende Rigaer Aussprache, die beste aller deutschen Aussprachen. Und also, — fahren wir in unserer Sprache fort. Sie klingt viel süsser meinem Ohr, die Muttersprache. Schön?

— Schön.

— Am Ende werden Sie nachgeben, dem Anschein nach ungern, unwillkürlich, von der Laune des Augenblicks hingerissen, — und, was die Hauptsache ist, lautlos, heimlich vor mir. Sie verstehen? Dafür zahlen Narren ein schweres Geld. Übrigens brauche ich Sie wohl nicht zu lehren.

— Ja, gnädige Frau. Sie sprechen gar kluge Dinge. Doch das ist schön keine Plauderei mehr, sondern eine ernste Unterhaltung... [1] И поэтому мне удобнее, если вы перейдете на русский язык... Я готова вас слушаться.

— Дальше!.. Я только что говорила насчет любовника. Я вам не смею запрещать этого удовольствия, но будем благоразумными: пусть он не появляется сюда или появляется как можно реже. Я вам дам выходные дни, когда вы будете совершенно свободны. Но лучше, если бы вы совсем обошлись без него. Это послужит к вашей же пользе. Это только тормоз и ярмо. Говорю вам по своему личному опыту. Подождите, через три-четыре года мы так расширим дело,

---

[1] Немецким языком я владею немножко хуже, чем французским, но могу всегда поддержать салонную болтовню.

— О, чудесно!.. У вас очаровательный рижский выговор, самый правильный из всех немецких. Итак, мы будем продолжать на моем языке. Это мне гораздо слаще — родной язык. Хорошо?

— Хорошо!

— В конце концов вы уступите как будто бы нехотя, как будто невольно, как будто от увлеченья, минутного каприза и — главное дело — потихоньку от меня. Вы понимаете? За это дураки платят огромные деньги. Впрочем, кажется, мне вас не приходится учить.

— Да, сударыня. Вы говорите очень умные вещи. Но это уж не болтовня, а серьезный разговор... (Перевод с нем. автора.)

что у вас уже будут солидные деньги, и тогда я возьму вас в дело полноправным товарищем. Через десять лет вы еще будете молоды и красивы и тогда берите и покупайте мужчин сколько угодно. К этому времени романтические глупости совсем выйдут из вашей головы, и уже не вас будут выбирать, а вы будете выбирать с толком и с чувством, как знаток выбирает драгоценные камни. Вы согласны со мной?

Тамара опустила глаза и чуть-чуть улыбнулась.

— Вы говорите золотые истины, Эмма Эдуардовна. Я брошу моего, но не сразу. На это мне нужно будет недели две. Я постараюсь, чтобы он не являлся сюда. Я принимаю ваше предложение.

— И прекрасно! — сказала Эмма Эдуардовна, вставая. — Теперь заключим наш договор одним хорошим, сладким поцелуем.

И она опять обняла и принялась взасос целовать Тамару, которая со своими опущенными глазами и наивным нежным лицом казалась теперь совсем девочкой. Но, освободившись, наконец, от хозяйки, она спросила по-русски:

— Вы видите, Эмма Эдуардовна, что я во всем согласна с вами, но за это прошу вас исполнить одну мою просьбу. Она вам ничего не будет стоить. Именно, надеюсь, вы позволите мне и другим девицам проводить покойную Женю на кладбище.

Эмма Эдуардовна сморщилась.

— О, если хотите, милая Тамара, я ничего не имею против вашей прихоть. Только для чего? Мертвому человеку это не поможет и не сделает его живым. Выйдет только одна лишь сентиментальность... Но хорошо! Только ведь вы сами знаете, что по вашему закону самоубийц не хоронят или, — я не знаю наверное, — кажется, бросают в какую-то грязную яму за кладбищем.

— Нет, уж позвольте мне сделать самой, как я хочу. Пусть это будет моя прихоть, но уступите ее мне, милая, дорогая, прелестная Эмма Эдуардовна! Зато я обещаю вам, что это будет последняя моя прихоть. После этого я буду как умный и послушный солдат в распоряжении талантливого генерала.

— Is'gut![1] — сдалась со вздохом Эмма Эдуардовна. — Я вам, дитя мое, ни в чем не могу отказать. Дайте я пожму вашу руку. Будем вместе трудиться и работать для общего блага.

И, отворив дверь, она крикнула через залу в переднюю: «Симеон!» Когда же Симеон появился в комнате, она приказала ему веско и торжественно:

— Принесите нам сюда полбутылки шампанского, только настоящего — Rederer demi sec и похолоднее. Ступай живо! — приказала она швейцару, вытаращившему на нее глаза. — Мы выпьем с вами, Тамара, за новое дело, за наше прекрасное и блестящее будущее.

Говорят, что мертвецы приносят счастье. Если в этом суеверии есть какое-нибудь основание, то в эту субботу оно сказалось как нельзя яснее: наплыв посетителей был необычайный даже и для субботнего времени. Правда, девицы, проходя коридором мимо бывшей Женькиной комнаты, учащали шаги, боязливо косились туда краем глаза, а иные даже крестились. Но к глубокой ночи страх смерти как-то улегся, обтерпелся. Все комнаты были заняты, а в зале не переставая заливался новый скрипач — молодой, развязный, бритый человек, которого где-то отыскал и привел с собой бельмистый тапер.

Назначение Тамары в экономки было принято с холодным недоумением, с молчаливой сухостью. Но, выждав время, Тамара успела шепнуть Маньке Беленькой:

— Послушай, Маня! Ты скажи им всем, чтобы они не обращали внимания на то, что меня выбрали экономкой. Это так нужно. А они пусть делают что хотят, только бы не подводили меня. Я им по-прежнему — друг и заступница... А дальше видно будет.

VII

На другой день, в воскресенье, у Тамары было множество хлопот. Ею овладела твердая и непреклонная мысль похоронить покойного друга наперекор

[1] Ну хорошо! *(нем.)*

всем обстоятельствам так, как хоронят самых близких людей — по-христиански, со всем печальным торжеством чина погребения мирских человек.

Она принадлежала к числу тех странных натур, которые под внешним ленивым спокойствием, небрежной молчаливостью и эгоистичной замкнутостью таят в себе необычайную энергию, всегда точно дремлющую в полглаза, берегущую себя от напрасного расходования, но готовую в один момент оживиться и устремиться вперед, не считаясь с препятствиями.

В двенадцать часов она на извозчике спустилась вниз, в старый город, проехала в узенькую улицу, выходящую на ярмарочную площадь, и остановилась около довольно грязной чайной, велев извозчику подождать. В чайной она справилась у рыжего, остриженного в скобку, с масленым пробором на голове мальчика, не приходил ли сюда Сенька Вокзал? Услужающий мальчишка, судя по его изысканной и галантной готовности, давно уже знавший Тамару, ответил, что «никак нет-с; оне — Семен Игнатич — еще не были и, должно быть, не скоро еще будут, потому как оне вчера в «Трансвале» изволили кутить, играли на бильярде до шести часов утра, и что теперь оне, по всем вероятиям, дома, в номерах «Перепутье», и что ежели барышня прикажут, то к ним можно сей минуту спорхнуть».

Тамара попросила бумаги и карандаш и тут же написала несколько слов. Затем отдала половому записку вместе с полтинником на чай и уехала.

Следующий визит был к артистке Ровинской, жившей, как еще раньше знала Тамара, в самой аристократической гостинице города — «Европе», где она занимала несколько номеров подряд.

Добиться свидания с певицей было не очень-то легко: швейцар внизу сказал, что Елены Викторовны, кажется, нет дома, а личная горничная, вышедшая на стук Тамары, объявила, что у барыни болит голова и что она никого не принимает. Пришлось опять Тамаре написать на клочке бумаги:

«Я к Вам являюсь от той, которая однажды в доме, неназываемом громко, плакала, стоя перед Вами на коленях, после того, как Вы спели романс Даргомыжского. Тогда Вы так чудесно приласкали ее. Помните? Не бойтесь, — ей теперь не нужна ничья помощь: она вчера умерла. Но Вы можете сделать в ее память одно очень серьезное дело, которое Вас почти совсем не затруднит. Я же — именно та особа, которая позволила сказать несколько горьких истин бывшей с Вами тогда баронессе Т., в чем до сих пор раскаиваюсь и извиняюсь».

— Передайте! — приказала она горничной.

Та вернулась через две минуты:

— Барыня просит вас. Очень извиняются, что им нездоровится и что оне примут вас не совсем одетые.

Она проводила Тамару, открыла перед нею дверь и тихо затворила ее.

Великая артистка лежала на огромной тахте, покрытой прекрасным текинским ковром и множеством шелковых подушечек и цилиндрических мягких ковровых валиков. Ноги ее были укутаны серебристым нежным мехом. Пальцы рук, по обыкновению, были украшены множеством колец с изумрудами, притягивавшими глаза своей глубокой и нежной зеленью.

У артистки был сегодня один из ее нехороших, черных дней. Вчера утром вышли какие-то нелады с дирекцией, а вечером публика приняла ее не так восторженно, как бы ей хотелось, или, может быть, это ей просто показалось, а сегодня в газетах дурак рецензент, который столько же понимал в искусстве, сколько корова в астрономии, расхвалил в большой заметке ее соперницу Титанову. И вот Елена Викторовна уверила себя в том, что у нее болит голова, что в висках у нее нервный тик, а сердце нет-нет и вдруг точно упадет куда-то.

— Здравствуйте, моя дорогая! — сказала она немножко в нос, слабым, бледным голосом, с расстановкой, как говорят на сцене героини, умирающие от любви и от чахотки. — Присядьте здесь... Я рада вас видеть... Только не сердитесь, — я почти умираю от мигрени и от моего несчастного сердца. Извините,

что говорю с трудом. Кажется, я перепела и утомила голос...

Ровинская, конечно, вспомнила и безумную эскападу [1] того вечера и оригинальное, незабываемое лицо Тамары, но теперь, в дурном настроении, при скучном прозаическом свете осеннего дня, это приключение показалось ей ненужной бравадой, чем-то искусственным, придуманным и колюче-постыдным. Но она была одинаково искренней как в тот странный, кошмарный вечер, когда она властью таланта повергла к своим ногам гордую Женьку, так и теперь, когда вспомнила об этом с усталостью, ленью и артистическим пренебрежением. Она, как и многие отличные артисты, всегда играла роль, всегда была не самой собой и всегда смотрела на свои слова, движения, поступки, как бы глядя на самое себя издали, глазами и чувствами зрителей.

Она томно подняла с подушки свою узкую, худую, прекрасную руку и приложила ее ко лбу, и таинственные, глубокие изумруды зашевелились, как живые, и засверкали теплым, глубоким блеском.

— Я сейчас прочитала в вашей записке, что эта бедная... простите, имя у меня исчезло из головы...

— Женя.

— Да-да, благодарю вас! Я теперь вспомнила. Она умерла? От чего же?

— Она повесилась... вчера утром, во время докторского осмотра...

Глаза артистки, такие вялые, точно выцветшие, вдруг раскрылись и чудом ожили и стали блестящими и зелеными, точно ее изумруды, и в них отразилось любопытство, страх и брезгливость.

— О, боже мой! Такая милая, такая своеобразная, красивая, такая пылкая!.. Ах, несчастная, несчастная!.. И причиной этому было?..

— Вы знаете... болезнь. Она говорила вам.

— Да, да... Помню, помню... Но повеситься!.. Какой ужас!.. Ведь я советовала ей тогда лечиться. Теперь медицина делает чудеса. Я сама знаю несколь-

---

[1] Выходку (от *франц.* escapade).

ких людей, которые совсем... ну, совсем излечились. Это знают все в обществе и принимают их... Ах, бедняжка, бедняжка!..

— Вот я и пришла к вам, Елена Викторовна. Я бы не посмела вас беспокоить, но я как в лесу, и мне не к кому обратиться. Вы тогда были так добры, так трогательно внимательны, так нежны к нам... Мне нужен только ваш совет и, может быть, немножко ваше влияние, ваша протекция...

— Ах, пожалуйста, голубушка!.. Что могу, я все... Ах, моя бедная голова! И потом это ужасное известие... Скажите же, чем я могу помочь вам?

— Признаться, я и сама еще не знаю, — ответила Тамара. — Видите ли, ее отвезли в анатомический театр... Но пока составили протокол, пока дорога, да там еще прошло время для приема, — вообще, я думаю, что ее не успели еще вскрыть... Мне бы хотелось, если только это возможно, чтобы ее не трогали. Сегодня — воскресенье, может быть, отложат до завтра, а покамест можно что-нибудь сделать для нее...

— Не умею вам сказать, милая... Подождите!.. Нет ли у меня кого-нибудь знакомого из профессоров, из медицинского мира?.. Подождите, — я потом посмотрю в своих записных книжках. Может быть, удастся что-нибудь сделать.

— Кроме того, — продолжала Тамара, — я хочу ее похоронить... На свой счет... Я к ней была при ее жизни привязана всем сердцем.

— Я с удовольствием помогу вам в этом материально...

— Нет, нет!.. Тысячи раз благодарю вас!.. Я все сделаю сама. Я бы не постеснялась прибегнуть к вашему доброму сердцу, но это... вы поймете меня... это нечто вроде обета, который дает человек самому себе и памяти друга. Главное затруднение в том, — как бы нам похоронить ее по христианскому обряду. Она была, кажется, неверующая или совсем плохо веровала. И я тоже разве только случайно иногда перекрещу лоб. Но я не хочу, чтобы ее зарывали, точно собаку, где-то за оградой кладбища, молча, без слов, без пения... Я не знаю, разрешат ли ее

похоронить как следует — с певчими, с попами? Потому-то я прошу у вас помощи советом. Или, может, вы направите меня куда-нибудь?..

Теперь артистка мало-помалу заинтересовалась и уже забывала о своей усталости, и о мигрени, и о чахоточной героине, умирающей в четвертом акте. Ей уже рисовалась роль заступницы, прекрасная фигура гения, милостивого к падшей женщине. Это оригинально, экстравагантно и в то же время так театрально-трогательно! Ровинская, подобно многим своим собратьям, не пропускала ни одного дня, и если бы возможно было, то не пропускала бы даже ни одного часа без того, чтобы не выделяться из толпы, не заставлять о себе говорить: сегодня она участвовала в лжепатриотической манифестации, а завтра читала с эстрады в пользу ссыльных революционеров возбуждающие стихи, полные пламени и мести. Она любила продавать цветы на гуляньях, в манежах и торговать шампанским на больших балах. Она заранее придумывала острые словечки, которые на другой же день подхватывались всем городом. Она хотела, чтобы повсюду и всегда толпа глядела бы только на нее, повторяла ее имя, любила ее египетские зеленые глаза, хищный и чувственный рот, ее изумруды на худых и нервных руках.

— Я не могу сейчас всего сообразить как следует, — сказала она, помолчав. — Но если человек чего-нибудь сильно хочет, он достигнет, а я хочу всей душой исполнить ваше желание. Постойте, постойте!.. Кажется, мне приходит в голову великолепная мысль... Ведь тогда, в тот вечер, если не ошибаюсь, с нами были, кроме меня и баронессы...

— Я их не знаю... Один из них вышел из кабинета позднее вас всех. Он поцеловал мою руку и сказал, что если он когда-нибудь понадобится, то всегда к моим услугам, и дал мне свою карточку, но просил ее никому не показывать из посторонних... А потом все это как-то прошло и забылось. Я как-то никогда не удосужилась справиться, кто был этот человек, а вчера искала карточку и не могла найти...

— Позвольте, позвольте!.. Я вспомнила! — оживилась вдруг артистка. — Ага, — воскликнула она, быстро поднимаясь с тахты, — это был Рязанов... Да, да, да... Присяжный поверенный Эраст Андреевич Рязанов. Сейчас мы все устроим. Чудесная мысль!

Она повернулась к маленькому столику, на котором стоял телефонный аппарат, и позвонила:

— Барышня, пожалуйста, тринадцать восемьдесят пять... Благодарю вас... Алло!.. Попросите Эраста Андреевича к телефону... Артистка Ровинская... Благодарю вас... Алло!.. Это вы, Эраст Андреевич? Хорошо, хорошо, но теперь дело не в ручках. Свободны ли вы?.. Бросьте глупости!.. Дело серьезное. Не можете ли вы ко мне приехать на четверть часа?.. Нет, нет... Да... Только как доброго и умного человека. Вы клевещете на себя... Ну и прекрасно!.. Я не особенно одета, но у меня оправдание — страшная головная боль... Нет, — дама, девушка... Сами увидите, приезжайте скорее... Спасибо! До свидания!..

— Он сейчас приедет, — сказала Ровинская, вешая трубку. — Он милый и ужасно умный человек. Ему возможно все, даже почти невозможное для человека... А покамест... простите — ваше имя?

Тамара замялась, но потом сама улыбнулась над собой:

— Да не стоит вам беспокоиться, Елена Викторовна. Mon nom de geurre[1] Тамара, а так — Анастасия Николаевна. Все равно, — зовите хоть Тамарой... Я больше привыкла...

— Тамара!.. Это так красиво!.. Так вот, mademoiselle Тамара, может быть, вы не откажетесь со мной позавтракать? Может быть, и Рязанов с нами...

— Некогда, простите.

— Это очень жаль!.. Надеюсь, в другой раз когда-нибудь... А может быть, вы курите? — и она подвинула к ней золотой портсигар, украшенный громадной буквой Е из тех же обожаемых ею изумрудов.

Очень скоро приехал Рязанов.

---

[1] Мой псевдоним *(франц.)*.

Тамара, не разглядевшая его как следует в тот вечер, была поражена его наружностью. Высокого роста, почти атлетического сложения, с широким, как у Бетховена, лбом, опутанным небрежно-художественно черными с проседью волосами, с большим мясистым ртом страстного оратора, с ясными, выразительными, умными, насмешливыми глазами, он имел такую наружность, которая среди тысяч бросается в глаза — наружность покорителя душ и победителя сердец, глубоко-честолюбивого, еще не пресыщенного жизнью, еще пламенного в любви и никогда не отступающего перед красивым безрассудством... «Если бы меня судьба не изломала так жестоко, — подумала Тамара, с удовольствием следя за его движениями, — то вот человек, которому я бросила бы свою жизнь шутя, с наслаждением, с улыбкой, как бросают возлюбленному сорванную розу...»

Рязанов поцеловал руку Ровинской, потом с непринужденной простотой поздоровался с Тамарой и сказал:

— Мы знакомы еще с того шального вечера, когда вы поразили нас всех знанием французского языка и когда вы говорили. То, что вы говорили, было — между нами — парадоксально, но зато как это было сказано!.. До сих пор я помню тон вашего голоса, такой горячий, выразительный... Итак... Елена Викторовна, — обратился он опять к Ровинской, садясь на маленькое низкое кресло без спинки, — чем я могу быть вам полезен? Располагайте мною.

Ровинская опять с томным видом приложила концы пальцев к вискам.

— Ах, право, я так расстроена, дорогой мой Рязанов, — сказала она, умышленно погашая блеск своих прекрасных глаз, — потом моя несчастная голова... Потрудитесь передать мне с того столика пирамидон... Пусть mademoiselle Тамара вам все расскажет. Я не могу, не умею... Это так ужасно!..

Тамара коротко, толково передала Рязанову всю печальную историю Женькиной смерти, упомянула и о карточке, оставленной адвокатом, и о том, как она

благоговейно хранила эту карточку, и — вскользь — о его обещании помочь в случае нужды.

— Конечно, конечно, — вскричал Рязанов, когда она закончила, и тотчас же заходил взад и вперед по комнате большими шагами, ероша по привычке и отбрасывая назад свои живописные волосы. — Вы совершаете великолепный, сердечный, товарищеский поступок! Это хорошо!.. Это очень хорошо!.. Я ваш... Вы говорите — разрешение о похоронах... Гм!.. Дай бог памяти!..

Он потер лоб рукой.

— Гм... гм... Если не ошибаюсь — Номоканон, правило сто семьдесят... сто семьдесят... сто семьдесят... восьмое... Позвольте, я его, кажется, помню наизусть... Позвольте!.. Да, так! «Аще убиет сам себя человек, не поют над ним, ниже поминают его, разве аще бяше изумлен, сиречь вне ума своего»... Гм... Смотри святого Тимофея Александрийского... Итак, милая барышня, первым делом... Вы, говорите, что с петли она была снята вашим доктором, то есть городским врачом... Фамилия?..

— Клименко.

— Кажется, я с ним встречался где-то... Хорошо!.. Кто в вашем участке околоточный надзиратель?

— Кербеш.

— Ага, знаю... Такой крепкий, мужественный малый, с рыжей бородой веером... Да?

— Да, это — он.

— Прекрасно знаю! Вот уж по кому каторга давно тоскует!.. Раз десять он мне попадался в руки и всегда, подлец, как-то увертывался. Скользкий, точно налим... Придется дать ему барашка в бумажке. Ну-с! И затем анатомический театр... Вы когда хотите ее похоронить?

— Правда, я не знаю... Хотелось бы поскорее... Если возможно, сегодня.

— Гм... Сегодня... Не ручаюсь — вряд ли успеем... Но вот вам моя памятная книжка. Вот хотя бы на этой странице, где у меня знакомые на букву Т., — так и напишите: Тамара и ваш адрес. Часа через два

я вам дам ответ. Это вас устраивает? Но опять повторяю, что, должно быть, вам придется отложить похороны до завтра... Потом, — простите меня за бесцеремонность, — нужны, может быть, деньги?

— Нет, благодарю вас! — отказалась Тамара. — Деньги есть. Спасибо за участие!.. Мне пора. Благодарю вас сердечно, Елена Викторовна!..

— Так ждите же через два часа, — повторил Рязанов, провожая ее до дверей.

Тамара не сразу поехала в дом. Она по дороге завернула в маленькую кофейную на Католической улице. Там дожидался ее Сенька Вокзал — веселый малый с наружностью красивого цыгана, не черно, а синеволосый, черноглазый с желтыми белками, решительный и смелый в своей работе, гордость местных воров, большая знаменитость в их мире, изобретатель, вдохновитель и вождь.

Он протянул ей руку, не поднимаясь с места. Но в том, как бережно, с некоторым насилием усадил ее на место, видна была широкая добродушная ласка.

— Здравствуй, Тамарка! Давно тебя не видал, — соскучился... Хочешь кофе?

— Нет! Дело... Завтра хороним Женьку... Повесилась она...

— Да, я читал в газете, — небрежно процедил Сенька. — Все равно!..

— Достань мне сейчас пятьдесят рублей.

— Тамарочка, марушка моя, — ни копейки!..

— Я тебе говорю — достань! — повелительно, но не сердясь, приказала Тамара.

— Ах ты господи!.. Твоих-то я не трогал, как обещался, но ведь — воскресенье... Сберегательные кассы закрыты...

— Пускай!.. Заложи книжку! Вообще делай что хочешь!..

— Зачем тебе это, душенька ты моя?

— Не все ли равно, дурак?.. На похороны.

— Ах! Ну, ладно уж! — вздохнул Сенька. — Так я лучше тебе вечером бы сам привез... Право, Тамарочка?.. Очень мне невтерпеж без тебя жить! Уж так-

то бы я тебя, мою милую, расцеловал, глаз бы тебе сомкнуть не дал!.. Или прийти?..

— Нет, нет!.. Ты сделай, Сенечка, как я тебя прошу!.. Уступи мне. А приходить тебе нельзя — я теперь экономка.

— Вот так штука!.. — протянул изумленный Сенька и даже свистнул.

— Да. И ты покамест ко мне не ходи...Но потом, потом, голубчик, что хочешь... Скоро всему конец!

— Ах, не томила бы ты меня! Развязывай скорей!

— И развяжу! Подожди недельку еще, милый! Порошки достал?

— Порошки — пустяк! — недовольно ответил Сенька. — Да и не порошки, а пилюли.

— И ты верно говоришь, что в воде они сразу распустятся?

— Верно. Сам видал.

— Но он не умрет? Послушай, Сеня, не умрет? Это верно?..

— Ничего ему не сделается... Подрыхает только... Ах, Тамарка! — воскликнул он страстным шепотом и даже вдруг крепко, так, что суставы затрещали, потянулся от нестерпимого чувства, — кончай, ради бога, скорей!.. Сделаем дело и — айда! Куда хочешь, голубка! Весь в твоей воле: хочешь — на Одессу подадимся, хочешь — за границу. Кончай скорей!..

— Скоро, скоро...

— Ты только мигни мне, и я уж готов... с порошками, с инструментами, с паспортами... А там — угуу-у! поехала машина! Тамарочка! Ангел мой!.. Золотая, брильянтовая!..

И он, всегда сдержанный, забыв, что его могут увидеть посторонние, хотел уже обнять и прижать к себе Тамару.

— Но, но!..— быстро и ловко, как кошка, вскочила со стула Тамара. — Потом... потом, Сенечка, потом, миленький!.. Вся твоя буду — ни отказу, ни запрету. Сама надоем тебе... Прощай, дурачок мой!

И, быстрым движением руки взъерошив ему черные кудри, она поспешно вышла из кофейни.

VIII

На другой день, в понедельник, к десяти часам утра, почти все жильцы дома бывшего мадам Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, поехали на извозчиках в центр города, к анатомическому театру, — все, кроме дальновидной, многоопытной Генриетты, трусливой и бесчувственной Нинки и слабоумной Пашки, которая вот уже два дня как не вставала с постели, молчала и на обращенные к ней вопросы отвечала блаженной, идиотской улыбкой и каким-то невнятным животным мычанием. Если ей не давали есть, она и не спрашивала, но если приносили, то ела с жадностью, прямо руками. Она стала такой неряшливой и забывчивой, что ей приходилось напоминать о некоторых естественных отправлениях во избежание неприятностей. Эмма Эдуардовна не высылала Пашку к ее постоянным гостям, которые Пашку спрашивали каждый день. С нею и раньше бывали такие периоды ущерба сознания, однако они продолжались недолго, и Эмма Эдуардовна решила на всякий случай переждать. Пашка была настоящим кладом для заведения и его поистине ужасной жертвой.

Анатомический театр представлял из себя длинное, одноэтажное темно-серое здание, с белыми обрамками вокруг окон и дверей. Было в самой внешности его что-то низкое, придавленное, уходящее в землю, почти жуткое. Девушки одна за другой останавливались у ворот и робко проходили через двор в часовню, приютившуюся на другом конце двора, в углу, окрашенную в такой же темно-серый цвет с белыми ободами.

Дверь была заперта. Пришлось идти за сторожем. Тамара с трудом разыскала плешивого, древнего старика, заросшего, точно болотным мхом, сваляной серой щетиной, с маленькими слезящимися глазами и огромным, в виде лепешки, бугорчатым красно-сизым носом.

Он отворил огромный висячий замок, отодвинул болт и открыл ржавую, поющую дверь. Холодный влажный воздух вместе со смешанным запахом ка-

менной сырости, ладана и мертвечины дохнул на девушек. Они попятились назад, тесно сбившись в робкое стадо. Одна Тамара пошла, не колеблясь, за сторожем.

В часовне было почти темно. Осенний свет скупо проникал сквозь узенькое, как бы тюремное окошко, загороженное решеткой. Два-три образа без риз, темные и безликие, висели на стенах. Несколько простых дощатых гробов стояли прямо на полу, на деревянных переносных дрогах. Один посредине был пуст, и открытая крышка лежала рядом.

— Кака-така ваша-то? — спросил сипло сторож и понюхал табаку. — В лицо-то знаете, ай нет?

— Знаю.

— Ну, так мотри! Я тебе их всех покажу. Может быть, эта?..

И он снял с одного из гробов крышку, еще не заколоченную гвоздями. Там лежала одетая кое-как в отребья морщинистая старуха с отекшим синим лицом. Левый глаз у нее был закрыт, а правый таращился и глядел неподвижно и страшно, уже потерявши свой блеск и похожий на залежавшуюся слюду.

— Говоришь — не эта? Ну, мотри... На тебе еще! — сказал сторож и одного за другим показывал, открывая крышки, покойников, — все, должно быть, голытьбу: подобранных на улице, пьяных, раздавленных, изувеченных и исковерканных, начавших разлагаться. У некоторых уже пошли по рукам и лицам сине-зеленые пятна, похожие на плесень, — признаки гниения. У одного мужчины, безносого, с раздвоенной пополам верхней заячьей губой, копошились на лице, изъеденном язвами, как маленькие, белые точки, черви. Женщина, умершая от водянки, целой горой возвышалась из своего дощатого ложа, выпирая крышку.

Все они наскоро после вскрытия были зашиты, починены и обмыты замшелым сторожем и его товарищами. Что им было за дело, если порою мозг попадал в желудок, а печенью начиняли череп и грубо соединяли его при помощи липкого пластыря с голо-

вой?! Сторожа ко всему привыкли за свою кошмарную, неправдоподобную пьяную жизнь, да и, кстати, у их безгласных клиентов почти никогда не оказывалось ни родных, ни знакомых...

Тяжелый дух падали, густой, сытный и такой липкий, что Тамаре казалось, будто он, точно клей, покрывает все живые поры ее тела, стоял в часовне.

— Слушайте, сторож, — спросила Тамара, — что это у меня все трещит под ногами?

— Трыш-шит? — переспросил сторож и почесался. — А вши, должно быть, — сказал он равнодушно. — На мертвяках этого зверья всегда страсть сколько распложается!.. Да ты кого ищешь-то — мужика аль бабу?

— Женщину, — ответила Тамара.

— И эти все, значит, не твои?

— Нет, все чужие.

— Ишь ты!.. Значит, мне в мертвецкую иттить. Когда привезли-то ее?

— В субботу, дедушка, — и Тамара при этом достала портмоне. — В субботу днем. На-ко тебе, почтенный, на табачок!

— Это дело! В субботу, говоришь, днем? А что на ей было?

— Да почти ничего: ночная кофточка, юбка нижняя... и то и то белое.

— Та-ак! Должно, двести семнадцатый номер... Звать-то как?..

— Сусанна Райцына.

— Пойду погляжу, — может и есть. Ну-ко вы, мамзели, — обратился он к девицам, которые тупо жались в дверях, загораживая свет. — Кто из вас похрабрее? Коли третьего дня ваша знакомая приехала, то, значит, теперича она лежит в том виде, как господь бог сотворил всех человеков — значит, без никого... Ну, кто из вас побойчее будет? Кто из вас две пойдут? Одеть ее треба...

— Иди, что ли, ты, Манька, — приказала Тамара подруге, которая, похолодев и побледнев от ужаса и отвращения, глядела на покойников широко открытыми светлыми глазами. — Не бойся, дура, — я с тобой пойду! Кому ж идти, как не тебе?!

— Я что ж?.. я что ж? — пролепетала Манька Беленькая едва двигавшимися губами. — Пойдем. Мне все равно...

Мертвецкая была здесь же, за часовней, — низкий, уже совсем темный подвал, в который приходилось спускаться по шести ступенькам.

Сторож сбегал куда-то и вернулся с огарком и затрепанной книгой. Когда он зажег свечку, то девушки увидели десятка два трупов, которые лежали прямо на каменном полу правильными рядами — вытянутые, желтые, с лицами, искривленными предсмертными судорогами, с раскроенными черепами, со сгустками крови на лицах, с оскаленными зубами.

— Сейчас... сейчас... — говорил сторож, водя пальцем по рубрикам. — Третьего дня... стало быть, в субботу... в субботу... Как говоришь, фамилия-то?

— Райцына, Сусанна, — ответила Тамара.

— Рай-цына, Сусанна... — точно пропел сторож. — Райцына, Сусанна. Так и есть. Двести семнадцать.

Нагибаясь над покойниками и освещая их оплывшим и каплющим огарком, он переходил от одного к другому. Наконец он остановился около трупа, на ноге которого было написано чернилами большими черными цифрами: 217.

— Вот эта самая! Давайте-ка я ее вынесу в колидорчик да сбегаю за ее барахлом... Подождите!..

Он, кряхтя, но все-таки с легкостью, удивительною для его возраста, поднял труп Женьки за ноги и взвалил его на спину головой вниз, точно это была мясная туша или мешок с картофелем.

В коридоре было чуть посветлее, и когда сторож опустил свою ужасную ношу на пол, то Тамара на мгновение закрыла лицо руками, а Манька отвернулась и заплакала.

— Коли что надо, вы скажите,— поучал сторож.— Ежели обряжать как следует покойницу желаете, то можем все достать, что полагается, — парчу, венчик, образок, саван, кисею, — все держим... Из одежды можно купить что... Туфли вот тоже...

Тамара дала ему денег и вышла на воздух, пропустив вперед себя Маньку.

Через несколько времени принесли два венка: один от Тамары из астр и георгинов с надписью на белой ленте черными буквами: «Жене — от подруги», другой был от Рязанова, весь из красных цветов; на его красной ленте золотыми литерами стояло: «*Страданием очистимся*». От него же пришла и коротенькая записка с выражением соболезнования и с извинением, что он не может приехать, так как занят неотложным деловым свиданием.

Потом пришли приглашенные Тамарой певчие, пятнадцать человек из самого лучшего в городе хора.

Регент в сером пальто и в серой шляпе, весь какой-то серый, точно запыленный, но с длинными прямыми усами, как у военного, узнал Верку, сделал широкие, удивленные глаза, слегка улыбнулся и подмигнул ей. Раза два-три в месяц, а то и чаще посещал он с знакомыми духовными академиками, с такими же регентами, как и он, и с псаломщиками Ямскую улицу и, по обыкновению, сделав полную ревизию всем заведениям, всегда заканчивал домом Анны Марковны, где выбирал неизменно Верку.

Был он веселый и подвижной человек, танцевал оживленно, с исступлением, и вывертывал такие фигуры во время танцев, что все присутствующие кисли от смеха.

Вслед за певчими приехал нанятый Тамарой катафалк о двух лошадях, черный, с белыми султанами, и при нем пять факельщиков. Они же привезли с собой глазетовый белый гроб и пьедестал для него, обтянутый черным коленкором. Не спеша, привычно-ловкими движениями, они уложили покойницу в гроб, покрыли ее лицо кисеей, занавесили труп парчой и зажгли свечи: одну в изголовье и две в ногах.

Теперь, при желтом колеблющемся свете свечей, стало яснее видно лицо Женьки. Синева почти сошла с него, оставшись только кое-где на висках, на носу и между глаз пестрыми, неровными, змеистыми пятнами. Между раздвинутыми темными губами слегка сверкала белизна зубов и еще виднелся кончик при-

кушенного языка. Из раскрытого ворота на шее, принявшей цвет старого пергамента, виднелись две полосы: одна темная — след веревки, другая красная — знак царапины, нанесенной во время схватки Симеоном, — точно два страшных ожерелья. Тамара подошла и английской булавкой зашпилила кружева воротничка у самого подбородка.

Пришло духовенство: маленький седенький священник в золотых очках, в скуфейке; длинный, высокий, жидковолосый дьякон с болезненным, странно-темным и желтым лицом, точно из терракоты, и юркий длиннополый псаломщик, оживленно обменявшийся на ходу какими-то веселыми, таинственными знаками со своими знакомыми из певчих.

Тамара подошла к священнику.

— Батюшка, — спросила она, — как вы будете отпевать: всех вместе или порознь?

— Отпеваем всех купно, — ответил священник, целуя епитрахиль и выпрастывая из ее прорезей бороду и волосы. — Это обыкновенно. Но по особому желанию и по особому соглашению можно и отдельно. Какою смертью преставилась почившая?

— Самоубийца она, батюшка.

— Гм... самоубийца?.. А знаете ли, молодая особа, что по церковным канонам самоубийцам отпевания не полагается... не надлежит? Конечно, исключения бывают — по особому ходатайству...

— Вот здесь, батюшка, у меня есть свидетельство из полиции и от доктора... Не в своем она уме была... В припадке безумия...

Тамара протянула священнику две бумаги, присланные ей накануне Рязановым, и сверх них три кредитных билета по десять рублей. — Я вас попрошу, батюшка, все как следует, по-христиански. Она была прекрасный человек и очень много страдала. И уж будьте так добры, вы и на кладбище ее проводите и там еще панихидку...

— До кладбища проводить можно, а на самом кладбище не имею права служить, — там свое духовенство... А также вот что, молодая особа: ввиду того, что мне еще раз придется возвращаться за

остальными, так вы уж того... еще десяточку прибавьте.

И, приняв из рук Тамары деньги, священник благословил кадило, подаваемое псаломщиком, и стал обходить с каждением тело покойницы. Потом, остановившись у нее в головах, он кротким, привычно-печальным голосом возгласил:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно!

Псаломщик зачастил: «Святый боже», «Пресвятую троицу» и «Отче наш», как горох просыпал.

Тихо, точно поверяя какую-то глубокую, печальную, сокровенную тайну, начали певчие быстрым сладостным речитативом: «Со духи праведных скончавшихся душу рабы твоея, спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у тебе человеколюбче».

Псаломщик разнес свечи, и они теплыми, мягкими, живыми огоньками, одна за другой, зажглись в тяжелом, мутном воздухе, нежно и прозрачно освещая женские лица.

Согласно лилась скорбная мелодия и, точно вздохи опечаленных ангелов, звучали великие слова:

«Упокой, боже, рабу твою и учини ее в раи, идеже лицы святых господи и праведницы сияют, яко светила, усопшую рабу твою упокой, презирая ея вся согреше-е-ения».

Тамара вслушивалась в давно знакомые, но давно уже слышанные слова и горько улыбалась. Вспомнились ей страстные, безумные слова Женьки, полные такого безысходного отчаяния и неверия... Простит ей или не простит всемилостивый, всеблагий господь ее грязную, угарную, озлобленную, поганую жизнь? Всезнающий, неужели отринешь ты ее — жалкую бунтовщицу, невольную развратницу, ребенка, произносившего хулы на светлое, святое имя твое? Ты — доброта, ты — утешение наше!

Глухой, сдержанный плач, вдруг перешедший в крик, раздался в часовне: «Ох, Женечка!» Это, стоя на коленях и зажимая себе рот платком, билась в слезах Манька Беленькая. И остальные подруги тоже вслед за нею опустились на колени, и часовня наполнилась

вздохами, сдавленными рыданиями и всхлипываниями...

«Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми, яко земля еси и в землю отыдеши».

Тамара стояла неподвижно с суровым, точно окаменевшим лицом. Свет свечки тонкими золотыми спиралями сиял в ее бронзово-каштановых волосах, а глаза не отрывались от очертаний Женькиного влажно-желтого лба и кончика носа, которые были видны Тамаре с ее места.

«Земля еси и в землю отыдеши...» — повторила она в уме слова песнопения. — Неужели только и будет, что одна земля и ничего больше? И что лучше: ничто или хоть бы что-нибудь, даже хоть самое плохонькое, но только чтобы существовать?»

А хор, точно подтверждая ее мысли, точно отнимая у нее последнее утешение, говорил безнадежно: «А може вси человецы пойдем...»

Пропели «Вечную память», задули свечи, и синие струйки растянулись в голубом от ладана воздухе. Священник прочитал прощальную молитву и затем, при общем молчании, зачерпнул лопаточкой песок, поданный ему псаломщиком, и посыпал крестообразно на труп сверх кисеи. И говорил он при этом великие слова, полные суровой, печальной неизбежности таинственного мирового закона: «Господня земля и исполнение ее вселенная и вси живущии на ней».

До самого кладбища проводили девушки свою умершую подругу. Дорога туда шла как раз пересекая въезд на Ямскую улицу. Можно было бы свернуть по ней налево, и это вышло бы почти вдвое короче, но по Ямской обыкновенно покойников не возили.

Тем не менее почти из всех дверей повысыпали на перекресток их обитательницы, в чем были: в туфлях на босу ногу, в ночных сорочках, с платочками на головах; крестились, вздыхали, утирали глаза платками и краями кофточек.

Погода разошлась... Ярко светило холодное солнце с холодного, блестевшего голубой эмалью неба, зеле-

нела последняя трава, золотились, розовели и рдели увядшие листья на деревьях... И в хрустально-чистом холодном воздухе торжественно, величаво и скорбно разносились стройные звуки: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» И какой жаркой, ничем ненасытимой жаждой жизни, какой тоской по мгновенной, уходящей, подобно сну, радости и красоте бытия, каким ужасом перед вечным молчанием смерти звучал древний напев Иоанна Дамаскина!

Потом короткая лития на могиле, глухой стук земли о крышку гроба... небольшой свежий холмик...

— Вот и конец! — сказала Тамара подругам, когда они остались одни. — Что ж, девушки, — часом позже, часом раньше!.. Жаль мне Женьку!.. Страх как жаль!.. Другой такой мы уже не найдем. А все-таки, дети мои, ей в ее яме гораздо лучше, чем нам в нашей... Ну, последний крест — и пойдем домой!..

И, когда они уже все приближались к своему дому, Тамара вдруг задумчиво произнесла странные, зловещие слова:

— Да и недолго нам быть вместе без нее: скоро всех нас разнесет ветром куда попало. Жизнь хороша!.. Посмотрите: вон солнце, голубое небо... Воздух какой чистый... Паутинки летают — бабье лето... Как на свете хорошо!.. Одни только мы — девки — мусор придорожный.

Девушки тронулись в путь. Но вдруг откуда-то сбоку, из-за памятников, отделился рослый, крепкий студент. Он догнал Любку и тихо притронулся к ее рукаву. Она обернулась и увидела Соловьева. Лицо ее мгновенно побледнело, глаза расширились и губы задрожали.

— Уйди! — сказала она тихо с беспредельной ненавистью.

— Люба... Любочка... — забормотал Соловьев. — Я тебя искал... искал... Я... ей-богу, я не как тот... как Лихонин... Я с чистым сердцем... хоть сейчас, хоть сегодня...

— Уйди! — еще тише произнесла Любка.

— Я серьезно... я серьезно... Я не с глупостями, я жениться...

— Ах, тварь! — вдруг взвизгнула Любка и быстро, крепко, по-мужски ударила Соловьева по щеке ладонью.

Соловьев постоял немного, слегка пошатываясь. Глаза у него были мученические... Рот полуоткрыт, со скорбными складками по бокам.

— Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть! — кричала с бешенством Любка. — Палачи! Свиньи!

Соловьев внезапно закрыл лицо ладонями, круто повернулся и пошел назад, без дороги, нетвердыми шагами, точно пьяный.

IX

И в самом деле, слова Тамары оказались пророческими: прошло со дня похорон Жени не больше двух недель, но за этот короткий срок разразилось столько событий над домом Эммы Эдуардовны, сколько их не приходилось иногда и на целое пятилетие.

На другой же день пришлось отправить в богоугодное заведение — в сумасшедший дом — несчастную Пашку, которая окончательно впала в слабоумие. Доктора сказали, что никакой нет надежды на то, чтобы она когда-нибудь поправилась. И в самом деле, она, как ее положили в больнице на полу, на соломенный матрац, так и не вставала с него до самой смерти, все более и более погружаясь в черную, бездонную пропасть тихого слабоумия, но умерла она только через полгода от пролежней и заражения крови.

Следующая очередь была за Тамарой.

С полмесяца она исправляла свои обязанности экономки, была все время необыкновенно подвижна, энергична и необычно взвинчена чем-то своим, внутренним, что крепко бродило в ней. В один из вечеров она исчезла и совсем не возвратилась в заведение...

Дело в том, что у нее был в городе длительный роман с одним нотариусом — пожилым, довольно богатым, но весьма скаредным человеком. Знакомство

у них завязалось еще год тому назад, когда они вместе случайно ехали на пароходе в загородный монастырь и разговорились. Нотариуса пленила умная, красивая Тамара, ее загадочная, развратная улыбка, ее занимательный разговор, ее скромная манера держать себя. Она тогда же наметила для себя этого пожилого человека с живописными сединами, с барскими манерами, бывшего правоведа и человека хорошей семьи. Она не сказала ему о своей профессии — ей больше нравилось мистифицировать его. Она лишь туманно, в немногих словах намекнула на то, что она — замужняя дама из среднего общества, что она несчастна в семейной жизни, так как муж ее — игрок и деспот, и что даже судьбою ей отказано в таком утешении, как дети. На прощание она отказалась провести вечер с нотариусом и не хотела встречаться с ним, но зато позволила писать ей в почтамт до востребования, на вымышленное имя. Между ними завязалась переписка, в которой нотариус щеголял слогом и пылкостью чувств, достойными героев Поля Бурже. Она держалась все того же замкнутого, таинственного тона.

Потом, тронувшись просьбами нотариуса о встрече, она назначила ему свидание в Княжеском саду, была мила, остроумна и томна, но поехать с ним куда-нибудь отказалась.

Так она мучила своего поклонника и умело разжигала в нем последнюю страсть, которая иногда бывает сильнее и опаснее первой любви. Наконец, этим летом, когда семья нотариуса уехала за границу, она решилась посетить его квартиру и тут в первый раз отдалась ему со слезами, с угрызениями совести и в то же время с такой пылкостью и нежностью, что бедный нотариус совершенно потерял голову: он весь погрузился в ту старческую любовь, которая уже не знает ни разума, ни оглядки, которая заставляет человека терять последнее — боязнь казаться смешным.

Тамара была очень скупа на свидания. Это еще больше разжигало ее нетерпеливого друга. Она соглашалась принять от него букет цветов, скромный завтрак в загородном ресторане, но возмущенно от-

казывалась от всяких дорогих подарков и вела себя так умело и тонко, что нотариус никогда не осмеливался предложить ей денег. Когда он однажды заикнулся об отдельной квартире и о других удобствах, она поглядела ему в глаза так пристально, надменно и сурово, что он, как мальчик, покраснел в своих живописных сединах и целовал ее руки, лепеча несвязные извинения.

Так играла с ним Тамара и все более и более нащупывала под собой почву. Она уже знала теперь, в какие дни хранятся у нотариуса в его несгораемом железном шкафу особенно крупные деньги. Однако она не торопилась, боясь испортить дело неловкостью или преждевременностью.

И вот как раз теперь этот давно ожидаемый срок подошел: только что кончилась большая контрактовая ярмарка, и все нотариальные конторы совершали ежедневно сделки на громадные суммы. Тамара знала, что нотариус отвозил обычно залоговые и иные деньги в банк по субботам, чтобы в воскресенье быть совершенно свободным. И вот потому-то в пятницу днем нотариус получил от Тамары следующее письмо:

«Милый мой, обожаемый царь Соломон! Твоя Суламифь, твоя девочка из виноградника, приветствует тебя жгучими поцелуями... Милый, сегодня у меня праздник, и я бесконечно счастлива. Сегодня я свободна так же, как и ты. *Он* уехал в Гомель на сутки по делам, и я хочу сегодня провести у тебя весь вечер и *всю* ночь. Ах, мой возлюбленный! Всю жизнь я готова провести на коленях перед тобой! Я не хочу ехать никуда. Мне давно надоели загородные кабачки и кафешантаны. Я хочу тебя, только тебя... тебя... тебя одного! Жди же меня вечером, моя радость, часов около десяти — одиннадцати! Приготовь очень много холодного белого вина, дыню и засахаренных каштанов. Я сгораю, я умираю от желания! Мне кажется, я измучаю тебя! Я не могу ждать! У меня кружится голова, горит лицо и руки холодные, как лед. Обнимаю. Твоя *Валентина*».

В тот же вечер, часов около одиннадцати, она искусно навела в разговоре нотариуса на то, чтобы он показал ей его несгораемый ящик, играя на его своеобразном денежном честолюбии. Быстро скользнув глазами по полкам и по выдвижным ящикам, Тамара отвернулась с ловко сделанным зевком и сказала:

— Фу, скука какая!

И, обняв руками шею нотариуса, прошептала ему губами в самые губы, обжигая горячим дыханием:

— Запри, мое сокровище, эту гадость! Пойдем!.. Пойдем!..

И вышла первая в столовую.

— Иди же сюда, Володя! — крикнула она оттуда. — Иди скорей! Я хочу вина и потом любви, любви, любви без конца!.. Нет! Пей все, до самого дна! Так же, как мы выпьем сегодня до дна нашу любовь!

Нотариус чокнулся с нею и залпом выпил свой стакан. Потом он пожевал губами и заметил:

— Странно... Вино сегодня как будто горчит.

— Да! — согласилась Тамара и внимательно посмотрела на любовника. — Это вино всегда чуть-чуть горьковато. Это уж такое свойство рейнских вин...

— Но сегодня особенно сильно, — сказал нотариус. — Нет спасибо, милая, — я не хочу больше!

Через пять минут он заснул, сидя в кресле, откинувшись на его спинку головой и отвесив нижнюю челюсть. Тамара выждала некоторое время и принялась его будить. Он был недвижим. Тогда она взяла зажженную свечу и, поставив ее на подоконник окна, выходившего на улицу, вышла в переднюю и стала прислушиваться, пока не услышала легких шагов на лестнице. Почти беззвучно отворила она дверь и пропустила Сеньку, одетого настоящим барином, с новеньким кожаным саквояжем в руках.

— Готово? — спросил вор шепотом.

— Спит, — ответила так же тихо Тамара. — Смотри, вот и ключи.

Они вместе прошли в кабинет к несгораемому шкафу. Осмотрев замок при помощи ручного фонарика, Сенька вполголоса выругался:

— Черт бы его побрал, старую скотину!.. Я так и знал, что замок с секретом. Тут надо знать буквы... Придется плавить электричеством, а это черт знает сколько времени займет.

— Не надо, — возразила торопливо Тамара. — Я знаю слово... подсмотрела. Подбирай: з-е-н-и-т. Без твердого знака.

Через десять минут они вдвоем спустились с лестницы, прошли нарочно по ломаным линиям несколько улиц и только в старом городе наняли извозчика на вокзал и уехали из города с безукоризненными паспортами помещика и помещицы дворян Ставницких. О них долго не было ничего слышно, пока, спустя год, Сенька не попался в Москве на крупной краже и не выдал на допросе Тамару. Их обоих судили и приговорили к тюремному заключению.

Вслед за Тамарой настала очередь наивной, доверчивой и влюбчивой Верки. Она давно уже была влюблена в полувоенного человека, который сам себя называл гражданским чиновником военного ведомства. Фамилия его была — Дилекторский. В их отношениях Верка была обожающей стороной, а он, как важный идол, снисходительно принимал поклонение и приносимые дары. Еще с конца лета Верка заметила, что ее возлюбленный становится все холоднее и небрежнее и, говоря с нею, живет мыслями где-то далеко-далеко... Она терзалась, ревновала, расспрашивала, но всегда получала в ответ какие-то неопределенные фразы, какие-то зловещие намеки на близкое несчастие, на преждевременную могилу...

В начале сентября он, наконец, признался ей, что растратил казенные деньги, большие, что-то около трех тысяч, и что его дней через пять будут ревизовать, и ему, Дилекторскому, грозит позор, суд и, наконец, каторжные работы... Тут гражданский чиновник военного ведомства зарыдал, схватившись за голову, и воскликнул:

— Моя бедная мать!.. Что с нею будет? Она не перенесет этого унижения... Нет! Во сто тысяч раз лучше смерть, чем эти адские мучения ни в чем неповинного человека.

Хотя он и выражался, как и всегда, стилем бульварных романов (чем главным образом и прельстил доверчивую Верку), но театральная мысль о самоубийстве, однажды возникшая, уже не покидала его.

Как-то днем он долго гулял с Веркой по Княжескому саду. Уже сильно опустошенный осенью, этот чудесный старинный парк блистал и переливался пышными тонами расцветившейся листвы: багряным, пурпуровым, лимонным, оранжевым и густым вишневым цветом старого устоявшегося вина, и казалось, что холодный воздух благоухал, как драгоценное вино. И все-таки тонкий отпечаток, нежный аромат смерти веял от кустов, от травы, от деревьев.

Дилекторский разнежился, расчувствовался, умилился над собой и заплакал. Поплакала с ним и Верка.

— Сегодня я убью себя! — сказал, наконец, Дилекторский. — Кончено!..

— Родной мой, не надо!.. Золото мое, не надо!..

— Нельзя, — ответил мрачно Дилекторский. — Проклятые деньги!.. Что дороже — честь или жизнь?!

— Дорогой мой...

— Не говори, не говори, Анета! (Он почему-то предпочитал простому имени Верки — аристократическое, им самим придуманное, Анета). Не говори. Это решено!

— Ах, если бы я могла помочь тебе! — воскликнула горестно Верка. — Я бы жизнь отдала!.. Каждую каплю крови!..

— Что жизнь?! — с актерским унынием покачал головой Дилекторский. — Прощай, Анета!.. Прощай!..

Девушка отчаянно закачала головой:

— Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!.. Возьми меня!.. И я с тобой!..

Поздно вечером Дилекторский занял номер дорогой гостиницы. Он знал, что через несколько часов, может быть, минут, и он и Верка будут трупами, и потому, хотя у него в кармане было всего-навсего одиннадцать копеек, распоряжался широко, как привычный, заправский кутила: он заказал стерляжью уху, дупелей и фрукты и ко всему этому кофе, ликеров и две бутылки замороженного шампанского. Он и в самом деле был убежден, что застрелится, но думал как-то наигранно, точно немножко любуясь со стороны своей трагической ролью и наслаждаясь заранее отчаянием родни и удивлением сослуживцев. А Верка как сказала внезапно, что пойдет на самоубийство вместе со своим возлюбленным, так сразу и укрепилась в этой мысли. И ничего не было для Верки страшного в грядущей смерти. «Что ж, разве лучше так подохнуть, под забором?! А тут с милым вместе! По крайней мере сладкая смерть!..» И она неистово целовала своего чиновника, смеялась и с растрепанными курчавыми волосами, с блестящими глазами была хороша, как никогда.

Наступил, наконец, последний торжественный момент.

— Мы с тобой насладились, Анета... Выпили чашу до дна и теперь, по выражению Пушкина, должны разбить кубок! — сказал Дилекторский. — Ты не раскаиваешься, о моя дорогая?..

— Нет, нет!..

— Ты готова?

— Да! — прошептала она и улыбнулась.

— Тогда отвернись к стене и закрой глаза!

— Нет, нет, милый, не хочу так!.. Не хочу! Иди ко мне! Вот так! Ближе, ближе!.. Дай мне твои глаза, я буду смотреть в них. Дай мне твои губы — я буду тебя целовать, а ты... Я не боюсь!.. Смелей!.. Целуй крепче!..

Он убил ее, и когда посмотрел на ужасное дело своих рук, то вдруг почувствовал омерзительный, гнусный, подлый страх. Полуобнаженное тело Верки еще трепетало на постели. Ноги у Дилекторского подогнулись от ужаса, но рассудок притворщика,

труса и мерзавца бодрствовал: у него хватило все-таки настолько мужества, чтобы оттянуть у себя на боку кожу над ребрами и прострелить ее. И когда он падал, неистово закричав от боли, от испуга и от грома выстрела, то по телу Верки пробежала последняя судорога.

А через две недели после смерти Верки погибла и наивная, смешливая, кроткая, скандальная Манька Беленькая. Во время одной из обычных на Ямках общих крикливых свалок, в громадной драке, кто-то убил ее, ударив пустой тяжелой бутылкой по голове. Убийца так и остался неразысканным.

Так быстро совершались события на Ямках, в доме Эммы Эдуардовны, и почти ни одна из его жилиц не избегла кровавой, грязной или постыдной участи.

Последним, самым грандиозным и в то же время самым кровавым несчастием был разгром, учиненный на Ямках солдатами.

Двух драгунов обсчитали в рублевом заведении, избили и выкинули ночью на улицу. Те, растерзанные, в крови, вернулись в казармы, где их товарищи, начав с утра, еще догуливали свой полковой праздник. И вот не прошло и получаса, как сотня солдат ворвалась в Ямки и стала сокрушать дом за домом. К ним присоединилась сбежавшаяся откуда-то несметная толпа золоторотцев, оборванцев, босяков, жуликов, сутенеров. Во всех домах были разбиты стекла и искрошены рояли. Перины распарывали и выбрасывали пух на улицу, и еще долго потом — дня два — летали и кружились над Ямками, как хлопья снега, бесчисленные пушинки. Девок, простоволосых, совершенно голых, выгоняли на улицу. Трех швейцаров избили до смерти. Растрясли, запакостили и растерзали на куски всю шелковую и плюшевую обстановку Треппеля. Разбили, кстати, и все соседние трактиры и пивные.

Пьяное, кровавое, безобразное побоище продолжалось часа три, до тех пор, пока наряженным воинским частям вместе с пожарной командой не удалось, наконец, оттеснить и рассеять озверевшую толпу.

Два полтинничных заведения были подожжены, но пожар скоро затушили. Однако на другой же день волнение вновь вспыхнуло, на этот раз уже во всем городе и окрестностях. Совсем неожиданно оно приняло характер еврейского погрома, который длился дня три, со всеми его ужасами и бедствиями.

А через неделю последовал указ генерал-губернатора о немедленном закрытии домов терпимости как на Ямках, так и на других улицах города. Хозяйкам дали только недельный срок для устроения своих имущественных дел.

Уничтоженные, подавленные, разграбленные, потерявшие все обаяние прежнего величия, смешные и жалкие — спешно укладывались старые, поблекшие хозяйки и жирнолицые сиплые экономки. И через месяц только название напоминало о веселой Ямской улице, о буйных, скандальных, ужасных Ямках.

Впрочем, и название улицы скоро заменилось другим, более приличным, дабы загладить и самую память о прежних беспардонных временах.

И все эти Генриетты Лошади, Катьки Толстые, Лельки Хорьки и другие женщины, всегда наивные и глупые, часто трогательные и забавные, в большинстве случаев обманутые и исковерканные дети, разошлись в большом городе, рассосались в нем. Из них народился новый слой общества — слой гулящих уличных проституток-одиночек. И об их жизни, такой же жалкой и нелепой, но окрашенной другими интересами и обычаями, расскажет когда-нибудь автор этой повести, которую он все-таки посвящает юношеству и матерям.

ФИАЛКИ

Начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, переполненные странными, смешными и трогательными чувствами: азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, надеждой на слепое счастие, унынием, тупой покорностью судьбе... Необычайной стала жизнь, вышедшая из привычных рамок сурового военного уклада, расчисляющего по командам и сигналам каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены из классов в длинные рекреационные залы и расставлены по вкусам соседей, которые зимою ссорятся, как пара каторжников, скованных короткой цепью, а теперь предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидеть, что пять или шесть парт соединились вместе, образовав сомкнутую многоугольную фигуру бастиона, со стеной сзади, в виде ненарушимого тыла. Там заседает эгоистическая артель муравьев, работающая сообща и беспощадная к искательствам бездомных стрекоз.

И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, качаются взад и вперед в тягучей тоске. Первые ученики держатся твердо и уверенно, но и они побледнели и осунулись за эти страдные дни. Они хорошо знают, что пройдут блестяще, но все-таки копошится тревожная и завистливая мысль: «А вдруг? Вдруг не первым, а вторым?..»

Милые дети, первые ученики, украшение корпуса, гордость родителей. Вы не хуже и не лучше других детей. Но что значит первенство и праздное честолюбие в сравнении с тем, что мимо вас прошла еще одна весна юности? Конечно, придут и другие весны, которыми вы впоследствии, на досуге, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя их прелести на севере и на юге хоть всех стран мира. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, в чуткие уши, в ваши жадные, наблюдательные, девственные, ничем не запятнанные умы, вторгнуться и оставить там навеки доброе семя радости и красоты земной.

Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий Казаков. Вернее сказать, у него столько же мнения о влиянии природы на человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке среди болот страстную весеннюю песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы весенний волнующий воздух, у ручного кроткого верблюда, который вдруг становится весною страшным в своем весеннем бешенстве.

Просто-напросто весна с ее колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей бессознательной радостью, от которой хочешь и плакать и смеяться, и не знаешь, куда девать себя то от непомерного острого счастья, то от сладкой скуки. Разве мог бы Казаков сказать сам себе, почему прошлым летом, живя в имении, он — солидный шестиклассник, куривший почти открыто, басивший и лучше всех товарищей притягивавшийся к турнику на одной руке, — он вдруг, случалось, не мог преодолеть в себе безумного мальчишеского желания взять и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых запахов полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому совсем голый, босой, торопливо просовывал ногу в лямку

гигантских шагов и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к черному небу, к грому и молниям, дрожа от исступленного восторга, от беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела?

Так и в эту весну он весь во власти таинственных грез, беспокойного смятения и раздражающего трепетания жизни. Где же тут учиться? Да и никогда он особенно не влезал в этот хомут. Быть средним по успехам или немного пониже — не все ли равно? На экзаменах можно овладеть своей волей, понатужиться — и все наверстать. Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный неведомым дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник, и точно впервые, с новым удивлением — не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко, за зданиями. И ходит весь день вялый по огромному, вытоптанному многими тысячами ног, корпусному плацу. Ложится на чахлую, жалкую, низкую траву и долго, как на сверхъестественное чудо, дивится на суетливую, загадочную беготню муравьев, на цепь сплетшихся букашек, красных с черными пятнами, медленно ползущих между былинками. Читает по десяти раз подряд одну и ту же фразу и никак не может постичь, что такое здесь написано? И, отбросив книгу, ложится ничком, смотрит в бездонное небо до тех пор, пока от движения причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то, в вечное пространство, вместе с своими воздушными мыслями.

И вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное — вечер. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми теперь, пустыми, неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно завороженные. Каждая веточка деревьев поразительно четка на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали. Смягченный смех и разговор. Самый обыденный звук доносится точно из другого мира. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову. Кто же это проходит сейчас через всю землю, незримый и

неслышный? Чье дыхание подымает волосы на голове и ласкает щеку? Отчего вдруг стеснилось дыхание, и пересохло во рту, и слезы на глазах? Какое чудо должно случиться сейчас, через минуту, через мгновение?

Пора. Зовут спать. Летучие мыши низко и косо чертят черными зигзагами воздух и порою почти касаются лица... Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без меня, без меня совершится под темным небом великое таинство!..

Послезавтра последние, самые страшные экзамены по математике, но зато сегодня такое чудное утро, точно на небе справляются именины. И Дмитрий решительно швыряет толстого Бремикера под парту. Сегодня он удерет и побродяжничает по запретному старому дворцовому парку. Он никого не возьмет с собою, никого! Пойдет совсем один.

За завтраком он ловко утягивает из-под руки зазевавшегося служителя лишнюю котлету и, сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь, в общее беспокойное и горячее время, придет в голову доискиваться, все ли налицо?

Труден путь до парка. На углу древнего, еще Петровского Потешного земляного бруствера торчит дежурный дядька, беспалый пан Пневский, придирчивый служака и вечный доносчик. Он не спускает своих бесцветных, оловянных, но точных солдатских глаз с той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорыв бруствера, затем кувырком с горы, рядом с зимним катком, потом еще шагов тридцать — сорок по открытому месту до пруда, а там уже вдоль зеленого, густого, как ботвинья, пруда растут непроницаемой стеной корявые, дуплистые столетние ивы! Там незаметно.

Надзор бдительного дядьки берется обмануть верный товарищ. С лицемерной щедростью сует он пану Пневскому заранее припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусок в ней не лишний. Затем закидывается коварная, но самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении пан Пневский

лишился двух пальцев на правой руке?» Пан Пневский сначала недоверчиво косится. Он уже не раз клевал на эту соблазнительную приманку. Но лицо спрашивающего так простодушно, а в славных наивных глазах так много живого участия, а сама тема рассказа о том, как пан Пневский, польский шляхтич, из красавца, силача и лучшего работника сделался калекой, так неумирающе близка его сердцу, что — хвать — и рыбка попалась.

А Казаков в это время мчится под верной защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может умерить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости. Здесь он передыхает и идет шагом мимо забытой оранжереи с уцелевшими лишь кое-где мутно-радужными стеклами, легко перепрыгивает водяной ров и спускается к узкой, но глубокой речонке.

Вода в реке кажется черной, как чернила, от кустов, которые густо обступили ее с обеих сторон и купают в ней свои свесившиеся длинные ветви. И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик. Но другого выбора нет. Раздевшись с непостижимой скоростью, Казаков без раздумья, с разбегу бросается в воду, достигает ногами противного, коряжистого, скользкого, илистого дна, задыхается на мгновение, обожженный жестоким холодом, и ловко, по саженкам, переплывает речку без отдыха туда и обратно. И когда он, одевшись, взбирается медленно наверх, то с наслаждением чувствует удивительную легкость в каждом мускуле: точно все его тело потеряло вес, и, кажется, стоит сделать лишь самое незначительное усилье, чтобы отделиться от земли и полететь в воздухе, как большая птица.

И вот, наконец, он входит под высокие навесы парковой аллеи. Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада. Лишь изредка

там и сям на земле блещут, струятся и трепещут двойные солнечные кружочки, точно кто-то бросает сверху капризной рукой золотые монеты. И Казаков идет по широкой, тихой, величавой аллее, точно по пустому, безлюдному, холодному храму, куда он зашел случайно в жаркий полдень. Вот мраморная, изрытая временем львиная голова, точащая из пасти в плоскую чашу тонкую серебряную нитку воды. Казаков подставляет рот и с наслаждением глотает холодную сладкую влагу.

Но когда он отнимает рот, с которого падают светлые капли, то неожиданно его обоняния касается удивительный аромат — тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, темных, маленьких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире.

Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми, влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка.

Но когда он опять подымается наверх, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательное зрелище заставляет его остановиться в немом восторге, почти в страхе. Прямо на него, посредине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой темной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна, и ее цветущее лицо прекрасно. Ее руки со свободной грацией опущены вдоль бедер. Как царская корона, лежат вокруг ее головы тяжелые сияющие золотые косы, и кто-то невидимый осыпает сверху ее белую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она в двух шагах... Каждая черта ее молодого свежего лица чиста,

благородна и проста, как гениальная мелодия. Взгляд ее широких глаз необычайно добр, ясен и радостен. И цвет их странно напоминает те цветы, которые дрожат в руке неподвижного мальчика.

Но вот она со светлой улыбкой останавливается. И, точно звуки виолончели, раздается ее полный, глубокий голос:

— Какие прелестные фиалки... Неужели вы здесь их набрали?.. Как много и какие милые.

— Здесь... — отвечает чей-то чужой голос из груди Казакова. И не он, а кто-то другой, окруженный розовым туманом, протягивает цветы и произносит: — Прошу вас, примите их, если они вам нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается от волнения. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимает его. Ее лицо озаряется нежной улыбкой и слегка краснеет. Она говорит ласково: «Благодарю», — и это простое слово звучит, как литавры в торжественном хоре ангелов. И изящным движением она прицепляет скромный фиолетовый букетик к своей груди, туда, где сквозь легкое палевое кружево розовеет ее тело. Она протягивает Казакову свою милую, теплую руку, пожатие которой так плотно, мягко и дружественно. И вместе с ароматом фиалок мальчик слышит какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоухание.

Затем они говорят о пустяках, которые потом Казаков никогда не вспомнит. Остались в памяти лишь отрывки: в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус, она бывает ежегодно на рождественских балах, а сегодня вечером она уезжает за границу. Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармонией поет в ее устах имя Дмитрий.

Она первая отпускает его. Она смотрит на маленькие золотые часы, опять протягивает ему свою чудесную руку и говорит: «До свидания. Мне очень приятно было встретиться с вами». Да, да, да! Она так и сказала — «до свидания»! И исчезает, как сказка, за поворотом аллеи.

А вечером в спальной Казаков долго не спит, лежа в своей кровати. Он прижимает крепко руки к груди и

жарко и благодарно шепчет: «Господи! Господи!..» И в этих словах наивное, но великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям, и вечной благости, и вечной красоте... И потом он плачет долгими, радостными, светлыми слезами, которые никогда уже не повторятся в его жизни. И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми ее падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением, — он всегда, даже в старости, — он, позабывший имена и лица, — благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки.

Потому что на его долю выпало редкое счастие испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

— Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает — этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно.

Исподтишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого складного русского парня. Белоресницый. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным, изжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снедаемый сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором, в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными

псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием: «Имена же их ты, господи, веси».

«Каким чудом, — думал я, — может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения. И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически, он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей — то обожаемое и презираемое, милостивое и щедрое, тысячеглавое животное, которому имя — публика.

И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига?

Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!»

Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему двадцать пять лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины, все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.

— Попал я тогда в один приволжский городишко. В хор. Понятно, в хоре не разойдешься. Да еще имея

такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивает узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано?

А петь мне хотелось ужас как! До боли! Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику и все думаю: нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот этак... Но много романсов и арий я все-таки разучивал... так... для себя... для собственного удовольствия.

Потихоньку разучивал от товарищей-хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать. Нелегкая их жизнь. Бедность... неудачливая карьера... а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль — почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей.

А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко.

И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта? Ведь, наверно, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?» Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню, тогда екало, как никогда в жизни.

«Да вот чего же лучше? — говорит он мне. — Через две недели у нас будет большой благотворитель-

ный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет? Это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти... Но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?» — «Оробею, — говорю. — Знаю себя: голос сядет... Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать... Боюсь, Сергей Васильевич, пустое мы затеваем... Я-то провалюсь, это ничего... Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет... Как вы думаете?» — «Ладно, — отвечает, — мой риск, мой ответ. С богом! В холодную реку лезть надо не понемногу, а так... бух каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом гоголь-моголь».

С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-моголь... хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная и из чего она делается?»

Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта.

Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и др. Но, понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами.

И вот пришел я к Цепетовичу и сказал: «Да, брат. Видишь, тебя на концерты небось не приглашают, а меня пригласили... в самое дворянское собрание». — «Ну, так что ж? — ответил он спокойно и показал рукой на стол. — Это водка. Это котлеты. Это яблоки. Подкрепись, концертант... Дальше?» — «Во фраке я буду. И с нотами в руках». — «Ну?» — «Не нукай. Не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Так в хоре и сгниешь... Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать». — «Ну, так что ж?» — «Вот и то-то ж». — «Гоголь-моголь? Это вещь серьезная и не дешевая». — «Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе...»

И вдруг этот спокойный человек рассердился: «Я не понимаю? Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца. И все. И вообще, пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом (у него была привычка выражаться в высоком стиле)».

Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак... Гоголь-моголь... Яйца... Лимон... Сахар... Коньяк... Черт возьми, как бы не спутаться...

У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как будто забыл, сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек. Два лимона, фунт сахару. Пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил.

Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда, с непривычки, был хмелен, что греха таить? И сказал сам себе: что будет, то будет.

Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени. Красная дорожка. Светло. Пахнет духами. Тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху: «Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно? Зачем?» И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной, фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я?

Как я дождался своего выхода — не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот...

Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер. Очень строгий человек. А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу: «Держите: «Во Францию два гренадера...»

Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час.

Ах, боже мой, как я тогда пел. Если бы еще раз в жизни так спеть! Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу.

Забыл я о публике. И вот подходит самый страшный момент:

Тут выйдет к тебе, император,
Навстречу твой верный солдат.

О великий император, бессмертная легенда! Да, да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное, каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя.

У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек... Да, встала!

Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажны и холодные. Голова горит. В горле сухо. Как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу — Цепетович. «Ангел мой... дорогой... я никогда не смел думать, что ты... Что ты так талантлив... Прости меня... Какой у тебя путь впереди!»

Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно... Но он, *только он* толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.

ГАД

Ах! только тот, любовь кто знал,
Кто знал свиданий жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стра-а-жду!

Все это случилось в Киеве, в Царском саду, между июнем и июлем. Только что прошел крупный, быстрый дождь, и еще капали последние капли... а я все ждал и ждал ее, сидя, как под шатром, под огромным каштановым деревом. Где-то далеко взвывали хроматические выходящие гаммы трамваев. Дребезжали извозчики. И в лужах пестро колебались отражения электрических фонарей...

Ах, только те люди, которым было когда-нибудь двадцать лет, поймут мое волнение!

Она ясно, твердо и определенно сказала: «От Минеральных вод, войдя в калитку, первая скамейка направо, ровно в девять часов вечера». Конечно, я пришел на условленное место в восемь часов и долго подозревал, что часы на городской думе идут очень медленно. Бог знает, может быть, за ними никто не смотрит? Несколько раз я бегал на улицу Крещатик и смотрел на освещенный циферблат. Но время как будто бы остановилось. Остановилось именно мне назло. Иногда мне приходила дикая мысль: может быть, в то время, когда я бегал смотреть на часы, она приходила,

не нашла меня, рассердилась и ушла? Может быть, она прошла мимо, а я не заметил? А ведь вопрос шел о жизни и смерти. Мы должны были пойти к моему другу и сказать ему: «Я честный человек. Я люблю твою жену, она любит меня. Обманывать мы тебя не хотим. Мы уходим вместе».

Капли падали на землю все тише и реже. А может быть, она ошиблась? Может быть, назначила не ту калитку? Не ту скамейку? И перочинным ножичком я вырезываю на гнилой доске: «Был такого-то числа такого-то года от 9—10». А может быть, просто она испугалась дурной погоды или, позабыв о часе, спокойно пудрится перед зеркалом?

И вот, наконец, вдали мелькает чей-то тонкий черный силуэт. Конечно, это она! Сердце останавливается на секунду, и потом бешеный толчок, кружится голова и перед глазами бегут какие-то огненные звезды. Нет, это не она. Женщина говорит басом:

— Душка штатский, дозвольте прикуриться?..

И опять начинаются мучения. Я разговаривал сейчас с этой женщиной, а может быть, она видала через решетку и из брезгливости ушла.

Конечно, хватаешься за мысль о самоубийстве. Ведь смолоду это так легко делается! Я опускаю голову на ладони, стискиваю лоб и раскачиваюсь взад и вперед. И вдруг слышу рядом с собой голос:

— Да, молодой человек, я тоже об этом подумывал, когда мне было столько же лет, сколько вам теперь...

Я даже не успел заметить, когда этот человек сел со мною рядом, но уже почувствовал, что голос у него печальный, и дорисовал его наружность: высокий рост, котелок, мокрые, усталые глаза и длинные, висячие вниз усы.

Я ему сказал кротко:

— В Царском саду очень много скамеек. Почему облюбовали вы именно мою скамейку?

Он закурил, откашлялся и начал, как будто бы робко:

— Видите ли. Вы сейчас ожидаете женщину, которая к вам не придет, я в этом уверен. Потому что

это я вижу по вашей молодости и по вашему нетерпению. Она вас, извините, только дурачит. А я просто-напросто выслеживаю одну даму: с кем она сегодня пройдется — с военным или штатским.

— Пожалуйста, выслеживайте кого угодно. Но помните, что я с вами не знаком и выслушивать вас не склонен. Неужели это ваша профессия — шпионить за женщинами?

— Ах, совсем нет! Эта женщина — моя жена. А я — гад.

Теперь представьте себе муки неудовлетворенной любви, двухчасовое ожидание, а рядом, из Минеральных вод, несутся звуки оркестра, играющего антракт перед четвертым действием «Кармен». Представьте темноту в саду и лужи, освещенные фонарями — там, на улице... И человек, которого я не знаю, только чувствую в темноте, спокойно докладывает, что он «гад»... Что-то скользкое, противное, холодное ползет по мне... Не во сне ли я?..

Но он, как будто бы читая мои мысли, говорит:

— Собственно, сказать гад — это такое дурацкое слово... Моя профессия, то есть, вернее сказать, я этого... того... прорицатель... предсказатель, то есть гадальщик на картах и на другом, а здесь народ все серый, необразованный... Гадалку так и зовут гадалкой, а если мужчина — то гад. Вовсе не думайте, что это легкая профессия. Еще раньше было туда-сюда. Приезжаешь в какой-нибудь город Проскуров или Крыжополь. Сейчас же первым делом визит. К кому? К исправнику, к становому приставу. Ну, конечно, ясно — барашка в бумажке... В офицерское собрание завернешь...

Там весь народ молодой и веселый... Покажешь им несколько фокусов на картах, опыты шпагоглотания, ксилофон с карандашом в зубах, куплеты на злобу дня и еврейские анекдоты, и затем рисковый номер: капитан с несгораемым желудком, то есть выпьешь стакан керосину и стеклянным блюдечком закусишь. И они тебя напоят и накормят, а главное, не спрашивают, откуда ты пришел и куда идешь? Прекрасные молодые люди. Потому что сами по душе и по профес-

сии бродяги. Конечно, в самом благородном смысле. Искатели пряных впечатлений.

Но главное ведь для нас то, что за это время я моей провинциальной публике успел уже примелькаться. Сейчас же еду в еврейскую типографию, которая печатает «Крыжопольский курьер» в количестве пятнадцати экземпляров, а также и визитные карточки на ручном станке. Договариваемся в два слова. Делаю там кредит, кредит у парикмахера, в бане и в гостинице. И на другой день на всех заборах наклеены плакаты:

«Случайно, проездом через этот город, лейб-маг царя персидского и придворный предсказатель абиссинского короля, Тер-Абрам-Хахарьянц, даст несколько сеансов чревовещания и ясновидения по способу известной хиромантки Ленорман, а также мадам Тэбу и метра Папюса; на картах, на бобах, по линиям рук рассказывает будущее, настоящее и прошедшее. От многих коронованных особ личные похвалы (факсимиле). Частные приемы от 11 утра до 3 ч. пополудни. Трудящемуся народу, нижним чинам и ученикам значительная скидка. Замечательно! Редко! Единственный случай увидеть всю свою жизнь в стакане воды».

С мужчинами обыкновенный разговор. Ведь мужчина, хотя он и дурак и уши у него холодные и, так сказать, вообще осел, но он все-таки думает, что у него душа тигра, улыбка ребенка, и поэтому он красавец. А стало быть, смело ври ему в глаза: «Вы очень, очень вспыльчивы, и бог знает, что вы можете наделать в раздражении, но зато вы великодушны и отходчивы». Это он легко глотает, как слабительную пилюлю «Ара». Затем ты ему говоришь: «До сих пор еще никто не понял вашего характера, вы являетесь загадкой». Откровенно говоря, какая тут загадка: он просто паспортист из участка, или конторщик, или писарь, или кандидат на штатного телеграфиста, но по службе нет движения. Хреновина. Однако все-таки он клюнул, и уже — ходячая дешевая реклама. Потом, конечно, к тебе придут и исправник и становой. Так.., как будто

от нечего делать. Но я уже вижу, что и подусник у него дрожит и рука мокрая от волнения.

А по правде, главный наш клиент — женщина, и чем она по своему социальному положению проще, тем легче ее выставить из монет...

— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил я, тоскуя.

— Ах, боже мой! Да ведь молчишь, молчишь, — хочется с кем-нибудь поделиться... Так вот я и говорю: женщина всегда думает либо об муже, либо о женихе, либо о любовнике, или о брате, о сыне, об отце. Ей просто я и говорю: «У вас сердце беспокоится о трефовом короле». Сейчас же вижу по глазам, что ее субъект каштан и старик с проседью, и строго себя поправляю: «Виноват, как раз пиковый король». И вся она от радости затрепыхается. Тут уж ври почем зря. А некоторые даже плачут и просят: «Нет ли у вас приворотного зелья, господин Гад? Или средства возвратить молодость?» Ну, я этими вещами не торгую. Оно, конечно, соблазнительно рискнуть, а потом иди бренчи кандалами до Соколиного острова. Удовольствие из средних. Не так ли? Многие от этих средств, подлецы, дохнут.

Но простые женщины — это для нас шик и апельсин. Приходит, например, кухарка. Ведь она, дурища, круглые сутки около плиты жарится. Стало быть, в кого она должна быть влюблена? Несомненно в товарища по оружию — пожарного. Уж будьте покойны, когда на улице где-нибудь пожар, то со всего города кухарки сбегаются. Ствольщики, трубники, скачки, свистовые, а он, герой, сидит и сдерживает пегих жеребцов, а у них пена с морды падает. Его спросят: «Какой ты части?» А он только сплюнет набок, ничего не скажет. А факел горит на каске. Поэтому кухарке прямо я и говорю: «Он высокого роста, брюнет (все равно он в саже весь вымаран). Герой, но незаметный. Больше, чем какой-нибудь полковник или Наполеон. Одет в серое и много спас человеческих жизней». Кухарки все мнительны, по утрам чрезмерно пьют кофе, слабонервны, суеверны до парадокса. И, право, даже стыдно с нее брать три рубля. Бывало, уговариваешь:

«Да не нужно, матушка, так много». — «Возьми, возьми, отец Гад, батюшка. Тебе, родной, пригодится».

Зато интеллигентные торгуются. «Я, говорит, в Париже бывала у самой госпожи Тэб и у мосье Филиппа, и те ничего с меня не брали, считая за честь, что у меня такая редкая линия руки»... Ну их совсем...

Теперь дальше. Возьмем горничную. Ведь вот вся ее судьба в твоих руках. Барыня стерьва. Барин ухаживает. Студент только поигрался, да и за щеку. Штабной кавалер обещался замуж взять, да ведь обманет, подлец?

Пожилая женщина любого сословия раскусывается как орех. Она всегда или теща, или свекровь, или престарелая любовница, на дочери которой неизбежно женится ее любовник. Ври ей сколько хочешь про коварного мужчину. Она будет только поддакивать. «Так вы говорите — подлец он?» — «Нет, сударыня. Я не смею так выразиться определенно, но карты говорят, что человек он из-под темной планеты». Тут она в слезы! «Ах, как вы это тонко угадали!»

— Извините, я не надоел вам своей болтовней?

— Нет, отчего же? Кстати, не знаете ли, который теперь час?

Он открыл часы и осветил их огнем папироски:

— Без четверти одиннадцать... Вы сами видите, что хлеб наш очень нелегкий. Однако кормились мы им понемножку. Все-таки, худо-худо, пятерка набежит за день.

Но бывали и тяжелые положения. Мертвый, избитый город. До тебя побывало пятьдесят человек. Ничего не поделаешь. Заколодило. Полиция свирепа. Публика не хочет идти... Приходилось и стрелять на улице — благо язык хорошо подвешен... На бывшего чиновника, на политического студента, на сельского учителя... Грехи!.. А тут еще зубами ляскают свои, городские, специалисты... Прошенья писал по трактирам. Но и там есть свои юрисконсульты, очень ревнивые люди. Чуть пронюхали — мордобой, и всегда у него свидетели и заступники. Стало быть, зализывай свои раны и езди в другой город зайцем, не то пешком.

В этих жестоких случаях, бывало, уговоришь какую-нибудь заблудящую бабенку на говорящую голову и на опыты магнетизма и ясновидения. Это вам, конечно, самому известно, как делается: лежит она, облокотившись локтем на острие, подперевши ладонью щечку, а все остальное тело, без никакой подпорки, распростирается горизонтально. Пустяшный нумер. Ну, там иголкой колоть по системе доктора Шарко — это ерунда. Двойная иголка. Внутрь уходит. Но, главное, здесь переход к ясновидению. Угадывать, что за предмет у зрителя: часы, брелок, афиша, портмоне, сколько денег, какие деньги, бинокль, веер, перчатки и тому подобное. Вообще больше тридцати — сорока предметов редко бывает у публики. Итак: шесть прямо, шесть вниз, шестью шесть — тридцать шесть. Всего тридцать шесть условленных предметов. Вроде разговора по тюремной системе. И, представьте себе, никак ей, дуре, не втемяшить. Еще, что попроще, пожалуй, заучит как попугай. Наводящие слова: «Теперь что?», «А теперь?», «Какой предмет?», «Это что?», «Что я держу в руке?» и тому подобное. А уж что-нибудь особенное, например старинная платиновая монета, то тут начинаешь метаться, как тигр в клетке, ерошишь волосы, потеешь, рычишь, дрожишь и выбрасываешь из себя разные слова. Ну, скажем, например, платина... Бросаю отрывисто, точно в припадке: «Подождите... Ловите мою мысль... Ах, как трудно... Теперь вы меня поймете?.. Итак, я вам внушаю... Ну, я вам приказываю!..» И дальше со вздохом: «А впрочем, я не ручаюсь...» Словом, простой акростих в именинных стишках. А она, конечно, стоеросовая дубина, только рот разинет и оконфузит тебя перед публикой: «Пташка!» Подумаешь тоже пташка — в бабе без пятнадцати фунтов шесть пудов. А вы сами знаете, наша уездная публика какова: деньги назад и сейчас же предсказателя бить. Первое у них правило. Вот, уверяю вас честным, благородным словом: у меня места живого нет на теле.

У вас папиросочка потухла, не угодно ли свеженькую, домашнюю?

Перестали совсем падать с деревьев последние капли. Летняя ночь вдруг улыбнулась, точно капризница, которой надоело сердиться. И сладко, сладко запахли розовые свечки каштанов, запахли так, как они пахнут только после вечернего быстрого летнего дождя или на раннем рассвете, пока город не заглушил их тонкого аромата. Я и хотел уйти, — и не мог. Что-то бесконечно противное и близкое мне было в неожиданной исповеди этого человека. Я уже не ждал и не волновался. И лениво, как следующая, но неизбежная глава надоевшего романа, тянулось продолжение рассказа.

— Вот так-то мне и попалась однажды моя супружница, или там как хотите понимайте. Всю эту ясновидящую механику она поняла гораздо быстрее, чем я. Да еще усовершенствовала. Доходили мы с ней до того, что даже в маленьких цирках, называемых «шапито», делали представления. Но все-таки после пяти-шести вечерних представлений наклеиваю афишки, что в номерах, мол, Когтяева от двух до пяти сеансы предсказания будущего с ясновидением настоящего и прошедшего. Если разрешат — прекрасно, а если нет — то в сто раз лучше. Понимаете — тайна! И сам боишься, и пациентам страх передается. Да и в самом деле, подумайте: пришла кухаренция, я в ее присутствии усыпляю Августу (ее звали Августой), и — трах-тарарах — сразу известно, где она купила ботинки, и как зовут ее хозяина, и сколько ей по-настоящему лет, и сколько детей, и из какой она губернии и уезда, и сколько процентов получает в лавке (десять). Это кухарка все мне на ухо говорит в другой комнате, а я Августе передаю гипнозом.

Гипноз! — вдруг воскликнул он, сгорбившись, и долго хохотал и кашлял. Потом выбросил изо рта папироску, выпрямился и продолжал: — Большие мы с ней дела делали. Я ведь, ей-богу, и до сих пор не знаю, из каких она. Образованная, к иностранным языкам была способна: французский, немецкий, польский, английский. Но вот, черт побери, какая-то непонятная есть у нее страсть к военным. И не то чтобы к офицерам и генералам, а непременно к простым артиллери-

стам-солдатам, к фейерверкерам, бомбардирам и наводчикам. Я думаю, что это даже такая особая болезнь... Как вы думаете?

— Право, я не знаю. Может быть, и так.

— Словом сказать, всегда, среди самых спокойных дел, она вдруг исчезает и непременно кассу умыкнет, и нет от нее ни следа, ни гласа, ни послушания. И как назло налаживаются комбинации самые золотые. Но что поделаешь? Я уже без нее и врать не могу. Воображения не хватает. Привык... Разыскиваю ее — не найду. И нет и нет работы. Положение в городе становится совсем бамбуковое. Публика больше не ходит. Приезжает какой-нибудь паршивый неожиданный конкурент, и приходится ночью оставить чемоданы в гостинице, сунуть паспорт в боковой карман и бежать в первый попавшийся город.

Сначала все трепетал, что она меня не сумеет разыскать, писал в брошенную гостиницу свои адреса на открытках. Нет-таки. Точно чутьем каким собачьим разыщет, приедет — и опять весь город в наших руках. Сыпятся бешеные деньги. Выкупаю чемоданы, фрак, ордена Гонолулского принца, ем ежедневно бифштекс и запиваю английским портером. Приходит она ко мне жалкая, излинявшая, часто подбитая, нетрезвая, но, увы, живучая, как кошка, быстро поправляется и входит в тон, и работает, ну просто как ангел. И так из города в город.

Провал и успех. Декокт и Валтасарово пиршество. Восторги публики и, не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши пол-лица, марш по шпалам.

А тут как раз время подоспело удивительно горячее. Точно все люди сделались сумасшедшими. Прежде приезжаешь в город как тать в нощи, не знаешь, кого куда поцеловать, чтобы разрешили. Случалось, ни с того ни с сего какой-нибудь чин вдруг покраснеет да затопает на тебя ногами, да так зыкнет, что только едва-едва пролепечешь про себя молитву «Помяни, господи, царя Давида» и, как кузнечик, сиганешь в другой город.

И вот ни с того ни с сего, точно по мановению волшебного жезла, приезжаешь в какой-нибудь город,

даже в губернский, и видишь, что перед тобой все лебезят. И становой, и ротмистр, иногда и сам полицмейстер, и городской голова, и уже непременно предводитель дворянства. Ну, положим, предводители все моты, страдают одышкой, раскладывают пасьянс, и жены бьют их туфлей по голове. Это уж как всегда. Дворяне.

Стоит мне только прийти и объявиться, позвольте мне, мол, афишки повесить, и тотчас забота необычайная: «Позвольте, да мы... да вы... да, может быть, вам в этой гостинице неудобно?.. Да, может, прислуга неучтива?.. Да вы не беспокойтесь!..» Совсем как в бессмертной комедии господина Гоголя. Или, как по-польски: «Може а? може цо? може во́ды? може сядать?»

Я ничего не понимаю! Удивительное какое-то пошло время. Готовлюсь к завтрашнему сеансу: в цирке, в кинематографе, в семейных домах — не все ли равно? На всякий случай расспрашиваю у швейцара, у коридорного, у буфетчика о местных жителях. Они рассказывают охотно. Ведь все люди суеверны, а эти эфиопы видят во мне существо особенное. А уж, что все люди сплетники — это абсолютная аксиома. Подумайте только: ведь я Гад! И уже я успел наврать им столько лестного и страшного, что они ходят как очумелые. И только издали глазами умоляют, такими влажными, собачьими глазами: «Милый, погадай еще разочек». Но нет. Мой принцип такой: в гостиницах служащим я гадаю бесплатно, но только один раз; пускай, мерзавцы, будут навсегда заинтригованы. Понимаете, окружаю себя этаким дымным облаком таинственности, но на чай даю хорошо.

И вот, ровно в два часа пополудни сижу я, полирую ногти и обдумываю, какой бы мне новый трюк запустить. Вы сами понимаете, что каждое искусство нуждается в разнообразии.

— Почему вы знаете, что я это знаю? — спросил я резко.

— Вот видите ли, — мягко возразил он, — ежели бы вы не задали мне этого вопроса, я не был бы уверен... А теперь я наверно скажу, что вы человек...

какого-то... — он два раза щелкнул пальцами, — какого-то... искусства... Широкополая шляпа, белый галстук, повязанный бабочкой, цветок в петличке, небрежная манера сидеть, уменье слушать... Для профессора вы молоды. Я бы сказал, что вы или писатель, или...

— Это неважно, — перебил я моего удивительного собеседника. — Ну, полировали ногти... разнообразие... дальше?

— Да. И вдруг бомбою влетает ко мне коридорный лакей: «Так что к вам сама генеральша, спрашивает вас!» Я вижу, что он трясется, и сейчас же его одной рукой за карчик, другой — пять рублей в зубы. «Что? Как? С кем? Когда? Сколько? Кому? Где? Дети? Слабости?» Он — как горохом сыплет. И вот сеанс. Густая вуаль. Духи самые лучшие. Мускус, амбра и крем деваниль... Сорок три, сорок пять, крайнее — пятьдесят лет... Я расшаркиваюсь: «Извините, графиня, я одет не так, как следует». И поднимаю воротник сюртука, как кибитку. «Прошу сесть! Чем могу служить?»

— Вы меня, конечно, не знаете.

— Не знаю, ваше превосходительство. Но если я сообщу мои магнитные токи с вашими токами и с токами земного меридиана, при помощи напряжения воли и окрутения себя магическим цилиндром по системе иогов, то буду непременно знать ваше настоящее, прошедшее и будущее.

— Но почему же вы узнали, что я генеральша?

— Извините, — может, я ошибся. Я сказал случайно, как сказалось.

— Ах, нет. Вы какой-то странный. Я чувствую, что начинаю вибрировать в вашем присутствии, я надеюсь, что все, о чем я вас спрошу, останется между нами тайной?

— О, несомненно, мадам! Тайной более сокровенной, чем врачебная и адвокатская.

— В таком случае я вам верю. Расскажите мне все, все, все... И, прошу вас, телепатируйте, телепатируйте.

— Простите, сударыня. Я не могу войти в транс без моего медиума.

Зову Августу. По обычной системе «тридцать шесть» угадываю все предметы, которые на генеральше находятся, и даже метку на ее носовом платке, через запертую сафьяновую сумочку. Августа превосходит самое себя. Минутами мне самому кажется, что вот-вот Августа умрет от нервного потрясения или погрузится в вечный летаргический сон. Все гнусные сплетни, всю грязь воображения маленького захолустного губернского города я превращаю в воздушное пирожное. Губернаторша сама идет мне навстречу вздохами, охами, намеками. Черт побери! Если человек жаждет быть обманутым... В конце концов блондин, товарищ прокурора, хочет хлопотать о переводе, но сила любви все превозможет, и он останется у ног пышной красавицы, соблазнительной брюнетки. Затем несколько пассов. Августа погружается в глубокий спокойный сон. Графиня встает вся мокрая от слез, дряблая, трясущаяся, и руки у нее прыгают, когда она сует мне сторублевую бумажку и бормочет:

— Но вы удивительный!.. Поразительный!.. Прошу вас, скажите откровенно, если мало. Я бы вас очень просила сделать несколько ваших прекрасных опытов у меня дома. Обещаю вам, что будет только свое интимное общество... У нас есть свой маленький избранный кружок спиритов.

Ну, вы, конечно, понимаете, что я на следующий день в городе persona gratissima [1]. Вся знать, полузнать, а за ними и всякая сволочь стоит вереницей от моего номера вниз по лестнице и до самого подъезда. Заискивают у швейцара и суют ему в руки трехрублевки, чтобы замолвить о них словечко. Тот входит в роль, но я ему не препятствую. Я знаю, что ночью он придет ко мне и униженно попросит погадать ему. Я ему погадаю и об его больной печени, и об отекших ногах, и о беспутном любимом сыне-бильярдисте, и о том, что он думает взять в аренду какое-то большое дело, и пускай смело берет, — не раскается. Он уйдет от меня обласканный, счастливый да вдоба-

---

[1] Самое значительное лицо *(итал.)*.

вок сообщит мне с три короба сведений о моих дальнейших пациентах.

Ах, черт возьми! Как и откуда пришло это неожиданное время? Ей-богу, я до сих пор понять не могу. Но, верите ли, мне предлагали ужасные вещи: лечить прикосновением параличных и исцелять идиотов, заговаривать сифилитическую экзему, чуть ли не воскрешать умерших. Откуда это взялось? Прямо, точно внезапный ветер какой-то... Ну вот, как в Новороссийске... ни с того ни с сего свалится откуда-то бора... такой ветер... и перевернет к чертовой матери телеграфные столбы, груженые вагоны, деревья, каменные заборы... Честное слово, ничего не понимаю. Да вот, далеко ли ходить за примером? Был у меня товарищ, так, дурак, болтун, пьяница, нахал. Главное удовольствие у него было либо спать, либо пить до чертиков, либо бить кого попало на улице. А карьера его очень простая. Сначала банщик, потом уличный кот, потом вышибало, потом певчий. Слуху у него никакого не было. Но, правда, рявкал, как лев. И вот, представьте себе, правит, как сатрап, всей Какуевской губернией. Возьмет, мерзавец, на самом пышном банкете, в присутствии всех чиновников и разодетых дам, возьмет вымоет свои грязные волосатые руки в чашке и скажет: «Вы, кобели, и вы, девки, пейте сию воду, потому что смирение выше всего». И что вы думаете? Пьют! Одного станового в двадцать четыре часа раскассировал и выслал из губернии. За что? Недостаточно внимательно отдал честь. Видал миндал?

Я на эти вещи не рисковал. Я человек хоть негодный, но все же настоящий христианин, верующий. Я просто только чувствовал, что пахнет жареным. Я скромно думал: «Зачем заноситься? Возвеличишься, ан глянь, тебя и по шапке. И не вспомнишь, как тебя Сенькой звали». Думал я, скопить бы этак тысяч десять — двенадцать и открыть бы в каком-нибудь городишке свой собственный кинематограф. Дело верное, питательное и никому не обидное. Кто умеет.

И только, бывало, это самое задумаю про кинематограф, и все у меня выходит ладно и чинно...

Вдруг трах! На сцену является артиллерист. Впрочем, иногда и сапер, но все-таки чаще артиллерист. И все пошло к черту. Нет ни кассы, ни усыпляющейся женщины, и опять строй здание на песце.

— Нашли бы другую, — вяло посоветовал я.

— Ах, вы этого не поймете... Привычная работа... А впрочем... Постойте...

Он вдруг выпрямился, точно его кольнули шилом, и крепко обхватил мою руку длинной, узкой, цепкой холодной рукой.

Мимо нас проходили двое — в темноте было трудно разобрать. Высокая молодая и, судя по походке, полная женщина и рядом, выше ее на полголовы, стройный мужчина, позвякивавший на каждом шагу шпорами. Мы помолчали, пока их силуэты не поглотились темнотой ночи.

— Ну вот, так я и знал, — сказал уныло мой случайный собеседник, поднимаясь со скамьи. — Так и знал. Ах, а что бы я мог сделать в этом городе! Я бы здесь буквально катался как сыр... А впрочем... Извините за беспокойство, господин поэт, — может быть, я вам надоел.... Прошу только одному верить: разблегустался я так в первый и, конечно, в последний раз в моей жизни...

Длинный, худой, он приподнял кверху свою шляпу-котелок, склонив при этом голову набок, и ушел медленными беззвучными шагами. А через пять минут и я ушел из Царского сада, нанял извозчика до вокзала и поехал в Петербург.

Все это было в 1893 году, не то в июне, не то в июле...

ПАПАША

(Небылица)

Два древних старца, подобные двум вековым дубам, были несменяемы в министерстве. Иным казалось, будто они существуют еще со времен Великия Елисавет на своих должностях. Это были — экзекутор и швейцар. Многое множество чиновничьих поколений нарождалось, мужало, расцветало и уходило пред их суровыми очами в безвестную даль. Вчерашние веселые мальчуганы, беззаботные шалопаи-лицеисты, становились сегодня государственными мужами, губернаторами, вице-губернаторами, а завтра делались министрами и членами Государственного совета.

Одни они двое оставались на своих местах, величавые, живые монументы прошлого.

И сколько десятков своих, своих собственных министров перевидали они: строгих, добрых, норовистых, послушных, женоненавистников и балетоманов, рыкающих, подобно библейским львам, и доводивших людей до столбняка вежливостью обращения; скоропалительных и тягучих либералов и консерваторов; и таких, которые резали всем правду-матку в глаза, где надо и когда не надо, и тех, которые вели свою политику волнообразными, извилистыми линиями, путем уклончивости, податливости и согласия, с хвостом, поднятым вверх для уловления ветра. И ко всем на-

чальникам старики применялись и приспособлялись безропотно и спокойно, точно зная, что пройдут века, племена, народы и вожди, но они одни останутся непоколебимо и незыблемо.

Однако новый генерал даже и их многоопытные сердца привел в трепет и смущение. Это бы еще куда ни шло, что он принял всех своих подчиненных запросто и каждому подал руку, и каждого учтиво расспросил о том, сколько лет служит, как здоровье супруги, детишек и престарелой мамаши. Бывали раньше и такие архистратеги. Сравнительно понятно было и то, что во время приема он был одет в светло-серый костюм с темно-лиловым галстуком, а из верхнего бокового кармана высовывался кусок темно-лилового платка в тон галстука, а ботинки на нем были желтые, почти спортсменские, с двойной американской подошвой. Могли быть, пожалуй, и такие фолишенные[1] генералы...

Но уже первые фразы вступительного слова заставили старых боевых коней насторожить чуткие уши.

— Господа, — сказал генерал, — вы, вероятно, часто слышали избитую фразу: «Во-первых, дело, во-вторых, опять дело и, в-третьих, опять-таки дело». Но я вас попрошу об одном: как можно меньше дела и как можно меньше бумаг. Вы, конечно, не хуже меня понимаете, что восемь часов принудительного сиденья в запертых душных комнатах ничего не значат в сравнении с одним часом и даже получасом плодотворной, ничем не стесненной работы. Поэтому я предлагаю всем и каждому из моих сослуживцев самим себе назначить срок и время занятий. Это дело вашей совести, сознания гражданского долга и служебного соревнования. Ни отпусков, ни болезней я не буду разрешать. Пусть каждый сам болеет когда хочет и уезжает куда хочет. Моя система — полное доверие. Что же касается до бумаг, то мы постараемся свести их количество, — как входящих, так и исходящих, —

---

[1] Безумные (от *франц.* folie).

до минимума, причем идеалом в этом отношении у нас будет всегда круглый абсолютный нуль. Этого мы достигнем тем, что двери моего официального кабинета в министерстве, так же как и двери частного кабинета на Каменоостровском, всегда, во всякое время дня и ночи, открыты для вас, господа! Словесные распоряжения действуют гораздо скорее и вернее всяких бумаг. Но и помимо службы прошу во всех ваших делах, общественных и личных, важных и мелких, — прошу видеть во мне доброго старшего товарища и, если хотите, — тут голос генерала задрожал, — если хотите, отца...

— Я кончил, господа. Теперь, если кто хочет курить, — пожалуйста... — И, раскрыв щегольской серебряный портсигар филигранной венецианской работы, он предложил своему делопроизводителю тонкую душистую папиросу.

Кажется, в тот же самый день, вслед за этой исторической речью, чей-то бойкий язык окрестил эпического генерала именем «папаши». Это прозвище чрезвычайно быстро прилипло и вошло в оборот. Вошло до такой степени, что даже швейцар, почтенный Андрей Вонифатьевич, иногда, говоря заочно о начальнике, срывался и вместо «их превосходительство» говорил «папаша» или даже «наш папаша».

Оттого ли, что политика доверия на первых порах пленила и очаровала сухие чиновничьи сердца, или оттого, что здесь предоставлялось широкое поле для проказливости, для отдыха от прежней монотонной лямки, но на первых порах ведомство проявило изумительную, блестящую, кипучую деятельность. Даже высшие власти обратили сверху свое благосклонное внимание и выразили приятное удивление. Казалось, настали времена поистине утопические.

Экзекутор и швейцар вперяли задумчивые взоры в прошедшее, ничего не понимали, нюхали табак и изредка неодобрительно покачивали седыми головами. Но мнениями своими не делились ни с кем.

Чиновники сначала робели. «Ласков, ласков, — думали они, — а вдруг укусит?» Но понемножку осме-

лели и развязались. Через месяц генерал стал уже крестным и посаженым отцом по крайней мере у четырех сотен своих подданных. У некоторых чиновников по два, по три раза умирали жены или сгорало имущество, на что, как известно, требуется пособие. На службу стали ходить с удовольствием, как на забавный водевиль. Желторотые губернские секретари и коллежские регистраторы толпой набивались в генеральский кабинет, разваливались в глубоких креслах и на мягких кожаных диванах, курили генеральские папиросы, а некоторые, поотчаяннее, садились боком на огромный, как бильярд, стол, обитый красным сукном; сплетничали, рассказывали смешные анекдоты. Наконец в один светлый осенний день, когда обычно мрачный кабинет весь был залит потоками солнца, молодой чиновник Перфундьин сказал, как будто нечаянно, слово «папаша». Сделал вид, что страшно сконфузился (потом из него вышел очень недурной актер), и даже покраснел.

— Ваше превосходительство, видит бог... честное слово... — залепетал Перфундьин. — Это мы так... иногда... по молодости, по глупости... Так иногда, между собою... Потому что действительно вы нам... вроде родного отца...

Генеральское лицо озарилось нежной, прекрасной, отеческой улыбкой.

— Ах, родной мой...Что вы... Что вы... Успокойтесь, пожалуйста... Ведь это же... Господа... в конце концов ведь это только лестно для меня... Значит... Значит... Значит, я не ошибся, господа, когда искал дорогу к вашим сердцам, а не к рассудкам? Благодарю вас, милый Перфундьин, и позвольте пожать вашу руку.

А так как Перфундьин устремился было облобызать генеральскую десницу, то оба они крепко по-дружески обнялись и поцеловались.

С тех пор и пошло: папаша да папаша. Но престиж власти упал навсегда. И даже Андрей Вонифатьевич, во время разъезда, подавал пальто первому не генералу, а делопроизводителю, когда они одевались вместе.

Перед пасхой генерал заболел и около недели не являлся в министерство. Рассказывали, что он собственноручно устанавливал на полочку мраморный бюст Монтескье, но, по неловкости, не удержался на стремянке и свалился, причем тяжелый бюст всей своей тяжестью обрушился на папашину голову. Все в министерстве искренно сочувствовали генералу и серьезно волновались по поводу его здоровья. Но когда, после болезни, он вошел в грандиозный вестибюль исторического здания, в котором уже много сотен лет решались судьбы пятой части земного шара, то произошло нечто неслыханное, несказанное и неописуемое. Голосом, которому мог бы позавидовать любой командир кавалерийской дивизии или московский брандмайор, рявкнул генерал на почтенного мордастого, убеленного сединами, с иконостасом на груди швейцара Андрея Вонифатьевича:

— Ты как, подлец, снимаешь пальто? Каблуки вместе! Заелся на сытых хлебах? Вон отсюда. В двадцать четыре часа... В четыре часа... В полминуты... Вон!.. С волчьим паспортом... В арестантские роты каналью закатаю!..

Когда на страшный раскат генеральского голоса скатились с лестницы горошком вице-директоры, начальники, столоначальники, делопроизводители, и все секретари, и все большие и маленькие чиновники, тогда генеральский гнев окончательно прорвался и хлынул, точно задержанная и мгновенно прорвавшая преграду Ниагара.

— Бездельники! — кричал он, вращая кровавыми глазами, сжимая кулаки и топая ногой. — Точно школьники! Стоит от вас отвернуться, — и никто ничего не делает. Затылком к делу сидите!

— Господин делопроизводитель, мы с вами вместе не можем служить. Либо вы — либо я. Вы дошли до такой фамильярности, которая немыслима и недопустима! Нет, нет!.. Никаких разговоров!.. Позвать сюда чиновника Перфундьина. Ага! Это ты, тот самый, который?.. Это ты осмелился называть заочно своего начальника папашей? Вон!.. И без аттестата!.. И

вообще вон из Петербурга... Я тебе такого папашу покажу...По третьему пункту!

— Экзекутора сюда! Почему беспорядок? Где ремонтные суммы? Где отчетность по уборке снега? Я вас, сударь, ввиду вашей многочисленной семьи не отдаю под суд, а предлагаю вам выйти в отставку, не позже чем через месяц. Экономите на бумаге? На чернилах? Старый растратчик!

— Что-с? Безззз воз-ра-же-ний!..

— Дать мне журналиста! Сколько входящих и исходящих? Ну, живо! На память! Если я тебя разбужу, спросонья должен сказать! Ага!.. Только восемь — десять тысяч. А в других министерствах десятки миллионов? Господа, ставлю всем вам на вид, объявляю замечание, делаю строгий выговор! Ведомство ленится. Нет движения бумагам! Затор!.. Я вам такой покажу затор!..

Все эти слова он выкрикивал, вздымаясь по лестнице и несясь, подобно опустошающему циклону, вдоль канцелярских помещений. И по дороге перед ним склонялись бледные, трепещущие, недоуменные рабы. И с последним словом: «затор!» — он скрылся в своем кабинете, точно Иегова в облаке...

Во второй раз ведомство изумило весь чиновный мир своей молниеносной деятельностью. Точно открылись шлюзы, и через них по всей земле русской пролились миллионы бумаг. Толстые, желтые, геморроидальные, задыхающиеся начальники отделений летали взад и вперед, как мальчики-комми [1] от «Мюр и Мерилиза». Спешно вызывались начальники уездов, получали стремительные внушения и мчались в свои области делать порядок или беспорядок, и дрожь, которую они испытывали в огромном кабинете, передавалась, как электрический ток, нервам обывателей. И — боже мой, — что только не делалось в это время... Громы, молнии, ураган, извержение вулканов, Иродово избиение младенцев и Мамаево нашествие. Один санов-

[1] Посыльные (от *франц.* commis).

ник сострил по этому поводу в частном разговоре: «В противоположность господу богу, создавшему мир в шесть дней, ныне милейший Иван Григорьевич мог бы его разрушить в такой же срок».

Все это случилось в давно прошедшие, чуть ли не гоголевские времена. Но до сих пор экзекутор и швейцар, нюхая табачок, спорят о том, когда был папаша сумасшедшим: до бюста или после бюста великого знатока духа законов — Монтескье?

ГОГА ВЕСЕЛОВ

Все это случилось в 1917 году. Только что окончилась кровопролитная мировая война, и народы, зализывая бесчисленные раны, с удивлением спрашивали сами себя:

— Зачем и какому богу были принесены эти миллионы людских жертв?

А многолетние липы Летнего сада, посаженные еще по повелению Петра Великого, сладко, медвяно благоухали неприметными скромными цветами. И попрежнему, как во времена Пушкина, ходили взад и вперед по желтым дорожкам голоколенные будущие Евгении Онегины со своими monsieur l'Abbé и десятилетние Татьяны с своими гувернантками.

И освобожденные, как из гробов, из зимних деревянных футляров, улыбались страшными улыбками полуистлевшие боги и богини, посеревшие, безрукие, безносые, с ноздреватыми мраморными телами, источенные зубами времени, поросшие легким мхом, точно бронза патиной. Но издали, сквозь прозрачную, подвижную зелень деревьев, волнистые линии их торсов, бедер и ног, окаменевшие в жеманных, целомудренно-бесстыдных, мило-условных позах, говорили простодушно о золотой прелестной сказке человеческой юности.

В такие дни охотно дремлется; сидишь, ни о чем не думаешь, ни о чем не вспоминаешь, и мимо тебя, как

в волшебном тумане, плывут деревья, люди, образы, звуки и запахи. И как-то странно, лениво и бесцельно обострено воображение. Эти едва ли передаваемые ощущения испытывают люди, сильно помятые жизнью, в возрасте так приблизительно после сорока пяти лет.

Вот уже который раз проходит мимо меня дама с лицом фаршированной щуки. Бледно-голубые глаза. Белые ресницы. Нос и зубастые челюсти угрожающе выдвинуты вперед. Иногда она присаживается на скамейку. Опять встает и нервно ходит взад и вперед, топчась почти на одном месте. Косит глаза на маленькие часики, прикрепленные у ней под подбородком. Опять садится. Щеки краснеют пятнами. И уже заранее я знаю, что *он не придет* сегодня.

Идет отставной генерал, основательно выкрашенный в черно-фиолетовую краску. Ноги у него подагрические, негнущиеся. Идет он только в силу инерции, и мне кажется, что, однажды разбежавшись, он никак не может остановиться, пока не уткнется животом в какое-нибудь неподвижное препятствие. Но он не торопится. В руках у него длинная плоская коробка, аккуратно завернутая в глянцевитую бумагу и перевязанная розовой лентой. Конечно, конфеты из хорошей кондитерской. «Кого ты поджидаешь, жгучий брюнет? Сколько ей лет? Не четырнадцать ли? И какое ты сделаешь лицо при встрече? И, должно быть, какая славная, чистенькая, уютная старушка твоя шестидесятилетняя жена».

Два деловитых, но сильно потертых франта. Это игроки малой биржи, от Доминика, из Empire или Café de Paris. Очевидно, оба вралишки. У них живой, стремительный разговор и страстная жестикуляция. И я почти угадываю, о чем они говорят: «Я вам могу предложить Ленские». — «Совсем наоборот, дорогой коллега, я ищу другое...» — «Не возьмете ли Павдинские?» — «Ах, нет, совсем не то. Нет ли у вас каких-нибудь планов или секретных бумаг?» — «Отчего же и не найтись... В настоящее время у меня нет, но есть верное место... Что же касается уплаты...»

А напротив меня, наискось, сидит человек в черной широкополой шляпе; путаная борода, длинные во-

лосы, пенсне; темно-синяя косоворотка выглядывает из разреза жилета. Вот он оглянулся налево, направо, лениво зевнул, нахлобучил на лоб шляпу и аккуратно складывает на коленях прочитанную газету. Я лениво думаю о нем и твержу мысленно, плывя в волнах туманящей дремоты: «У него наружность демагога... Магога... Гога и Магога... Мога... Гога...»

И тотчас же на меня падает движущаяся тень. И я слышу над собою прекрасный, так называемый бархатный баритон:

— Однако довольно стыдно не узнавать знакомых. Неужели вы не узнаете меня?.. Ведь я Гога!.. Гога!..

Да, несомненно это Гога Веселов. Это его лицо, фигура и осанка, все вместе — нечто промежуточное между Сирано де Бержераком и Оскаром Уайльдом. Бритое по-английски лицо и огромный устремленный вперед нос; преувеличенно-холодная, отраженная во всех движениях невозмутимость и живые, разнообразные, актерские звуки голоса.

Я его давно знал. Встречался я с ним, правда, очень редко, еще в то время, когда он проедал и пропивал несколько наследств: дядино, мамино, папино, тетино, двоюродных бабушек, — наследств, в виде каменных домов с суточными номерами, трактиров, торговых бань, даже чуть ли не публичных заведений. Много рассказывали в городе, а иногда и в печати об его диковинных, чисто по-русски несуразных кутежах, в которых смешивались остроумие с жестокостью, грязь с изысканностью, издевательство с трогательными порывами.

Но как-то полоса удачи сразу прекратилась. И с чрезвычайной быстротой Гога покатился вниз с горы. В последний раз я видел его в Ницце, откуда он каждый вечер ездил в Монте-Карло. Администрация этого игорного учреждения в память прежних огромных проигрышей и в виде пренебрежительной признательности выдавала ему каждый день по одной золотой монете в двадцать франков. Но когда он проигрывал эту подачку, то с него не брали денег, а когда выигрывал, — ему не платили.

Изо всех видов человеческого падения самый гнусный — это образ впившегося, зарвавшегося игрока.

Гога удивительно быстро опустился и подряхлел. Играл в тайных притонах, где иногда расплачиваются за проигрыш ударом кулака или ножа в живот. Попрошайничал у русских путешественников с громкими фамилиями. Не прочь был иногда и сосводничать кому-нибудь шикарную кокотку. Очень выручало его знание двух иностранных языков: французского и немецкого. Французский он изучил в Париже, когда заболел скверною болезнью и лечился у Фурнье; немецкий — в Ахене, где проходил дополнительный курс, принимая серные ванны.

И вот я вижу совсем нового Гогу. Прямо точно он сейчас родился на божий свет вместе с этой весной и с этой шикарной одеждой. Цветущее лицо. Великолепное английское пальто балахоном, без швов назади. Палка черного дерева, вся испещренная золотыми инициалами. Тонкие замшевые перчатки цвета голубиного горла. Чудесное белье и в петлице смокинга бутоньерка с пучком ландышей.

— Cher maître[1], не пойдем ли мы позавтракать? Regardez[2], черт возьми, mon ami[3], какая хорошенькая блондинка!.. Волосы цвета спелой соломы, а глаза синие, точно васильки... Или полька, или литвинка, и, должно быть, у нее красивое имя... Ванда или Иоася... А впрочем, пустяки... Если хотите, поедем куда-нибудь в кабачок?.. К Кюба, к Донону или в «Медведь»... Или, впрочем, вы, может быть, не побрезгуете позавтракать у меня?.. Повар, правда, у меня ниже отличного, учился, к сожалению, не у французов, а у Козлова или, кажется, у Зеста. Но вина в моем погребе совсем недурны. Такой шамбертен, который я вам предложу, не подают даже при дворе... Мой погреб — это маленькая коллекция...

---

[1] Дорогой учитель *(франц.)*.
[2] Посмотрите *(франц.)*.
[3] Мой друг *(франц.)*.

В те времена, когда звезда Гоги Веселова стояла в зените, я избегал его общества. Но теперь уверенный и спокойный тон его голоса, трезвый и здоровый вид, вежливые манеры заставили меня заинтересоваться.

И вот я начал переходить от изумления к изумлению.

При выходе из Летнего сада на набережную Мойки, у Цепного моста, дожидался Гогу лихач... Так я сначала подумал, когда его окликнул Гога. Наваченный зад в складках, шелковый картуз, огромная борода... Но сейчас же по виду прекрасной рыжей кобылы, по способу кучера держать вожжи и по щегольскому виду новенькой пролетки с изящным низким ходом на резиновых шинах я понял, что упряжка собственная.

Итак, мы проехали на Каменноостровский проспект и остановились у старинных чугунных узорчатых ворот. Внутри двора, отделенного от улицы маленьким искусственным парком с фонтаном и цветником, стоял красивый каменный особняк с цельными зеркальными окнами, с массивными дубовыми дверями без обычной медной дощечки.

— Ты, Степан, сейчас заедешь и скажешь мистеру Джексону, — приказал Гога, — что в воскресенье будет бежать «Марамошка», а «Генерала Эч» пускай снимут с программы. Ты понял?

И он очень предупредительно помог мне слезть с экипажа.

Повар русской науки был выше всяких похвал. Но еще больше меня поразила сервировка стола. Красный богемский хрусталь с вырезанными в каждой грани цветочками, фарфор старинной фабрики А. Попова, блестящее столовое белье, серебро, цветы в высоких тонких вазах... и все это играет в ярких солнечных лучах. Очень миловидная женщина в кружевном передничке прислуживала нам, — неторопливая, скромная, лет тридцати — тридцати трех, полногрудая, румяная, черноволосая, красногубая, сладкоглазая, с очаровательным смешком и с ямочками на каждом пухлом пальчике, в простом, но милом черном платье, из выреза которого красиво поднималась сдоб-

ная белая шея. Когда мы перешли к кофе и джинджеру, — она тоже присела за стол.

И разнеженный Гога любовно прихлебывал крошечными глотками пряный ликер, нюхал букетик фиалок, вынутый из вазочки, и с наслаждением говорил о своем особнячке, о своих трех лошадях — упряжной и двух беговых, о газетных сплетнях, о новом кафешантане и о шикарном клубе, куда он недавно избран.

Чем дальше, тем больше Гога для меня становился загадочным. Как произошло это изумительное, невероятное превращение? Не сорвал ли Гога банк в Монте Карло, чудом уплатив свои прежние позорные займы? Не состоит ли он, вежливо выражаясь, другом какого-нибудь чудовища, забытой временем Мессалины? Не получил ли нового колоссального наследства?.. Ничего не понимая, я не смог удержать любопытства и спросил:

— Гога, что же, наконец, значит эта жизнь из сказки Шехеразады?

Мне показалось, что он на минуту смутился и даже будто его орлиный нос слегка побледнел от неожиданного вопроса. По крайней мере я ясно видел, как дрогнули у него веки и опустились вниз; но он овладел собой.

— Ах, в том-то и дело, mon cher ami [1], что я сам этого не знаю. И когда я увидел вас сегодня в Летнем саду, меня потянуло просто исповедаться перед близким другом, перед братом. Липочка, прикажи дать нам еще кофе... Да не старайся особенно спешить... «Друг мой! Брат мой... — задекламировал он, когда женщина вышла легкой, ловкой походкой... и я не мог понять: говорит ли он искренно, или ломается, — усталый, страдающий брат, кто б ты ни был...»

— Сентиментальность в сторону, — сказал я.

Но опять мне показалось, что Гогины глаза блеснули слезами.

— Ах, боже мой, кто же меня выслушает? Вы думаете, это было мне легко сначала?.. Но вы сами

---

[1] Мой дорогой друг *(франц.)*.

помните, как меня гнала судьба! И вот, в те дни, когда мелькала у меня мысль о самоубийстве, вдруг попадается мне случайно газетное объявление: требуются образованные молодые люди в возрасте от тридцати до сорока лет для важной и секретной работы в бюро... это, положим, хотя и не государственная, а частная, но все-таки тайна. Да притом и в объявлении оно названо не было... это я сейчас приплел... Ну, скажем, в бюро ознакомления с общественным настроением. Необходимы хорошие манеры и свободное знание хотя бы двух иностранных языков: французского и немецкого.

Уверяю вас, мой обожаемый, что я пошел туда вовсе не из обычной моей проказливости, а именно под пятой жестокой бедности. Думал, что, конечно, меня через два дня выгонят. Но оказалось, что я сразу понравился. И вот, ей-богу, — тут у Гоги глаза совсем уже явно наполнились слезами и нос мгновенно покраснел, — ей-богу, когда мне дали вскрыть первое письмо, я, старый разбойник с душою крокодила и совестью глиняного истукана, я почувствовал, что краснею не только лицом, но и грудью и спиною. Должно быть, ведь и палачу не особенно ловко впервые терять свою невинность... Но верно говорит старая русская поговорка: «Первую песенку зардевшись поем», а потом и пошло. Пятое, десятое, сотое письмо... И я уже стал думать, что так и нужно. Как будто бы я родился на свет божий с этой милой специальностью. Да и притом рассудок — чрезвычайно гибкий утешитель: «Не я — так другие сделают». А потом пошло и еще легче. Пока не вошло не только в привычку, но даже и во вкус. Я ведь всегда был спортсменом по всем отраслям, а в молодые годы не находил себе равного по разрешению ребусов, шарад и головоломок. Начальство стало удивляться моей прозорливости. Иногда из-за какой-то неуловимой странности тона в самом простом, невинном девичьем письме я останавливал на нем пристальное внимание и открывал удивительнейшие вещи в чтении начальных букв каждой строки или в буквах, расположенных по диагонали, или в порядке слов, выписы-

вая их через одно, через два, сверху и снизу. По запаху, по маленькой скоробленности или желтизне бумаги я знал, что надо прибегнуть к нагреванию или химическим реактивам, обращал внимание на фабричную марку, на характеры почерков и прочее... Выработал в себе со временем истинный профессиональный нюх, который, впрочем, был у меня, должно быть, и раньше, как дар свыше. Наконец из одного частного письма я выудил такое сведение о моем главном патроне, что тот только ахнул, когда я ему показал документ, и сейчас же повысил меня в должности с прибавкою пятидесяти рублей в месяц. Он-то и толкнул меня на путь позора и богатства. Он — мой истинный, хотя и невольный сатана-искуситель! О боже мой, какой это соблазн — компрометантные письма... Муж в Сибири делает для банков огромные закупки пшеницы, ржи, муки, мяса... Жена в столице... Любовник на Кавказе, в Пятигорске: Разбит параличом и ездит в кресле-самокате. Так они себя там и называют — велосипедистами. А из ихней переписки я уже вижу, что из Сибири даме идут деньги и очень большие, а из дома и на Кавказ пересылаются тоже не малые. Так приблизительно в месяц фунтов около двухсот стерлингов. Конечно, я сначала стеснялся-стеснялся, а потом одно письмецо в этом жанре взял и прижа́л под ноготь. И затем печатаю объявление в газетах, что вот, мол, «случайно найдены письма, адресованные на имя А. М. К. по адресу такому-то, оттуда-то. Хочу возвратить лично. От двух до четырех. Пассаж. Джентльмен с гвоздикой в петлице»... Женщина попалась, очевидно, умная и властная. Но как женщина — все-таки глупа. Жалуется в сыскное отделение. Что и требовалось доказать... В назначенное время узнает меня издали и показывает глазами на меня скромному господину в гороховом пальто. Я их всех знаю наперечет, как полосатых зебров, а если не знаю — так чувствую инстинктом. Он сейчас же подходит ко мне, а дама скрывается. Он мне говорит: «Не угодно ли вам следовать за мною?» — «Куда?» — «Видите ли, вам выгоднее не сопротивляться, я вас повезу в сыскное отделение.

Мы с вами сядем на извозчика, как два порядочных человека, и никто из публики не догадается. А если вы задумаете упрямиться, то я просто посвищу городовых, и вас повезут насильно. И тогда я ни за что не ручаюсь». Я ему отвечаю: «Отчего же? С удовольствием. Только, знаете, я здесь поджидаю одну даму. Мне случайно попали в руки ее письма... Я служу в бюро справок и розысков. И письма эти настолько откровенного и неприличного содержания, что я, по врожденной мне стыдливости, должен был их сжечь... и сжег... нарушив этим до известной степени мой служебный долг. Об этом я только и хотел ей сказать... Подождемте минут десять — пятнадцать, а потом я весь к вашим услугам, мой молодой, пылкий, но неопытный друг... Вы можете обыскать меня в полиции, можете произвести самый тщательный обыск в моей квартире. Моя совесть чиста, как поцелуй младенца. Вы же за ваше рвение не по разуму турманом полетите с вашей полупочтенной службы, и желал бы я знать, куда вы пойдете дальше? А вот, кстати, и моя официальная карточка».

Ну, конечно, мой молодой друг расстегнул рот. Он такого шахматного хода не мог даже и подозревать. И оставляет меня в покое... И даже извиняется. А я его великодушно прощаю и даже угощаю папироской. Но если бы у меня эта штука и сорвалась, — все равно у меня ничего бы не нашли: при себе я ничего не ношу, а документы держу в третьем секретном месте.

Но на другой же день эта дама «А. М. К.» получает от меня письмо, написанное мною, моим почерком, с собственною подписью и целиком — имя, фамилия и адрес:

«Сударыня, случайно в мои руки попала честь ваша, вашего супруга и близкого вам субъекта. Как порядочный человек, я хотел ликвидировать компрометирующую тайну с глазу на глаз, между мной и вами, но вам угодно было в это тонкое и щекотливое дело замешать грязные руки сыскной полиции. Тем не менее я остаюсь джентльменом с ног до головы и до конца моей жизни. Письма уничтожены, но не уничтожены их последствия. Это не от меня зависит. Не

угодно ли Вам будет приехать по означенному адресу, где я лично передам Вам то, что необходимо было передать вчера в Ваших интересах».

Конечно, если бы я так писал мужчине, то он пришел бы в любой оружейный или седельный магазин, купил бы там стек из гиппопотамовой кожи, разыскал бы меня и отхлестал, как последнего сукиного сына. Но женщина теряется. Приходит ко мне в определенный срок, плачет, дрожит, волнуется... Угрожает самоубийством на моих глазах. «Э, нет, матушка, не проведешь!..» — думаю я себе. Ведь я уже давно разузнал об ее положении и состоянии. Два дома в Петрограде и Москве, отель в Париже и вилла в Ницце, тысячи десятин земли на Волге, лесные и хлебные биржи... Черт! Образованная, почти светская женщина, но... что хотите? — все-таки купчиха... Кровь сказывается... Муж для закона, актер для симпатии и так далее... И говорю:

— Двадцать пять тысяч, сударыня...

— Ах, боже мой, такие огромные деньги!..

— Ваш тенор, мадам, обходится вам дороже за один месяц!..

Начинается торговля. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать четыре пятьсот и, наконец, двадцать пять...

Аккуратно, как честный человек, вручаю ей все четыре письма. Они у меня пронумерованы по порядку и даже числа указаны.

— Все? Все, подлец?!.

— Подождите, сударыня. Минутку внимания. Двадцать пять тысяч по вашему чеку я получу, конечно, сегодня или завтра. Вы немедленно же потрудитесь съездить за чековой книжкой, если она не при вас. А за слово «подлец» через неделю вы мне приплатите еще двадцать пять тысяч. Потому что ваши документы я вам возвратил, но раньше с них сделал фотографические снимки — с них и с конвертов. Не угодно ли полюбоваться?

Выбрасываю ей из ящика письменного стола один за другим снимки. И на каждом восемь тонких тща-

тельных фотографий: четыре письма и четыре конверта. Фотограф я превосходный.

Первый снимок она разрывает на мелкие части, от второго опять начинает плакать, третий... четвертый... пятый приводят ее в ярость, в исступление, в бешенство...

— Говори! Скорей, скорей, мерзавец!.. Сколько еще осталось!.. Говори!..

— Я уже сказал вам — пятьдесят тысяч... Ангел мой, уничтожьте хоть сто фотографий... Но ведь негатив-то у меня, родная вы моя. Понимаете? Да и два письма вашего козлетона тоже у меня. Ну уж и выраженьица... Только актер может в любовном письме дойти до такого мандрильного бесстыдства... (Про теноришку, конечно, вру на всякий случай; его писем у меня нет). Но за слово «мерзавец» будет ровным счетом семьдесят пять тысяч. Сударыня, не брыкайтесь. Ведь здесь нас только двое. И даже некому подать вам стакана воды или нашатырного спирту от обморока. Все равно вы в моих руках. И навсегда. Так уж лучше будьте моей постоянной дойной коровой. А за хорошее поведение я обещаю вам не тревожить ни этого почтенного мужчину, ни того красавца. Идет?..

...И раки бордолез, и форель в белом вине, и куриные котлеты с трюфелями á la marechale давно уже давили мне горло.

От дыма сигар я почти не видел Гогина лица, и порою он совсем исчезал из моих глаз, и тогда голос его бубнил, точно большая муха через перегородку из ваты. А он продолжал медленно, с расстановкой:

— С нее и пошло... Приобрел я опыт и хватку. А там мне удалось захватить две выгодные поставки. Заработал я процентов четыреста... Что же?.. Не я, так другие... Проживешь ты всю жизнь одною честностью и сдохнешь, как свинья под забором или в Обуховской больнице. И кому от этого польза? А другие живут и впивают в себя все радости, все наслаждения, весь блеск и праздник жизни... А жизнь так очаровательно красива и так омерзительно коротка!..

А потом я под руководством одного из моих прежних клиентов сыграл несколько раз на бирже на понижение. Рисковал, правда, всем состоянием, накопленным таким тяжелым трудом, но... выиграл — вернее, мне дали выиграть. А теперь — баста. Не хочу быть невольником труда. Хочу музыки, хочу пения, хочу танцев, хочу вина, хочу женщин, хочу, хочу, хочу... хохочу... захочу...

Но тут внезапно голос Гоги совсем удалился и потух. И сам он раздвоился, ушел вдаль и расплылся в сигарном дыму... И самый дым вдруг позеленел, запестрел, задвигался. И когда я открыл глаза, то нашел себя все на той же скамейке в Летнем саду. А сидевший против меня демагог только что успел сделать от своей скамейки три шага, и сложенная газета торчала у него из левого кармана. Ах, какое удивительное явление — сон. В две, три секунды перед тобою пробегут десятки лет, сотни событий, тысячи образов. И как живо, как непостижимо ярко!..

Но все-таки, слава богу, что это был только сон...

ГРУНЯ

Молодому писателю Гущину посчастливилось. В этом году он сумел пристроить в еженедельники три новеллы, ноктюрн, два психологических этюда, сюиту (он и сам не знал, что значит это слово) и пять стихотворений, из которых одно — сонет в двадцать четыре строчки — обратило даже внимание мелкой критики в отделе «С бору по сосенке». Сам великий Неежмаков за десятым стаканом чая с лимоном и выборгским кренделем сказал ему на своем замечательном волжском наречии:

— Ты, брат, Коляка, вот этого... как оно... Работать ты можешь... выходит у тебя совсем гожо... Только, брательник, надоть, когда пишешь, в самое, значит, в нутро смотреть, в подоплеку, стал быть, в самую, значится, в гущу... Ого-го-го... Гущин в гущу... выходит вроде как каламбур. Надо, отец, знать, о чем пишешь, до самой основы, до мелочи, чтобы чисто было. Чтобы ни тинь-тилили, ни за веревочку! Язык изучай, обычай, нравы, особенности. Ты вот этого... как оно... помнишь, как у меня в «Иртышских очерках» написано? «Айда с андалой на елань поелозить». Что это значит? В том-то, брат, и уксус! По-российски выходит в переводе: «Пойдем с дружком на лужайку побродить». Вот оно — настоящее изучение языка. Так и ты, благодетель. Прильни ты, знаешь, к земле, к самой, значит, к ее пуповине, к недрам, к сосцам бла-

гим, и соси, подобно младенцу. Чаю больше не хочешь? Тогда прощай. Мне пора за романище мой проклятущий. Поезжай, дружище, в провинцию, погляди, понюхай, пожуй, и обновится аки орля юность твоя... А то у тебя как быдто и хорошо, и ладно, и баско, и прочее тому подобное, а все как-то по-стрекозиному... Ну, гряди, чадо!

Неежмаков носил голубую бархатную блузу с отложным воротом и с пышным белым крепдешиновым бантом на шее. Гущин приобрел коричневый вельветиновый пиджачок, а к нему белый батистовый галстук-самовяз. Подобно Неежмакову, он завел пенсне и отпустил длинные светлые волосы, которые еще больше придавали девического характера его малокровному лицу калмыцкой богородицы. Выйдя после дружеской беседы на улицу и подумав немного, он решил последовать совету великого учителя: прильнуть к пуповине.

В глуши Весьегонского уезда служил урядником его отец. Гущин всегда скрывал отцовскую профессию. «Я сын пастуха», — говорил он со скромной поэтической гордостью и даже упоминал об этом в одном хромом стихотворении: «Сын пастуха, я знаю край родимый». Очень приятно щекотала мысль показаться семье, соседям, знакомым писарькам и поповнам. Когда-то все знали его сопливым мальчишкой при волостном правлении, а теперь — подите-ка, выкусите, известный писатель, со знаменитостями на «ты», вся Россия его читает. И слова какие звучные он будет употреблять: «редактор», «гонорар», «корректура», «метранпаж», «гранки», «купюры», «матрица», «линотип».

Поездка сложилась удачно. До станции Бологого он выклянчил бесплатный билет второго класса у знакомого писателя, служившего в отделе невостребованных грузов; от Бологого до Рыбинска пришлось заплатить пустяки в третьем классе, а от Рыбинска до Весьегонска ему дал даровой каютный проезд его дядя, односельчанин Куропаткин, который зимою скупал у мужицкой бедноты пеньку, веретена, дуги, масло,

лен, а летом служил агентом в пароходном крестьянском обществе, пускавшем два маленьких пароходишка от Рыбинска до Устюжны и обратно.

Гущин не вышел еще из того прекрасного возраста (из которого иные, впрочем, не выходят до пятидесяти лет), когда человек в природе и в людях ничего не находит интереснее, значительнее и красивее себя. Поэтому в вагоне — и вчера вечером и сегодня днем — он сумел разговориться с несколькими пассажирами с той легкостью, которая так присуща железнодорожным встречам. Гущин всегда смертельно скучал, если собеседник говорил о самом себе, и вдвое тосковал, когда разговор касался вопросов отвлеченных или общественных. Поэтому он ловким приемом сворачивал речь на себя. Например, кстати вставлял небрежное замечаньице: «Ужасно утомляешься за зиму, и так рад отдохнуть», или: «Ни на ком так тяжело не отзываются теперешние условия, как на нас»; или еще: «Это хорошо говорить людям двадцатого числа». Или он внезапно проявлял необычайную осведомленность о составе редакций и о слабостях громких писателей. Неизбежно вытекал робкий вопрос: «А вы сами, извините за нескромность, чем изволите заниматься?» И следовал лицемерно-застенчивый ответ: «Да как сказать... Я не знаю, назвать ли это даже профессией... Я, видите ли, писатель... Гущин — моя фамилия». — «А-а-а! Очень, очень приятно. Как же, как же... Отлично вспоминаю. То-то я вижу лицо будто бы знакомое. Вероятно, портреты ваши встречал в иллюстрациях?.. Чрезвычайно лестно познакомиться с настоящим писателем. А позвольте спросить...»

И начиналось. Правда, много, ужасно наврав зевавшему спутнику и, наконец, расставшись с ним, Гущин всегда чувствовал жестокий приступ моральной тошноты и скверный вкус в душе, но воздержаться от этих волнующих, пьянящих ощущений, вызываемых чудовищной жаждой известности, или остановиться на полпути в истерическом лганье — он не хотел, не умел, не мог.

Иногда в промежутки болтовни он случайно возвращался к мысли: «А ведь я еду наблюдать жизнь.

Надо не терять времени. Подмечать каждую черту лица, каждый жест, ловить всякое меткое словечко». И усилием воли заставлял себя прислушиваться к мимолетным беседам в купе, в коридорах, на тормозах. Но говорилось все такое неинтересное...

Занял его внимание на минуту раненый поручик с офицерским георгием. У него вокруг глаз и на висках была разлита странная, особенная, вялая желтизна, а сами глаза, встречаясь с другими глазами, глядели не в них, а куда-то насквозь, вдаль, туда, в недавнее пережитое, — желтизна и взгляд, свойственный людям, которые в течение многих и многих дней, без сна и без пищи, терпели то, что превышает пределы даже невероятной человеческой выносливости, ежеминутно видя смерть перед глазами, ожидая ее.

Гущин все думал: «Вот, вот сейчас начнется захватывающее: визг бомб, бубуханье шрапнелей, татаканье пулеметов, знамя, пламенная, короткая, как блеск молнии, речь офицера, бешеное «ура», упоение битвы...»

Ничуть не бывало.

Лениво посмеиваясь, то и дело сдувая пепел папиросы себе на рейтузы, офицер говорил спутнику, серьезному седому, бритому человеку:

— А они нас за четверть версты из пулемета... Прямо передо мною, в пяти шагах... как бы тебе это передать?.. Ну, вот точно кто-то взял и стегнул через все поле огромным стальным хлыстом... Понимаешь — черта, и пыль взвилась! Я добежал. Не испугался. Нет. Какой тут испуг, когда главный ужас уже преодолен. Просто обалдел. Остановился только на секундочку. Перекрестился и скок через черту. И вперед. А вокруг шум, грохот, беспорядок. Потом оглянулся назад, на роту. Смотрю, а они все, как бараны, через ту же самую черту скок да скок. Но я обо всем этом вспомнил тогда, когда мы уже взяли окоп. Вспомнил и, лежа, захохотал. А из солдат никто этого не помнил. Впрочем, и я тоже — о том, как мы выбили их из окопа, хоть убей меня, не помню! Ну вот ни на столечко.

«Вот что значит не художник, — свысока подумал Гущин. — Никчемную мелочь запомнил, а главного не уловил».

День падает к вечеру... Жалят комары. Воздух мреет и парит. От пароходной трубы воняет машинным маслом и краской. Вот уже более шести часов Гущин слоняется одиноко по палубе. Иногда заходит в гостиную (она же столовая), в каюту, в нижнюю палубу третьего класса. Заглянул мимоходом в машинное отделение и убежал от нестерпимой жары. Скучно ему. Ни одного интеллигентного пассажира. На корме, прямо на полу, сидят кружками мужики, едят руками селедку с хлебом и луком и запивают водой, почерпнутой тут же из-за борта пароходным ведром. Разговор тяжелый, вязкий: о покосах, недоимках, пайках, о рожающих бабах, арендателях, земских начальниках, агрономах. Серый мужичий, вперемежку с скверной бесцельной бранью, разговор, который теперь совсем непонятен, дик и противен Гущину.

Тоска!

В одиннадцатом часу утра за пристанью Чисково он уже съел порционную стерлядку. Недурно, хотя и отзывает нефтью. Но на пароходе пища всегда легко утрясается и аппетит возобновляется быстро. Разве поесть? Гущин развертывает свою записную книжку, куда записывает бережно все расходы. В нем сказывается врожденный расчетливый мужицкий ум. «Бегут деньги по копеечкам, а потом хвать-похвать и сам не знаешь, куда рубли разошлись». Да и от природы Гущин скуповат. В Петрограде за даровую комнату и сто рублей в месяц он ведет книги двух больших шестиэтажных домов, зарабатывает немного у Неежмакова перепиской, дает небольшие отчеты и заметки в газету и умеет откладывать кое-что про черный день.

«Нет, — думает он, пряча со вздохом записную книжку. — Лучше попью чайку с ситным, а к вечеру видно будет».

Заря пламенеет на небе и в воде. Завтра будет ветреный день. Приречные кусты черно-зелены. В даль-

ней темной деревушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу. Где-то в лужках или на болотах звенят ровным дрожащим хором лягушки. Воздух еще легко прозрачен.

На левом борту, на белой скамейке сидит девушка. Гущин раньше не замечал ее, и внимание его настораживается. На ней черное гладкое платье с широкими рукавами, а черный платок повязан, как у монашенки. К женщинам Гущин по природе почти равнодушен, но в обращении с ними труслив и ненаходчив. Однако он подтягивается и несколько раз проходит взад и вперед мимо девушки, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи, слегка раскачиваясь на каждой ноге и грациозно склоняя голову то на один, то на другой бок.

Наконец он садится рядом, кладет ногу на ногу и правую руку на выгнутую спинку скамейки. Некоторое время он барабанит пальцами и беззвучно насвистывает какой-то несуществующий фальшивый мотив. Потом крякает, снимает мешающее ему пенсне и поворачивается к девушке. У нее простое, самое русское, белое и сейчас розовое от зари лицо, в котором есть какая-то робкая, точно заячья прелесть. Она чуть-чуть курносенькая, губы пухлые, розовые, безвольные, а на верхней губе наивный молочный детский пушок.

Гущин набирается смелости и спрашивает особенным, вежливым, петроградским тоном:

— Извините меня, пожалуйста. Не знаете ли вы, какая будет следующая пристань?

— Иловня.

Название звучит у нее, как мягко взятый, высокий гитарный тон. Таким прекрасным может быть человеческий голос только вечером, в чистом воздухе, на воде.

— Благодарю вас. А вы сами далеко изволите ехать?

— В Вознесенский монастырь.

Тут только Гущин улавливает, что одежда девушки слегка пахнет воском, деревянным маслом и ладаном; запах этот вовсе не неприятен. В нем есть

холод, умильная тайна и влекущая суровость. Этих тонких оттенков Гущин не постигает. Однако он человек не злой, и ему становится жаль девушку.

— Неужели, простите меня за нескромный вопрос, неужели вы монахиня?

Она слегка вздыхает, чуть-чуть улыбается и снизу вверх, сбоку, быстро взглядывает на Гущина. Глаза у нее большие, ласковые, серые. Белки от отблеска зари розовые, точно девушка только что долго плакала, и это придает ее взору интимную кротость. И тотчас же она опускает ресницы. Голос ее звучит полно и мягко:

— Нет! Я не монахиня, а пока только белица.

Разговор завязывается, но идет тяжело, нудно, с большими паузами, во время которых Гущин судорожно придумывает вопросы. Девушка только отвечает — коротко, иногда односложно: да, нет. И лишь изредка показывает Гущину свои тихие глаза с четким мраморным узором на сером райке. Во время разговора и он и она не переставая щелкают себя ладонями по лбу, по щекам, по губам. Голодные, злые комары садятся сотнями. Укусы их нестерпимы.

Ее зовут Аграфеной. Но она тотчас же с улыбкой поправляется — Агриппиной. Так велят в монастыре матушки. Говорят, что нет такого христианского имени — Аграфена, есть только Агриппина. А попросту — Груня, как зовут дома. Какая же она Аграфена, когда ей нету и девятнадцати лет? В монастырь пошла не своей охотой — кому же охота? Но она у матери моленная дочка. Мать очень тяжело рожала ее и в муках обещала богу, завещала отдать в Вознесенский женский монастырь. Семья у них, слава тебе господи, зажиточная. Отец не здешний, а из Череповецкого уезда, Черепан. Зимою строит по заказу беляны и расшивы, а летом спускает на Шексну и на Мологу. Нынче старшую сестру выдают замуж за ярославского огородника. Человек не пьющий, самостоятельный, только рыжий и немолодой, а уж такой скупующий и въедливый, что прямо сказать нельзя! Из-за каждой копеечки торгуется, как жид. Вот теперь и послали Груню в Рыбное закупать сестре обещанное приданое, иначе рыжий и в

церковь не поедет. А из Рыбного ее провожает дядя. Он вовсе серый и неграмотный, хотя мастер считать. Он староста в артели грузчиков при самолетных пароходах. Да вот поглядите-ка наискось. Подле трубы.

Гущин поглядел на дядю и сразу почувствовал бессознательное огорчение. Это был мужик необыкновенного роста и чрезвычайной плотности — один из тех полусказочных волжских грузчиков, что способны взнести по сходне без посторонней помощи лошадь или пианино. Лицо у него было большое, длинное и крепкое, строгого и красивого византийского письма; такие лица и теперь еще встречаются в тех северных уездах, где к славянской крови не подмешалась татарская, корельская и мордовская кровь. Слегка прищуренные полукругами глаза смотрели добродушно и презрительно. Седые, исчерна, волосы лежали на голове кудлами; седая, с серебряными нитями борода свалялась винтообразно до середины груди. Старик сидел на палубе, на полу, поджав под себя ноги в лаптях, глядел на воду, курил вертушку махорки, кашлял и поминутно плевал через борт. Правая рука лежала у него на коленях, — огромная, костистая, черная, морщинистая, точно выделанная из сосновой коры. «Он похож на доброго разбойника Кудеяра», — подумал Гущин.

И, точно почувствовав, что разговор о нем, старик оглянулся, быстро, одним толчком, поднялся на ноги, отчего стал еще необыкновеннее в своих размерах, бросил окурок за борт и, легко и широко шагая, подошел к племяннице.

— Аграфена, — сказал он, — иди вниз, чай пить. Нечего рассиживаться.

Если Грунин голос был похож на сладостный тон гитары, то голос дяди звучал подобно самой низкой, сиплой ноте старого, мокрого, простуженного контрабаса.

— Чтой-то не хочется, дяденька, — не спеша, ласково ответила Груня. — Кушайте одни.

— Не хочется — не надо, — сказал старик и на мгновение пристально и равнодушно, как на новый, но неинтересный предмет, поглядел на Гущина. — А то

тоже зря болты-болтать нечего. И туман сейчас подымается.

Он повернулся, отошел и стал по трапу спускаться в нижнюю палубу. Постепенно исчезли его массивные ноги, громоздкое туловище и, наконец, живописная лохматая, разбойничья голова.

Груня с легкой улыбкой скользнула по глазам, губам и опять по глазам Гущина.

— Вы не думайте, он не злой, — сказала она успокаивающим тоном. — Только вид имеет такой злодейский, а сам проще овцы. И когда выпьет — смирный-пресмирный. Песни все поет. А уж сколько может выпить — уму непостижимо. Один целую четверть — и хоть бы что. Душа в нем добрая, а за водку все готов отдать.

Гущин помолчал. Мимо парохода шли длинной, звенчатой, изгибистой змеею связанные плоты, каждый в пять-шесть бревен. В узком месте им трудно было разминуться с пароходом. Пароход умерил ход и, наконец, совсем остановился. Сплавщики ловко перебегали с плота на плот и отпихивались длинными жердями то от дна, то от пароходного борта. И все-таки десять последних звеньев, ударившись о нос парохода, оторвались от каравана и повлеклись течением к берегу.

Поднялась знаменитая, изощренная волжская и приволжская ругань. Ругались охрипшими, лающими голосами, мокрые, голоногие, пьяные, обозленные гонщики, ругались в ответ им капитан и его помощник, и оба штурвальные, и все матросы. Галдела, давая неуклюжие советы, вся третьеклассная публика, свесившаяся через металлические поручни. Кудеяр не показывался наверху. Должно быть, зрелище для него было слишком мелким, нестоящим внимания.

— Эти шекснинские и моложские — ужас какие охальники, — сказала Груня. Впрочем, она без особенной брезгливости прислушивалась к виртуозной брани.

Наконец пароход разошелся с плотами и двинулся. Понемногу затихла ругань. Палуба опять опустела. Гущину с трудом удалось преобороть в душе ту низменную, жалкую, мутно-зеленую робость, которую внушал

ему Кудеяр своей фигурой и страшным голосом. Торопливо проглотив слюну, он заговорил сдавленным, каким-то чужим голосом:

— А что, если бы нам, в самом деле, Груня... извините, что я так фамильярно... Если бы нам попить чайку у меня в каюте? Вы не подумайте, чтобы я что-нибудь... А?

— Ах, нет, как же это можно? Дяденька заругается... К чужому мужчине...

Но глаза ее сказали: «Я пойду. Будь настойчивее».

— В самом деле... По крайности, там комары не едят. Это же общая столовая, а не каюта. Каюта отдельно. Понимаете, столовая для общего пользования.

— Уж я, право, не знаю... Неловко как-то...

— Ах, милая Груня, что же тут неловкого? Одни глупые предрассудки. Посидим, побеседуем мирно полчасика и расстанемся добрыми друзьями. А?

— Дядя вот только... — произнесла девушка, нерешительно вставая и озираясь.

— Ну, что такое дядя? — расхрабрился Гущин. — Не съест же он нас живьем. Хотите, и его пригласим?

— Э, нет, лучше уже не надо... Боюсь я все-таки.

— Господи, да ведь ничего особенного. Идемте. Пожалуйте.

Внизу, в столовой, Гущин позвонил пароходному лакею в грязном, вонючем фраке и велел принести две порции чаю с лимоном. Поколебался немного и прибавил: «И пирожных там каких-нибудь и вообще...» Хотел было предложить Груне рыбную солянку или стерлядочку и вина, но испугался, что уйдет на этот кутеж пропасть денег, и не решился.

Груня с удовольствием и со стеснением оглядывала жалкую роскошь салона: обои из линолеума, зеркало в раме поддельного красного дерева, электрическую арматуру, вытертый бархат скамеек и кресел. Все это было из другого, незнакомого, аристократического мира, к которому несомненно принадлежал и Гущин с его вельветиновым пиджачком, пенсне, батистовым галстуком бабочкой и непонятными, приподнятыми оборотами речи.

Разговор, не вязавшийся на палубе, стал здесь еще тяжелее. Гущин рассказывал о себе, о писателях, о первых представлениях, о редакциях. Груня внимательно слушала и лишь изредка отворачивалась в сторону, чтобы под углом полумонашеского платка скрыть короткую зевоту, или зевала одними ноздрями, сжав челюсти. Когда же она говорила о скуке монастырской жизни, о долгих церковных службах, о надоевших грибах, снетках, капусте и рыбе, о вышивках золотом и блестками, о хоровом пении, о подозрительности и придирчивости матушек, — скучал Гущин. Он всегда скучал, если говорили не о нем или он не говорил о себе.

Мысль о том, что рядом, в двух шагах, пустая каюта, которую можно запереть, и что во всем помещении второго класса нет, кроме их двоих, ни одного пассажира, — эта мысль была нестерпимо волнующа; от нее холодело и на секунду останавливалось сердце, сладко ныло в животе и в ногах, потели и слабели руки, кружилась голова и по коже бежали щекотливые струйки. Но как приступить? Как это делается? Подсесть поближе? Взять руку? Схватить шутя за грудь? Подойти сзади, сжать двумя руками милую, скромную монашескую головку, отогнуть назад и начать целовать в губы? Пожать под столом ногу? Начать с комплиментов? Заговорить о любви? Рыцарски предложить к ее услугам свою каюту? Нет, это все казалось невозможным, невероятным, неисполнимым. У других это выходит как-то просто, само собою. Должно быть, есть у них какие-то слова и движения, какие-то особые желания, каких Гущин не знает и к ним не способен. И он все чаще и чаще делал паузы, постукивал пальцами по клеенке стола и тянул бессмысленно: «Да-а-а... так, так, так... угму... да...»

Вдруг тяжелые шаги послышались на ступеньках трапа. Они спускались все ниже и ниже, и казалось, под ними гнулась металлическая лестница. Гущин оторопел, и сердце у него затрепеталось, как живой воробей, взятый рукою. Дверь открылась. Наклонив голову, чтобы не стукнуться, вошел в столовую Кудеяр, большой и несуразный, точно слон, введенный в комнату.

— Ты что же это шляешься по каютам, мокрохвостая! — загудел он своим сиплым басом, густо переполнившим салон. — Нашли место, где чаи распивать. Марш! Ходу наверх. Вот скажу отцу... Он те раскочетит.

Гущин, мучительно бледнея, привстал и, точно в обмороке, залепетал:

— Послушайте...вы, может быть, думаете? Ни с какой стати... Как честный человек... Позвольте представиться... Ничего подобного...

Обессилев мгновенно, он опустился в кресло и продолжал сбивчиво бормотать:

— Позвольте представиться... Известный русский писатель. Гущин моя фамилия... Позвольте пожать вашу честную рабочую правую руку... Может быть, чайку... Милости...

— Гунявый! — крикнул Кудеяр звериным голосом, и его прищуренные глаза вдруг страшно раскрылись. — Убью!

В смертельном ужасе Гущин закрыл глаза и втянул в себя шею. Он каждым своим нервом, всем существом понял, что это чудовище может оторвать ему руку или ногу, расплющить голову, исковеркать все тело или просто убить с тем же легким чувством, как он убивал на своей огромной корявой руке комара.

Но Кудеяр инстинктом понял весь насекомый страх, переполнявший душу писателя, и гнев его отошел. Он сказал только, обращаясь к Груне, презрительно:

— Нашла тоже кусок г....!

И осторожно, соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гущина ладонью по затылку. У того ляскнули зубы, больно прикусив язык; подбородок, ударившись в чайное блюдечко, разбил его вдребезги, а в зажмуренных глазах известного писателя запрыгали красные звезды, заплавали лазоревые озера...

Через час Гущин осторожно прокрался наверх, на палубу. Пароход только что миновал пристань Лямь. Чуть ущербленный стоял над головой, на безоблачном

небе печальный месяц. Плоские берега были темны, и кусты на них точно прятались, пригнувшись к земле. По воде бродили разорванные туманы. Поручни, скамейки, канаты были мокры и серы от росы. Пахло утром. Петухи в деревнях хрипло перекликались. Дежурный матрос лениво выпевал на носу:

— Шесть с половиной... Ше-есть... Полнаметки...

На том же месте, где и раньше, сидела девушка в черном монашеском платье. Но, увидав ее, Гущин с чувством страха и жгучего стыда поспешно возвратился вниз, в каюту.

Он долго не мог заснуть. В тесном помещении было душно и жарко, противно пахло смазными сапогами, селедкой и зловонной дешевой жирной пудрой. И хотелось Гущину плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый и что нет у него ни воли, ни желаний. Потом снились ему его недавние вагонные разговоры о себе и о писательстве, и стало ему так колюче совестно, как это бывает только ночью, в одиночестве, во время бессонницы.

Утром лакей постучал в дверь. «Подходим к Весьегонску, — сказал он и добавил со скверной улыбкой: — Хорошо ли почивать изволили?» Гущин ничего не ответил и дал ему двугривенный, который тот принял без благодарности. Наверху уже не было ни Груни, ни Кудеяра. Они сошли раньше на пристани Вознесенской.

САПСАН

Я Сапсан Тридцать Шестой — большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, четырех лет от роду, и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь (дальше я не умею считать), мне повесили на шею тяжелую желтую лепешку, и все меня хвалили.

Однако лепешка ничем не пахла.

Я — меделян. Надо говорить «неделян». В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха: стравливали медведей с сильными собаками. Мой пращур Сапсан II в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя-стервятника «по месту» за горло, бросил его на землю, где он и был приколот главным царским псарем. В честь и память его лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословной могут похвастаться немногие жалованные графы. С потомками древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан — киргизское, и значит оно — ястреб.

Первое во всем мире существо — Хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а друг и покровитель. Люди, эти ходящие на задних лапах, голые, носящие чужие шкуры животные, до смешного неловки и беззащитны. Но зато они обладают каким-то непонятным для нас чудесным и немного страшным могуществом, а больше всех — Хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем.

Хозяин честолюбив. Когда мы с ним идем рядом по улице — я у его правой ноги, — за нами всегда слышатся лестные замечания: «Вот так собачище... целый лев... какая чудная морда» и так далее. Ни одним движением я не даю Хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но я чувствую, как мне по невидимым нитям передается его смешная, наивная, гордая радость. Чудак. Пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями.

Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали по моему запаху, по виду, по взгляду. Я же на расстоянии вижу их души, лежащими предо мною на спинах, с лапами, поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства воспрещают мне трогать сдавшегося, и я не нахожу себе достойного соперника для хорошей драки... А как иногда хочется... Впрочем, большой тигровый дог с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невежливость. Проходя мимо забора, за которым он жил, я теперь уже не чую его запаха и никогда не слышу издали его лая.

Люди не то. Они всегда давят слабого. Даже Хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьет — вовсе не громкими, но жестокими — словами других, маленьких и трусливых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но он не понимает и отмахивается.

Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей в семь и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто, одним внутренним чутьем. Я чувствую тайными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда Хозяина нет дома, я издали знаю: счастье или несчастье постигло его, и я радуюсь или грущу.

Говорят про нас: такая-то собака добра, такая-то — зла. Нет. Зол или добр, храбр или труслив, щедр или скуп, доверчив или скрытен бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей.

Я позволяю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень (меньшая дочка Хозяина, моя любимица, не может выговорить «камень», а говорит «кабин»). Камень — вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем!

Какие глупости говорят люди, будто бы собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза Хозяина хоть целый вечер, не отрываясь. Но мы, собаки, отводим глаза из чувства брезгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой и злой, точно у старых, больных, нервных, избалованных хрипучих мосек. Зато у детей глаза чисты, ясны и доверчивы. Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но Хозяин не позволяет, а иногда даже погрозит плеткой. Почему? Не понимаю. Даже и у него есть свои странности.

О косточке. Кто же не знает, что это самая увлекательная вещь в мире. Жилки, внутренность ноздреватая, вкусная, пропитанная мозгом. Над иным занимательным *мосолком* можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю: кость — всегда кость, хотя бы самая подержанная, а следовательно, ею всегда не поздно позабавиться. И потому я зарываю ее в землю в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю: вот было на ней мясо и нет его; почему же, если его нет, ему снова не быть?

И если кто-нибудь — человек, кошка или собака — проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются? Но чаще я сам забываю место, и тогда долго бываю не в духе.

У нас живет в доме пушистая кошка «Катя», необыкновенно важное и дерзкое существо. Она держит себя так надменно, будто бы весь дом и все, что в доме — люди и вещи, — принадлежит ей. На чужих собак она всегда бросается первая, вцепляясь в морду. Мы с ней живем дружно. Вечером, когда мне приносят мою миску с овсянкой и костями, я охотно позволяю ей подойти и полакать со мною. Но уговор: косточек не трогать. И она это хорошо помнит после того, как однажды я на нее очень громко прикрикнул. Зато и я соблюдаю договор: кошкиного молока не трогать! Однако играть я с ней не люблю. Непременно в игре забудется и оцарапает мне нос. А этого я терпеть не могу. Долго потом чихаю и тру нос лапами.

На днях Маленькая позвала меня к себе, в детскую, и открыла шкафчик. Там на нижней полке лежала на боку наша кошка, и ее сосала целая куча смешных слепых котят. «Правда, Сапсан, какие они восторгательные?» — сказала мне Маленькая.

Правда. Они мне очень понравились. Двух или трех я обнюхал, лизнул и носом перевернул с брюшка на спинку. Они пищали, точно мышата, и были теплые и мягкие, беспомощные и сердитые. Забеспокоившись,

кошка приподняла голову и сказала жалобным голосом: «Ах, пожалуйста, Сапсан, поосторожнее, не наступите на них лапой, вы такой большой».

Вот глупая. Точно я сам не знаю?

Сегодня Хозяин взял меня в гости в дом, где мы еще никогда не бывали. Там я увидел замечательное чудо: не щенка, а настоящую взрослую собаку, но такую маленькую, что она свободно поместилась бы в моей закрытой пасти, и там ей еще осталось бы довольно места, чтобы покружиться вокруг самой себя, прежде чем лечь. Вся она, со своими тоненькими, шаткими ножками и мокрыми выпуклыми черными глазами, походила на какого-то трясущегося паучка, но — скажу откровенно — более свирепого создания я еще никогда не встречал. Она с ожесточением накинулась на меня и закричала пронзительно: «Вон из моего дома! Вон сию же минуту! Иначе растерзаю на части! Оторву хвост и голову! Вон! От тебя улицей пахнет!» И она еще прибавила несколько таких слов, что... Я испугался, пробовал залезть под диван, но прошла только голова, и диван поехал по полу, потом я забился в угол. Хозяин смеялся. Я поглядел на него укоризненно. Он ведь сам хорошо знает, что я не отступлю ни перед лошадью, ни перед быком, ни перед медведем. Просто — меня поразило и ужаснуло, что этот крошечный собачий комочек извергает из себя такой огромный запас злости.

После Хозяина всех ближе моему собачьему сердцу Маленькая — так я зову его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я все терплю и, притворяясь, повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю ее с ног.

Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И. меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему?

*

Летом был такой случай на даче. Маленькая еще едва ходила и была препотешная. Мы гуляли втроем. Она, я и нянька. Вдруг все заметались — люди и животные. Посредине улицы мчалась собака, черная, в белых пятнах, с опущенной головой, с висящим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала, визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас. И от этого пса еще издали сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно-бешеной злобы. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я превозмог себя и загородил телом Маленькую.

Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался, выждал краткий, точный миг и одним скачком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская и теперь совсем не страшная. Но Маленькая очень перепугалась. Я привел ее домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне, и я чувствовал, как дрожало ее маленькое тельце.

Не бойся, моя Маленькая. Когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете не посмеет тебя обидеть.

Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда смотрит кто-то очень большой, больше самого Хозяина, тот, кого Хозяин так непонятно называет «Вечность» или иначе. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений. Придет ли тогда, перед концом, ко мне Хозяин? Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет — моя последняя мысль все-таки будет о Нем.

СКВОРЦЫ

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колесах по дорогам, покрытым густой грязью. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, парившаяся на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые — скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. Сколько неимоверных усилий должно употребить для такого перелета маленькое существо, весом около двадцати — двадцати пяти золотников. Право, нет сердца у стрелков, уничтожаю-

щих птицу во время трудного пути, когда, повинуясь могучему зову природы, она стремится в место, где впервые проклюнулась из яйца и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, что перелетных странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастие для птиц, если встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою маленькую жизнь вечному врагу — человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское, прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастие грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомленные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лете разбиваются грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак всегда спасет от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, излюбленном из года в год месте. Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весною. Это — дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на

крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяческой скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если неосторожный пешеход, бывало, зазевается, то беда грозила его пальто и шляпе.

Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до восьмидесяти верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром — еще до зари — легкий завтрак, и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня.

Итак мы дожидались скворцов. Подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три года тому назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков — на севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна — лезет в чужое гнездо, что поближе к дому — в скворечье или ласточкино. А выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! Жив, жив, жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира!

Наконец девятнадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите — скворцы!»

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, казались непривычно большими и чересчур черными. Мы стали их считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди прозрачных по-весеннему деревьев, легко покачивались на гибких ветвях эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал — и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется двигаться.

Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет — высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки — и назад. Наконец голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, думает, на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит — другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». — «Как? Мне? Да я его сейчас!» — «А ну-ка, ну-ка...» И пойдет свалка. Впрочем, весною все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой.

Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того, чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не больше пяти сантиметров в поперечнике.

А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни на дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И, знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном движении.

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с переваличкой с боку на бок. Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Черная спинка его отливает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая расстояние. Вы

добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы — большой. Птица же — создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно памятлива и признательна за всякую доброту.

И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже расселись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает свою веселую, милую юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте) изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда, на крыше малорусской мазанки, и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать.

В середине мая сворец-мамаша кладет четыре, пять маленьких, голубоватых глянцевитых яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность — развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И, надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит.

Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная, скворчиная песня?

К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми — они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворечника.

Но скворцы — хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда — немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали по крайней мере за версту трех галок. Что это было за ярое преследование! Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе.

Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый, великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворечников, легкомысленно

просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями.

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак однажды утром подает знак, и воздушная конница, эскадрон за эскадроном, взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы! Прилетайте весною. Гнезда вас ждут...

ХРАБРЫЕ БЕГЛЕЦЫ

Нельгин, Амиров и Юрьев — соседи по кроватям в спальной казенного сиротского пансиона. Каждому из них между десятью и одиннадцатью годами.

Юрьев — мальчик вялый, слабенький. У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки, — оттого его и кличут в классе «баба», — светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты.

Амиров — альбинос с белыми волосами на большой длинной от лба до подбородка голове, с красными белками глаз и бледной шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец — такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приемной зале (пансион помещается в бывшем дворце графа Разумовского) в опрятненьком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблоки и вкусные темные деревенские лепешки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решетка.

Амиров-сын — скромен, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза, не тихоня, не зубрила; все, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного стар-

ческой добротности. Он опрятно носит казенную одежду: парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой. Его собственные вещички: перочинный ножик, перышки, пенал, резина и карандаши — всегда блестят, как только что купленные. Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьезной увлекательности и милого порядка.

По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет, к общей зависти, самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками, не то, что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными фразами, заключенными в саженные строки, в которых к тому же попадаются двойные слова, по тридцать букв в каждом, — зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам толково, точно, но суховато.

Нельгин — фантазер. Его воображение неистощимо и чудовищно пышно. Еще до классного обучения, в малолетней группе, по вечерам, в часы, оставшиеся до ужина, когда наиболее прилежные мальчики плели по способу Фребеля коврики из разноцветных бумажек, или расшивали шерстями выколотых на картоне попугаев, или клеили домики, или просто, без всякой мысли, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусленного пальца облака и макароны, — Нельгин рассказывал своим мечтательным слушателям пестрые чудесные истории из своей прежней «домашней» жизни, от которых его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нельгин был увезен трехлетним ребенком, стоит, забытый богом и людьми, ежегодно выгорая, среди плоской безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепных историй, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика, и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных

имений, деревни Щербаковки и села Зубова, проигранных и прокученных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нельгин все это знал умом, но все это было скучное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил, а верил в собственное, яркое, заманчивое и сказочно-прекрасное, верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались непроходимые болота, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьею, великодушным барином. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой: одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Иннокентий изобрел и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водою и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом приготовлять одежду цвета воздуха: надев ее, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдышного, бившего на целую версту.

Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные дебри наровчатских лесов. И — бог мой! — что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров. Как часто четыре брата беззвучно, целыми часами, подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мертвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они, спасаясь от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист! А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойников свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности рассказа, всегда носил под штанами привязанные ходули, а на лице прицепные

усы и бороду, свои разговоры с разбойниками вел страшным, толстым, звериным голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, но так как с их исчезновением пропадала и канва для жутких и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом.

Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна, маленькая румяная толстушка с черными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих, желтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, — она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упреков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова, иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой, повязанной полотенцем, с запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой, кричала, стучала маленьким кулачком по столу и сама плакала от раздражения. Любила и поощряла нашептывание и даже до такой степени, что случалось, в угоду ей, один мальчишка ехидно втравлял другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлебываясь от восторга, с пузырями на губах, доносил.

И вот случилось так, что однажды, в ту полосу, когда Нельгин был в немилости, кто-то из его товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши, и она совершила большую несправедливость: позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой правдой доказала вздорность его россказней и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего ее гнева, назвала его вралишкой и лгуном. Услуж-

ливый хохот других мальчиков еще более ее подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нем чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела Нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальной. Тогда мальчик сжался, затаился, но увлекательность вымысла была сильнее его воли: он разделял четвертушку бумаги на правильные квадратики и в них очень мелко рисовал знаменитую историю борьбы разбойников с защитниками справедливости.

С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук приходили настоящие учители в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки, Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина с княжеским титулом, серолицая, сероглазая; в ушах у нее были вдеты большие золотые колокольчики, с языками из каких-то синих камешков, и когда еще издали в коридоре слышался шум ее каменных шагов и легкий перезвон сережек, — мальчишки цепенели от ужаса.

И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением, уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам.

Единицы да нули,
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А четверок не бывало.

Рассказчичьи таланты Нельгина расцвели в этом году с новой, пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения: его влекло к действию. Ранее всего он, конечно, изобрел свой собственный удальской язык, затем он основал бесшабашную шайку молодых людей, которые, в зави-

симости от прихоти, являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке Нельгина «сацаро-даярами». Принимался в шайку только тот, кто выдерживал двадцать — тридцать ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти бравые молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках кидались в чащу жимолости, шиповника и бузины и рубили налево и направо, холодея от восторга, с волосами, вставшими дыбом на головах.

Потом как-то накатил на Нельгина стих набожности, молитвы, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка, и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам, в спальне, он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочередно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших, вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при ее помощи творить чудеса. У золотушного Добросердова всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга ни бился, ни отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, громко творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли и давал смоченную ватку за щеку для удачного ответа на уроке.

Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные деньги из разноцветной бумаги, по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно плохо сделанные. В них охотно играли понарошку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного перышка, и денежная затея лопнула.

Тогда Нельгин решился делать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав,

опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путем не наткнуться на изобретение золота? С глубокой верой, с таинственным видом он подолгу жевал, обильно смачивая слюной, большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, с известкой из стен, с мелом, с замазкой, с песком из плевательницы и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс: под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня, с бьющимся сердцем, он вынимал сухую бесформенную лепешку и шептал сам под нос с важным, значительным видом:

— Не тот состав. Чего-то не хватает...

Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила полоса влюбленности.

Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев Петр Алексеевич — круглый, седой, гибкий, подвижной, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный — в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приемную залу, в блестящем паркете которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирали с разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались низшими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «па-де-баск» и «па-де-глиссе», считалось особенным мужским шиком дернуть ее за косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую Мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал, что тому, кто будет становиться в пару

с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно побьет морду до крови. Нельгин не был из первых силачей, но он сам давно уже распространил таинственный, многозначительный слух, что он «скрывает силу». Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда, по утрам, в умывальнике очень сильно намыливал себе руки и так долго тер их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал с сумрачным видом, топорща плечи:

— Так надо. Чтобы кулаки были крепче...

И тогда во всем классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблялись самовольно, поделив между собою девочек, точно средневековые завоеватели рабынь. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили слабеньким, зеленым и хилым. Нельгин пошел еще дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирал от усердия щеку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил налепную картинку. На первом же уроке танцев он, потея от стыда и страха, сунул Мухиной в руку свое послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать: она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не покраснела. А на другой день во время урока закона божьего раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нельгина похолодело и затосковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем:

— Нельгин! Иди-ка сюда, любезный!

И бедного влюбленного повели наверх, в дортуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розог. Так, сама собою, както незаметно пресеклась, а вскоре и вовсе забылась первая любовь. Только образ хорошенькой смуглой

Мухиной с ее заспанными глазками и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь.

Трудно было бы перечислить все увлечения Нельгина. Предпоследнее было — свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя ее через голову, перепрыгивает ногами, вроде того, как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что учащая темп вращения, он становится легче и легче, наконец отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется обратить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени «апахов» или «черноногих», прокрался в запрещенный лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на концах, принес его на мальчишеское поле и, твердо уверенный в чуде, подобно мифическому Дедалу, легендарным Аполлонию Тианскому, и Симону Волхву, и нашему почти современнику крылатому Лилиенталю, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину, и крикнул:

— Глядите! Я сейчас полечу!

Но тотчас же запутался в веревке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку.

Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в нее и окончить курс было очень трудно, во-первых, потому, что «разумовских воспитков» вообще принимали неохотно, во-вторых, потому, что они все были подготовлены плохо, в-третьих, потому, что, проведши лучшие годы под влиянием капризных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы.

Из пятидесяти мальчиков выдерживали экзамен десять — пятнадцать; из них после телесного осмотра оставался самый надежный отбор в количестве пяти-шести мальчиков; но даже и эти счастливцы, пройдя через горнило науки и товарищества, уменьшались до трех-четырех. Самых худших, а почем знать, может

быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение — в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам: если виноват, то за вину, а если не виноват, то в поучение, а за особые провинности — вдвое; где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать несколько известных, но скромных военных имен в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия.

Но Нельгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грезах он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким (а время было как раз после окончания войны 1877—1879 годов), иногда даже — до чего простирается мальчишеская дерзость! — Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось веровать в чудо...

Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, пробовал выжать из себя хоть немножко слез и даже делал (надо заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем) в виде невинной взятки почти неосуществимые обеты: «Милый бог! Добрый бог! — говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела, — ведь ты все можешь. Тебе ничего не стоит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом... потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковку... то есть нет: маленькую церковь или хорошую часовню. Только устрой».

В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также, на прогулках, всякой травяной дрянью: просвирками, свербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналег и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и, наоборот, сдержать грубую вольность языка.

Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много нагрешил такой невинный и веселый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьезное испытание. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск клас-

сная дама Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая, холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье — уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого приготовительного гимназиста, поиграть с ее мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол (он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага), наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нельгин, а уже после него, поддерживая свою славу главного силача, выступил ленивый Сурков, — однако Нельгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксера были красны от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того и другого, а другие дети в это время с лицемерно-добродетельными лицами пили шоколад, приготовленный классной дамой для первого знакомства приготовишки с воспитанниками.

Но ушла Ольга Петровна, а на смену ее временно была назначена Вера Ивановна Теплоухова. Ее Нельгин знал еще по группе. Это была длинная, но при этом коротконогая девица, с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От нее всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а формою — на рог носорога. Совсем неизвестно, где рок фабрикует людей такой наружности и такого характера.

Самое же ужасное в ней было то, что она была твердо убеждена в непоколебимости и верности нравоучительных анекдотов и воскресных прописей и каждое свое слово, взятое из книжки, считала священным.

Конечно, она сразу же, по естественному отвращению, возненавидела Нельгина, в котором, даже и в его юном возрасте, чувствовался настоящий бунтарь, — возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, мелочные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движения Нельгина, и звук его голоса,

и невольные привычные гримасы, и живость его воображения, и еще многое, чего она себе объяснить не умела и о чем она потом забыла, как забыла о самом Нельгине.

Это еще ничего, что Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда — он и так почти ничего не ел, — и что его лишали свиданий — к нему никто не приходил, — но Вера Ивановна выбрала с терпением и проницательностью мстительницы самое больное, чувствительное место: она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом и стоял кому-то назло добросовестно и терпеливо. Игры товарищей ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаймленный густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стариком, он убедился, что луг был не более ста квадратных сажений, а лес — кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии, пампасы и льяносы. Стоял Нельгин столбом и думал: «Хорошо бы было нестись по этой зеленой степи, скривив челюсть набок, как будто закусив удила, склонив голову, галопом; по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми неведомыми цветами и остро пахучими травами». И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что, отбыв стояние столбом, ты не побежишь опять по траве», — то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но все-таки побежал бы... Словом, в мнении воспитательниц, он навсегда оставался мальчиком-лгуном.

— Она ко мне придирается, и я больше не могу. Совсем никак не могу, — говорил ночью Нельгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. — Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а

вы — как хотите. Впрочем, это, конечно, будет свинство и вы не товарищи. Читали вы «Дети капитана Гранта»? Пятнадцати лет был мальчик, а он командовал трехмачтовым кораблем: фок, бизань, такелаж, грот, и там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по одиннадцати лет — все равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман, потом мы пойдем на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева: Сергей Фирсович и Аглаида Семеновна — они меня знают. Мама теперь в Пензе, и они ни о чем не догадаются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы...

Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нельгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать.

— Ну что же? — продолжал Нельгин. — Ну что же? Нас здесь мучают, притесняют, из-за каждой ерунды ругают и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась! Но очень просто удрать и в Америку.

— В Америку — это на пароходе, — деловито заметил Амиров.

— Да, на пароходе. Но можно и вплавь, то есть не вплавь, а на лодке. А главное — нужно запастись провизией и деньгами. Мы (он теперь уже говорил не «я», а «мы» — замечательный прием всех заговорщиков) переночуем у Сергей Фирсыча. Он нам даст несколько денег, потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата (меня там все знают) едем в наше имение Щербаковку и Зубово (тут его фантазия разгорается, по обыкновению), нас встречают крестьяне... Молоко, деревенские лепешки, все что угодно... Я им продаю сто десятин леса, тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу, на пароход и едем в Америку. Впрочем, это все я могу и один, а вы — как хотите.

— Это верная дорога, — сказал Юрьев.

Амиров подумал и сказал шепотом, но веско:

— Да! А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает? А потом кто-нибудь профискалит? Потом, мы не знаем, как ехать по паровику. Да.

— Ну, паровик — это чепуха. Я все знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной, — жжик в кусты, а там через парк. Через Яузу вплавь. До Кудринской площади дойдем к вечеру, а потом, уж вы поверьте мне, все будет как следует. Я даю мое честное, благородное слово.

Нетрудно было ему увлечь мальчиков: Юрьева, который всегда шел за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было из обязательного молодечества отказаться от компании. Надо еще раз отметить, что Нельгин не хотел их обманывать: он просто душой поэта и сердцем путешественника верил в то, что все сделается, как он предполагал.

На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение, решившее судьбу побега. Вера Ивановна рассказывала мальчикам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она зла и придирчива. Вероятно, у нее был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нельгина, и он просунул свою стриженую большую голову вперед, забыв в эту минуту о своем побеге, хотя хлеб с солью у него был уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, понюхала, брезгливо сморщилась и сказала:

— От тебя всегда пахнет воробьем.

У всех мальчишек летом, когда волосы немного выгорают, пахнет от головы птицей, но почему-то Нельгин обиделся и ответил:

— А от тебя, дура, пахнет мышами. И потом ты старая, у тебя грязное лицо.

Готово. Нельгин стоял столбом. Вера Ивановна Теплоухова хватается за голову и кричит:

— Нет! Я больше не могу! Уберите мне его отсюда, уведите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя не ручаюсь! Дядька! Где дядька! Дети мои! Никогда не берите пример с таких глупых и гадких детей! Нельгин! Будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до самой могилы.

Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал: «Вот, говорят, что только орлы прямо глядят в

лицо солнцу, а вот я не орел, а гляжу, хотя слезы текут градом». Другие мальчики насыпали горсточку песку, обложили сырой землей, потом снизу отковырнули маленькую дверцу, осторожно пальцами выгребли песок — получился великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера. «Какие дураки, — думает Нельгин. — Тут нужно вставить прутик с зеленым листиком — это будет флаг, кругом воткнуть разные цветы, какие попадутся, и получится дивный замковый сад». Но все-таки же одним краем своего сознания он знал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев. Выждав момент, они, правда, подошли к нему, как заговорщики.

— Что же, — спросил небрежно Нельгин, — слово дано. Бежим?

Оба помялись.

— Да мне все равно. Я один убегу. Потом вы обо мне услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас найду места, вроде генералов. Только я прошу не фискалить. Я с вами не знаком, вы со мной не знакомы.

Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрьев первый сказал:

— Так что же? Раз дали честное слово и клятву друг другу, так пойдем?

Амиров немножко замялся:

— Да вот я не знаю... папа придет в воскресенье...

Но Нельгин уже овладел положением:

— Папа, папа... Подумаешь тоже: папа! Когда мы приедем в Наровчат, я ему вышлю целый воз битых индюков, кур, гусей, соболью шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмем с собою и будем вместе с ним обрабатывать Кордильеры.

Вера Ивановна ходила взад и вперед, окруженная толпою прилежных учеников. Оставляю на ее совести все то, что она, невежественная и злая, говорила в это время! Но едва только она поравнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травки, а третий предавался танцевальному искусству, — поравнялась, повернулась спиной и проплыла назад, — как они все трое бросились в кусты.

Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись — волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просвирняк, и сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было пробираться. Мальчикам казалось, что они катятся по какому-то бесконечному лесному обрыву, затем чаща немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им послышались детские голоса. Нельгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились в совсем незнакомом месте. Там текла черная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, ее приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал:

— Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придет в воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание.

Какой решительный характер был у Нельгина! Четыре забытых доски, вероятно, остатки портомойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остается навеки в истории взрослых.

— Ну что же, Амиров? Это твое дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывем реку и потом дальше. Юрьев! Снимай обшлага! Мигом!

Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов. Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло верх.

— Прощайте.

— Все-таки не профискалишь? — спросил для верности Нельгин.

— Честное слово! Вот ей-богу!

Амиров ушел. Ребятишки сели на неустойчивый плот и кое-как, обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями: если бы они скувырнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбра-

лись ползком на противоположный берег и только тогда ясно почувствовали, что все расчеты с прошлым покончены.

И тотчас же они услышали лай, подобный грому. Два больших холеных сенбернара летели прямо на них.

Надо сказать, что мальчики, если и видали собак, то только на картинке, но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай — это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нельгин с быстротой обезьян вскарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса.

Пришел какой-то человек, грязный, с черным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков:

— Откуда вы? Кто такие? Где живете? Куда идете?

Нельгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась «Красная шапочка»:

— Мы идем в Кудрино, к бабушке. И вот заблудились. Как бы нам пройти?

Черный человек все-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железоделательного завода «Дангаузер и К°». Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и черный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлагов, однако, навели его на почти правильную мысль:

— А все-таки вы, может быть, из этих самых, как его называется? Елизаветинское училище?

Елизаветинский институт был рядом с пансионом, и если бы он сказал из «Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нельгину.

— Помилуйте! Елизаветинский институт — это женский институт, а мы просим указать дорогу.

Немец их отпустил, сказав, однако, черному человеку:

— Ты гляди, чтобы чего-нибудь не украли.

Черный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасавшего летнего дня цветились

радугой лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором.

Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андрониевского монастыря. Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый: «Поверни направо, потом еще направо, там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрено — там и увидишь Кудрино», или: «Вы, мальчики, идите все прямо, никуда не сворачивая. А где ваши папа-мама? Ай, ай, ай! Такие маленькие мальчики ходят одни! Как ваши фамилии?»

Но чутье подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер... Юрьев куксился, говорил о том, что он, конечно, пошел бы за Нельгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе кошелек с семью копейками и образок — благословение покойной матери (она .и не думала умирать). Нельгин понимал, что уступить, поколебаться, сдаться — значит потерять все и сделаться навеки смешным. И он по-своему был велик в эти минуты.

— Давай, — говорил он Юрьеву, — прикинемся, что мы — бродячие итальянцы.

— Молякаля селя малям! Лям па ля то налям калям.

От них прохожие шарахались. Неизвестно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов. Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали ее и — о подлая, бессердечная Москва! — один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и едва раздышался. Был еще один жуткий момент, когда они очутились в центре города, шли по какой-то людной,

узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный и, должно быть, честный человек сказал:

— Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево. Тогда вы попадете как следует.

Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина по карте было около восьми верст. Вероятно, ребятишки со всеми нелепыми кривулями сделали верст больше двадцати, но все-таки они, наконец, дошли до Кудрина и нашли напротив Вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка.

Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако, в память прекрасной покойной женщины и побежденные красноречием Нельгина, они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка (одно окно в коридор), случайно пустовала. Нельгин, усталый, изодранный, врал из последних сил:

— Мама теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться.

Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен: «А вдруг догадаются, что мы ничего не ели?»

— Спасибо: мы только что пообедали.

Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе писарем и раньше, еще во времена бабушки, не без остроумия говорил о себе: «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я — безгласный». У него и у жены не было детей, но зато у них было шесть или семь собачонок, маленьких, черных, короткошерстых, с рыжими пятнами под глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а

вечером кормил собак вареной печенкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал.

Но Нельгин знал отлично, что собаки печенку не доедают; поэтому он сказал Юрьеву:

— Теперь лежи, не шевелись. Сейчас я достану «пищу».

И, правда, ощупью в темноте он набрел на тарелку с печенкой (сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились) и принес ее Юрьеву. Должно быть, в печенке весу было около полуфунта, но этого хватило, и затем... блаженный сон усталых тружеников, без сновидений, без просыпа...

Наступило утро. Мальчики проснулись освеженные. Нельгина не оставил дух предприимчивости, но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дергая носом:

— Что мы будем делать дальше?

На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня еще не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щелку и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках: стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернет свой шелестящий лист. Милый, добрый Сергей Фирсович! Да будет тебе земля пухом: ты, должно быть, о чем-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю. Они ответили: «Спасибо, мы очень торопимся» (этакие деловые люди!)... И отпустил их с миром.

До сей поры почти все предположения Нельгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но все-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Очутившись на улице, Юрьев заныл:

— Хочу домо-ой, в пансио-о-н!

— Это подло, — сказал Нельгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится сдачей. — Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово.

— Бою-юсь!

— Ладно, — сказал Нельгин, — только сначала сходим в зоологический сад.

— Да-а. У нас денег не-ет.

— Ничего. Ты, как я. Я знаю.

Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые триста шагов. Направо каланча, налево церковь Покрова, затем — налево какие-то пруды, направо — зоологический сад, между ними — мост. Нужно так: мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса: тогда ты не проходишь через контроль. Нельгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как черт. Юрьеву нечего было делать: оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, невыспавшиеся, они посетили и какаду и страуса, причем Нельгин стравил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов, посетили и слонов, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой; подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их, это до сих пор остается загадкой. Вероятно, все-таки человеческая воля — это область до сих пор не исследованная.

Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нельгина:

— Ты скажи, что это ты затеял, а я только так.

— Хорошо.

На этот раз путь был не так долог. Помогли и бессознательная животная память местности и дневной свет. Часам к трем пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки, полотеры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания, и так они сначала не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно бы-

стро их все-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты, со строгим запрещением видаться друг с другом. Нельгин сдержал обещание: взял всю вину на себя.

Тяжело было одиночество: ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком: одиннадцатилетний Нельгин додумался до разговора стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нельгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на «ять». Но вот однажды, около полудня, раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков.

«Ну! все равно выдерут, — подумал он. — А вдруг я возьму и умру внезапно? Потом они все будут жалеть...» Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову... Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала свое почетное место княжне Л., и поэтому в его лазаретную каморку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть веселых светских барынь и почти все утлые классные дамы.

— Вот посмотрите, княжна, если угодно, — сказала княгиня. — Сокровище! Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. Вот с чем вам придется бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей.

Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо:

— Ну ничего: широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, что он и пропадет, но, может быть...

— Вы смотрите через розовые очки.

— Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания.

— Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену?

— Конечно, я согласна наперед с вашим мнением, княгиня, но один маленький опыт, если позволите...

— О, конечно. Прошу вас.

— Благодарю вас. Вы очень любезны.

И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нельгин ровно ничего не понял, но как мог — он все-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала:

— Не выпороть ли нам этого мальчишку?

А другая сказала:

— Нет, зачем же: он такой маленький и худой...

А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нельгин услыхал легкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, полная княжна могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдоль коридора:

— Pardon, princesse...[1]

Княжна вошла в скучную больничную комнату, взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла ее кверху, внимательно-долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нельгина, потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала:

— Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе пришлю куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена.

Она уже готова была уйти, но вдруг остановилась.

— Это правда, что ты один задумал побег и уговорил товарища?

— Правда, — твердо сказал мальчик.

И прибавил с презрением:

— Он такая баба!

Милое, полное лицо княжны все осветилось прелестной улыбкой.

— Ах ты дерзкий мальчишка! — сказала она ласково и погладила его по загорелой исцарапанной щеке. — Ну, хорошо, непоседа, живи как хочешь. Только не делай ничего бесчестного. Прощай, бунтарь.

---

[1] Извините, княгиня... *(франц.)*

Она наклонилась к нему. На мгновение, с закрытыми глазами, Нельгин уловил чистый и сладостный запах духов, почувствовал на лбу прикосновение нежных губ, и на него повеяло слабым ветром от удаляющегося платья.

Первая ласка от чужого человека. Он открыл глаза. Никого в комнате не было. Из коридора доносились затихающие звуки легких поспешных шагов. Нельгин прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно со слезами на глазах:

— Для тебя!.. Все!

ЗВЕЗДА СОЛОМОНА

I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал тридцать семь рублей двадцать четыре с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, — сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских,

блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами.

Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате, в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимою же на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было божие милосердие, образ богородицы-троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка — за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи — за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство — за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось — получить заветный

первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, — жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресение утром — кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание — разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданьица, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет — и то по особо настойчивым приглашениям — в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также се-

минаристы и кое-кто из соборных певчих — голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, коечто из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще — церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и — старый потертый крокодил — плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего — волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.

II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены распла-

кавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем, старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом, был позван и церковный хор.

День закончился в «Белых лебедях» настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодьякону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему — замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на

глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами, одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

— Я и не скрываю. Чего мне скрывать? — говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. — Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!

— Го-го-го! — загрохотал оглушительно Картагенов. — Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

— Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

— Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. — Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в писании: «Не надейтеся ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой

нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком; малолеткам — ко дню их совершеннолетия. А на руки — немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу — три рубля, за пять тысяч — десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч — пятьдесят целковых, по тогдашнему времени — целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь — готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж — никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, — почем знать? — и в удвоенном размере. Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдадено в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис[1], даже до полного расстройства стомаха[2].

Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!» —

---

[1] Вдоволь (от *лат.* Quantum satis).
[2] Желудка (от *греч.* stomachos).

«За что, папенька?» — «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.

— Маловато, — заметил кто-то иронически.

— А что же? — возразил другой. — Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы...

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов:

— Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не видывано.

— Ве-ерно, — протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

— Да-а, — подтвердил Сугробов на кварту ниже. — А я бы, — заговорил он с оживлением, — я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я — до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды... — закончил он в нижнее контр-ля.

Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена — маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житнем базаре.

И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазни-

тельная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалась, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании, с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

— Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч — дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, — одно суесловие, раздражение плен-

ной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!

— Ему бы миллион, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. — Известно, консистория — место хлебное, а глаза у нее завидущие.

— А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» — «А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет — в морду. Как мимо — так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

— Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

— Я? — встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. — Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы

теперь... светло, уютно... компания милых, хороших товарищей... дружная беседа... — Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. — Я хотел, чтобы был большой сад... и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей... И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили... в простоте, дружбе и веселости... Никто бы не ссорился... Детей чтобы был полон весь сад... и чтобы все мы очень хорошо пели... И труд был бы наслаждением... И там ручейки разные... рыба пускай по звонку приплывает...

— Словом — рай! — прервал его Световидов.

А протодьякон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

— Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубино торжественная, людие веселием играша воспевающе...»

Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

III

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал осторожно чей-то голос.

Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди — огненно-красный галстук, под мышкой — древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ — брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

— Я стучал два раза, — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. — Никто не отзывается.Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. — Он извлек из жилетного кар-

мана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. — Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело... Да нет, вы не волнуйтесь так, — заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. — На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти...

— Ах, это ужасно неприятно, — конфузливо сказал Цвет. — Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

— Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести...

— Сначала позвольте рекомендоваться. — Посетитель протянул визитную карточку. — Я — ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель.

«Странно. И фамилия как будто бы знакомая», — подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

— Очень приятно... Но я...

— Один момент... Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

— Совершенно точно.

— Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно?

— Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно... Так, какие-то мелочи... и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

— Это вовсе и не важно. Пара пустяков, — небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв

свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. — Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом — что называется — чудаком.

— Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры.

— Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозяйным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист — какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим

старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.

— И чтобы не быть голословным, — продолжал Тоффель, — позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение... Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та, тра-та, — забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами.

Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков.

«Как его звать? — подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. — Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью:

— Но, видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно... Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко Черниговская губерния...

— Стародубский уезд, — подсказал Тоффель.

— Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний... Кроме того, ваши любезные хлопоты... Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

— Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма

щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

— О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

— Признателен, — поклонился Тоффель. — И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

— Позвольте, но это уже совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск... Необходимо достать денег на дорогу... Собраться... И мало ли еще, что?

— Пара пустяков, — самодовольно и ласково возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте.

— Вы — волшебник, — прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим.

— И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг — это уж так водится у нас, адвокатов, — ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет» — и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

— Вы так любезны и предупредительны... что я... что я... право, я не нахожу слов.

— Сущий вздор, — фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. — Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка.

— Это билет первого класса до станции Горынище, а это — плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio caro...» [1] — пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. — А с вашего разрешения, я пособлю вам уложиться!

— Ах, что вы, помилуйте... Ради бога! — смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой.

— Экий вы щепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек — вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж [2].

— Спасибо, — сказал Цвет. — Прелестная вещь. — Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, — думал он, — и как поразительно скоро совершаются все события! Право — точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо... Где же я его видел раньше?»

---

[1] Пойдем, пойдем, мой дорогой... *(итал.)*

[2] Вознаграждение, комиссионные (от *франц.* courtage).

— Но как все это необыкновенно, — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. — Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

— Ах, молодой человек, молодой человек... Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего... Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я — мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проканителитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый, — хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, — помните? — полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Про-

стыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие fantaisie. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу... Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее... Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря — никакого. Дом — сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть — рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все — хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии... Ведь вы человек верующий? — Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. — И вам, такому свежему,

милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

— Даю, даю. Сделайте милость. Господи!..

— Крр... — издал ходатай горлом странный трескучий звук.

— Что с вами? — заботливо спросил Цвет.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь... Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так.

Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

— Не откажите принять. Это так... дорожная провизия... Немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы... А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бель-вю. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты.

И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники — вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал

Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, — женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам — Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, — думал тревожно Цвет. — Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто».

К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством.

— Так-таки до самого, до паньского фольварку? — спросил он, наконец, недоверчиво. — До того Цвита, що вмер?

— Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович.

— Эге ж. — Старик чмокнул на лошадей губами.. — А вы сами из каких будете?

Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

— Эх, не доброе дило... Не фалю.

— Почему не хвалите, дядя?

— А так... Не хо́чу...

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно:

— Вылазьте, ну, панычу. Бильшь не поиду.

— Как же это так не поедете? — удивился Цвет. — Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

— Ни. Не поиду. А ни за пьять корбованцив. Не хо́чу.

Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

— Боитесь, верно?

— Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите мини мои гроши, тай годи.

Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися

деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения.

Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери — парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, — были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

— А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? — спросил он. — Всюду заперто.

— А чи я знаю? — равнодушно пожал плечами мужик. — Мабудь у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, просю, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите — такее зробилось, що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки... И загубил свою душу, а ни за собачий хвист. И вас, панычу, нехай боронит господь бог и святый Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела.

«Точь-в-точь как голос Тоффеля», — подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание.

— А ну, седайте, панычу, скорийше и поидеме до села, — сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чаю, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем.

Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками:

— Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное, не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежение всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты... А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе.

Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался.

Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и пригласил его на завтра к утреннему чаю.

— Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии.

Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости.

— Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я — солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский.

И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидениев, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой — и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мур-мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по электричеству работает.

Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку.

Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, — но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими

колеблющимися лоскутами. Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек.

По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, — такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько бо́льших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был

постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «venena»[1]

Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на полу и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство in folio[2], в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение.

Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной.

Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежав-

---

[1] Яд *(лат.)*.

[2] Форматом в половину бумажного листа *(лат.)*.

ших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и раскрыл ее.

На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «н», похожим на «т», и «д» — на «п», тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено:

«Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии».

Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв, вроде «р», «д», «у», «з» и тому подобное, стояло:

«Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин.

Москва, Сивцев-Вражек, свой дом».

И еще ниже — мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика:

«По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г. Апреля 3-го, ус. Червоное, Черниг. губ., Стародубского у.».

С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы.

Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь — не то арабская, не то еврейская. Из латин-

ских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны.

Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей.

Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за нею в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «а» значила местоимение «я», буква «к» — союз «и», «пессв» расшифровывались в «огонь», часто встречающийся знак «ехт» значил — «дух», «тнсжу» — читалось, как «слово», нелепое «грлбсп» означало «возьми».

Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его

способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему.

Вся книга была вперемешку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились — одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «Звездой Соломона».

И всегда «Звезда Соломона» сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).

Асмодей.

Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).

Дагон.

Люцифер.

Молох.

Хамман (иногда Амман и Гамман).

Видно было, что все три предшественника Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, — может быть, слово, может быть, целую фразу, — и расположить ее по одной букве в точках пересечения «Звезды Соломона» или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один — в своей княжеской вотчине, другой — в Москве, третий — в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически не перестраивали и не склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan.

Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью. «Подумать только? Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза «А». Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсем? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?»

Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:

«Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно! Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле — сила. В силе — власть.

А. Цвет».

У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:

«26-го апреля 19** года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное».

И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком «Звезды Соломона» и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще не-

сколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре.

«Странно, — подумал он. — Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же... попробуем...»

В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь — где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы.

Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой.

Astoret
Asmodeus
Dagon
Hamman
Lucifer
Moloh
Velial

И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то во всяком случае все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнения в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников.

Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. «Опять верно, — подумал Цвет. — Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почем знать — не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в «Звезде Соломона»?

В звезде всего двенадцать точек, значит тринадцатая и, верно, самая важная, пойдет в середину. Если

начать со слова Satan, то не поместить ли S в центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: «Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца». Конечно — S». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы — a, t, a, n.

Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: Voco te, Satanoe! Advoco te, Satan! Veni huc, Satana[1].

Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается.

И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет!

Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать *совершенно не пропускали света.* Это были следующие буквы: a, a, e, f, g, i, m, n, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: e, g, i, m, o, o, r, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола.

---

[1] Зову тебя, сатана! Призываю тебя, сатана! Приди, сатана *(лат.)*.

Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям «Звезды Соломона» справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, ониг, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. «Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе...» Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг... точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.

— Афро-Аместигон! — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. *«Мефодий Исаевич Тоффель!* — мелькнуло быстро в памяти Цвета. — Меф-ис-тоффель!»

Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом:

— Кш! проклятый! Брысь! Афро-Аместигон!

Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом.

— Мэ-э-э! — угрожающе заблеял козел и наклонил рога.

— Ах, так? — крикнул в исступлении Цвет. — Афро-Аместигон!

Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета.

И он потерял сознание.

V

Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую моледину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением.

Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле.

Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате, на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную

старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана.

Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой.

«Ах, хорошо жить! — подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. — Только, вот стаканчик бы чаю... А как его достанешь?»

Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар.

— Добрый день, паныч, — прошамкал он в свою зеленую бороду. — А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Пождите трошки, я зараз принесу.

Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый съеженный временем лимон.

— Самовар я у батюшки-попа занял, — деловито объяснял сторож. — А цитрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с цитроной пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давношнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе — вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко.

— Садитесь и вы, дедушка, — предложил Цвет. — Давайте стакан, я вам налью.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание.

Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат — большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам — все это бабьи сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну да это, как сказать, — каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо... Не пьют, не курят, в карты не играют... Чисто вокруг себя ходят... Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок...

Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал.

— А уж не горит ли что у нас часом? — спросил он, бережно ставя блюдце на стол.

— И то горит, — согласился Цвет. — Пойду посмотрю.

Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь.

— А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, — посоветовал храбрый старик. — Давайте я.

Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу.

— Оставьте. Можно потушить.

Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо.

— От так! — крякнул с удовольствием сторож. — Туда ее, к чертовой матери.

— А и правда, — спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно...

С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью...

— Ну, и хлам! — сказал Цвет, качая головой.

— И правда, — согласился сторож. — В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить.

По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами.

Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и в груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы

поскорее домой, — подумал он. — Ни за что здесь не стану жить».

В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот.

— Никак почта из Козинец? — сказал сторож. — У нее такой звонок.

Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице.

— Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма, — крикнул почтальон на ходу. — С приездом имею честь.

Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля.

«Козинцы нарочным Червоное усадьба помещику Цвету.

Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель».

Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался.

— Надо, дедушка, мне ехать обратно, — сказал он деловито. — Как бы лошадь достать в селе?

— А вот не угодно ли со мной? — охотно предложил почтальон. — Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку — мигом доставит. И как раз к курьерскому.

— Мало погостили, — заметил древний церковный сторож. — А и то сказать, что у нас вам за интерес?.. Человек вы городской, молодой... Покорнейше благодарю, ваше благородие... Тяпну за ваше здоровье...

Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам...

— Ладно, ладно, — весело перебил Цвет. — Подождите, я только сбегаю за чемоданом и — езда!

VI

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса.

Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно-фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса — все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь.

Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным.

Слегка поражало его — хотя лишь на неуловимые, короткие секунды — то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, — точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный *подсон* узорчатого сна, — давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.

Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, — веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным моло-

дым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, невынимающуюся из ножен шашку, а с правого — десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.

Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горынище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.

Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.

«Неважная штучка мои часы, — подумал Цвет, — а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка... можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце...»

Он сказал ласково:

— Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет... — И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: — ...вот этот золотой фамильный хронометр с брильянтовым брелком...

— Го-го-го! — добродушно захохотал почтальон. — Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.

И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенек с небольшим брильянтом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.

— Извините... такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон. — Мне, право, совестно.

Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:

— Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.

VII

Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались.

— Чудесный вы человечина, — сказал растроганный Цвет. — От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе.

Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния.

— Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, — увы мне, чадо мое! — так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна... в Стародубе... звать Клавдушкой... Поразила она меня в самое сердце. На рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но — куда! Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: «Потерпите, может быть и удастся повлиять на папашу. Подождите, сказала, я вас извещу». Но вот и апрель кончается... Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути... Всего вам наилучшего... Бегу, бегу.

Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками.

«Как хороша! — подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. — Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она — единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!»

Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она

погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.

Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне!» — мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез.

Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича.

— Дорогой мой... если бы вы знали... Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота... Подождут один день... Провожу вас до первой станции... Такой день никогда не повторится... Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун...

— Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю.

— Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните?

— Помню.

— И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее... Верно?

— Ну да.

— И вот, представьте себе... как по щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уж старый и трухлый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только.

Он совал в руки Цвета два конверта. Один — казенный, большой, серый, другой — маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно:

— Может быть, в этих письмах что-нибудь такое... что мне неудобно знать?..

— Вам? Вам? Вам все дозволено! Вы — мой благодетель. Смотрите! Читайте!

Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками.

— И прекрасно, — сказал ласково Цвет, возвращая письма. — Сердечно рад за вас.

— И я безмерно счастлив! — ликовал почтальон. — Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?

— Что же. И я бы не прочь, — отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке.

— Завтракать будете?

— Вот что, — уверенно ответил Цвет. — Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам... — Он задумался, но всего лишь на секунду. — Подайте

нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов.

— Слушаю-с, — ответил почтительно, с едва уловимым оттенком насмешки официант и скрылся.

— Я вам говорил, что вы кудесник, — обрадовался почтальон. — Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется.

Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха.

И он произнес слабым дрожащим голосом:

— Хорошо. Пусть будет музыка.

Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: «O solo mio...» [1]

Модестов выглянул из купе.

— Бродячие музыканты! — доложил он. — Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство.

Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон — всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю — сторож принес чай. Он подумал — и то мимолетно, — что хорошо бы было развязаться с усадьбой, — получилась телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать — Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр» — и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета — и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд... Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая... И главное — самое главное и самое

[1] О единственный мой...

тяжелое — то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного.

Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя:

«А убрался бы ты куда-нибудь к черту».

Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду» — и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении, или сорвался с поезда — этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим.

Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент, поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка еще!» — продолжал погонять его Цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин.

Сам Цвет перепугался. «Нет, уж это слишком, — подумал он. — Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста».

«Слу-ша-ю-у-у!» — загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход.

«Вот так, — похвалил Цвет, — это мне больше нравится».

Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала «тормозить». А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила...

«Как все просто», — подумал Цвет... Но в этой мысли была печальная покорность.

В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным, маленьким червяком. «А что, если упадет?» — мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент — и он сорвется.

«Не надо, не надо!» — громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста.

Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» — спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться.

На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки.

За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем.

«А, что б ты заткнулся!» — досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет, нет, пускай благополучно!» — торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица.

— Иди, и чтобы это в последний раз! — сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно... — А то...

«Опять и опять, — подумал без удивления Цвет. — И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо-длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на «0» и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты... Они говорят — полоса. Так и я попал в какую-то полосу...»

У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!»

Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета.

«Это хорошо, — решил он. — Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне».

Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная.

«Неудовлетворительно, — насмешливо сказал Цвет. — Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов «Ландыш».

В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном

фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой:

— Вот, барин, не угодно ли вам... Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся?

— Дайте.

Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни: «Мугует, Пинауд, Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.

«Вот это случай — так случай, — снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. — Но — баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь».

— А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? — спросил он.

Проводник помялся.

— Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием.

— Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель.

Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», — шепнул засыпающий Цвет.

VIII

Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель.

— Доброго утра, мой достопочтенный клиент, — приветствовал Цвета ходатай. — Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали.

«Где-то я его видел, — подумал Цвет. — И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!»

— Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?

— Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь.

Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека, — размышлял он. — Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся... Да что это? Неужели я его боюсь? — Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. — Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, — обратился он к своему изображению в зеркале. — Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами. Идите пить чай».

В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце!

— Я должна попросить у вас прощения... Вчера я позволила себе... такую необузданную... мальчишескую выходку...

«Смелее, Иван Степанович, — приказал себе Цвет. — Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен».

— О, прошу вас, только не извиняйтесь... Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет.

— Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно...

— Позвольте от души поблагодарить вас... Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук... Я ваш вечный должник.

— Воображаю, как вы испугались... Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома.

— Ничуть. Это был такой милый, красивый и... царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным...

Дама весело рассмеялась.

— Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом: «Скоро ли мы проедем через Курск?» А он говорит: «Вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону, вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг... И села сюда... И вот утром вы... Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидала.

— Но какая неосторожность... выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться?

— Э! Я ловкая... и потом что суждено, то суждено...

— А знаете ли, — серьезно сказал Цвет, — ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?

— Этому позвольте не поверить... Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных...

— А потому, — раздался сбоку голос Тоффеля, — позвольте вас представить друг другу.

По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия.

— Ах, это вы, Мефодий Исаевич... Вот неожиданность.

Тоффель церемонно назвал Цвета. Потом сказал:

— Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна...

— А это всезнающий и вездесущий monsieur Тоффель, — ответила она и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета.

— Идемте к нам чай пить, — предложил Тоффель, — у нас сейчас уберут.

Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече.

Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человечьему горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная энженю-комик [1] на любительских спектаклях и так далее и так далее.

Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую

---

[1] Комическая простушка — театральное амплуа (от *франц.* ingénu comique).

карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, tenor di grazia[1]. Немного художник и поэт... Душа общества... Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились.

Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой:

— Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя... У вас есть записная книжка? Запишите: Озерная улица... Не знаете? Это на окраине, в Каменной слободке, — дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно.

Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила и подумал: «У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами».

Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе.

— Хороша? — спросил, прищуря один глаз, Тоффель. — Вот это так настоящая невеста... И собой красавица, и образованна, и мила, и богата...

— Будет! — оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему — Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно:

— Надо бы автомобиль.

---

[1] Лирический тенор *(итал.)*.

— Сейчас, — услужливо поддакнул Тоффель. — Мотор! В Европейскую.

Дорогой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в четыре-пять комнат, изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево «настоящие» вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы — в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца... Словом, мы завоюем весь мир!..

Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем.

Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею:

— Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню.

Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза — все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом:

— А слово?.. Вы узнали слово?..

— Не понимаю, — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. — Какое слово?

Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни.

«Там... в усадьбе... книга... формулы... Красный переплет... Мефистофель...» — забродило в голове у Цвета. Тоффель же продолжал настойчиво шептать:

— Заклинаю вас, назовите слово... Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь...

У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы.

— Не знаю... не могу... не умею...

Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках, по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями.

— Слово, слово, слово... — лепетал он. — Вспомните, вспомните слово!

Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля.

— Оставьте, не надо этого, — сказал он резко. — Слышите ли — я не хочу!

Тоффель поднялся и спиною к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха.

— К черту! — воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. — К черту-с. Я пьян, как фортепьян. Забудьте мой бред — и к черту! Прошу извинения. Но еще... только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить.

— Хорошо. Говорите, — согласился Цвет.

Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак.

— Что у меня в руке?

Цвет с улыбкой ответил уверенно:

— Маленькая золотая монета.

— Что на ней изображено?

— Подождите... сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя... Голая шея... Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически...

— Гм... да, — произнес Тоффель угрюмо. — Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?

IX

Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки.

В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот,

любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть!» — как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве.

Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая — жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!» — кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренно произносил: «Уйди!» — и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом.

Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений.

Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире.

Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий.

Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух!» И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движениям. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное!» — подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий Фарман № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни.

Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит!» Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу.

Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи,

вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах.

Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском «свете».

В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен...

Когда по звонку лошадей одну за другой — их всех было одиннадцать — выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил:

— На кого ставите?

— Сию минуту, — ответил вежливо Цвет, — я только соображу.

Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались.

Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных нумеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись,

небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленах ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов.

После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья.

— А вот на эту... рыженькую, — сказал наивно Цвет. — Она придет первой.

Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса:

— Верно, как в государственном банке.

Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом:

— На Сатанеллу? Замеча-а-а... Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком... Мне все равно, но деньги бросаете на ветер.

Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.

— Поставьте на эту... на как ее... на рыженькую... Голубая рубашка со звездами.

— Сатанелла, нумер одиннадцатый.

— Да, да.

— Сколько прикажете?

— Все равно. Ну, там билетов... десять... пятнадцать... распорядитесь, как хотите.

— Слушаю, — поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.

— Прекра-а-а... — пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы. — Изуми-и-и... Но послушайте же, — переменил он голос на более естественный. — Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок.

— В первый раз.

— Вот видите... Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье... Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион... А здесь аб-со-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете... понимаете, которая еще не родилась.

— Однако она — вот она! — весело возразил Цвет. — И придет первым нумером.

— Удиви-и-и... — прохрипел сосед.— Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: нумер одиннадцатый — Сатанелла... владелец Осип Федорович Валдалаев. Это мы, — ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. — И мы вам говорим, что она без места.

— Первой.

— Не пос-ти-гаю, — пожал плечами владелец. — Ну, хотите, — я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей?

Цвет упрямо тряхнул головой.

— Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении.

— Но и я не хочу выигрывать наверняка, — холодно возразил сосед. — А за то, что она не придет

первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника.

Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета.

— А я, — сказал он резко, — ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой.

В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая.

— Не будем сердиться, — добродушно сказал Валдалаев. — Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гальтимора, и ее цена, если продазать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй.

— Первой, — уперся Цвет.

— Хорошо, — пожал плечами Валдалаев. — Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, то — ни вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?

Цвет ясно улыбнулся ему.

— Хорошо.

— И великоле-е-е...

Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались негодующие голоса: «Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравни-

тельно кучно, сжались перед стартом, и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле.

Подошел Тоффель с билетами.

— Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, — за нумер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета. Чисто!

Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседелые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял по крайней мере сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга... Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности.

К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за

ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей... Остальные лошади остались на той стороне круга.

Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно:

«Ты, ты должна быть первой!..»

Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу... Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая скровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики.

— Поздравляю, — льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель...

— Ну вас к черту! — резко швырнул ему Иван Степанович.

Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник:

— Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите.

— Да мне, собственно... не надо... — залепетал Цвет. — Я ведь это просто... так... зачем мне?..

— Что-с? — рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. — Н-не на-до? Эття чтэ тэкое? А за уши? Я Вал-да-лаев! — громом пронеслось по судейской беседке.

И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него.

Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже.

— Э, черт! — тоскливо выругался Цвет. — Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? — спросил он кого-то, стоявшего у барьера.

— Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла... Да, впрочем, и жокеи тоже... известные мазурики.

Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых.

— Наша взяла! — торжествовал он, подбегая к Цвету. — Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал.

Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда.

— Сто? Лосадку залко? — спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски. — Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости. Едемте-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш.

— Тоффель! — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: — Уйдите прочь.

Но про себя он подумал с горечью и тоской:

«Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил.

Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг

это она, Варвара Николаевна», — подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.

X

Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это — явь или сон? И если сон, то когда он кончится.

Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и на много ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо — рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен.

Цвет наделал ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сер-

дито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах».

— И он это может, — прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. — Он бывший ахтырец и знаменитый бреттер.

— Тен-то може! — уверенно подтвердил граф.

А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал:

«Ну, в таком случае я его убью».

На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой.

Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета... «Я прострелю ему ухо», — решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу». И сжал указательный палец.

Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойно октавой:

— Превосхо-о-о-о...

И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном:

— Извиняюсь перед вами... Я не то о вас подумал... Я думал, что вы... так себе... шляпа... А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и...

Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После

соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка.

— Пишите, Иван Степанович, — сказал Тоффель с мрачным удовольствием. — Пишите.

А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей.

— Но чтобы, — кричал он, стоя, шатаясь и расплескивая бокал, — чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый храп!.. В мордочку! Безнаказанно! Урра!

— Поедем в купеческий клуб, — сказал где-то в пространстве Валдалаев, — там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч.

— Есть. Езда! — ответил с добродушной готовностью Цвет. — Но сперва вымойте меня сельтерской водой.

Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо:

— Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их — рразом... Понимаешь?

— Рразом! Понимаю!

— Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно?

— Д-да!

— Валяй!

— Я им пок-кажу-у!

— Покажи.

В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на не-

сколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха:

— Господа. И французов, и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы — простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною?

Его проверили. Загадывали двадцать седьмую, и девятую, и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились.

Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом:

— Сногсшиба-а-а... Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги — к чертовой их матери!.

И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек.

А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющую широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски.

Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди-Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы.

Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес — три пуда двадцать пять фунтов — и его непоколебимая решимость скакать.

Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени Mademoiselle Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства.

И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремена, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами.

Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему

сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок «à la hausse» и «à la baisse» [1]. Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да, право, я и сам не знаю...» Но в том-то и заключалось скрытое несчастие и невидимая боль его жизни, *что он знал и не мог никому сознаться.*

Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему; налицо оказывались: и полученное наследство и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти.

Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличи-

---

[1] «На повышение» ...«На понижение» *(франц.)*.

вался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом[1], величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереею и зимним садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта[2] двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти Изабелла, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами.

Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире (как в этом по крайней мере уверял прежний владелец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора — всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному свет-

---

[1] Дворецкий (от *франц.* majordome).

[2] Двухколесного экипажа (от *англ.* dog-cart).

скому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств.

Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные, шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события.

Ужинали на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками.

В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет *хотел,* так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.

С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью «двойного зрения», с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, — так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно

было для этого, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, — перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, Цветом, холодно наблюдающим мастером.

Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица, в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко.

И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий — все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их

полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству.

О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза — затуманенные, влажные — искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана, Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным.

Была во всем свете лишь одна — ее имя начиналось с буквы «В» — одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважил бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала.

Чтение чужих мыслей было не единственным несчастием Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не

мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: «Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы...» Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение... и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками.

Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным зловещим багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение земли вокруг ее оси и что эта остановка повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой земле: «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло.

Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 19** году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженые вагоны и в одну минуту ско-

сил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как и поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого...»

И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то, чтобы он его забыл, но он *не мог вспомнить*. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановить их.

Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне... Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю.

От усилия вспомнить у Цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! — и тотчас же погружался в безмолвие и покой.

Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму, с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кан-

тами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.

XI

Но всему, даже горю, приходит конец.

Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал:

— Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это... какие-то жетоны или игральные марки... не знаю...

Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно:

— Уберите куда-нибудь.

Слуга ушел.

Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше... С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S... Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его... В глубокой полночной тишине только и слышалось что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета... И тогда-то именно случилось... Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться.

Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и в сущности ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немногое, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению *сосьяль-демократ,* о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности.

— К вам домогается какой-то тип — Среброструн. Что он за один, — я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хочет, чтобы лично... Ну?

— Просите его, — сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. — А вы... — прошептал он с ненавистью, — вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда!

Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле *исчез* в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе.

«Первая галлюцинация, — подумал Цвет тоскливо. — Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях:

— Да кто там? Войдите же!

Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендель-

ками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука.

— Неужели не узнаете? Среброструнов. Регент.

Нет. Иван Степанович не узнавал Среброструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло:

— Как же, как же... Великолепно помню... регент Среброструнов... еще бы. Прошу садиться. Чем могу?..

Среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычную просительную канитель: простудился, начал глохнуть, голос сдал... все это, конечно, временное и проходящее... но, сами знаете, каковы люди... Конкуренция, завистники... Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды... Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены... Словом...

Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом:

— Подождите... Мне изменила память... Подождите минуточку... Ах, черт... — Он усиленно потер лоб. — Никак не могу... Да где же, наконец, мы встречались?

— Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок... Как это вы прелестно соло выводили «Благослови душе моя» иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете?

Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос,

запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона... Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце.

Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал:

— Извините... Я не могу больше... Уйдите скорее...

Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: «Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик, у себя и на дому». У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: «Хоть бы поскорее!»

Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Сребространов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому,

но безвозвратному, недосягаемому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета — фантастическому и скорбному.

На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку.

По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости».

Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.

Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он — издали, внутренно — суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, — бывало ли это в воде, в огне, под землею или в воздухе, — говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое

детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом:

— Афро-Аместигон!

Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые.

Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь.

— Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. — Выпейте, успокойтесь и поговорим. — Он слегка погладил его по колену. — Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло.

Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил:

— Вы — Мефистофель?

— О нет, — мягко улыбнулся Тоффель. — Вас смущает Меф. Ис... — начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?.. Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы — существа маленькие, служилые... так себе... серая команда.

— А мой секретарь?

— Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, — нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович... Ну, что же? Испытали могущество власти?

— Ах, к черту ее!

— Будет? Сыты?

— Свыше головы. Какая гадость!

— Я рад слышать это. Но не было ли у вас... Нет, не теперь, не теперь... Теперь вы во сне... А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде... Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?

Цвет прояснел и сказал твердо:

— Конечно же, было... Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке...

— Исполнено, — сказал Тоффель серьезно.

— Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете?..

— Без всяких чудес. Так хотите?

— Очень.

— Через минуту это сбудется. Скажите еще раз *слово*.

Цвет сказал с расстановкой:

— Афро-Аместигон.

— Вот и все, — кивнул головой Тоффель. — А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во

Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким... не обижайтесь, мой милый... с таким... как бы это сказать вежливее... простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова — носитель несомненной, сверхъестественной удачи.

Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония — все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами... Вы не захотели этого... а теперь уже поздно...

Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидалась мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея...

Цвет нахмурился.

— Оставим это... — сказал он тихо, но настойчиво.

Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову.

— Слушаю, — произнес он покорно. — Но дальше, дальше... Вы никогда не подумали о власти, о громадном подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить... Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя. Я тогда следил за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим.

— Да, да, — прошептал Цвет. — Вы угадали.

— Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, — а их великое множество, и в числе их таинственный радий — лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии — ваше великое счастье, мой милый друг.

— Но у нас, — продолжал Тоффель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня.

Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягко-табачного цвета.

— Я повинуюсь, — сказал Цвет.

— И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге «Звезду Соломона». Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий... Ну вот, хоть так... Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота.

— Не диктуйте, я знаю, я помню, — перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу.

— Верно, — сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни.

— Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся *то слово,* которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое?

— Нет.

— Значит, только кокарду?

— Только.

— Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. — Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. — Вы весь — прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом — «только» — вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь?

— Немного трушу, но... говорите.

Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету.

— Когда загорится, скажите формулу.

— Однако подождите, — остановил его Цвет. — А это... новое заклинание... Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно.

— Нет, — твердо ответил Тоффель. — Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.

«Звезда Соломона» вспыхнула. «Афро-Аместигон», — прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин.

Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать — все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и яснея, выступали венчики — зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор.

И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался.

Цвет босиком отворил дверь.

В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:

Коллежский регистратор,
Чуть-чуть не император.
    Слава, слава.
С кокардою фуражка,
Портфель, а в нем бумажка.
    Слава, слава.

Жалово́нье получает,
Бумаги пербеляет.
    Слава, слава.
Листовку пьет запоем,
Страдает геморроем.
    Слава, слава.
И о числе двадцатом
Поет он благим матом.
    Слава, слава!..

А Володька Жуков махал, проходясь вприпляску, нумером «Правительственного вестника», в котором было четко напечатано о том, что канц. служ. Цвет Иван производится в коллежские регистраторы.

Бутилович же сказал голосом, подобным рыканию перепившегося и осипшего от рева тигра:

— Ergo [1], с тебя́ литки. Выпивон и закусон. А за вами следом вся гоп-компания с отцом протодьяконом Картагеновым во главе.

— Исполнено, — ответил с радостью Цвет. — Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка...

И все.

XII

Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом.

Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столе несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет всегда оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Ли-

[1] Следовательно *(лат.)*.

дочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу.

Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком — шестиугольной «Звездой Соломона». Чертежи были сделаны кое-как — небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал — это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?» — подумал он.

Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера S, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлою ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман. Цвет не мог этого представить.

Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. «Точно нарочно для меня, — сказал он. — Первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Среброструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу.

Среди этих поисков Среброструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета.

— Отроче Иоанне! — воскликнул он. — А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, «утопал в вольтеровском кресле», а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы... Скажи на милость — какая ерундистика привидится? А?

Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил:

— Да... бывает...

Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под влиянием своего сна, Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны.

Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна, и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.

В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову.

— Извините, — сказал офицер. — Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам.

— Слушаю, — сказал Цвет

Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.

Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства:

— Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице.

— Ваше имя Варвара Николаевна? — спросил робко Цвет.

— Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?

— Нет. Иваном.

— Но я вас видела, видела... Не на железной ли дороге? На станции?

— Да. Там стояли рядом два поезда... Окно в окно...

— Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь, на воротнике и вдоль отворотов, шелками...

— Это верно, — радостно согласился Цвет. — И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами.

— Как странно, как странно, — произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз.

— И — помните — у меня в руках был букет сирени?

— Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно.

— Да, да, да! — воскликнула она с восторгом. — А наутро...

— Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой... И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать... собственный, Локтева...

Она тихонько покачала головой.

— Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе... Как все это необыкновенно... С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля... Погодите... его фамилия...

— Тоффель!

— Нет, нет. Не то... Что-то звучное... вроде Эрио или Онтарио... не вспомню... И потом мы простились на вокзале.

— Да, — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. — Я до сих пор помню пожатие вашей руки.

Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование.

— Но вы не тот, — сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. — Это был сон... Необыкновенный, таинственный сон... чудесный... непостижимый...

— Сон, — ответил, как эхо, Цвет.

Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку.

— Прощайте, — сказала она спокойно. — Больше не увидимся. Извините за беспокойство. — И прибавила невыразимым тоном искренней печали: — А как жаль!..

И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, — это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это — только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека.

КАНТАЛУПЫ

(Может быть, и выдумка)

В половине первого в ведомстве приемов поставок, закупок и транспортов полагается перерыв для завтрака. Бакулин, делопроизводитель, издавна привык закусывать в «Торжке», среднем из первоклассных ресторанов, где, однако, кормят хорошо, кабинеты светлы и удобны, а прислуга расторопна и почтительна. Как и всегда, швейцары угодливо устремляются к Бакулину, притворяясь страшно обрадованными его приходу, величая его по имени-отчеству и с благоговением принимая его шляпу, палку и пальто. А в коридоре низко склоняет перед ним стриженую голову всегдашний слуга, высокий, худой, длинноусый Яков, и, перебрасывая салфетку из правой руки под мышку, вполголоса сообщает:

— Тут вас спрашивает господин Рафаловский...

— Знаю... Мы условились.

— Так что я осмелился пригласить их в ваш кабинет.

— Ладно. Ты у меня, Яков, золото.

— Рад служить, Сергей Ардальоныч...

Далеко вытянув перед собой руку, открывает лакей дверь кабинета и, пятясь в сторону, пропускает Бакулина. Рафаловский, толстый большой помещик с обрюзглыми бритыми щеками, изборожденными крас-

ными жилками, и с седой щетиной на жирном подбородке, неуклюже валится сначала боком на диван, а потом тяжело встает из-за стола.

— Вы точны, как часы на Пулковской обсерватории, — говорит он, протягивая огромную мохнатую руку, украшенную брильянтом величиной в каленый орех.

— Это у меня еще от военной службы осталось. Привычка, — улыбается Бакулин.

Помещик опять валится на диван и вытирает мокрое лицо платком.

— И жарко же сегодня, просто наказание. Точно Сахара какая-то!

— Да, печет... Дай бог урожая. Я рад... Как у меня в парничках канталупы растут — один восторг... Аромат какой неподражаемый!

— Канталупы? скажите! — равнодушно удивляется Рафаловский.

— Представьте! И какие сорта: Консуль-Шиллер, Президент Грей, Женни Линд, Прескотт, Бельгард, Августа-Виктория... Это страсть моя — канталупы. Ничего я так не обожаю. А впрочем, к порядку дня. Чем ты будешь нас кормить, Яков?

Сладко жмурясь и точно захлебываясь, Яков докладывает своим ярославским говорком:

— Осетровый балычок сегодня привезли, прямо вам скажу — нечто особенное. Янтарь. Насквозь видать... Рыжички соленые вы изволили одобрять. Форель гатчинская. Утки есть дикие — чирочки. К ним можно салат лятю а-ля-метрдотель с трюфелями, провансалем и свежим огурчиком... Позволю себе рекомендовать волованчики с петушиными гребешками и костным мозгом. Цветная капуста замечательная.

К закуске Яков сам, не спрашивая разрешения, подает во льду графинчик водки, настоенный на черносмородинных почках. Ловко, почти беззвучно сервирует все на столе и, отступив спиной к двери, мягко закрывает ее за собой.

Бакулин разливает настойку, которая отсвечивает в рюмках нежной изумрудной зеленью и благоухает весной и немного мышами. Он уже собирается чокнуться с

помещиком, но тот останавливает его осторожным жестом.

— Делу время, потехе час, глубокочтимый, — говорит он внушительно. С трудом достает из бокового кармана визитки пухлый запечатанный конверт и кладет его на стол. Ноздри у Бакулина слегка вздрагивают, но он отодвигает пакет в сторону.

— Нет, уж вы лучше пересчитайте, — мягко настаивает Рафаловский. И опять пододвигает пакет Бакулину. — Деньги счет любят.

Бакулин не торопясь пересчитывает билеты государственной ренты и, окончив, склоняет голову в знак правильности суммы, а затем извлекает из портфеля и передает Рафаловскому бумагу, на которой вкось карандашом написано: «Согласен. Поторопить доставкой». Произведя этот обмен, они впервые взглядывают друг на друга. Бакулин совершенно ясно угадывает желание своего партнера в этой молчаливой игре: «Расписочку бы». Но зато и Рафаловский читает без слов вежливый ответ: «Прошли золотые времена. Такими дураками мы были только до эпохи ревизий».

И, как умные люди, они, перейдя через тяжелый момент, приступают не торопясь к солидному завтраку и к интересному вескому разговору о предметах важных, но посторонних. За бутылкой подогретого St.-Estèphe стирается и самый след промелькнувшей неприятности. Бакулин относится очень сочувственно к мысли Рафаловского о будущей поставке двадцати тысяч сажен березовых дров. Зато у Рафаловского есть в виду для супруги Бакулина прямо золотое дно, а не имение на юге России: рыбная речка, семьсот десятин чернозему, триста — строевого леса, барская усадьба с парком, оранжереями и всякими постройками, фруктовый сад, дом чуть ли не растреллиевской постройки. И все за пустячную прибавку к банковскому, совсем небольшому долгу. По окончании завтрака помещик хочет взять расплату на себя. Но делопроизводитель упирается: «Хлеб-соль вместе, а счет пополам. По-американски». У подъезда они прощаются, довольные друг другом. Рафаловский едет на биржу, а Бакулин идет пешком на службу.

В три часа, прежде чем покинуть учреждение, главный директор, сияющий своими сединами и лысиной, розовый, веселый, светский, благоухающий старик, заходит на секунду в кабинет делопроизводителя. Каждый раз у него какие-то неотложные дела в банке.

— Вы уже без меня тут, пожалуйста, любезный Сергей Ардальоныч... — И в дверях, делая прощальный знак выхоленной рукой, он добавляет: — В случае чего-нибудь экстренного — вы знаете номер моего телефона.

Конечно. Бакулин знает, что это номер телефона маленькой балетной корифейки Лягуновой. Но он только почтительно склоняет большую тяжелую голову с низким лбом и широкими скулами.

В приемной уже давно дожидаются этого часа разные деловые люди: преувеличенно модно одетые русские, с громкими картавыми барскими голосами и плохим французским языком, которым они без нужды злоупотребляют; суетливые черноглазые греки; развязные или презрительные евреи, которые здесь, как и всюду, точно у себя дома; престарелые, надменные, пышноусые поляки в великолепных, но потертых костюмах с бахромой внизу панталон; армяне с пылкими взорами, страстной речью и выразительной мимикой; два-три бритых человека неопределенной нации и профессии, но с широким жестом и неправдоподобным голосом, должно быть, бывшие актеры.

Среди этих пестрых просителей, подрядчиков, поставщиков, изобретателей и посредников — много таких, которых Петербург видел когда-то на малой бирже у Доминика, или на бегах в жалкой роли подсказчиков, или в стремительном мгновенном полете с лестницы танцевального зала Марнинковича, или за карточными столами темных шустер-клубов. Теперь же Петроград нередко дивится их особнякам, автомобилям, содержанкам и брильянтам большинства из них. Меньшинство только начинает карьеру.

Курьер Ефим одного за другим впускает их в кабинет, руководствуясь не очередью, а какими-то своими особыми, интимными соображениями. Точно так же и у Бакулина для каждого посетителя особые оттенки

приема. Так, например, одного восточного человека, красавца мужчину атлетического сложения, с выхоленной блестящей черной бородой, с драгоценными кольцами на всех пальцах, он выслушал сидя, не предлагая тому даже сесть, и отказал сухо, коротко и быстро.

Встречая других, он слегка приподымался с кресла и, бормоча что-то невнятное, указывал рукой на стул против себя.

А одного, не особенно видного, старозаветного, маленького старичка в наглухо застегнутом черном сюртуке, он встретил у самых дверей и сел только после него. Впрочем, разговор у них вышел очень краткий; минуя здоровье, погоду и прочую дребедень, старичок спросил деловито:

— Так вы обдумали, любезнейший Сергей Ардальоныч?

— К вашим услугам, Кирилл Матвеевич.

— Двадцать пять и два, если брутто, и двадцать шесть и один, если нетто? Так?

— Совершенно верно, Кирилл Матвеевич.

— Предпочтительнее?

— Как вам угодно. Если позволите, второе условие более подходит.

Старичок не спеша вынул из кармана чековую книжку и тонко, почти незаметно улыбнулся.

— Вы это чему, Кирилл Матвеевич? — беспокойно спросил Бакулин.

— Так, своим мыслям, — ответил старичок, быстро вписывая сумму. — Одного парнишку спросили: «Ты, Егорушка, какого пирожка хочешь, так или с маслом?» — «Да мне все равно, хотя бы с маслом».

— Хе-хе-хе, — добродушно рассмеялся Бакулин. — Хорошенькое присловьице. Хоть и с маслом... А кстати, Кирилл Матвеевич, тут еще поверстные...и там... благодарности агентам...

Старичок поморщился и встал, тщательно застегивая сюртук.

— Бросьте, почтеннейший. Не в мелочной лавочке...

Бакулин проводил его до дверей с низкими поклонами. А старик даже руки ему не подал...

Так же содержательна была беседа и с другим дель-

цом, высоким, плечистым, костлявым, небрежно одетым, у которого на желтоватом лице, изрытом оспою, дерзко и пытливо смотрели голые, черные, цыганские или разбойничьи глаза. Ему надо было выхлопотать двести вагонов, и Сергей Ардальоныч, заранее знавший, для какой цели, с быстротой умножил в уме вагоны на пуды, пуды на фунты, фунты на копейки и сказал, взглянув в горячие глаза рябого, но тотчас же и отвернувшись:

— Восемьдесят.

— Не могу, — смело и решительно отрезал рябой. — Берите любую половину.

— Вам-то что, Петр Захарыч. Нажмете чуть-чуть. Ведь я всего копеечку на фунт.

— То есть четыре процента. Довольно с вас двух. Я мелкого покупателя обижать не могу. Его доверием кормлюсь и лишаться доверия не хочу. Ему полкопейки расчет. А нет — найдем другой путь.

— Да уж ладно, упорный вы человек. Зайду к вам завтра утром. Как раз будет готово разрешение.

— Так-то лучше. До свиданья.

Один за другим проходили перед наблюдательным наметным оком Бакулина жадные, смелые, трусливые и наглые ловители фортуны, и всех их Бакулин фильтровал, сортировал, определив точно их удельный вес, и ставил их на надлежащую полочку относительной пользы. В то же время среди этих непонятных непосвященному переговоров он успел написать несколько черновиков важных писем, сделал два-три внушения конторщикам, отвечал беспрестанно на телефонные вызовы. Дело шло у него легко и быстро, точно он катился по гладкому шоссе на объезженном, выверенном, хорошо смазанном велосипеде. И только раз вышла задержка. Какой-то неловкий новичок, козлиного староверского вида, принесший образцы подковных шипов, осмелился, сначала обернувшись назад, на дверь, и помедлив от волнения, сунуть через стол пятисотрублевую бумажку. Бакулин поднял крик на все учреждение: «Как? Взятку? Кому? Мне? В такое время? Да я вас под суд! Я вас упеку знаете куда? Ефим, в шею этого презренного типа».

Но вот старые высокие нортоновские часы медленно протянули первый густой удар из шести, и Бакулин поднялся, прервав разговор с клиентом на полуслове: «Простите, завтра приму вас первого. Мне спешить к поезду, а еще надо кое-какие покупки».

Ехать по железной дороге надо было полчаса, и оттуда на собственную дачку «Аннино», двенадцать верст. На станции его дожидался экипаж. Вся упряжка была проста и щеголевата, как у настоящего любителя: лошадка (шведский иноходчик) была светло-желтая с черной гривой, черным хвостом и темным ремешком вдоль спины — той скромной масти, которая раньше, лет пятьдесят тому назад, называлась интендантской; рессорный легкий плетеный из камыша шарабан блестел лаком крыльев и колес, кучер в шапке с павлиньим пером, в бархатной безрукавке высоко держал руки в оранжевых канаусовых рукавах.

Кучер, сдерживая резвую лошадку, осторожно объехал по грубым камням полукруг дожидавшихся очереди извозчиков, выехал на ровное широкое шоссе, уходившее прямой белой лентой сквозь зеленую даль деревьев, и понемногу отпустил вожжи. Бакулин, с наслаждением отдавшись плавному покачиванию рессор и быстрому движению, заглядывал то слева, то справа на плавный бег иноходца, который, ровно неся спину и слегка, точно неуклюже, точно переваливаясь плечами с боку на бок, чуть покачивал высоко поднятой головой с стоячими маленькими ушами. Пахло свежескошенным сеном, весело трепетали и блестели недавно омытые дождем дорожные деревья. Ветер дул в лицо и пузырил оранжевые рукава у кучера.

Иногда из-за дальных рощ блестел крест колокольни. Бережно крестясь, творил Бакулин молитву: «Господи, во имя святого храма твоего, помяни мя, егда приидеши во царствие твое...» Но молитва была механическая, без сердечной интимности. Главные серьезные счеты, генеральную стирку души, он отлагал до вечера.

Подъехали к широким воротам дачи, на которых возвышалась на проволочной раме литая надпись «Аннино». Бакулин посмотрел на часы. Ехали ровно два-

дцать шесть минут пятнадцать секунд. Хороша шведка. И всего двести пятьдесят плачено.

Всегда нудны и тяжелы проводы, но радостны даже ежедневные встречи. Когда иноходец, сдержанный красиво на повороте, вплывал, чуть накренившись, во двор, приятно сотрясая своим могучим ржаньем легкий шарабан, то отвсюду — из сада, со стеклянной веранды, из-за дома — послышались веселые восклицания, показались оживленные лица, замелькали светлые летние наряды. Впереди всех диким галопом неслась десятилетняя девочка, вся в белом, с двумя большими белыми бантами на висках, меньшая, любимица отца, Люлю. За нею бежали сыновья — гимназист и юнкер вместе со своячечницей Бакулина, восемнадцатилетней Софочкой. Дальше торопились, взявшись за руки, дочка-невеста с женихом, начинающим инженером, оба в красивых костюмах для лаун-тенниса. И, наконец, сама madame Бакулина в пунцовом кружевном халатике, полная, но еще изящная и легкая в движениях брюнетка, цветущая ярким расцветом последней пышной красоты. Вместе с поцелуями, рукопожатиями, приветливыми словами, заботливыми расспросами на Бакулина вылился целый водопад милых пустячных новостей: «Вода сегодня ужасно холодная в купальне. Софочка с Марусей собрали массу грибов маслёнок, а Василий Филиппович одни поганки. Котенок поймал полевую мышку и долго играл с ней. К обеду будут раки. Василий Филиппович привез в подарок Люлюшке козленка из породы безрогих коз. Премиленький козлик и обожает есть левкой...» И так, взятый под руки, облепленный большой, шумной, любящей семьей, шел Бакулин к дому, через цветник, по красным дорожкам, мимо правильных, только что политых клумб, благоухавших резедою, розами, душистым горошком и табаком, начинавшим распускать к ночи свои белые звезды. Золотые и серебряные шары, ослепительно сверкавшие на заходящем солнце, отражали кверх ногами живую семейную группу. А две нарядные горничные в кокетливых передниках разгружали из шарабана покупки.

Но вот уже кончен обед. Смеркается. Острее и слаще пахнут цветы. Еще одна радость ждет Сергея Ардалье-

ныча, который уже докурил сигару, отложил в сторону вечернюю газету и с неподдельным глубоким чувством пожалел вслух бедную многострадальную Россию, задыхающуюся в цепких лапах взяточников, растратчиков, вымогателей и других обнаглевших жуликов и прохвостов.

— Ну, Софочка, пойдем поглядим наши канталупы, — говорил он свояченице, сидящей снаружи на ступеньке балкона. Они вместе ухаживают за дынями. Это их общая серьезная забота и в то же время невинная, тонкая, слегка волнующая игра. Как и большинство молодых девушек, бессознательно, чуть-чуть влюбленных в мужей своих старших сестер, Софочка наивно льнет к Бакулину сердцем и телом.

Огород — гордость Сергея Ардальоныча. Он выгоняет на нем редкие на севере овощи — кукурузу, томаты, артишоки и спаржу. Но его поэзия, его истинная благородная страсть — дыни канталупы, требующие крайне заботливого ухода.

Оба они внимательно склоняются над парниками. В огороде, не затененном деревьями, еще светло, и можно хорошо разглядеть дыни, большие, серо-зеленые, с выпуклыми мощными ребрами, усеянными корявыми наростами. Приятно прикасаться пальцами к их холодной коже. Тонкий ананасный аромат поднимается из парников.

Бакулину трудно нагибаться, и потому он только дает указания:

— Этот побег надо завтра же оборвать. А большую завязь прикрепить рогулькой к земле и присыпать, — пусть дает новые корни. Может, и дозреет. А эти две дыньки, Софочка, можно срезать. Да надо, кстати, велеть накрыть парники рамами. Небо ясно, барометр стоит высоко, воздух свежеет, безветрие, и — видишь, как вызвездило — ночь будет холодная.

Потом они долго сидят в дальнем углу сада за круглым столом под липами. Голова Софочки лежит на плече Бакулина, и ему кажется, что молодое тело девушки источает нежный запах канталупы. Его руки ласково, но не крепко обнимают ее плечо.

— С этой дачей мне жаль расстаться, Софочка, — говорит Бакулин, мечтательно глядя вверх, на звезды. — Ее я построил целиком на мое нищенское жалованье. Во всем себе отказывал. Но когда ты выйдешь замуж, я тебе куплю рядом такой же клочок земли и устрою тебе дачу, как свою. Даже лучше. Я уже присмотрел.

— Не надо мне, милый Сережа, ничего не надо, — тихо отвечает девушка и еще теплее прижимается к его плечу. — Я никогда не выйду замуж... Ни за кого...

— Почему? — спрашивает нежно дрожащим голосом Бакулин, наклоняя губы к ее волосам.

— Так...

И он сладко чувствует, как под его рукой с испугом и ожиданием дрожит девическое тело.

Наступила ночь. Madame Бакулина лежит на широкой двуспальной постели, лицом к стене. Сергей Ардальоныч стоит на коврике на коленях, в одном нижнем белье. Он уже закончил положенные, заученные официальные молитвы и теперь мысленно говорит своими словами. Обращается он, однако, не к богу, и не к сыну, и не к его матери, а к снисходительному святителю Николаю, причем многое утаивает и во многом лукавит.

— Я же ведь, если что и беру, то не на роскошь, а для семьи. Пусть живут в холе, без озлобляющей борьбы, добрыми и кроткими. Другие там кутят, пьянствуют, играют, разоряются на женщин, на брильянты и автомобили... А я... мое немудреное развлечение — одни канталупы, чистое сладостное занятие. Вот, ей-богу, дойду до миллиона и все брошу. Уйду со службы, займусь добрыми делами, буду тайно творить милостыню, церковь построю... не церковь, а так... часовенку... Только бы до миллиона...

И сам перед собой притворяется, будто бы забыл, что если присчитать к деньгам и золотым вещам жены два доходных дома — один на Лиговке, другой на Песках, — то давно уже его капитал шагнул за два миллиона. И о том он не хочет вспоминать, что еще недавно он давал обещание дойти только до двухсот тысяч, а потом до полумиллиона. «А может быть, — думает он, —

терпеливый угодник не обратил внимания на эти мелочи или забыл по множеству дел своих? И потом: ведь все, что мною приобретено, записано не на мое имя, а имя жены. Я — что же? Я бескорыстен...»

Сладко спит Бакулин. Мерцает теплым дрожащим светом лампадка перед образом. Хмуро глядит в темноту суровый и добрый лик святителя, лик того угодника, который когда-то вступился за вора, укравшего кусок хлеба для своей голодной семьи.

ИНТЕРВЬЮ

Двенадцать часов дня. Известный драматург Крапивин бегает взад и вперед по кабинету. Левой рукой он нервно крутит вихор над лбом, а правой делает жест, соответствующий тому месту в пьесе, которое ему никак не дается... Полы его старого татарского халата, зеленого в белую продольную полоску, развеваются по сторонам. На ходу Крапивин сквозь стиснутые зубы напыщенно декламирует:

— «Нет! Не проклятие, не жажда мести останутся в моем сердце, а холодное, вечное презрение... Ты разрушила...»

Горничная Паша показывается в дверях.

— Барин...

— «Ты осквернила тот идеал... Нет. Тот пьедестал, который...»

— Барин, там какой-то человек пришодши.

Крапивин останавливается и некоторое время смотрит на нее, точно спросонья, блуждающими глазами.

— Дура, — бросает он свирепо. — Если уж хочешь выражаться правильно, то надо говорить не пришодши, а пришодцы.

— Человек пришодцы.

— Никого не принимаю. Вон. Нет меня дома... Какой человек?

— Какой-то мужчина. Я ему докладывала...

— Вон. Я занят, заболел, умер...

— А они не слушают и лезут самосильно.

— Сорок раз тебе говорить, ворона псковская, что я принимаю только от... Что вам угодно, милостивый государь?

В комнату медленно вскользает очень молодой джентльмен. Смокинг, черный галстук, цветок ромашки в петлице, из бокового кармана торчит уголок фиолетового платка. Лицо бритое, с английским косым пробором. На губах очаровательная улыбка, в которой есть все: простосердечие, наивность, восхищение, застенчивость, — но также и одна искренняя тонкая черта — прирожденный лукавый комизм.

— Глубокочтимый... высокоталантливый миллион извинений... Я сам знаю, как всем поклонникам вашего блестящего таланта дорога каждая минута вашего дивного, прелестного творчества...

— Да-с, — грубо прерывает его писатель. — И вы сами видите, что в настоящую минуту я занят, о чем вам только что сказала прислуга. И, наконец, кто вы такой, черт возьми?

Но гость не смущен. Голос его становится еще нежнее, произношение еще слаще, улыбка еще обаятельнее.

— Я сотрудник газеты «Сутки» — Бобкин... Вот моя карточка. Многочисленные читатели нашей газеты давно горят желанием узнать, над какой новой пьесой работает теперь ваше гениальное перо. Какие новые жгучие образы лежат в вашем неистощимом портфеле...

— Фу ты черт, — тяжело вздыхает Крапивин. — Ничего я не пишу. Никакие не образы. Отвяжитесь вы от меня, Христа ради, господин Трепкин.

— Бобкин... Ну, хоть не содержание, а только заглавие, — молит медовым голосом репортер.

— И заглавия нет никакого. «Суматоха в коридоре, или Храбрый генерал Анисимов»... «Жучкина подозрительность»... «Две пары ботинок и ни одного шофера»... «Красавица со шпанской мушкой». Молодой человек, оставьте меня в покое. Я вам это серьезно советую в ваших же интересах. Уйдите, господин Дробкин.

— Ха-ха-ха, — смеется подобострастно репортер и быстро чиркает что-то в записной книжке.

— А позвольте спросить, дорогой учитель, хотя это, может быть, немного и нескромный вопрос: вы очень волнуетесь перед первым представлением ваших изумительных пьес?

— О-ох, — стонет Крапивин, бухаясь в кресло и обтирая лоб платком. — Ужасно волнуюсь. Чудовищно волнуюсь. Ничего не ем целый месяц. Пью бутылками самые сильные наркотины — хлораль-гидрат и трионал... Не выхожу из ледяной ванны...

Репортер кивает головой и поспешно строчит. Крапивиным овладевает испуг.

— Что вы там пишете? Слышите вы меня или нет? Это я шутя все сказал, со злости... Положите в карман вашу гнусную книжку. Положите, я вам говорю. Иначе... Видите вы эту бронзовую статуэтку?

— Ваш бюст, кажется? Работа Трубецкого?

— Не мой, а Шекспира... Но все равно, вы отлично понимаете, что я могу сделать с этой бронзой, молодой человек, — добавляет он упавшим голосом, — ах, покиньте, пожалуйста, покиньте мой дом. Уйдите, господин Тапкин.

— Сию минуту, маэстро. Сейчас, сейчас... Еще два-три последних вопроса, и я оставлю вас наедине с вашей музой. Ваше мнение о современном искусстве?

— Не знаю, ничего не знаю, — устало бормочет Крапивин. — У меня астма... Паша, квасу! Вы пьете квас, молодой человек? У меня домашний... На смородине.

— Где намереваетесь провести лето?

— Не знаю... в этом самом... в как его, на северном экваторе.

— Взгляд ваш на футуристов?

— Отвяжись ты от меня, умоляю я тебя, несносный человек. Довольно того, что весь мой рабочий день испортил. Уйди!

— Что вы скажете о теперешней дороговизне предметов?

— Ничего... Брр. Паша! Да идите же, когда вас зовут, тихоход австралийский. Вот этот молодой барин,

господин Типкин, очень торопится идти по весьма неотложному делу. Подайте ему пальто, шляпу, палку, калоши, зонтик, кашне и наймите ему автомобиль за мой счет.

— О, как вы добры, дорогой писатель. Сейчас узнаёшь драматурга школы незабвенного Островского. Последние вопросы: какого вы мнения о пораженцах?

Крапивин не выдерживает больше.

Быстро снимает он со стенного ковра старинный заржавленный пистолет с дулом в виде раструба, оружие времен Измаила и Чесмы, наводит его на репортера и орет, весь сотрясаясь:

— Я тебя, щучий сын, убью сейчас из этого поганого пистолета, если ты не исчезнешь!

Интервьюер исчезает. Последнее слово, которое, подобно львиному реву, достигает до его слуха, — слово «прохвост».

На другой день известный драматург Крапивин, все его друзья и знакомые, а также все подписчики газеты «Сутки» читают следующую статью:

«У Б. Крапивина

(Личная беседа)

Мы застали маститого драматурга в самый разгар его творчества. Талантливый автор «Развала семьи», извинившись за утренний туалет (роскошный, вышитый шелком атласный халат — дар, как мы догадываемся, одной из бесчисленных поклонниц русского Мольера), принял нас с своим обычным русским лукулловским радушием в роскошном кабинете, стиля Луи Каторз Пятнадцатый. На наш вопрос о том, какими новыми пьесами подарит нас плодовитый автор «Неуязвимой», знаменитый автор ответил:

«Я всегда из суеверия держу мои замыслы в секрете. Но для сотрудника «Суток» так и быть поделюсь кое-чем. Я одновременно работаю над несколькими вещами — такова моя манера творить. Во-первых, большая историческая драма из военной жизни, где центральная фигура — известный русский боевой генерал. Затем современная пьеса «Подозрение ревности», в ко-

торой блеснет своими великолепными туалетами несравненная наша артистка Танина-Перестроева. Кроме того, намечается план легкой комедии, нечто вроде любовного тонкого фарса, который думаю озаглавить «Женщина с родинкой».

Во время своих премьер я волнуюсь, как мальчик перед экзаменом. Во время же работы опускаю ноги в ледяную воду, кладя на голову горячий компресс, и принимаю в большом количестве трихлороехинококк».

«Лето полагаю провести на Шпицбергене, — продолжал очаровательный собеседник, наливая нам бокал тонкого кларета из собственных крымских погребов, — а осень — в моей любимой Испании или на Принцевых островах».

«Мне нравятся экзотические крайности».

О современной русской литературе автор «Злых семян» отзывается с крайней осторожностью, но в голосе его слышится разочарование. Футуристы, однако, занимают внимание модного драматурга. Он со снисходительной улыбкой похвалил Вадима Тавричанина, Землянского и Колпаковского и, пользуясь своей блестящей памятью, процитировал наизусть несколько наиболее причудливых строф.

Теперешняя дороговизна предметов первой необходимости прямо кидает в дрожь симпатичного автора «Растраты».

«Это еще ничего, что все оно дорого, — говорит он с унынием, — но обидно, что многого и совсем достать нельзя. Свечей, например, и со свечой не отыщешь (простите за невольный каламбур, — улыбнулся нам обаятельный собеседник), а я всегда работаю при свете двух канделябров. Ничего не поделаешь — привычка».

На наш последний, самый жгучий вопрос, о пораженцах, автор «Пустых сердец» ничего не ответил, а только безнадежно махнул рукой.

Полуторачасовая беседа промелькнула, как одна минута.

Прощаясь, мы попросили у знаменитого драматурга карточку с надписью на память.

«Ни одной не осталось, — ответил гостеприимный хозяин, добродушно смеясь. — Все поклонницы рас-

хватали. Если угодно, вот вам мой бронзовый бюст. Это работа Родена...»

Прежде чем расстаться с нами, автор «Дачного пикника» любезно показал нам свою небольшую, но богатую коллекцию старинного оружия, где особенное внимание обращают на себя прекрасные пистолеты работы известного Лепажа.

Провожая нас до дверей, маститый художник пера вполголоса, с лукавой, чисто русской улыбкой сказал:

«Сообщу вам одному на ушко, только чур никому не говорите: вчера отослал в театральную цензуру новую пьесу, под названием «Прохвост». Боюсь, что придерутся к заглавию, а будет жаль. Вещица написана в сочных и ярких бытовых тонах и, вероятно, будет гвоздем сезона».

В заключение очаровательный хозяин предложил нам воспользоваться его автомобилем. Но мы поспешили отказаться и ушли, унося в душе радостное впечатление милого русского широкого радушья.

Граф *Бобини*».

САШКА И ЯШКА

Про прошлое

I

Ника — известная непоседа. Ника — егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты шестисот метров.

— И даже совсем, ни капельки не страшно, — говорит она, — а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паровозы, деревья — как игрушки для самых маленьких детей.

Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец — известный инструктор; его специальность — тяжелые боевые аппараты. С огромного Фармана № 30 он сбрасывал бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте.

Другой брат Александр (Ника его зовет просто и непочтительно — Сашкой) — военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и в шутку подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и георгиевский офицерский крест.

Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина обезьянка «Яшка» совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

— Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек... Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку. Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

— Пожалуйста, Ника, пожалуйста.

Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого.

Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она — ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках.

По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях.

II

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении.

Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие, черные копошащиеся фигуры людей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась.

Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее: еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда, после напрасных поисков, гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять

на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом.

III

Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла...

Он вынырнул спиною к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, — теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу:

— Господи! Как ужасно!

Потом он несколько раз взывал в пустое безбрежное пространство:

— Помогите! Помогите!

Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра?

Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности, вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг

яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение.

Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше: как его вытаскивали из воды в катер, как довезли до берега, как делали первую перевязку и как везли восемьдесят верст до Аренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном.

Смутно он помнил, что где-то какой-то врач, при свете лампы, обстригал ему ножницами обнаженные, торчавшие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее...»

Из Аренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу, в Петербург.

— Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом, — рассказывает Ника. — Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме: «Вот, прочти. Нога сломана в двух местах. Оторвана ступня... Надо ехать в Ревель».

Они поехали втроем.

Из игрушек Нике позволили взять с собою только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно: обезьянку, мохнатую, плюшевую, с премилой выразительной мордочкой.

— Может быть, она немного развлечет Сашу, — сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем.

IV

Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница — все это истомило и обессилило его.

— Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец, — тонким жалобным голоском говорит Ника, — а губы были белые-пребелые.

Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам мичман, прошептав еле слышно:

— Неужели мне больше не летать?..

Подумать только: он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества... Нет, точно каменная плита, угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы!

Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни.

— Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил. А потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мною рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек».

Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.

Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции — больной был чересчур слаб. Но стойкая, живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться.

Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа — родного бра-

та Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома:

«Подпоручик Георгий Прокофьев упал; перелом обеих ног».

И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать зараз к двум больным.

— Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу, — говорит Ника. — А Сашка ничего — точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив «Маргариты».

А Прокофьев о ноге не тужит,
С деревяшкой родине послужит...

А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка. Преважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.

V

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры (а вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить родине с деревяшкой, или не сможет? Оказалось, смог.

Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл ввысь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к гаргроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову вбок и назад. «Знай наших!»

С той поры Никин Сашка и храбрая обезьяна Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладанку, в которую зашит псалом девяностый «Живый в помощи вышняго».

У капитана Казакова, сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая Чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами, вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов.

Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой: и как амулетом и как памятью о козе-егозе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике. Он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием.

Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около двух часов. Один из четырех сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому «Альбатросу» и, приблизившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета.

Мичман ясно видел (и никогда этого зрелища потом не забыл), как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, «заело», и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накренился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью, багровое лицо, бешено затряс над головою огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство. И вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыркаясь, вниз, с высоты двух тысяч метров, и упал в море.

VI

Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненный в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных, — около тридцати. На его счастье, ни одна пуля и ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки.

Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие. А Ника говорит с гордостью:

— Мой Сашка и мой Яшка, оба получили по георгию. У Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди. Так и в приказе было напечатано.

— Полно, Ника. Неужели в приказе?

— Ну, я не знаю, наверное. Но во всяком случае оба имеют по георгию. Впрочем, поглядите сами...

Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смотрит открытое, худощавое лицо двадцатидвухлетнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке. И тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерия, растаращенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке.

— Правда твоя, Ника, правда. Прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забинтована. А также и руки. И когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно-оранжевой ленточкой?

Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще два германских аэроплана в Моонзундском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали Церельские укрепления четырнадцатидюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то церельские артиллеристы взмолились:

— Останьтесь, пожалуйста, лейтенант. *Он* без вас совсем нас заклюет.

Прокофьев ответил:

— Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снеситесь по радио.

Они снеслись и получили такой ответ:

«Лейтенант может остаться, но это зависит *только* от его желания».

Он остался, и оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких семидесятипудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, в котором был контужен.

Германцы хорошо его знали. Их пленники летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слыхали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш.

Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Десять — двенадцать лет прошло от того времени, а кажется — сто или двести. Кажется, никогда этого и не было: ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни... Был сон... Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю...

ПЕГИЕ ЛОШАДИ

Апокриф

Николай-угодник был родом грек из Мир Ликийских. Но грешная, добрая, немудреная Русь так освоила его прекрасный и кроткий образ, что стал извека Никола милостивый ее любимым святителем и ходатаем. Придав его душевному лицу свои собственные уютные черты, она сложила о нем множество легенд, чудесных в их наивном простосердечии. Вот — одна.

Ходил, ходил однажды батюшка Николай-угодник по всей русской земле, по городам, по деревням, сквозь леса дремучие, через болота непролазные, путями окольными, дорожками проселочными, в дождь и снег, в холод и зной... Всегда у нас ему много дела: умягчить сердце жестокого правителя, обличить судью неправедного, построжить жадного не в меру торговца, вызволить из сырой тюрьмы невинно заключенного, испросить помилование приговоренному к напрасной смерти, подать помощь утопающему, ободрить отчаянного, утешить вдову, пристроить сироту к добрым людям...

Народ наш — темный народ, слабый, неученый. Весь он грехом оброс, как старый придорожный камень грязью и мхом. Куда ему обратиться в тяжкой беде, в

болезни, в прискорбный покаянный час, когда глаза сквозь стены видят? К господу — далеко и страшно. Заступницу небесную можно ли тревожить мужицкой коростою? Другие святители и преподобные — каждый по своей части. Некогда им. А Никола — он свой, небрезгливый, простой, скоропоспешный и для всех доступный. Недаром к нему не только православные прибегают с просьбишками, но и всякие другие народы: и мордва, и зыряне, и вотяки, и черемисы-идолопоклонники. Даже татары — и те его чтут. Воры и конокрады — на что уж люди отпеты, а и те осмеливаются ему досаждать краткой молитвой.

Так-то вот ходил и ходил угодник Николай по древней широкой Руси... Только вдруг является к нему небесный вестник.

— Забрался ты, святитель, в такую трущобину, что сыскать тебя мудрено, и все свои церковные дела ты запустил. А между тем беда идет неминучая. Восстал на православие злой Арий Великанище. Книги святоотческие наземь мечет. Хулит святые таинства. Похваляется громко, что в неделю православия стану-де я, Арий Великанище, посреди Никитского собора и при всем народе истинную веру навеки ниспровергну... Поспеши же, батюшка Никола, на выручку. На тебя одного надежда.

— Поеду, — молвил святитель.

— Да не медли, родной. Времени совсем чуть-чуть осталось, а путь, сам знаешь, какой долгий.

— Сегодня же поеду. Сейчас. Улетай с миром...

•

Был у святителя один знакомый стоешник, по имени Василий, человек жизни благочестивой, но по своему делу первый знаток: такого другого протяжного ямщика было не найти. К нему и зашел во двор угодник.

— Облокайся, Василий. Пои коней. Едем.

Не спросил Василий — далеко ли. Знал, что если дело поблизости, то Никола милостивый пешком бы пошел, потому что очень жалел лошадей.

Говорит:

— Слушаю, отец. Посиди в избе. Мигом заложу.

В эту зиму снега лежали страх какие глубоченные, а дороги были еле проезжены. Запряг Василий трех лошадей гусем: впереди — лошаденка махонькая, лядащенькая, от старости вся белая в гречке, но хитрющая и в дороге удивительно памятливая; за ней — вороная, доброезжая, однако с ленцой — кнут ей вроде овса был надобен; а в оглоблях — доморослая гнедая кобыла, смиренная и старательная, кличкой Машка.

Навалил Василий в сани с отводами ворох соломы, покрыл веретьем, подтыкал с боков и посадил святителя. А сам уселся на облучке, по-ямщичьи: одна нога в санях, а другая — снаружи, чтобы, значит, на раскатах отпихиваться. Шесть вожжей у него веревочных в руках да два кнута: один — покороче, за валенок засунут, а другой — предлинный, кнутовище на руку вздето, конец далеко за санями бежит, снег вавилонами чертит.

Неказистая троечка у Василия, а другая с ней никакая не̇ сравнится. На двух передовых лошадях хомуты с бубенцами — бубенцы в лад подобраны, —а под дугой у коренника валдайский колоколец качается, малинового звона. Такая музыка, что за пять верст слышно: честные люди едут. Со стороны поглядеть — точно вразвалку лошади бегут, а ни одному знаменитому рысаку за ними впротяжную не угнаться — духу не хватит. Белая лошаденка шею опустила, снег разнюхивает, к снегу приглядывается; где дорога свертку дает, ей и вожжей не надо — сама́ путь верный учует.

Иной раз задремлет Василий на облучке, но и сквозь дрему одним ухом слушает. Только услышит, что разладились бубенчики с колокольчиком, мигом встрепенется. Если какая лошадь лукавит, постромок не тянет, на других работу валит, он ее сейчас же кнутом опамятует, а какая не в меру усердствует — ту вожжой поприпридержит, — и опять все в порядке. Бегут лошадки ровно и мерно, как заведенные, только уши назад торчком поставили. И звенят, звенят на дальнем снежном пути бубенчики.

Встречались им порою разбойники. Вылезут из-под моста молодчики придорожные, станут поперек пути заставой:

— Стой, держи коней, ямщик. Кого везешь? Боярина богатого, купца тароватого или попа пузатого?.. Говори: смерти или живота?

А Василий им:

— Разуйте глаза-то, олухи окаянные. Али не видите, кто сидит?

Поглядят разбойнички и в землю повалятся.

— Прости нас, негодяев, святитель божий. Эка мы, дураки, опростоволосились! Прости, сделай милость.

— Бог простит, — скажет Никола милостивый. — А вы бы, братцы, меньше народ кровянили... Страшный ответ вам придется давать на том свете.

— Ой, грешны, батюшка, свыше головы грешны... А ты все же, милостивец, не забывай и нас, злодеев, в своих молитвах... Мир тебе путем-дорогой.

— И вам мир на стану, разбойнички.

Так вот Василий и вез святителя много дней и ночей. Кормить останавливался у знакомых стоешников: везде у него были дружки и кумовья. Проехали уже Саратовскую губернию, проехали колонистов, подались на хохлов, а за хохлами пошли чужие земли.

А тем временем выходит Арий Великанище из своего высокого терема, припадает ухом к сырой земле. Слушал долго, поднялся чернее тучи, слуг своих верных кличет:

— Уж вы, слуги мои, слуги верные. Учуял я издали, что Никола-чудотворец к нам из России поспешает. А везет его кесемской ямщик Василий. Приедет Николай раньше недели православия — все мы — и вы и я — пропадем пропадом, как тараканы. Делайте, слуги мои, все, что хотите и умеете, а чтобы непременно вы мне святителя на день, на два в дороге задержали. Иначе — всем вам головы отрублю и ни одного не помилую... А кто изловчится и приказ мой исполнит, того осыплю золотом и каменьями самоцветными и отдам за него замуж дочь мою единственную, красавицу Ересию.

Побежали слуги — как на крыльях полетели.

Едет Василий с угодником чужими странами. Народ все пошел диковинный, несуразный, неприветливый. По-русски совсем не хотят говорить. Сами лохматые, черные, а рыла у них скобленые, и глаза исподлобья, как у волка...

Остался путникам всего один переезд. Завтра к обедне будут в Никитском соборе. Остановились на ночлег в селе у какого-то тамошнего стоешника, на выезде. Суровый мужик попался, вовсе неразговорчивый и грубый.

Спросили овса для коней. «Нет овса, весь вышел». — «Ничего, Василий, — говорит Никола, — возьми-ка пустой мешок из-под сиденья да потряси над яслями». Сделал по его приказу Василий, и из мешка полилось золотым потоком тяжелое пшеничное зерно: полны кормушки насыпал.

Спросил поесть. Мужик знаками показывает: «Нет, мол, у меня для вас ничего». — «Ну что же, — говорит святитель, — на нет и суда нет. Хлеб у тебя, Василий, есть?» — «Есть, батюшка, малая краюха, только черствый хлеб-от». — «Ничего. Мы его в воду покрошим и тюрю похлебаем».

Поужинали, помолились и легли. Угодник на лавке. Василий на полу. Заснул Никола тихо, как ребеночек. А Василию не спится. Все у него как-то на сердце неспокойно... Среди ночи встал лошадей поглядеть. Пошел в конюшню, а оттуда бегом прибежал. Лица на нем нет, весь трясется. Перепугался. Стал будить святителя.

— Отец Николай, встань-ко на минутку, пойди со мною в конюшню, погляди, какая беда над нами стряслась...

Пошли. Отворили конюшню. А уже на дворе развиднять стало. Смотрит святитель и диву дается. Лежат лошади на земле, все как есть на части порублены: где ноги, где головы, где шеи, где тулова... Взревел Василий. Лошадки уж больно хороши были.

Говорит ему святитель ласково:

— Ничего, ничего, Василий, не ропщи, не убивайся. Этому горю пособить еще можно. Возьми-ка да составь

поскорее лошадей, как они живыми были, часть к части.

Послушался Василий. Приставил головы к шеям, а шеи и ноги к туловам. Ждет — что будет.

Сотворил тогда Николай-чудотворец краткую молитву, и вдруг мигом вскочили все три лошади на ноги, здоровые, крепкие, как ни в чем не бывало, гривами трясут, играют, на овес весело гогочут. Бухнулся Василий в ноги святителю.

Еще до зари выехали. Стало дорогою светать. Вдалеке уже крест на Никитской колокольне поблескивает. Только видит Николай-угодник, что Василий на облучке то налево, то направо нагнется, все как будто бы что-то на лошадях разглядывает.

— Ты что это там, Василий?

— Да вот, святой отец, все гляжу... Лошади-то мои как будто в разные масти пошли. То были ровных цветов, а теперь стали пегие, точно телята. Никак я в темноте да впопыхах все их суставы перепутал?.. Неладно это вышло, однако...

А святитель сказал:

— Не заботься и не суетись. Пусть так и будет. А ты, милый, трогай, трогай... Не опоздать бы.

И, правда, чуть-чуть не опоздали. Служба в Никитском соборе уже к самой середине подходила. Вышел Арий на амвон. Огромный, как гора, в парчовой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове. Стал перед народом и начал «Верую» навыворот читать.

«Не верую ни в отца, ни в сына, ни в духа святого...» И так все дальше по порядку. И только что хотел заключить: «Не аминь», — как отворилась дверь с паперти и поспешными шагами входит Николай-угодник...

Только что из саней выскочил, едва армяк дорожный успел скинуть, солома кой-где пристала к волосам, к бородке седенькой и к старенькой рясе... Приблизился святитель быстро к амвону. Нет, не ударил он Ария Великана по щеке — это все неправда, — даже не замахнулся, а только поглядел на него гневно. Зашатал-

ся Великанище и упал бы, если бы слуги под руки не подхватили. Слов он своих пагубных окончить не успел и только промолвил:

— Выведите меня на чистый воздух. Душно здесь, и под ложечкой у меня плохо.

Вывели его из храма в соборный садик, а тут ему беда приключилась. Присел он около дерева, и треснула его утроба, и вывалились его все внутренности на землю. И помер без покаяния.

А у Василия-ямщика с той поры повелись да повелись пегие лошади. И всем давно стало известно, что у лошадей этой масти — самый долгий дух в беге, а ноги у них точно железные.

Теперь зима. Ночь. Выходили мы на дорогу, смотрели — не видать ли на снегу змеистой борозды от Васильева длинного кнута, слушали — не слыхать ли бубенцов с колокольчиками? Нет. Не видать. Не слыхать.

Чу! Не слышно ли?

ГУСЕНИЦА

Не особенно давно, весною прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу — фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах — словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака.

Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа. «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Констан-

тиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа — севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и — вглядитесь — какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, — потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

— Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус, не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, и овладевает не так, как мужскою душою, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной земной тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое деятель-

ное сострадание подняли всего на минуту ее душу к небесам. Хотите расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия — осень 1905 года, место — южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще начиналось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко, вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные больные разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы — случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чаи, шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет — словом, делали все, что полагается русским передовым человекам, томящимся в собственном соусе. Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги — налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,
Посылают нас на Дальний Восток?
Неужели мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустеха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Надо сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из-за пустяков. Скучала очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало, не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «А у нас, говорит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий такой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить». А Борис усмехнулся криво, одной щекой, и съехидничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая — abraxas grossulariata. Вот ты кто». Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила?» Но замечательно вкусно кормила. Такой кефали, жаренной на шкаре с помидорами, я нигде не ел.

Так-с. А тут пошли и большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то какие упования были! Да и все это время... я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком

масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!

Вдруг вспыхнуло восстание в Черноморском флоте. Шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные.

А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота, все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это — товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это — мои приятели, люди порядочные, на них можно положиться».

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться — вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь неподалеку спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь

по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте! Шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела свыше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная! Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия, собственно, не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, и пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

— Трус, не прячься за угол, — твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь, не надо, тебя никто не осудит, ты — человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка».

Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастию, пустовавшую, двух — к фотографу, а пятерых на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый, но очень уже они были изнурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслью, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко-близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему — кто кого главнее, эсдэки или эсеры, и кому из них человечество обязано черноморским восстанием, — глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят, и молчат, и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребятушки, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжи-

те, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городовой Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Василь-Дере» и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава обындевела и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим молча перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженые головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело

и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку — брат. Одно море их просолило.

Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Он-де матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

— Дурак. Штаны надел навыпуск, а нашпорники забыл.

ЦАРСКИЙ ПИСАРЬ

I

Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» — шесть, когда монументальный постовой городовой был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всенощной в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником.

Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая «Старой Баварией», к которой бесплатно подавалось пять-шесть крошечных блюдечек с заедками: пряничками, моченым горохом,

снитками, строганой воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячей колбасы. А гордостью заведения были «свежие раки», варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли и потому требовавшие к себе великого пива.

Кузьма Ефимыч был там постоянным ежедневным посетителем лет, должно быть, уже более тридцати; и хотя за пьянство не пользовался особым почетом, но если, случалось, он не приходил в свое обычное время, четверть первого, то и толстый лысый хозяин в кожаных нарукавниках и расторопные любимовцы-услужающие чувствовали некоторое беспокойство: нет-нет, а заглянут мимоходом в окно и скажут, точно про себя:

— А нашего Кузьму Ефимыча что-то не видать...

И все они с каким-то облегчением, немножко покровительственно, немножко насмешливо улыбались, когда в дверях появлялся этот худой, жилистый старикан, с важной, мелкой и неторопливой походкой, с высокомерно поднятой головой, сизым носом лепешкой и трясущимися до первой рюмки руками.

У Кузьмы Ефимыча было в пивной свое любимое, насиженное годами местечко, справа от окна, напротив стойки. На стене, на уровне его головы, через месяц после того, как меняли обои, уже обозначалось темное сальное овальное пятно от трения влево и вправо его седого затылка. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком.

У него была своего рода прочная известность. Приходила иногда в пивную какая-нибудь старушонка в допотопном шелковом салопе на лисьем меху и спрашивала хозяина:

— А где у вас здесь, батюшка, царский писарь?

Ей молчаливо указывали рукой на Кузьму Ефимыча. Она подсаживалась и говорила о своих вдовьих нуждишках. Для верности руки на столе появлялась сороковка. Мальчишка отряжался в писче-

бумажный магазин за особой царской бумагой. «Ты, смотри, Митя, там скажешь, чтобы дали не директорской бумаги и не министерской, а именно царской. Для меня, скажи, для Кузьмы Ефимыча». — «Не беспокойтесь, знаю, Кузьма Ефимыч. Не в первый раз». И бережно приносил бристольский лист в обертке, не помяв его и не согнув, а также и новое перо № 86. Тут уже никто в пивной не смеялся. Все понимали, что дело идет серьезное. А пригубившая винца почтенная женщина заранее слезилась.

— Ты, матка, не утопай в подробностях, — говорил Кузьма Ефимыч, оседлывая нос черепаховыми очками. — Дело требует ясности и простоты. Писать прошение на высочайшее имя — это тебе не роман сочинять. Ну, так ты говоришь, что вдова зверовщика?

— Да, отец мой, вот, вот, зверовщика, зверовщика.

— Говоришь, загрыз его медведь?

— Загрыз, батюшка, загрыз. Но медведь-то здесь без внимания. Одно только слово, что зверь был, а проще теленка. Четыре года за ним покойник мой ходил. Совсем почти что ручной. Мы сами-то егеря гатчинские, при царской охоте, значит, состоим, так кого угодно спросите, хоть господина начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть самого корытничего Баранова, который при меделянах. Вам каждый мои слова заудостоверит. А только какой-то охаверник возьми и страви зверю бутылку винища. Правда, муж не доглядел. А как пошел к нему в яму, он его припер в дверях и не пропускает. Ну, а он...

— Короче, вдова. О чем просишь?

— Да вот хоть бы пенсиюшку бы превеличили. Дорого теперь все стало. Курочек я держу, так овес по рублю пуд. Подумайте! Да и это не суть важно. А вот чтобы детишек на казенный счет воспитать. Нельзя ли это как-нибудь?

— Мм... Сыновья? дочери?

— Внуки, батюшка, внуки. Две девочки и мальчонка... Старшей-то девочке...

— Внуки. Так. А ну, матушка, помолчи малость. Стало быть, Завертяева Анна Архиповна? вдова зверовщика? жительствуешь...

— Так, так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствую.

— Улица? номер дома?

— Пиши: Гатчино, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, номер девяносто четыре, как раз против лавки купца Трескунова.

— Про лавку лишнее. Довольно. Теперь засохни на минуту. Не скворчи.

И он писал своим круглым военным писарским почерком, точно печатал, незыблемый текст прошения.

«Ваше императорское величество, всепресветлейший державнейший великий государь и самодержец всероссийский, просит вдова зверовщика гатчинской охоты Сергия Михеева Завертяева, Анна Архиповна Завертяева, к сему:

Припадая к отеческим стопам твоим, обожаемый монарх, и омывая оные вдовьими слезами, всеверноподданнейше прошу...» — и так далее.

Через четверть часа бумага бывала готова, и трудно было поверить, что человеческой рукой, а не машиной вырисованы эти ровные, твердые, чистые, как подобранные жемчужины, буквы и строки. Вдова доставала носовой платок, развязывала узелок и почтительно подавала Кузьме Ефимычу сложенную в шестьдесят четыре раза рублевку. Бумага, перо и конверт были тоже на ее счет.

— Так ты говоришь, Кузьма Ефимыч, что верное мое дело? — спрашивала старуха, тревожимая последним беспокойством.

Кузьма Ефимыч не отвечал, потому что занят был заказыванием порции любимых сосисок с хреном. За него уверенно говорил хозяин из-за своего прилавка, на котором он лежал локтями, брюхом и грудью:

— Будьте, бабушка, без сомнения. Кузьма Ефимыч как стрельнет, так в самую центру, без промаха. Воистину золотым пером человек обладает. Шутка ли сказать — царский писарь. Если бы не эта самая ихняя слабость...

— Ты там помолчи в тряпочку, — перебивал Кузьма Ефимыч, поднимая на него суровый взгляд своих прищуренных и опухших глаз. — Знай свою

стойку, русский американец из Ярославской губернии. А ты, вдова, ступай себе с богом. В канцелярии у швейцара узнаешь, кому надо сунуть. И ему дашь полтинник. И нечего тебе, почтенной женщине, по пивным размножаться. Гряди, вдовица, с миром.

Да, в нем было довольно-таки много чувства собственного достоинства — в этом живом свидетеле николаевских времен, похожем на те обломки старины, которым мох, зелень и разрушение придают такой значительный вид. На людей толпы он глядел свысока, точно поверх их голов, как часто глядят на новое поколение старые знаменитости, ушедшие на покой от шума и соблазнов, но еще сохранившие их в памяти сердца.

II

Людьми пожилыми, даже не отличающимися особенно тонкой наблюдательностью, давно уже замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу. Несомненно, что главная причина этого явления — уторопленность жизни, которая не течет, как прежде, ровной, ленивой рекой, а стремится водопадом, увлекаемая телеграфом, телефоном, поездами-экспрессами, автомобилями и аэропланами, подхлестываемая газетами, удесятеренная в своей поспешности всеобщей нервностью.

В литературе стал редкостью большой роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повестушку. Четырехактная комедия разбилась на четыре миниатюры. Кинематограф в какие-нибудь два часа покажет вам войну, охоту на тигров, скачки в Дерби, ловлю трески, кровавую трагедию и уморительный до слез водевиль, а также виды Калькутты и Шпицбергена, бурю в Атлантическом океане, Альпы и Ниагару.

Устный рассказ сократился до анекдота в двадцать слов. Но, главное, совершенно пропало умение и желание слушать. Исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше

переживал в душе все извивы и настроения рассказа, который отражал невольно на своем лице всю мимику рассказчика и с наивной верой воплощался в каждое действующее лицо. Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает, стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить:

— Подождите, это что! А вот со мной какой случай случился...

Про самого себя я скажу без похвальбы — да тут и хвастовство-то самое невинное, — про себя скажу, что я обладаю в значительной степени этим даром слушать с толком, с увлечением и со вкусом или, вернее, не утратил его еще со времен детства. Может быть, именно оттого несловоохотливый и по-своему гордый Кузьма Ефимыч изредка расшевеливался в беседе со мною и даже снисходил до эпического монолога.

Случалось это в зимние вечера, так часов около трех-четырех. Обыкновенно в этот пустой деловой промежуток в пивной совсем не бывало посетителей, и хозяин, из экономии, еще не приказывал зажигать ламп. Но зато топилась печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь вперемешку, красные пятна от огня и длинные быстрые тени. Иногда из темноты выделялись — то короткая седая борода Кузьмы Ефимыча, похожая на розовую пену, то его блестящий прищуренный глаз, с дрожащим заревом в зрачке, то рука с пивной кружкой. Бывало уютно, праздно, мечтательно-тихо.

— Вот вы удивляетесь моему почерку, что я так его сохранил до моих мафусаиловых лет, — говорил Кузьма Ефимыч неторопливым, сипловатым баском. — Но удивительного ничего. Привычка. Возьмите вы к примеру, скажем, столяра-краснодеревца, хотя бы самого старого-престарого. У него какие материалы под руками? Пемза, замша, наждачная шкурка, политура, лак, столярный клей. Средства всё грязные, грубые, и руки у него от работы скрюченные, корявые, черные, в мозолях. А сдаст он заказ без ма-

лейшей фальши, без пятнышка. В стол красного дерева можно, как в зеркало, глядеться. Никакому белоручке так чисто не разделать. И если он выпьет малую толику, то сие не только не во вред, а как бы для поднятия духа. Так вот и мы, старинные писаря. Особливо царские.

Мы, молодой человек, когда учились-то? С кантонистов еще при блаженной памяти государе Николае Павловиче. Тогда, брат, учение было не нынешнему чета. Тогда тебя не особенно спрашивали, к какому ты мастерству, миленький мой, склонен, а прямо определяли пророчески, по физиогномии наружности. Этому играть в оркестре на турецком барабане, этому быть чертежником, тому петь в церковном хоре басом, другому служить фельдшером, а третьему быть писарем. И вышколивали. Семь шкур с человека спустят, а доведут до совершенства точки.

Тогда во всем господствовало однообразие и равнение направо. Все равнялись: люди, лошади, будки, абвахты, студенты, фонари и улицы. Все чтобы было в линию и двух цветов — желтого и черного — императорских. Слыхали, наверно, рассказ? Делал однажды смотр Николай Павлович лейб-гвардии сводной роте, назначенной в почетный караул к германскому королю. Человек к человеку были подобраны. Всё трынчики, ухорезы. Так вот подошел государь правому флангу, пригнулся чуть-чуть и смотрит вдоль фронта. А уж, сами понимаете, каков строй: ружье в ружье, кивер в кивер, нос в нос. Усы у всех ваксой с салом начернены, сбоку поглядеть — одна черная полоса во всю длину. Посмотрел, посмотрел государь минуты с три, но потом выпрямился и изволил глубоко воздохнуть. Тут рядом, позади, находился приближенный генерал Бенкендорф, так осмелился спросить: «Дышут, ваше императорское величество?» А государь ему с прискорбием: «Дышут, подлецы!» Вот какие, голубчик мой, истуканные времена были.

То же и в нашем писарском искусстве. Учили нас всех писать единообразно, почерком крупным, ясным, чистым, круглым и весьма разборчивым, без всяких

нажимов, хвостов и завитушек. Он и назывался особо: военно-писарское рондо, — чай, видели в старинных бумагах? Красота, чистота, порядок. Полковая колонна, а не страница.

Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь... а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «ща» хвостик завинтишь на манер поросячьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учнет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.

Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, — может быть, слыхали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность.

Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть, я хочу сказать, до чрезвычайности чувствительный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество. Должно быть, писарь как-нибудь не уберегся». — «Какой такой писарь?» — «Сидоров, ваше императорское величество». — «Внушить Сидорову, чтобы впередь был осмотрительнее. А почерк у него, канальи, хорош, даром что нюхальщик».

В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о

почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался... Но все равно и так погиб... Запил мой учитель с этого часа, подобно змию... До лютости. С утра до вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился.

И вот через полгода — новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутлив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отличный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан. Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?»

Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал... так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было, как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведу!» А зеленая улица — это значило сквозь строй. До смерти забивали.

Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря...» Так и сказать изволил: *моего писаря*. «Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: «Моему писарю».

Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую преподнес.

Однако недолго Сидоров на государев дар порадовался. Первое — не мог он от своего виновкушения отрешиться, а второе — сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно

разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».

Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных щелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня веселятся они напропалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару — так, больше из модного шику, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчится как молния! Прямо, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.

Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз и от испуга головой под одеяло. И умирать буду — не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».

Да-с. Вот внучка у меня есть — Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так *что* она мне говорит, если бы вы, молодой человек,

послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца, душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова? Я молчу. Умом, знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с умилением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце.

III

Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее:

— Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на родину, а прочие исчезли где-то в безвестности.

Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками. Но одно дело — каллиграфия, а другое — военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высокой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.

В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый ваш Шаляпин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его кокарде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалование он получает шестнадцать целковых в месяц с копейками, а я шутя сто и полтораста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я — свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».

Но и надо сказать: того, что мы могли сделать, того уже не повторят ни теперешнее поколение, ни будущие. Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени, чем-то вроде последних кавказских черкесов. Конечно, в своей области. Хотите, я вам сейчас расскажу случай, первый, который мне подвернулся на язык?

Если вы днем поглядите вот в это окно, то как раз напротив, через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым, здание. В нем помещается министерство, а в министерстве был когда-то экзекутором Николай Константинович. Прежде служили подолгу. Министры — и те лет по пятнадцати оставались на посту. А Николай Константинович, я полагаю, чуть ли не с самого дня постройки этого здания пребывал в нем экзекутором.

Тогда он был в своей должности замечательный, тончайший знаток дел и душ человеческих, но и величайший во всем свете ругатель. Его одного мы, царские писаря, боялись. Не брезговал он иной раз и от руки сделать внушение. Но нашей буйной братией он все-таки дорожил, знал нам цену и, когда надо, прятал нас за свою широкую спину и выгораживал из разных житейских невзгод и злоключений, коим и числа не было. И как он нашу работу понимал

досконально! Бывало, поднесет бумагу плашмя на глаз к свету, точно прицелится из нее, и сразу все видит, где ножичком подчищено, где лаком притерто. И тотчас за вихор дернет или бумагой в лицо швырнет. «Переписать! — крикнет. — В другой раз за порчу царской бумаги штрафовать буду. У меня чтобы без помарок, без подчисток, без лаку и без сандараку!»

Когда приходилась в одном из нас какая-нибудь казенная надобность и одного писаря не оказывалось внизу, в швейцарской, то уж было известно, что следует только послать курьера в эту самую полпивную, где мы с вами сидим. Тут мы постоянно и заседали, занимаясь частной клиентурой. Но бывали случаи, когда мы требовались в значительном количестве, и тогда уж мы сами рыскали по всему городу в погоне друг за другом. И вытаскивали товарищей из самых злачных мест.

Так-то однажды, часа в два пополудни, Николай Константинович и издал устный приказ: «Собрать царских писарей елико возможно больше, хоть всех, кто еще держится на ногах, и привести их немедленно в министерство. Работа срочная и очень важная. Придется, вероятно, просидеть всю ночь. Плата тройная против обычая, не считая того, что за спешку и за аккуратность пожалуют директор и министр. И чтобы немедленно».

Чиновники уже уходили со службы, когда мы явились впятером к Николаю Константиновичу и все сравнительно в добром порядке, и за старшего у нас Гаврюшка Пантелеев, знаменитый мастер распределять на глазомер материал. Осмотрел нас экзекутор взглядом острым и испытующим и пожевал губами.

— Маловато вас, братцы.

А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы:

— Немного нас, но мы — славяне!

— Знаю я, говорит, тебя, славянин, как ты в жениной кацавейке по Александровскому рынку бегал. Ну, однако, за дело, ребята. Каждая секунда дорога. К семи часам утра поспеть надо во что бы то ни стало.

Случилось так, что государю угодно было весьма заинтересоваться одним вопросом по школьному делу, и он при министре выразил желание как можно скорее иметь подробную записку. А министр, по рассеянности, или по забывчивости, или просто так у него с языка от усердия соскочило, возьми и ляпни, что, дескать, доклад уже готов. Тогда государь сказал: «Вот и прекрасно, вы всегда, граф, предупреждаете мои мысли. Пришлите мне эту бумагу завтра пораньше. Я еду на два дня в Петергоф и там на досуге ее прочитаю и сделаю свои пометки». А о записке этой ни один человек в министерстве ни сном, ни духом.

Граф, когда узнал, за волосы схватился. «Если не хотите моей и вашей погибели, то чтобы к завтрему непременно доклад был готов. Хоть чудо совершите, хоть надорвитесь и ослепните, но записка должна быть составлена!» Ну, мы, конечно, обещали ему хоть в лепешку расшибиться, но его не подвести. «Теперь наверху Филипп Филиппович с Благовещенским да юрисконсульт с правителем в четыре руки катают. Через полчаса, пожалуй, окончат. И, значит, тогда, ребятушки, вся остановка за вами. Уж вы, братцы, не выдайте, а я вас, проходимцев, как и всегда, своими заботами не оставлю. Ведь я за вас, подлецов, перед директором слово дал».

Гаврюшка опять высунулся:

— Мы для вас, Николай Константинович, готовы свой живот положить. Но, не в обиду вам будь сказано, вы уж соблаговолите нам одну четвертную бутыль пожертвовать.

— Ведь облопаетесь, черти вы этакие?

— Будьте покойны. Мы свою меру знаем. Разве мы не понимаем, за какое строгое дело беремся?

— Ну, ладно, — говорит, — хорошо, будь по-вашему. Только уж отсюда я вас больше не выпущу — и обижайтесь или не обижайтесь, — а я вас всех сейчас обезножу и обезглавлю.

И крикнул дежурному курьеру:

— Эй, Толкачев! Возьми-ка у царских писарей сапоги, шапки и собольи ихние шубы и спрячь под

замок, а ключ мне передай. Водки же я вам сейчас пришлю.

А Гаврюшка опять:

— По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть. А все-таки прикажите нам и закусочки принести.

— Это дело. Чего же вам?

— Да так... Хлебца черного, ломтиками нарезанного, да соли покрупнее... Четверговой. А если другая закуска, то, неровен час, пятно сделаешь на докладе.

— Молодчина, Пантелеев. Тебе бы, по твоей дальновидности, частным приставом быть.

А тем временем, пока мы так любезно промеж себя рассуждали, принесли нам и черновики. Гаврюшка, наш главный закройщик, примерил на глаз и даже при самом Николае Константиновиче свистнул. Оказалось, по его расчету, с полями страниц полтораста нашего обычного почерка рондо, по тридцать страниц на брата. Тридцать страниц — пустяки, можно их и в три часа наворксать, но ведь не на высочайшее же имя! Тут на страницу клади двадцать минут, а то и двадцать пять! Это выйдет десять часов такой работы, без отъема. Жутковато нам стало. Но, однако, мы свое знамя высоко держали и от такого подвига не отступили. «Часам к девяти, говорим, пожалуй, управимся».

— Братцы, нельзя ли, черти еловые, пораньше?

— Постараемся, Николай Константинович. Вы сами николаевский служака и помните, как в наше время говорили: невозможного нет. А теперь извольте идти и больше нам не мешайте.

— Иду, иду, — говорит, — только вы уж, пожалуйста, олухи мои возлюбленные, без помарок, без подчисток, без лаку, без сандараку.

Мы смеемся:

— Да у нас с собою и принадлежностей для этого нет.

— Ну и прекрасно. Эх, запер бы я и вас самих на ключ в этой комнате, как запер вашу одежонку, да,

чай, вы тоже люди живые. Однако без сапог далеко не уйдете.

Мы опять смеемся:

— Всяко бывает. Однако до приятного свидания, Николай Константинович. И раньше восьми с половиной просим нас не беспокоить.

Ушел он. Сейчас Гаврюшка нам черновик разметил, кому откуда докуда списывать. Изумительный он имел талант на это дело. Так в письме я был и бойчее и сноровистее его, а вот насчет разметки, — право, не мог никогда постичь, какая это у него пружина в мозгу действует. И вот засели мы за работу вплотную.

Тишина была, как в церкви ночью. Только перья скрипят; нет-нет кто-нибудь бумагой зашелестит... Сальные свечи потрескивают... Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду — буль-буль-буль-буль-буль... Стаканчик звякнет... Хлоп! И опять все тихо... Что вы думаете? Раньше восьми окончили. Николай Константинович, как было уговорено, заглянул к нам в половине девятого и ужаснулся. Видит, все мы пятеро спим, склонив буйные головы на стол, а на столе перед нами не одна четверть, а две, и обе пустые. Это Гаврюшка Пантелеев среди ночи, босиком, без пальтишка и без шапки, к Пяти углам за второй посудиной стрельнул. А дело было зимою, и на улицах, по случаю мороза, костры горели.

Однако взял Николай Константинович аккуратно сложенную стопку переписанных листов, поглядел ее и так и на свет своим многоопытным взглядом и, не говоря ни слова, вышел на цыпочках, и дверь тихонько притворил, и приказал нас не будить. А в канцелярии он показывал нашу работу чиновникам и говорил со слезами на глазах:

— Вам, прекрасные молодые люди, с этакой работой и вдесятером не управиться, хоть бы вы из кожи вылезли. Оттого что у них в деле душа, а у вас только ум, да и тот цыплячий...

Кузьма Ефимыч опять надолго замолкает. Потом произносит медленно и печально:

— Рассказывал я об этом случае Глашеньке, моей внучке. Ничего она не поняла. Даже рассердилась на меня. Говорит: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолюбие». Так и сказала...

У него дрожит при этих словах голос, и мне кажется, что я в темноте вижу, как от обиды трясется его нижняя губа. Но уже поздно. Я слышу, как хозяин чешет пятерней под фартуком свой живот. Затем он длинно и вкусно зевает. И, наконец, голосом, еще тусклым от зевоты, говорит:

— А я тут было вздремнул под ваши веселые истории. Пора и свет пускать. Эй, Митюшка, Лаврентий, зажигайте лампы.

Кузьма Ефимыч встает, важно кивает мне головой, не спеша идет к дверям и выходит на улицу. Где он живет — никто не знает, и никто этим не интересуется. А если он перестанет ходить этак с неделю, то в пивной равнодушно скажут:

— А наш-то Кузьма Ефимыч, должно быть, помер...

ВОЛШЕБНЫЙ КОВЕР

Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления.

Им и в голову не придет, что когда-то, лет сто или двести тому назад, над этими почтенными древностями трудились целыми годами, с любовью и терпением, прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ.

Попробуйте только, вглядитесь внимательно в эти наивные памятники старины: в резные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку; крошечные

портреты, тонко нарисованные на слоновой кости; пузатенькие шкафчики, разделанные черепахой и перламутром, с выдвижной подставкой для писания и со множеством ящичков, простых и секретных; прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко; резные и чеканные табакерки, еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки; первобытные, красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши которых жалобно дребезжат под пальцем; книги прошлых веков в толстых тисненных золотом переплетах из сафьяна, из телячьей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почтительно, и они расскажут вам такие чудесные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет, каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их.

Да, кроме того, разве все мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные, замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они так-таки совсем навсегда ушли, исчезли из человеческой жизни? Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки-самолеты, семимильные сапоги, шапки-невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почем знать, может быть у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплющенная и позеленевшая лампа Аладина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, — это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль? Три года тому назад вы потеряли старенький, истертый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда — что греха таить — ревели часа два подряд. Почем знать — сумей вы в то время, хотя бы нечаянно, свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой?

Не подумайте, однако, что я хочу угощать вас сказками; вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, но тем не менее она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров.

Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его, французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну хорошее образование, что, впрочем, и не было трудно, так как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плавал с неутомимостью индейца, ловко управлял парусом, ездил верхом, как гаучос, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам, над пропастями, в туманной глубине которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запускании самых разнообразных воздушных змеев; в этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз, и когда они, полупрозрачные, блестящие, едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из руки мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью.

Так он и рос, привольно и беспечно, закаляя ежедневно свое гибкое тело всевозможными упражнениями, обогащая ум и взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ре-

меслу, кроме пускания змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которая нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь.

Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патіо (внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную) находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в патіо и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицый, с мокрой блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый рассказ и с этой секунды бесповоротно пленил впечатлительную душу юного бразильянца.

Профессор изъездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки, живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботокудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями Огненной Земли.

Ученые специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот ученейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко и — главное — в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий: он не искал ни метких

слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной.

Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.

Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в остро-занимательные формы. Большей частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы кусочек не то камня, не то изделие из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой — разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками — зеленой и красной. Протягивая эту вещицу мальчику, он спросил:

— Определите, мой молодой друг, что это такое?

— Это? — спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. — Я думаю... камень? Штукатурка? Раскрашенная известка?

— А происхождение?

— Н-не знаю... Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?

— Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов... Имя его...

За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку — ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.

Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер; завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья — старый и юный — сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света пылавшей зари, другая — голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсинных деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упросить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагву и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой

земле, бродячие разбойничьи племена... нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши...

Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением:

— Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и откуда?

— Право, я не знаю, — ответил равнодушно мальчик. — Кажется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь.

— Но обратите внимание, — возразил восторженно профессор, — он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету.

Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое пенсне.

— Расположение цветов, окраска и орнамент несомненно индийского стиля, — говорил он, низко склоняясь над ковром. — Это замечательно старый и несомненно редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь еще имеется что-то вроде марки или нет... Это скорее именной знак... а может быть... Подождите-ка... Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой... Посох? Жезл? Скипетр?.. Еще ниже буквы... Представьте себе, арабские буквы!

— Неужели арабские? — спросил, оживляясь, мальчик.

— Несомненно, арабские... Странно... На кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи.

На персидском — да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочитать ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски — тар или тара, что в переводе значит — лечу, лететь... Изумительный ковер... поразительный!.. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста... нет, даже четыреста, даже пятьсот... Восхитительная вещь!

На это мальчик сказал с легким поклоном:

— Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в Европу.

— Нет, нет, этого совсем не нужно, — вскричал профессор. И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом. — Очень, очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это тот самый волшебный, летающий ковер из тысячи и одной ночи, на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте — ковер-самолет! Тара! Лечу!

— Ну вот... сказки... вы шутите,— протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.

Профессор сразу сделался серьезным.

— Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, — сказал он торжественно. — Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо... — Он шумно вздохнул. — А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер? Или

арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..

Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни — детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкоголосого ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно.

Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались апельсинные деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными оранжевыми шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.

Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полосу рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы.

Но вот что однажды случилось.

Мальчик, по своему обыкновению, сидел на ковре, поджав ноги. Указательным пальцем он машинально обводил прихотливый узор арабских букв и, слегка покачиваясь взад и вперед, напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову:

Маленький мой коврик,
Волшебный старый ковер,
Таинственный, могучий ковер,
Создание страшного джинна,
Тара-тара-тар.

Ах, лети, лети, мой ковер,
Тара-тара-тар.
Высоко к небу, над облаками,
Высоко над землей.
Тара-тара-тар.
Пусть орел машет крыльями,
Пусть расстелется ковер по воздуху.
Рукоятью мне будет жезл;
Подниму ее — полечу кверху,
Опущу — полечу книзу,
Наклонюсь направо — полечу вправо,
Наклонюсь налево — полечу влево,
Тара-тара-тар.
Люди внизу маленькие,
Как муравьи.
Дома внизу маленькие,
Как игрушки,
А я один в воздухе,
Тара-тар.
Лечу на волшебном ковре,
Тара-тара-тар.

И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло, дрогнув, стало опускаться вниз, между тем как левое подымалось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси, сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще, и еще, и еще и завертелась бесцветным жужжащим дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, растаяли стены комнаты, веселый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому, пламенеющему небу.

Мгновение, другое — и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял неподвижно в воздухе, а внизу навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности; они проскальзывали далеко внизу, под ковром, и торопливо убегали

назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. Монотонно жужжала вертящаяся птица. Легок и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед — и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него; движение назад — и все впереди застилось поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево; направо — направо. И все это несложное управление покорной птицей было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде.

Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые, полосатые заплаты огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала, в извилистых очертаниях берегов, плоская желтая, голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки — парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синело и спокойной стеной подымалось кверху море, упираясь в легкое, ясное, розово-синее небо.

«Туда! К горам!» — сказал про себя Дюмон.

Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов. Можно было, наконец, различить верхушки деревьев.

«Выше! Еще выше!» — говорил мальчик, отдаваясь упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным летом взмыло выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатой равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Дюмону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы.

Он до тех пор подымался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неописуемой величавой красоте уходил в беспредельную необъятную даль.

И скоро никого и ничего не стало, — не стало на всем свете; было только: вверху светло-голубое небо, внизу — черно-синий океан, а посредине — между ними — очарованный, опьяненный буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.

Но... где-то близко залаяла собака... раздалось щелканье бича... загремели отворяемые ворота... лошадь застучала копытами. Мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и, как раньше, трепетали за окном ровным, глянцевитым блеском плотные листья апельсинных деревьев.

Что с ним было? Спал он или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это — сказка.

— Сказка? — спросят меня. — А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Добрая фея? Самоцветные каменья? Счастливая свадьба?

На это я скромно возражу:

— Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет (только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие). И вы убедитесь, что все чудеса самой чудесной из сказок — пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей.

Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов девятнадцатого столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение пятидесяти девяти секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они в сущности не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил все-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане «Demoiselle» изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами — башней Эйфеля и Собором Парижской богоматери.

Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть, однако, в этом удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали — все равно было ли это во сне, в грезах или наяву.

И вот, когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно, к ангарам, то его осенила странная, тревожная, впрочем, очень многим знакомая мысль:

«Но ведь все это было со мною когда-то!.. Давным, давным-давно. Но когда?»

ЛИМОННАЯ КОРКА

Этот смешной и трагический анекдот почерпнут нами из редкой книжки «The Book of eminent Boxers» (изд. W. Stewart, London, 1843 [1]), которая ссылается на еще более редкую книгу Пьери Эгона, опирающегося в свою очередь на полуспортивные английские газеты конца XVIII столетия.

Полную фамилию лорда Томаса Б. (трижды пэра Англии, герцога за год до своей смерти в 1802 году) все три источника не оглашают по вполне понятной причине, которая вскоре будет ясна и читателям; по той же причине и мы не называем целиком его имени. Достаточно будет сказать, что лорд Б. неоднократно встречался с Вильямом Питтом, лорд-канцлером графом Турлоу и казначеем флота Дундасом; был близко знаком с Бурком, Адиссоном и Диком Стилем, четыре вечера подряд обыгрывал в карты Чарльза Фокса и однажды перепил на портвейне и шотландской виски его светлость Вильяма Генриха герцога Кларенса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. Его величественная фигура и надменное лицо увековечены Рейнольдсом на портрете, хранящемся и поныне в одной частной коллекции в Америке.

---

[1] «Книга о знаменитых боксерах», изд. У. Стюарта, Лондон, 1843 *(англ.)*.

Лорд Томас Б. оставил по себе тройную память: как вельможа, очень богатый даже по тому времени, как исключительный скупец и как ярый поклонник боксерского спорта. Последнее влечение иногда перетягивало в нем даже его бережливость, вошедшую в поговорку. Газеты того времени называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров — голландского еврея Самуэля, Крибба, Джека Рандаля, Молинэ, «Боевого Петуха», Джона Джексона и других, которым он оказывал свое довольно щедрое покровительство. Надо сказать, что тогда, в эпоху всеобщего увлечения боксом, этот жестокий вид спорта пользовался гораздо большим почетом, чем в наши дряблые времена. Высокородные лорды не стеснялись публично на пристани засучивать рукава и вступать в состязание с каким-нибудь здоровенным лодочником с Темзы или держать сюртук своего фаворита-профессионала в те минуты, когда тот дрался внутри канатного барьера.

Последним из боксеров, кого взял под свою высокую опеку лорд Б., был Сюлливан — кажется, ирландец по происхождению, смелый и стойкий малый, замечательный как страшной силой своих ударов в схватках, так и привлекательным характером в частной жизни. Лорд Б. нашел его в очень бедственном положении, больным, полуголодным, на каком-то холодном чердаке, где он медленно оправлялся после своего громкого состязания с «Чернокожим Ричмондом» в Ньюкестле.

Попечения, которыми лорд Б. окружил Сюлливана, можно было бы назвать поистине отеческими, если бы к ним не примешивался дальновидный расчет, основанный на корысти и тщеславии. Дело в том, что Чернокожий Ричмонд (теперь нам неизвестно, был ли он мулат, креол или квартерон) и Сюлливан были не только двумя самыми сильными боксерами своего времени, но и давними заклятыми врагами. В спортивной публике глухо поговаривали о том, что причиной этой взаимной ненависти служила не так профессиональная ревность, как глубокая обида, нанесенная когда-то чернокожим семье ирландца.

Замечательно было то, что в их неоднократных и свирепых встречах обидчик проявлял гораздо больше злобы, чем обиженный, ибо судьям приходилось нередко предотвращать со стороны Ричмонда недозволенные приемы.

Анонимный автор цитируемой нами книжки, склонный, как и все писатели XVIII столетия, к моральным рассуждениям, говорит по этому поводу:

«Как часто бывает, что благодетель привязывается сердцем к облагодетельствованному, и как нередко, причинив человеку зло, мы сами начинаем его за это ненавидеть».

Разыскать неизвестного боксера с большими задатками, прозреть в нем будущую звезду спорта, обеспечить ему приличное существование, дать необходимый тренинг, а потом выпустить его в свет для блестящей карьеры считалось тогда в высшем английском обществе столь же достойным и похвальным для настоящего джентльмена, как ныне считается шикарным видеть цвета своей конюшни побеждающими на скачках в Дерби и Ипсоме. Не надо также забывать и того, что во время боксерских состязаний заключались между джентльменами очень крупные пари, доходившие иногда до нескольких десятков тысяч фунтов.

Чернокожий Ричмонд и Сюлливан были одинаково известны. Они встречались уже неоднократно и каждый раз жестоко избивали друг друга, но окончательное первенство между ними еще не было установлено ввиду постоянной перемены счастья. Последняя их встреча не дала решительного результата, так как была прервана вмешательством полиции из-за скандала, поднятого публикой. Тогда многие зрители уверяли, что будто бы из боевой перчатки метиса выпала тяжелая монета времен королевы Елизаветы; впрочем, это, по мнению арбитров, доказано не было.

Знатоки, однако, уверяли, что за Ричмондом насчитывалось более шансов на звание чемпиона. Он был значительно выше ростом, чем Сюлливан, тяже-

лее его (если оба находились в своих лучших формах) на пятнадцать фунтов, обладал длинными руками, отличался, как все дикари, малой чувствительностью к боли и, кроме того, потея, издавал тот отвратительный, специфически негритянский запах, который действует удручающим образом на нервных борцов из белой расы. Словом, теперь понятно, до какой степени общественное внимание было привлечено к обоим боксерам и к лорду Б., взявшему под свое покровительство ирландца.

Сначала Сюлливан вел спокойную и деятельную жизнь в подгородном имении лорда. Трижды в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с небольшим количеством поджаренного хлеба и запивал их пинтою доброго двойного шотландского эля; в промежутках, переварив еду, он тренировался со своими лидерами четверть часа, полчаса и час, а для того чтобы «открыть дыхание», пробегал ежедневно десять миль вместе со своим бультерьером Фипси; в остальное время он купался или спал.

Его молодое тело быстро восстанавливало здоровье и крепость. А главное, к Сюлливану постепенно возвращались его превосходные душевные качества: воля, уверенность и терпение, чего совсем не было в чернокожем, который был страшен в первых нападениях, но при малейшей неудаче терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым.

Сюлливан отлично учитывал как все преобладающие шансы Ричмонда, так и свои достоинства. Но, к сожалению, их взвешивал не менее точно и сам лорд Б. Дальновидный человек и расчетливый игрок — он хорошо понимал, что его ставки за Сюлливана могут окупить расходы по покровительству и принести значительный барыш только в том случае, если победа Сюлливана явится для прочих игроков полной неожиданностью. Равенство закладов с той и другой стороны уже ввело бы скупого лорда в значительные убытки. А между тем шила в мешке не утаишь, и как ни старался лорд Б. держать в секрете тренинг Сюлливана, — прекрасные шансы этого

боксера не сегодня-завтра могли сделаться известны широкой публике.

И вот покровитель начал сначала осторожно, в виде намеков, указаний и дружеских советов, а потом все настойчивее и грубее торопить ирландца к состязанию. Сюлливан однажды позволил себе мягко возразить лорду:

— Подождите еще немного, сэр. Теперь я в состоянии выдержать с негром полтора часа. Дайте мне, сэр, еще несколько дней, и у меня будет достаточный запас сил для того, чтобы в последнем круге (round) раздробить Ричмонду нижнюю челюсть.

Но лорд Б., подстрекаемый своей жадностью, становился с каждым днем нетерпеливее. Однажды он дошел в своей назойливости до такой степени, что дал понять Сюлливану о том, как дорого обходится его содержание. С ирландцами можно производить всякие психологические опыты. Но попрекать их хлебом никогда не следует.

Сюлливан ответил коротко:

— Сэр, я готов.

Вскоре был назначен день матча. За два дня до него оба соперника были допрошены репортерами спортивных газет.

Чернокожий Ричмонд сказал:

— Вы увидите, как я быстро отправлю душу этого ирландца в ее католический рай.

Сюлливан высказался значительно и не без юмора:

— У Ричмонда кулаки в полтора раза больше моих. Следовательно, при одинаковом весе перчаток каждый дюйм его кулака жестче в полтора раза. Но я предпочел бы драться с ним вовсе без перчаток.

Эта шутка, если в ней разобраться, имела характер самого смелого вызова. К стыду тогдашних спортсменов надо сказать, что они иногда допускали бокс и без перчаток, голыми руками, но такие состязания всегда вели к тяжкому каленью и часто к смерти. Может быть, именно по этой причине Ричмонд настоял в выборе города на мягкосердечном

Брайтоне, а не на Мульзее, который имелся в виду раньше и в котором судьи действительно могли разрешить этот жесточайший род бокса.

Щадя нервы читателей, я не буду переводить на русский язык описание всех двадцати четырех раундов (схваток), сделанных боксерами в день их встречи. Любителя сильных ощущений я отсылаю к прекрасному и малоизвестному рассказу Конан-Дойля «Мастер из Кроксвиля». Прочитав его, он до известной степени сможет представить себе, какое отвратительное и героическое, постыдное и прекрасное занятие — бокс.

Я только отмечу, что раунды были трехминутные, с минутным перерывом между ними. Боксер, упавший на пол и не поднявшийся на ноги в течение одиннадцати секунд, должен был считаться побежденным, если только эти одиннадцать секунд не переходили за конец условленного трехминутного срока.

Еще до начала состязания лорд Б. натолкнулся на неприятную неожиданность. Вопреки всем расчетам и вероятиям, вопреки здравому смыслу игра составлялась не за Чернокожего, а за Сюлливана, в размере пяти против четырех. После первого раунда разности закладов возросли до семи против трех, после четвертого они выразились в цифрах: Сюлливан — девять, Ричмонд — два.

Лорд Б. был немного бледнее обыкновенного, но ничем не обнаруживал своего беспокойства. После пятой схватки он подозвал к себе известного маклера Моисея, отдал ему на ухо какие-то распоряжения и затем с невозмутимым видом продолжал сидеть в первом ряду, у самого каната. Время от времени он отпивал из большой кружки свой любимый пунш из рейнвейна и виски и, вынимая ложкой ломтики лимона, медленно их обсасывал.

После седьмого раунда ставки за Ричмонда неожиданно для всех стали подыматься; к пятнадцатому они даже дошли до al pari [1]. Никто не мог объ-

---

[1] Равного положения (*итал.*).

яснить себе причину этого нелепого явления. Все видели, что Чернокожий Ричмонд вышел на состязание пьяным. Если его нападения и были необычайно свирепыми в первых схватках, то с двенадцатого круга он уже заметно начал сдавать[1]. Он весь лоснился, тяжело дышал и однажды споткнулся, но не от удара, а по собственной неловкости. Между тем Сюлливан, который до сих пор только защищался, не переходя в атаку, был свеж, бодр и дышал глубоко и спокойно, как спящий ребенок.

Игра на Ричмонда так же быстро падала, как и подымалась, едва только Сюлливан начал наступление. Давно уже старые поклонники бокса не видали таких молниеносных выпадов, такой быстроты и точности движений, такого чудесного соединения расчета, отваги, гибкости и находчивости. От боковых ударов ошеломленный метис шатался между руками Сюлливана, как кулек выбиваемого тряпья; беспощадные прямые удары заставляли его отступать к самому канату, и раза три он уже обращался в бегство вокруг каната, сопровождаемый свистками и ругательствами зрителей.

Все поняли, что Чернокожий Ричмонд кончен. Теперь уже самые слепые и безрассудные игроки отказались от него. Один только маклер Моисей упрямо принимал ставки, предлагая за гинею три шиллинга, потом два и, наконец, даже один. Джентльмены смеялись ему прямо в лицо и записывали свои заклады без всякого увлечения, ради курьеза. Конец матча был ясен всем, до последнего мальчишки, продававшего морс и мятные лепешки.

Когда Ричмонд вышел на двадцать четвертый раунд, на него было жалко и забавно смотреть. Он шатался на ногах, колени у него подгибались, рот был открыт и черномазое окровавленное лицо стало похожим на идиотскую маску. Только глубокий

---

[1] Автор книги и здесь приводит мудрую сентенцию: вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предает. *(Прим. автора.)*

инстинкт опытного боксера еще держал его в стоячем положении и не давал ему упасть, а большие приемы водки в перерывах будили его угасавшее сознание.

В начале третьей минуты Сюлливан поймал метиса в мышеловку, то есть зажал его голову под свой левый локоть, притиснув ее к боку, а правой стал быстрыми и короткими ударами снизу превращать его глаза, губы, нос и щеки в одну кровавую массу. Ричмонд был весь мокрый от пота. Ему как-то удалось, втянув в себя скользкую шею и упираясь руками в тело противника, вырвать голову из этого живого кольца. Боксеры мгновенно разъединились, но разрыв этот был так силен и внезапен, что Ричмонд с размаху шлепнулся на пол в сидячем положении, а Сюлливан мелкими и частыми шажками понесся назад, спиною к барьеру. Но вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и грузно упал на землю, на правый бок. Несколько раз он делал усилие, чтобы встать, подымал на руках свое туловище и опять со стоном припадал к полу.

— ...Четыре, пять, шесть... — считал вслух секунды один из судей.

На шестой секунде Ричмонд поднялся и стал среди площадки, покачиваясь и размазывая пот, кровь и пыль по своему страшному лицу.

— ...семь, восемь...

Сюлливан делал судорожные усилия, как раздавленный червяк, но не подымался.

— ...девять!..

— Стоп! — воскликнул второй судья, подняв вверх руку. — Три минуты. Антракт.

Одна секунда спасла Сюлливана от поражения. Его секунданты бросились к нему, желая помочь ему встать на ноги. Но он одним знаком остановил их.

— У меня, кажется, сломана нога, — сказал он. — Это — пустяки. Но поглядите на это... вот на это...

Один из секундантов нагнулся и поднял с досок эстрады маленькую, растоптанную боксерским башмаком, скользкую корочку от лимона.

Невольно взгляды всех зрителей обратились к лорду Б., который направлялся к выходу со своим всегдашним надменным и спокойным видом. Маклер Моисей, занятый в дальнем углу залы приемом закладов, сделал было торопливое движение, точно намереваясь подбежать к нему. Но одним движением ресниц лорд Б. приковал его к месту.

ОДНОРУКИЙ КОМЕНДАНТ

Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично, вместе с четкою памятью, все свои зубы цвета старых фортепьянных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и, по старинной моде, отпускал бакенбарды — висячие, «штатские», какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры; военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь: на галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность.

Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, про-

стодушно веровал в бога и в евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки.

Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения... Жаль — нет у нас привычки записывать по свежей памяти: все нам некогда.

Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть иными словами пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом лоншанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим, холодным, круглым оком в окно. «Удивляюсь! Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» «Понимаете ли, — закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, — никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами».

Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны.

— Я тоже, — сказал он, — был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте. Михайла Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе: и петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и Белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось.

Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве втором, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготовлялось второе. Но подготовлялось наспех. Штаб хотел, чтоб непременно его приурочить к тридцатому августа, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую Плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и лучше знал, что̀ солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время».

А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был Белый генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятелен и свободен на язык.

Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку, решили наудачу, на кривую. Очень бранился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали — я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья — знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию, за какие качества?

Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей

железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким...[1] Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горталов, давши слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб: «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем», и — ничего: ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему: не могли-де мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все, армейские, хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именинный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжениям, не удастся — Скобелева и вина и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдат из окопов — до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то — меньше четверти. На ногах не стояли...

Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза, страшные, как у сумасшедшего. Не говорил — лаял. Стал за домом умываться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтил и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели, кричит, продажные души, губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский — отчаянный он человек был — подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, говорит, ваше превосходительство,

---

[1] Так перечислял Е. А. Лещик. *(Прим. автора.)*

люди ведь кругом, смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты». Успокоил.

Да что Скобелев? Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. «Стряпали, мол, именинный пирог из солдатского мяса, да не выпекся».

А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал.

В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно, и это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало кто видел, как он по ночам работал. Выльет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человеков, черномазых, усатых, носатых, и он с ними часами по-французски разговаривал. Спал урывками.

Вот тут-то и о петухе. Повадился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет — ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями и метлой гонял, и водой окачивал — никакого, подлец, внимания, — орет. А генерал из себя выходит. И, наконец, не выдержал, лопнуло терпение, решил предать петуха военному суду.

Самый форменный был суд, с дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала и меня с Круковским. Собрались судьи, всё офицеры, ввели петуха, секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор — громы и молнии, вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах и голос трепетал... Потом суд удалился, посовещался минуточку и вынес постановление. «Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а оный злоумышлен-

ный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оного петуха, к посрамлению противника и к вящему торжеству Всероссийской державы, предать смертной казни через отрезание головы и сварения его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава».

Так и сделали, как порешили. Круковский, по слабости натуры, боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав: с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком-чесноком, с укропом-петрушкой-сельдереем, — не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Клико.

Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу не дешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: у солдат-де популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять: над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты!.. Косо на него тогда начальство глядело.

Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит; пускай иной чудак поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что черту в преисподней страшно становится, — солдат всегда почует, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья Плевна показала всей России, что такое Скобелев!

А для Белого генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не «графа», как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля [1], а то, что остановились русские войска в виду Константинополя — рукой подать, —

[1] Оставляю на памяти и совести рассказчика. *(Прим. автора.)*

но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок, от гнева. И уехал с горя в Хиву.

Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь п.....и к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг — немец и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну вот, видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек! Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне!

Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он? Богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что, по воле Бисмарка, поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд и в час его смерти выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.

Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва! Москва ведь!

Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял имениями Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича и господ Богарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был

простой, хозяйственный ум, с помощью которого он прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но — как бы выразиться — без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе, и шутя подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша̀», и это не за какую-нибудь там слабость или склонность, а так иногда, бывало, на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали — и на военной службе и дома, в имении, — так же, как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, а дать «Паше» выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: «А? В чем дело?»

Хороший был человек, солидный, серьезный. Пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру Второму. Царь и спрашивает его: «Так ты, значит, Скобелев? Отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, ваше величество».

Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигуру Скобелева первого, Однорукого коменданта, Ивана Никитича, дедушки Белого генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер — все у него было как-то ни на что не похоже: горячо, странно, и трогательно, и жестоко — совсем не по писаному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были! Времена железных людей, орлов, великанов! Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой бильбоке... Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и... кровавые.

Я Однорукого коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся или по крайности пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой

Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление — курский соловей, дар от бога, златоуст во вдовьем темном платье.

Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжкой службе — редкий случай до необычайности.

Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда: вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала.

Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина — бабья докука — его погнала под ранец с выкладкой; должно быть, бывают такие люди, особливо буйные по натуре: везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный с масленого портрета его, не так чтоб очень молодым, а скорее зрелых лет. Огонь!

Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе — жена блудливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее». А впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать.

Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова, при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Напо-

леона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиною пальца на правой руке. Кроме этого, имел ран и контузий без числа.

Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неувядаемой славой. Весь его полк полег на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть, с ружьями на-караул, с музыкой и преклонением знамен! Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден Почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву. И объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе.

А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, — хотя он и вождь неприятельских войск, — есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места.

Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знамен-

щика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отданием чести.

Главнокомандующий, князь Кутузов, встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил (да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой), а потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли? Отдохнул бы? Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся. «Если я своими культяпками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, в Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтил, по справедливости, как первейшего полководца всех веков.

После войны взошла высоко скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев: прошла в них нужда — их и забыли. Но у Иван Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почетные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали.

Несмотря на то, что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, — в таком, представьте себе, мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну уж и портрет — прямо на ананасную конфету! Левый рукав бантом к плечу пришпилен, правая рука выставлена вперед и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы! Вверх и вбок! Лев! Глаза огненные. Волосы в кур-

чавом беспорядке. На бритых устах усмешка гордая и любезная: гордая для соперников, любезная для прекрасного пола.

Одна петербургская графиня, первая раскрасавица и ужасная богачка, в него донельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, повелено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его, с высочайшего соизволения, была приписана вначале литера «слово», то есть стали — он и его будущие потомки — именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми.

Жил он беспечно и весело с молодою женою в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. Притом же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и презанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал.

Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит.

В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника Петербургского гарнизона. В ту же пору, и по тому же званию, с ним произошла большая неприятность.

Как всегда, был назначен на первое мая парад всем частям Петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки. Съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи. Собрался весь генералитет. Приехала царская семья, и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович.

Всегда на этом параде полагалось: как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирать, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро, по всей строгости устава.

Но дернула нелегкая какого-то посланника опоздать на три минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке — нет пропуска, к другой, к третьей — тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести — самого черта приведет за шиворот, не пускать — ангела господня не пропустит. Посол спрашивает: «Кто запер рогатки?» — «Начальник гарнизона, генерал Скобелев». — «Где он?» — «А вот там, где кончается Лебяжья канавка, у Цепного моста».

Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид... «Как это так, что меня не пропускают?» — «Точно так. И не пропустят», — отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» — «Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя, а потому впущены за цепь быть не можете, в силу закона». — «Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном!»

Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово: «Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом Почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине». — «Хорошо же, — погрозил посол. — Вы меня узнаете! Нынче же обо всем будет доложено императору...» — «Ваше дело. А теперь налево кругом маррш! Капральный, проводить генерала!»

Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть «Наполеона» он не мог. Почел за

оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список».

Так Скобелева и убрали с должности «без внесения», но никуда, однако, вновь не определив, оставив его, некоторым образом, висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немыслим.

И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в Летнем саду, ездил слушать почтамтских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. Он нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамтские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться.

И вот как-то утром вышел он прогуляться на Английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами. Пелерина развевается. На каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А! Здравствуй, Скобелев. Что это тебя не видно, не слышно?» — «Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». — «Вот ты как? Хорошо же. С завтрева упрячу тебя в крепость». — «Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине». — «Молчи, молчи, гру-

биян. Прощай. Завтра жди». — «Слушаю, ваше величество».

И, правда, упрятал: на другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя: быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности, каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской.

В Петропавловской крепости Однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную — нынче говорят меланхолическую, — ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, — хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, — дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе.

Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал не торопясь кофе: по скоромным дням — с топлеными сливками, по постным с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет и трется головкой о комендантову щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка: чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугаю шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, омоченным в кофе.

Нужно также сказать, что было у Скобелева, в промежутках между делами службы, одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь, раз-

мером с церковную библию екатерининских времен, в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал Однорукий комендант своими культяпками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирал. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжищу, и никто не видал ее раскрытой и незапертой. Кроме, конечно, попугая.

Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, — его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно, распоряжения, возвращается в кабинет и — о, ужас — что же он видит! Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким и острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылил. Схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая! Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется — комендант все его догоняет. Наконец забился под диван, к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец, сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать, что ему первое попало в голову: «Молитвами святых отец наших, боже, милостив буди мне грешному».

Ну, тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от грудей. «Ладно уж, вылезай, подлец этакой,

Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги!»

Велел принести себе гуммиарабику, прозрачной бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разодранные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался. То закричит: «Шай! На караул!», то «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет: «Помни, прохвост, как важные бумаги рвать!..» Ну, потом, конечно, простил... Только уж больше не забывал о ключике и застежке.

Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый Однорукий комендант.

Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор — усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что, после прежней немилости, стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил Однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только, бывало, изволит войти в комендантов кабинет, с аналоем пред образом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом: «Здорово, попка!» А тот: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» — «Кто *я*?» — «Государь и самодержец вся России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович.

Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно по-

здоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили... неизвестно. После обедни, по обыкновению, зашел к коменданту. Увидел попугая. И, больше по привычке, сказал ему: «Здравствуй, попка!»

А попугай тоже в этот день находился, верно, в расстроенных чувствах, сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять. «Здорово, попка». Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает: «Кто *я*?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно:

«Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно пороховую бочку, взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая: «Голову оторву!» И давай за ним гоняться по кабинету: «Убью! своими собственными руками задушу подлую скотину! У меня в доме! Моему государю. Не уйдешь ты, гадина, от моей руки!..»

Император уж сам стал его успокаивать: «Оставь, Скобелев. Птица — тварь неразумная. Грех ее убивать. Оставь».

Но куда! «Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воли ослушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный кухенрейторовский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его, наконец, утихомирил. «Не трогай птицу, храбрый Однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь... Не убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил, после его смерти, сорок лет

в скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий.

Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине Однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки.

Пришла для Иван Никитича пора закончить все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании.

Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли свои земные долги исправил, Иван Никитич?» — «По мере сил, разумения и памяти, государь». — «Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». — «Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвенником». — «Хорошо, Скобелев. Но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? — рад быть твоим душеприказчиком».

Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко:

— Вот разве что, ваше величество... Только боюсь выговорить...

— Ничего. Говори все. Слушаю тебя сердцем.

— Вот что, государь! Есть у меня к тебе две заветные просьбы: одна — для моего последнего утешения, другая — для блага великой России и твоей бессмертной славы.

— Говори, Иван Никитич.

— Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта: быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого.

— Так и будет. Сказывай вторую просьбу.

— Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землею. О государь! Взамен ста миллионов рабов, ты имел бы сто миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство, тебе врученное, всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Изволите видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкой? Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней у меня на шейной цепочке.

Но император нахмурился и прервал Скобелева резко:

— Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай. Думай о грехах. Молись.

И вышел от него разгневанный.

В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался Однорукий комендант. В ту же ночь приехал, по особому повелению, в крепость генерал Дуббельт. Описал все комендантовы бумаги и увез с собою. В том числе и огромную таинственную книгу в переплете с застежкою. Куда она потом девалась — никому не известно.

А первую просьбу Однорукого коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоящегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, Ивана Никитича Скобелева.

КИСМЕТ

Восточное предание

Жил много лет назад в небольшом, но богатом городе один купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный, вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение.

Однажды представился ему случай выгодно купить и еще выгоднее перепродать большой груз золотого песка, вследствие чего его состояние могло бы сразу утроиться. Но для этого необходимо было купцу не только собрать все деньги как наличные, так и отданные в долг, но и спешно распродать все товары. Взвесив внимательно выгоды и невыгоды предприятия и найдя дело настолько прибыльным и верным, что лишь исключительная немилость судьбы помешала бы его благополучному окончанию, купец решил пустить в смелый оборот все свое состояние разом.

Итак, в недельный срок сделал купец все необходимые приготовления и распоряжения, никого из домашних в них не посвящая, как и подобает настоящему хозяину. Когда же наступило утро четверга — счастливого дня для всяких начинаний, — он сказал старшему сыну:

— Рыжую кобылу оседлай для себя, а мула под меня и под вьюк.

Сын привык повиноваться отцу безгласно. Ни о чем не спрашивая, сделал, как было приказано. Перекинул через седло и закрепил два небольших кожаных мешка, которые подал ему отец; сотворили оба краткую дорожную молитву и выехали на заре из дома: отец впереди, сын несколько сзади и сбоку.

Путь их пролегал под счастливою звездою. Все торговые и денежные сделки совершались так легко, коротко и выгодно, что купец, начинавший пугаться постоянной удачи, часто шептал про себя: «Если бог захочет», «Если богу угодно». Отводил судьбу.

Узнал он в дороге, что цены на предметы роскоши чрезвычайно повысились благодаря женитьбе французского принца на испанской инфанте. По этой причине ему удалось продать свои товары в кредит с большими задатками, значительно превышавшими предполагаемые им счеты. Должники оказались все до одного людьми состоятельными и сговорчивыми, охотно платившими свои долги. И никакой задержки или помехи не произошло в дороге.

Благополучно покончив все дела, направил купец свой путь к тому приморскому великолепному городу, где дожидался его груз золотого песка. Купец был весел душою, хотя иногда все-таки шептал себе в бороду:

— Инш'алла.

Не доезжая одного конного поприща до моря и до славной гавани, завернули путники в постоялый двор для еды и ночлега. Как и всегда, отец захватил с собою переметные сумы и пошел в кофейную, а сын отвел животных в конюшню, расседлал их и задал корму. Потом оба вымыли руки, сотворили молитву и сели за скромный ужин.

Они еще не успели отужинать, как ворвалась в кофейную целая толпа людей подозрительного вида, шумных и плохо одетых. Они потребовали вина, стали пить и петь песни, и опять пили вино. Вскоре они перессорились, ссора перешла в крик, ругань и драку; блеснули ножи.

— Уйдем от худого дела, — сказал купец, вставая из-за стола. — Я тебе помогу седлать.

В темноте торопливо оседлали они лошадь и мула, выехали на дорогу и до тех пор ехали поспешно, пока за ними не смолкли топот ног и яростные возгласы, доносившиеся с постоялого двора. Но когда стало тихо, отец вдруг круто придержал мула, ощупал вокруг себя руками и приказал сыну:

— Стой! Ворочай назад!

Сам же нетерпеливо повернул мула и, погоняя его плетью, понесся во весь опор. Сын за ним.

Опять въехали во двор. Заглянули в окна кофейной, прислушались. Там тишина, как в могиле. Горят лампы. Людей сначала не видать. Только потом, присмотревшись, заметили на полу трупы и лужи крови. Окликнули хозяина, прислужников. Нет ответа. Должно быть, испугались резни и попрятались или убежали в лес.

Бросил купец поводья на руки сыну. Быстрыми шагами поднялся по крыльцу, зашел в комнату, подошел к тому самому месту, где они только что ужинали, нагнулся над лавкой, — и сын увидел сквозь окно, как отец поднял с сиденья и перекинул через плечо оба кожаные мешка, связанные веревкой. Только тут понял сын, что второпях они забыли захватить эти мешки.

Но, выйдя на двор, купец не вымолвил ни слова в объяснение. Пристроил мешки к седлу, вскочил на мула и протянул его арапником под животом.

Долго они скакали по дороге. Все боялись: вот нагрянет в кофейную полиция, погонится по горячим следам, схватит и отведет к судьям. А от судьи — прав ты или виноват — во всю жизнь не отвяжешься, пока не обнищаешь до последней рубашки.

На заре достигли они небольшой речки, по обоим берегам которой росла свежая, тенистая роща. Здесь отец велел привязать лошадей к дереву. Сотворили они оба утреннее омовение. Потом отец приказал:

— Бери мешки и неси за мною.

Пришли на малую полянку, со всех сторон укрытую от посторонних взглядов. Купец остановился и сказал:

— Садись.

Сели. Отец развязал оба мешка и молча стал раскладывать все, что в них было, на две равные кучки. Все пополам: брильянты, жемчуг, бирюзу — камешек против камешка по величине и достоинству. Так же золотые монеты, так же чеки на банкирские дома богатых мавров. Окончив же эту дележку, он сказал:

— Здесь две равных доли. Одна — твоя. Выбери любую кучку, ссыпь все, что в ней есть, в мешок, привяжи мешок к своему седлу. Сядешь сейчас же на лошадь и поедешь в том направлении, как мы до сих пор ехали. В пяти минутах езды увидишь, что дорога раздвояется. Возьмешь налево. Так ты короче доедешь домой. Помни, что теперь в доме ты самый старший. Строй жизнь как хочешь и умеешь. Я же тебе ни советов, ни благословений не даю. Иди. Пока не доедешь до первого селения, не смей оборачиваться назад. Домой я долго не вернусь. Может быть, и никогда. Ступай.

Сын безмолвно выслушал приказание, упал отцу в ноги, поцеловал землю между его стопами, повернулся, сел на лошадь и исчез между деревьями.

И вот пока все о купце и его сыне.

В роскошном и славном городе, столице великого государства, был канун торжественного праздника. Поэтому с самого раннего утра его жители — начиная от всемилостивейшего и всесильного повелителя и кончая последним поденщиком — соблюдали строгий пост. До позднего вечера, до той поры, когда глаз не в состоянии различить черной нити от красной, никто не должен был вкушать пищу, а если кому хотелось пить, то закон разрешал лишь полоскать высохший рот чистою водою. Вечером же каждому предстояло вознаградить свое терпение обильными

яствами, сладостями, фруктами, вином и другими земными благами.

Был также в той стране обычай, освященный глубокой древностью: приглашать на этот вечер к себе в дом бедняка, сироту, одинокого старца или путника, не нашедшего на ночь крова, и обычай этот свято чтился как в роскошных дворцах богачей, так и в покосившихся хижинах предместий.

И вот перед вечером, выходя из дома молитвы, обратился один из самых знатнейших и уважаемых людей города к окружавшим его друзьям со следующими словами.

— Друзья, — сказал он, — не откажите мне в покорной просьбе. Приведите в мой дом несколько бедняков, каких только встретите на улицах и на порогах кофеен. И чем они будут слабее, беспомощнее и несчастнее, тем с большим вниманием и почетом я их встречу.

Человек этот был неисчислимо богат: длинные его караваны ходили в глубь страны, вплоть до верхнего течения Великой реки; многопарусные корабли его бороздили все моря света; мраморные дома его с обширными садами и прохладными фонтанами поражали своей красотой. Но если богатство снискало ему почет и удивление, то любим он был повсюду за свои душевные качества: правдивость, доброту и мудрость. Никогда не оскудевали его руки для бедных, ни разу не оставил он друга в минуту горя или неудачи, а советы его в самых сложных случаях жизни были так верны и дальновидны, что к ним нередко прибегал и сам повелитель, —тень пророка на земле.

Поэтому друзья, в ответ на его просьбу, поклонились ему и обещали как можно скорее исполнить его желание.

Один же из них сказал особо:

— О источник добра, покровитель бедных, ценитель драгоценных камней! Выслушай снисходительно то, что мне рассказали мои слуги, вернувшиеся из бани, куда, как тебе известно, обязан пойти в этот день каждый правоверный.

В ту же баню пришел еще один человек, такой старый, такой дряхлый и такой бедный, какого не было видано даже в нашем богатом городе, переполненном нищими. Все имущество его состояло из бабуш [1], кожаной сумы и лохмотьев, которые ему нечем было переменить.

И вот, выйдя из бани в раздевальную, этот бедняк заметил, что кто-то — если не из корысти, то, вернее, ради глупой шутки — унес его нищенскую суму и веревочные бабуши, оставив ему лишь единственную ветхую и дырявую одежду. Все, кто присутствовал при этом, были сильно огорчены и разгневаны. Но еще более удивились они, когда увидели, что лицо старца, вместо того чтобы изобразить печаль и злобу — просияло весельем и радостью. Подняв к небу руки, он благодарил бога и судьбу в таких прекрасных, искренних и горячих выражениях, что изумленные зрители замолкли и в смущении отступили от него... Об этом человеке я и хотел сказать тебе, о даритель спокойствия, хотя и признаюсь, что кажется мне этот странный старик безумным.

Знатный богач покачал головой и сказал:

— Безумный он или святой — мы не знаем. Приведи же его, друг мой, поскорее ко мне. Первым гостем он будет у меня сегодня за ужином.

И вот, когда наступила долгожданная минута, и во всех домах столицы зажглись яркие огни, и изо всех печей потянулись по воздуху чудесные ароматы пилава, жареной птицы и острых приправ, был введен старый нищий в дом знаменитого богача. Сам хозяин встретил его во дворе; почтительно поддерживая под руки, ввел его в залу праздника, посадил на главное место и брал от слуг блюда, чтобы собственноручно накладывать гостю лучшие куски.

Приятно было всем пирующим видеть, какой лаской и добротой светилось лицо старика. Хозяин же, умиленный видом его седин и кроткой старческой радостью, спросил гостя:

— Скажи, сделай мне милость, не могу ли я

---

[1] Туфли без задника (от *араб.* babuŝ).

услужить тебе, отец мой, исполнив какое-нибудь твое желание, все равно — малое или большое.

Старик улыбнулся светло и ответил:

— Покажи мне всех детей твоих и внуков, и я благословлю их.

Подошли к нему поочередно, по старшинству, четверо взрослых сыновей купца и трое юношей — внуков, и каждый становился на колени между ног старца, и старец возлагал руки на их головы.

Когда же этот старинный хороший обряд окончился, то последним попросил благословения знаменитый купец. Старец не только благословил его, но и обнял и поцеловал в обе щеки и в уста.

И вот, поднявшись в великом волнении с колен, сказал знатный купец:

— Прости меня, мой отец, за вопрос, который я осмелюсь задать тебе и не сочти его за праздное любопытство. Во все время, пока ты сидишь в моем доме, гляжу я на тебя пристально и не могу оторвать моих глаз от твоего почтенного лица, и все более и более кажется оно мне близким и родным. Не помнишь ли ты, отец мой, не встречались ли мы с тобой когда-нибудь раньше... в очень давние годы?

— Охотно прощаю, сын мой, — ответил старик с любовной улыбкой, — и в свою очередь задам тебе вопрос: не помнишь ли ты тенистую рощу на берегу небольшой речки, а также мула и рыжую кобылу, привязанных к дереву и двух людей — отца и сына, которые на круглой поляне высыпали из кожаных сум драгоценные камни и золото и делили все пополам?

Тогда купец склонился до земли перед старцем и поцеловал землю между его ног и, вставши, воскликнул:

— О возлюбленный отец мой, благодарение богу, приведшему тебя сюда. Взгляни же, вот — дом твой, а вот — я и дети мои, и внуки — все мы слуги и рабы твои.

И обнялись они с отцом и долго плакали от радости. Плакали и все окружающие. Когда же прошло некоторое время и наступило сладкое спокойствие,

то спросил знатный купец с нежной учтивостью у своего отца:

— Скажи же, отец мой, почему ты в то утро разделил между нами все свое имущество и почему пожелал, чтобы мы поехали в разные стороны, расставшись надолго, если не навсегда?

Старец ответил:

— Видишь ли: едва мы выехали по нашему делу, то за нами пошла необычайная удача. Вспомни — я все твердил: «Инш'алла». Я боялся зависти судьбы. Но когда мы вернулись обратно на постоялый двор и я нашел нетронутыми наши сумы, лежавшие на виду, доступные каждому взору и каждой руке, — я понял, что такая удача превосходит всё, случающееся с человеком, и что дальше надо мною неизбежно, по справедливости, должна повиснуть длинная полоса неудач и несчастий. И вот, желая предохранить тебя, моего первенца, и весь дом мой от грядущих бедствий, я решился уйти от вас, унося с собою свою неотвратимую судьбу. Ибо сказано: во время грозы лишь глупец ищет убежища под деревом, притягивающим молнию... И ты, видящий, до какого нищенского состояния я дошел в эти годы разлуки, — не найдешь ли ты, что я поступил прозорливо?

Все слушатели, внимавшие этим словам, поклонились старцу и дивились его мудрой проницательности и его твердой любви к покидаемой семье.

Один же из самых старых и чтимых гостей спросил:

— Почему же ты, о брат моего дяди, сегодня, вместо того чтобы плакать, радовался и ликовал, узнав, что у тебя украли последнюю нищенскую суму? Не разгневайся, прошу тебя, на мой нескромный вопрос и, если тебе угодно, ответь на него.

Старик на это сказал с доброй улыбкой:

— Оттого я возликовал, что в этот миг сразу я понял, что судьбе надоело преследовать меня. Ибо, подумай и скажи: можно ли вообразить во всем подсолнечном мире человека, более бедного и неудач-

ливого, чем нищего, у которого украли его суму? Более худого судьба уже не могла придумать для меня. И погляди — я не ошибся. Не нашел ли я в тот же день и сына моего, и его сыновей, и сыновей его сыновей. И теперь, не боясь уже привлечь на их головы своей злой судьбы, я доживу остаток дней моих в любви, радости и покое.

И все опять поклонились ему и воскликнули единогласно:

— *Кисмет!*

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, — если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Виль-д'Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так иногда меня ласково пробуждали до зари — веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда.

Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун-скворец и беззаботный свистун-дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно, с удивлением прислушивались к тем странным, непонятным, никогда доселе

мною не слыханным звукам — мощным и звонким, — от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха.

Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости.

Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариных токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь, в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: «Ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы, — все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах». В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих прекрасно-яростных звуков. Повсюду — в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сюрене, в Гарше, в Марнла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраинах Парижа — звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но пол-

нозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do!*

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест, и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть всей страны, может быть всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха — праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

«И, наконец, может быть, — думал я, — сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обожествившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огнеликого бога».

Вот и солнце. Еще никогда никто — ни человек, ни зверь, ни птица — не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного, розового — розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая последние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю — звенят ли золотыми трубами солнечные лучи, или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе — таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на востоке из пепла, дыма и раскаленных углей!

Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние, еще более дальние, и, наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил:

— Это вы так хорошо пели сегодня на заре?

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, черкнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным

хриплым баском. Не ручаюсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: «А вам какое дело?»

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

ПУНЦОВАЯ КРОВЬ

В Сен-Совере, в этом благоуханном зеленом, быстроводном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что:

«В воскресенье 6-го сентября 1925 г. на байонской арене состоится *строго подлинная* коррида при участии трех знаменитых матадоров: дона Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта, которые, в сопровождении своих полных кадрилий пикадоров, бандерильеров и пунтильеров, сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной ганадерии Феликса Морена-Арданьи из Севильи».

А внизу мелким шрифтом — шесть параграфов договора с публикой:

«§ 1. Коррида начнется ровно в 4 ч. 30 минут пополудни.

§ 2. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает.

§ 3. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому.

§ 4. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается.

§ 5. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает.

§ 6. Покорнейше просят почтенную публику не баловаться (pas jouer) палками и бутылками».

Параграф пятый (о несчастных случаях) мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя газетная заметка о роковом событии на одной из мадридских коррид. Очень известный эспада[1], нанося решительный удар быку (эстокада), ткнул неудачно острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец с визгом перелетел через барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара!

Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбрал свой жребий, уступив свое первоначальное, лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не просила. Смысл последнего параграфа я постиг дня два спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером, накануне корриды, рассказывал, за чашкою чая с флердоранжем, хозяин гостиницы «Святого духа» в Байоне, почтенный господин Пинья, крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах, глубоко сидящих по сторонам *величественного* красного носа. Стиль его разговора я не могу передать, — для этого самому нужно быть французом, да еще южанином, — но смысл точен.

Байонская арена окончилась постройкой в тысяча восемьсот пятьдесят втором году. Несомненно, это был царственный широкий, хотя и противузаконный дар пылкой испанке, Евгении Монтихо, от ее августейшего супруга. Начиная с тысяча восемьсот пятьдесят третьего года императорская чета присутствовала неизменно на всех особенно громких корридах, где блистали высоким искусством матадоры: Кюша-

---

[1] Шпага — название матадора. *(Прим. автора.)*

рес, Эль-Тато, Санз, Мора и другие знаменитые эспада. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая, легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи и обмахиваясь быстрыми движениями веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту корриды. Говорили, что она была прекрасна. Вся блестящая знать Второй империи сопровождала своих монархов на байонскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амеде Ашар и Проспер Мериме. Ведь это Теофиль Готье определил однажды бой быков как «самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел!»

— Подождите, мой друг, — сказал господин Пинья, — я сейчас покажу вам очень редкую вещь, программу пятьдесят четвертого года, одну из тех программ, что печатались специально для императорской ложи.

Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и очетвереннную вырезным кружевом, с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху.

Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было семьдесят пять лет, а хозяин продолжал говорить. Странно: у байонского трактирщика были утонченные, аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии.

— Этому великому искусству больше тысячи лет. Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании, и первым между ними был герой народной легенды Сид Кампеадор. Верхом на боевом коне он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьем.

Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов заменили специалисты-матадоры, выходящие против быка пешими, со шпагою в девяносто сантиметров длиною. Страшный удар копья с высоты седла отошел в область преданий, да у современных людей уже и не хватило бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в корриде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови.

Но у матадоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен матадоров и членов их кадрилий. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и эспадой ведется честно и открыто, и ни один, даже самый прославленный, торреро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед.

В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы эспада убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубые кровожадные вкусы, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегать к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных и избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива.

Так думаем мы, старые и верные посетители корриды. Вот завтра вы увидете Никанора Вияльта. Он — Вияльта — один из редких ныне представителей классического метода. Мы, спокойные знатоки, его высоко ценим, но он не для большой публики. В прошлом году, на одной из блестящих мадридских коррид, он убил подряд двух своих быков с такой простотой, с таким изяществом и с такой математи-

ческой точностью, каких давно не видали понимающие люди. Вы, конечно, знаете, в чем заключается высшая награда матадору? По решению судей, у убитого быка отрезают правое ухо и торжественно подносят его особенно отличившемуся победителю. Так вот, все знатоки и настоящие любители корриды требовали, чтобы этот лестный подарок был присужден Никанору Вияльта. Но в составе судей преобладали, вероятно, поклонники стиля модерн. Они не поняли всего того совершенства, с которым работал Вияльта, и отказали. Тогда представители прессы, сложившись, поднесли через несколько дней образцовому эспада бычачье ухо, сделанное из чистого золота. Вот это — славный почет!..

— Конечно, — продолжал Пинья, протягивая мне портсигар с тонкими сигаретками, — конечно, это злоупотребление эффектными трюками — явление временное, и мода на них может так же легко уйти, как и пришла. Классическая коррида со своим почти религиозным, строгим порядком не исчезнет до тех пор, пока существует Испания. Ведь недаром же испанский национальный флаг состоит из двух цветов — желтого и красного: это — неизменный песок арены и проливаемая на нем тысячу лет кровь.

Впрочем, и Байона крепко держится за традиции арены. Лет шесть, а может быть и восемь тому назад, французское гуманное правительство решило совсем искоренить бои, включающие mise à mort (смертный исход) для быков и лошадей. Там, на севере, эта игрушечная коррида, где бык считается пораженным, если ему успели налепить кокарду между рогов, привилась без ропота, но и без особого интереса среди анемичных французов. Здесь же, на юге, живет слишком много испанцев, итальянцев и басков, в жилах которых быстро бежит очень красная горячая кровь. Слухи о введении вегетарианской корриды, правда, у нас носились задолго, но все от них только презрительно отмахивались, как от явного вздора. Но однажды, в августе, афиши вышли с объявлением, что коррида состоится без смертельного конца. Однако никто этому не поверил, и арена была, как

всегда, переполнена сверху донизу. Но когда публика убедилась в отсутствии лошадей и когда украшенного кокардой быка стали загонять обратно за кулисы, — толпа пришла в негодование и устроила скандал, неслыханный и невиданный за все семидесятилетнее существование байонской арены.

— Забава с палками и бутылками? — спросил я лукаво.

— О, гораздо серьезнее! Толпа так ревела, что слышно ее было на вокзале, за четыре километра. Растерянная администрация вызвала полицию. Это окончательно взбесило ослепленных яростью южан. Мгновенно все, что находилось в здании арены деревянного, — скамейки, спинки, перегородки, барьеры, стулья, столбы, перила, перекладины — все было вырвано и переломано на куски. Сложили огромный костер на середине арены, облили его керосином и зажгли. Я теперь не помню, какими мерами удалось прекратить народное возмущение, которое уже начало разливаться по улицам. Целую ночь напролет бодрствовали военные наряды и пожарная команда. Страшный был день.

— Воображаю! — согласился я.

А господин Пинья прибавил:

— Но зато теперь наша арена — сплошь из камня и железа. Ее не сожжешь.

Я уговорился с моими русскими друзьями, ночевавшими в Биаррице, встретиться в моей гостинице заблаговременно, часов около двух с половиной, а если возможно, то и пораньше, чтобы поспеть до начала и видеть съезд. Но напрасно я их ждал на террасе до трех, и до трех с половиной, и до четырех без четверти. Мимо меня от вокзала проехал верхом на огромной гнедой кляче, в необыкновенно высоком деревянном седле о двух торчащих луках, пикадор. На нем была черная лакированная тяжелая шляпа с широченными полями, укрепленная под подбородком ремнем; курточка, сплошь унизанная, как кольчуга, красными камушками из поддельного граната

и толстой кожи, желтые сапоги, от ступни до бедер. Мне очень понравилось его румяное и чернобровое, серьезное, несмотря на молодость, лицо с узкими дорожками бакенбардов, идущих от висков. Тут я почувствовал, что мне пора идти, и притом не ленясь. Милый господин Пинья проводил меня крепким рукопожатием и пожеланием доброй корриды. Сам он ждал своих знакомых, которые должны были заехать за ним в коляске.

Мне ни у кого не надо было спрашивать дорогу к арене. Вся Байона шла туда по широким улицам, по прекрасным мостам через Адур и Гав-де-По. Нетерпение охватило меня, и я часто перегонял пешеходов. Помню просторную, зеленую от травы площадь, по которой многочисленными радиусами стекались люди все к одному пункту — к станции электрического трамвая. После станции шел поворот в узкую улицу, где стало очень тесно, потому что в нее вливается также дорога, соединяющая роскошный Биарриц, этот вечный приют скучающих миллиардеров, со скромной Байоной. Бесчисленное количество сверкающих роль-ройсов, шикарных лимузинов и других гордых «собственных» автомобилей протискивалось сквозь толпу, уплотняя ее и прижимая к стенам и заборам. Так, в пыли, в душной человеческой гуще, оглушаемый рявканьем моторов, я добрался, наконец, до голого загородного выгона, на котором увидел арену.

Это гигантское круглое здание без крыши занимает столь огромное место на земле, что, несмотря на высоту его стен, оно кажется приземистым. Окраска его невыразительно красная, с тем ржавым, желтоватым оттенком, какой принимает высыхающая кровь. Вынесенное за город, окруженное низкой пыльной притоптанной травой с одной стороны и колючими ожинками кукурузы с другой, оно производит будничное, одинокое, унылое и скупое впечатление, точно городская бойня, резервуар газового завода или главная нефтяная цистерна. Над ее стеною по всей окружности тихо шевелятся на высоких шестах красно-желтые испанские флаги. Вместо окон — ряд

круглых больших отверстий, сквозь которые видны ступени серых каменных лестниц. Внутрь арены ведут восемь зияющих темнотою арок, обозначенных литерами; в них беспрерывно льются черные человеческие потоки.

Нашу литеру «Б» я отыскиваю скоро и без труда. Один из моих друзей уже прошел и стоит сзади контроля. О времени и месте нашей встречи он забыл и слегка журит меня за опоздание. Третий компаньон забежал по дороге на телеграф и сейчас явится.

Смотрим на часы: без двух минут половина пятого. «Не волнуйтесь и не горячитесь, — успокаивает меня приятель. — Сложное представление на открытом воздухе, да еще на юге: у нас в запасе верных четверть часа». И правда: у меня ноги горят и сердце бьется от страстного нетерпения. Увидеть бой быков — моя пламенная мечта с пятнадцати лет.

Уже мое настороженное ухо ловит медные глухие звуки марша, когда появляется третий компаньон. Он, видите ли, был уверен, что наша литера — «F», и ждал нас все время в соответствующей арке. Мы немножко ссоримся по этому поводу (о Калуга! о Тамбовская губерния!), но все-таки торопливо бежим по коридору. Третий друг — спасибо ему — человек с опытом: на ходу он успевает взять напрокат три подушки, набитые сеном, по франку штука. Мы находим свою каменную лестницу, страшно крутую и узкую, как щель. Медленно подымаемся наверх в середине ползущей сплошной человеческой гусеницы. Сворачиваем на открытый балкон — и перед нами открывается песчаная арена.

Опоздали! Церемониальное прохождение всех кадрилий окончилось. Мы застаем только уходящий хвост, состоящий из упряжных вороных мулов в красной сбруе и пеонов третьего разряда, в красных блузах, с головами, туго обвязанными красными платками. Отыскиваем свои номера, напечатанные черными цифрами прямо на каменных сидениях из темно-серого шершавого камня, кладем подушки и садимся на них.

Половина амфитеатра в глубокой тени, половина на ярком свету. Круглая арена разделена надвое тонкой и кривой, как лезвие серпа, линией: справа песок горит, точно чистое золото, слева на нем лежит черно-голубой воздушный покров. И как теперь прекрасна, как она сказочно великолепна, эта столь нелюбимая мною толпа, тесно залившая, облепившая ложи, балконы, граден и все проходы!

Солнечная сторона переливается всеми цветами, какие есть на свете, и вся она в непрестанном движении, колыхании, трепете. Быстро-быстро машут невидимые руки веерами и программами. Нет сравнений, чтобы передать эту упоительную, волшебную игру красок. Как будто бы миллионный рой бабочек — голубых, белых, синих, лиловых, красных, желтых, черных, коричневых, фиолетовых, зеленых, малиновых, оранжевых и розовых — спустился вдруг на высокую гору, покрыл ее всю и, услажденный солнцем, радостно бьется в воздухе и дрожит своими легкими, полупрозрачными крылышками. Теневая сторона гуще и глубже красками. И она почти неподвижна. Она похожа, по-моему, на те роскошные французские цветники-партеры, в которых на обширном пространстве тесно перемешаны в восхитительном беспорядке цветы всех форм и всех красочных тонов. На солнечном полуамфитеатре я видел лишь горячие ослепительные пятна; здесь, мне кажется, я вижу тончайшие линии, мельчайшие узоры. И с нежной признательностью я пью глазами эту живую несравненную прелесть.

Над нами высоко распростирается бледно-сапфировое небо. Как чист воздух! Вон, вверху, на самой стене стоит отдельный человек. Он мне кажется, на широком фоне неба, маленьким, как обычная типографская буква, но с поразительной точностью я схватываю все очертания его фигуры.

Мы поместились очень хорошо. Прямо перед нами арка, откуда показываются быки; над нею узкая печатная вывеска: «Cuadrilla de Ganero» [1]. По левую

[1] «Кадрилья Ганеро» *(испан.)*.

руку — высоко расположенная судейская ложа. По правую — вход для матадоров и членов корриды.

Ложи все построены высоко над землею. Кроме того, они отделены от песка сплошным красным барьером, почти в человеческий рост. Таким образом, между ложами и ареной идет круговой коридор.

Из первых дверей выехали два всадника на вороных конях в черных средневековых одеждах с позументами и кружевами, в высоких черных шляпах с черными страусовыми перьями. Один из них, высокий худой, сидел на долговязой тощей лошади; другой, толстый и короткий, имел под собою маленькую жирную и, кажется, жеребую кобылу. Это были альгвазилы. Может быть, они изображали бессмертных испанских героев: Дон-Кихота и Санчо Пансу? За ними, немного в стороне и сзади, ехал, сдерживая строгим мундштуком статную, горячую, красивую светлую рыжую лошадь, дон Ганеро — первый, по очереди, из нынешних матадоров, бывший капитан королевской кавалерии. Он весь в черном шелке, только голова его обвязана клетчатым розовым платком, кончики которого торчат наружу ушками из-под черного берета, и это, представьте, вовсе не смешно, а, наоборот, мужественно и красиво.

Я не успел заметить, что такое делали альгвазилы у барьера под судейской ложей. Я видел только, как, повернув лошадей, они медленно и торжественно пересекли арену и скрылись за барьерною дверью. Не получили ли они ключей от помещений, где содержатся быки?

Дон Ганеро сделал вслед за ними круг по арене. Он заставлял свою лошадь то идти испанским шагом, высоко закидывая вверх передние ноги, то подниматься, через шаг, на дыбы. Публика безмолвствовала. Это она привыкла видеть в каждом плохоньком цирке. Она ждала дальнейшего, зная, что дон Ганеро, вопреки традиции, или, вернее, по великой традиции Сида Кампеадора, не признает ни работы

пикадоров, ни зрелища распоротых лошадиных животов.

Двое его бандерильеров показались на арене с ярко-пунцовыми плащами, перекинутыми через руки. Раскрылись прямо перед нами барьерные двери, и вышел, именно не выскочил, а вышел большой черный рогастый и очень равнодушный бык. Ослепленный солнцем, изумленный непривычной обстановкой, он сделал несколько шагов, остановился и, внезапно повернувшись спиною к публике, неторопливой рысцой направился обратно к выходу. Но двери уже были замкнуты. Подбежавшие бандерильеры стали его дразнить своими пунцовыми плащами. Тогда он, несколько живее, перебежал вкось арену, ткнулся в барьер, подумал и встал, как собака, на задние ноги, упираясь передними в стенку. Публика сдержанно смеялась. Бандерильеры опять отвлекли его на середину арены. Но бык, по-видимому, решил во что бы то ни стало вернуться домой. Сделав ленивую и неудачную попытку боднуть одного из бандерильеров, он сразу понесся галопом к тому же самому месту барьера и вдруг с необыкновенной легкостью, мягко и беззвучно через него перепрыгнул, вызвав несколько случайных женских вскриков.

Пеоны, с головами, обвязанными красными платками, засуетились в коридоре. Прошла минута — и бык снова показался во входных дверях.

Теперь миролюбие и рассудительность покинули его. Увидав вблизи себя развевающийся яркий плащ, он кинулся на него со склоненными низко рогами и ударил. Но плащ в то же мгновение метнулся, вскинулся в воздухе и исчез, а с другой стороны уже дразнил его налившиеся кровью глаза новый плащ, который стелился и змеился по земле.

Дону Ганеро подали из-за барьера его специальную бандерилью, длиною почти с копье, и он свободным галопом помчался на быка. Бык увидел это и, глухо заревев, бросился в атаку. Но, почти наскочив на животное, почти коснувшись его, дон Ганеро сделал на скаку крутой ловкий вольт. Удар быка пришелся впустую. Увидев снова лошадь и всадника,

бык кинулся их преследовать, но не мог догнать и повернул в сторону, чтобы броситься на людей с плащами. Ловкий и быстрый Ганеро уже опять крутился около него и вдруг, улучив момент, с такою силою вонзил ему в затылок бандерилью, что она вошла глубоко под кожу и застряла в ней, раскачиваясь при каждом движении быка. От боли бык обернулся назад, сделал несколько поворотов вокруг себя, точно стараясь схватить зубами досадный раздражающий предмет, и опять заревел.

Эта тонкая, ловкая и жуткая игра велась долго, и... как странно вела себя, глядя на нее, взыскательная публика! В ней все время раздавался тихий, вежливый, но упорный свист. Это свистали дону Ганеро, как отступнику от традиции, освященной привычкой. Но каждый его ловкий и дерзкий маневр, каждый меткий удар встречался дружными аплодисментами.

Морда у быка уже опенилась, и черная шея покрылась потоками крови, которая на черной шерсти — влажной, гладкой и блестящей — казалась не красной, а темно- и густо-пунцовой. Заунывный звук труб пронесся откуда-то сверху. Сигнал, возвещающий смерть быку, или...

Дон Ганеро спешился и подошел к барьеру, под судейской ложей. Ему подали девяностасантиметровую шпагу и красную мулету. Бык был подведен бандерильерами совсем близко. После нескольких приемов дон Ганеро ударил, но неудачно. Только после второго удара бык, спустя некоторое время, упал. Откуда-то появился специальный быкоубийца — пунтиллеро — с коротким кинжалом в руке. Он склонился над быком, нанес быстрый удар в затылок, и бык растянулся на песке, пятная его пеной и кровью.

Из барьерных ворот пеоны вывели пятерку горячих мулов, красная упряжь которых оканчивалась массивным железным крюком. Почуяв кровь, животные долго артачились и бесились, пока не удалось служителю зацепить крючок за шею, и черную тяжелую тушу рысью поволокли встревоженные мулы

за кулисы. Ничего жалкого или некрасивого не было в мертвом быке. Низменными и противными показались все движения человека, докончившего его жизнь кинжалом.

Не существует более делового и точного зрелища, чем коррида. В ней нет места ни вступлениям, ни объяснениям, ни антрактам, ни задержкам. Только что убрали труп первого быка и пеон едва успел заровнять граблями следы крови на песке, как из отворенных ворот быстро выбежал второй бык. Он был немного меньше ростом, чем предыдущий, но легче его, суше и ладнее; тоже черной масти, переходящей на крупе в серо-железный цвет. Бык не дожидался нападений, а нападал сам, обнаруживая большую энергию и увертливость. Первую бандерилью дон Ганеро, сидя уже на новой, свежей лошади, воткнул в него неудачно. Она подержалась несколько секунд и упала. Бык остановился, медленно нагнул до земли голову, понюхал окровавленное острие и в бешенстве стал взрывать песок передними ногами. При этом он ревел, и в его реве — негромком, но чрезвычайно глухом и низком — слышалась сдержанная, сжатая, злобная угроза. И как только мелькнул перед его глазами дон Ганеро на лошади, бык тотчас же полетел за ними вдоль барьера, не отставая ни на вершок. Весь амфитеатр ахнул, когда, наконец, полным карьером настигнув лошадь, бык успел толкнуть ее рогами в зад, но толкнул не острием, а боком. Вот когда я увидел воистину «коня бледного»! Лошадь под доном Ганеро вообще горячилась, и ее шея, там, где она соприкасалась с поводьями, была слегка взмылена. Но после толчка, нанесенного быком, она сразу вся покрылась белой пеною, и дон Ганеро должен был ускакать в коридор, чтобы пересесть на третьего коня.

Над этим подвижным быком было тяжело работать. Кавалер-матадор сделал много промахов, пока не вонзил трех бандерилий. И убить себя бык дал не легко. Поверженный вторым ударом шпаги,

он упал на землю и некоторое время лежал на животе, подогнув под себя передние ноги. Пунтиллеро уже подходил к нему со скрытым в складках одежды кинжалом и уже нагибался над ним предательским движением Яго... Но бык вдруг, одним толчком, вскочил на все четыре ноги и с такой неожиданной, бешеной яростью бросился на окружающих его врагов, что они рассыпались в разные стороны. Публика разразилась единодушным взрывом аплодисментов. Но силы уже оставили это достойное, храброе животное; оно снова упало и повалилось на бок. Его прикончили.

На барьере повесили новый аншлаг: «Cuadrilla de Freg»[1]. И сейчас же как из-под земли выросла и разбежалась по арене эта кадрилья. По публике пронеслось, подобно электричеству, сдержанное оживление. От Луиса Фрега ждали многого. Ему только тридцать пять лет, но он самый старший из современных матадоров. Он носит титул доктора тавромахии, данный ему самим Лагартилло Чико; в высокое звание матадора его посвятил великий Мазантинито. В двадцать третьем году он был опасно ранен быком из ганадерии Матиаса Санхеса, но уже в двадцать четвертом году он одержал много блестящих побед, а в сентябре прошлого года убил своих двух быков на мадридской корриде с таким мастерством, что был восторженно приветствован десятитысячной толпой и вынесен на руках с арены. Печать за его дерзкую отвагу дала ему прозвище «Torrero de l'emotion» — тореодор, дающий сильные ощущения. Он сам невысокого роста и строен; в движениях его есть наигранная шаблонная грация, и ему присущи несколько актерские жесты.

Выехали двое пикадоров на высоченных костлявых лошадях. У каждой левый глаз был наискось завязан темной косынкой. Они расположились под нами в небольшом расстоянии друг от друга, спинами к публике.

---

[1] «Кадрилья Фрега» *(испан.)*.

Выбежал бык, черный, как и все «Торо» ганадерии Арданьи, с серыми проседииами на крупе и на ляжках, очень живой и предприимчивый. Но напрасно мы ожидали горячей борьбы и жутких ощущений. Фрег ежеминутно терял удобные моменты, часто отступал, промахивался или вонзал бандерильи так слабо, что они тотчас же валились на песок. И вся его кадрилья работала вяло, не вдохновляемая примером своего главы. Только лишь один из бандерильеров, в голубом шелковом костюме, сплошь затканном золотом, выгодно выделялся из всех. Он невольно обращал на себя внимание изяществом и уверенностью движений. От разъяренного быка он не спасался бегством, но подпускал его вплотную к себе в его разбеге, давал ему дорогу и вежливо пропускал.

Указывая на него, мой приятель, далеко не впервые посетивший корриду, сказал мне тоном знатока:

— Посмотрите на этого, голубого с золотом. Его ждет большая карьера.

Заунывная труба возвестила срок выступления пикадоров. Один из них, на серой длинной кляче, выдвинулся вперед, и бандерильеры, маневрируя своими яркими плащами, подвели быка, незаметно для него, совсем близко к лошади. Бык увидел и остановился. Тогда пикадор шпорами и поводом повернул лошадь так, что она пришлась к быку левым боком и левым глазом. Все остальное произошло в мгновение. Низко склонив голову, бык рванулся к лошади и, ударив ее рогами в живот, поднял на воздух. Копье пикадора не остановило его ни на секунду. Мигом здесь образовалась пестрая каша: бык, лошадь, упавший пикадор, Фрег, бандерильеры и пеоны. Но голубой с золотом быстро отвел быка своим пунцовым плащом. У серой лошади жалко подгибались задние ноги, и из разорванного живота выползали наружу кишки: серые и желтые, тускло блестевшие слизью под ослепительным солнцем. Наконец она присела на зад и повалилась на бок. Ах, нет! Я не знаю более печального зрелища, чем издыхающая или дохлая лошадь в лежачем положении.

Ее живот кажется таким раздутым, плечи такими узкими, шея такой плоской и длинной, а голова такой маленькой! Я до сих пор помню острые слезы, которые закипели в моей груди, когда в конце тысяча девятьсот семнадцатого года я увидел лошадиную падаль, валявшуюся на Измайловском проспекте, у Плевненского памятника, и никем не убираемую несколько дней... Но, впрочем, к чему эти домашние воспоминания? Мимо!..

Первую лошадь доколол пунтиллеро. Вторую, гнедую, бык убил наповал: она, лежа на песке, только подрыгала немного задними ногами, судорожно вытягивая их, и замерла. Тотчас же прибежали пеоны и покрыли оба трупа брезентами. Получились плоские, серенькие, сморщенные могильные холмики. Роковая труба возвестила между тем последнее единоборство.

И тут-то Луис Фрег оказался бесконечно ниже своей прославленной, мировой репутации. Неудача за неудачей, неловкость за неловкостью преследовали его. Он колебался, пятился от быка, робко пропускал выгодные моменты. Два раза выпады его были безрезультатны. Тут я кстати запомнил одну подробность, которую не уловил у дона Ганеро; всадив клинок в быка глубоко, но не смертельно, матадор не извлекает его обратно, а оставляет его торчать в теле, рукояткою наружу. А ему подают через барьер новую и новую шпаги. Перед третьим ударом Фрег казался совсем беспомощным и бесцельно совал острием в воздухе. Чей-то грубый бас с галерки крикнул нетерпеливо: «Máta lo!» («Убей его!»).

И мгновенно весь амфитеатр подхватил этот крик: «Máta lo! Máta lo!»

Тысячи оглушительных свистков пронзили воздух. Тысяча здоровых глоток закричала грозно и зловеще: «Угу! Угу! Угу!» — совсем так, как кричат по ночам наши северные огромные белые филины, только грубее, громче и ниже тоном. И мне стало немного жутко.

Мне кажется, что третий удар Фрег нанес, закрыв глаза. Бык после него стоял на месте, а Фрег

отступал назад, слегка пошатываясь. Тогда один из бандерильеров, подойдя близко к быку, потряс у него перед глазами плащом и сразу повел плащ назад. Бык круто повернулся вслед плащу телом, но ноги не успел передвинуть: они переплелись, и бык рухнул на землю. В ту же секунду пунтиллеро оседлал его сзади и прикончил мгновенным ударом. Свист, крик, визг, ругательства и проклятия переполнили всю арену сверху донизу. Когда мертвого быка увезли мулы, то на том месте, где он упал, осталась огромная черно-пунцовая лужа крови.

Коррида не знает остановок и перерывов. Со следующим быком немедленно должен был сразиться все тот же злополучный Фрег. Но чья-то милостивая душа дала ему передышку. На арену вышла кадрилья Никанора Вияльта во главе со своим молодым матадором, в котором я и мой сосед тотчас же узнали изящного бандерильера, голубого с золотом, так незаметно блиставшего в предыдущем состязании.

Это участие с его стороны было рыцарской услугой товарищу и почет старшему мэтру. Я позднее узнал о том, что именно Луисом Фрегом был посвящен Никанор Вияльта в высокое звание матадора шестого августа тысяча девятьсот двадцать второго года в Сен-Себастиане, а мне давно известно, каким бескорыстным уважением окружают люди силы, риска и отваги своих учителей.

Эта часть программы прошла безукоризненно при неослабевающем восторге зрителей. Кадрилья, прекрасно одетая и чудесно подобранная, работала легко и весело, точно забавляясь игрою со смертью. Вияльта показал себя во всем блеске молодости, естественной грации и совершенного владения страшным искусством тавромахии. И бык, с которым суждено было сразиться этому голубому с золотом матадору, являл собою образец дикой красоты и свирепой мощи.

Он не вышел, а ворвался ураганом на арену. Не

дожидаясь вызова со стороны людей, он бросился на первую мелькнувшую ему в глаза, сверкавшую золотом фигуру и погнал ее вдоль барьера, но вдруг бросил ее, круто повернулся вбок и помчался за пунцовым плащом. И с разбега внезапно остановился на самой середине амфитеатра, застыв неподвижно, как великолепное изваяние из черного мрамора. Я четко видел его в профиль. Он казался мне черным силуэтом на золотом фоне. Какой плавной дивной линией была очерчена его фигура: крутая мощная морда, широкая и короткая шея с надменным подгрудником и стройное возвышение холки, переходящее в покатую крепкую спину. Он был на низких тонких ногах, широкогрудый и поджарый, вовсе не родственник корове или теленку, — дикий зверь, равный по своеобразной красоте лошади, но превосходящий ее выражением силы и отваги. Вокруг меня заматерелые поклонники боя быков сладостно вздыхали и чмокали языками, глядя на него. Право, как жалко, что в наши дни программы не сообщают имен таких благородных быков.

А в это время Никанор Вияльта переходил неторопливо от судейской трибуны на противоположную сторону, пересекая тень и свет, лежавшие на арене. Он держался прямо, непринужденно и со спокойным достоинством. Его походка была уверенна, легка и красива, голова высоко поднята. И весь он был воплощением красоты мужского тела. Он близко прошел мимо быка, и оба они точно не заметили друг друга, не повернули голов. Но моей фантазии показалось, что на короткую секунду их боковые взоры встретились и сказали: сейчас увидимся.

Весь амфитеатр, все десять тысяч человек следили не отрываясь за каждым его движением. Зрители высунулись вперед и перегнулись на своих сиденьях, задние легли на плечи передних. Стало тихо.

Вияльта подошел к красному барьеру, остановился против одной из лож. Не спеша снял правой рукой берет и сделал глубокий почтительный поклон. Вокруг меня торопливо зашептали растроганные голоса:

— Мама! Мама! Мадре! Мама! Мадре! Это его мать!

Вияльта выпрямился и, легко поворачиваясь назад, круглым ловким жестом бросил, не глядя, из-за спины свой берет в черную многочисленную людскую массу. Тотчас же десятки услужливых рук передали его туда, куда следует. Худенькая, еще не старая женщина, желтолицая и черноглазая, в темном платье, с черной кружевной шалью на голове, спокойно приняла берет и ответила соседу медленным, едва заметным поклоном. Так посвятил Вияльта своей матери этого прекраснейшего из быков, которого он сейчас убьет во славу Испании и в честь обожаемой женщины — матери!

И закипела, закружилась, завертелась, засверкала блеском золота и яркостью красок коррида. Никанору Вияльта подали две бандерильи, обвитые и разукрашенные лентами. Он взял их кулаками за тупые концы и высоко поднял над головой, остриями вниз, и, так держа их, побежал прямо на быка, едва прикасаясь голубыми ногами к желтому песку. Бык понесся ему навстречу. Ни человек, ни животное не сворачивают с прямой линии. Сейчас они столкнутся. Хочется закрыть глаза от ужаса... и не можешь!

И вот столкновение! Поднятые вверх руки Вияльты быстро разом опускаются. Бык мгновенно остановился. Вияльта делает шаг в сторону. В затылке у быка торчат, наклонившись в разные стороны, и покачиваются две пестрые бандерильи. «Оле, Вияльта! Оле! Оле!» — кричат оглушительно зрители и плещут ладонями. Пунцовый плащ бандерильера застилает на минуту глаза быку и увлекает его в другую сторону. А пеон подает Никанору Вияльта две новые бандерильи. И так четыре раза подряд, с той же ловкостью и точностью украсил смелый матадор своего быка восемью колючими, многоленточными, яркими стрелами.

Был здесь, в этой грациозной и опасной игре, один момент, почти неуловимый, но заставивший всю десятитысячную толпу одновременно ахнуть от

ужаса. Небрежно и изящно мелькая перед глазами быка, дразнимого пунцовым плащом, и уходя от него красивыми пируэтами, Вияльта довел его к тому месту, где за барьером, в ложе, всего в десяти шагах, сидела мать эспады. Там Вияльта остановился. Бандерильеры опустили свои плащи. Остановился и бык. Совсем маленькое расстояние разделяло животное и человека. И вот Вияльта делает полшага к быку. Протягивает прямо руку между остроконечными рогами.

Я вижу в бинокль, как его вытянутая ладонь бестрепетно, кончиками пальцев, касается несколько раз крутого темени. Бык в тяжелом недоумении стоит застывши, как прекрасное изваяние из черного мрамора. Напряженная тишина на арене. Вияльта делает еще четверть шага вперед, дотрагивается до пестрой бандерильи, свесившейся над мощным черным лбом, и — какая дерзкая отвага! — осмеливается слегка покачать ее. И вдруг — как пестрым ярким вихрем взметнуло и завертело доселе недвижную группу. В том, что так мгновенно произошло, никто не дал бы себе верного отчета. Я увидел лишь, как бык быстро и низко склонил голову. Как Вияльта внезапно очутился спиной к нему, между широкой развилиной его рогов. Потом мощный и тупой толчок крупного черного лба... И Вияльта упал.

Вся арена разом вздохнула, точно вздохнула одна исполинская грудь. Послышались тонкие женские крики. Но Вияльта был в целости. Вследствие близкого расстояния бык не успел или не догадался уклонить морду рогом вбок, а Вияльта не потерялся. Падая, он лишь полусогнул одно колено и одной рукой плотно уперся в песок. Тотчас же перед глазами быка замелькал, закрутился пунцовый плащ бандерильера, и животное яростно бросилось в сторону.

Эта ужасная сцена заняла лишь долю секунды; но сидевшая так близко пожилая черноглазая испанка в черной шали, мать своего милого любимого Никанора, — что она думала и чувствовала в этот коротенький миг?

А Вияльта, высоко подняв кверху две бандерильи, уже бежал беззаботно и легко, точно на крыльях, навстречу быку, у которого только что побывал почти на рогах.

Этот бык долго не уставал и не утишал своего гнева. Двух лошадей он поднял на рога и бросил на землю с поразительной силой и быстротою; один из пикадоров ушел с арены без шляпы, держась обеими руками за ушибленную голову. Та же судьба постигла бы и третью выведенную на арену лошадь, если бы не запел свою грустную мелодию медный рожок, зовущий к последнему поединку.

Никанору Вияльта принесли мулету — красный квадратный флаг, нанизанный одной стороной на невидимую тонкую палку. (Во всей корриде единственный чистокрасный цвет — это цвет мулеты.) Держа ее в левой руке, он подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали шпагу с длинным узким клинком, холодно и тускло блестевшим белосиней сталью. Его поднятая кверху голова была обнажена, и можно было видеть на затылке традиционную косичку, наивно связанную узлом. Так он стоял, произнося короткую клятву в том, что убьет своего быка, — согласно древним священным обычаям, в прямом и открытом бою, не прибегая ни к каким уловкам или ухищрениям, — во славу Испании, в честь обожаемой женщины и для возвеличения благородного искусства тавромахии. Затем он передал в правую руку мулету, тщательно прикрыв красной материей зловещую сталь шпаги. Бык должен увидеть обнаженную шпагу лишь перед самым последним, самым решительным, самым страшным моментом. Таков строгий закон старины!

Играя красной мулетой перед глазами быка, скользя небрежными пируэтами перед самыми остриями его рогов, Вияльта с математической точностью подводит его к тому месту, на котором он

приносил присягу. Здесь он останавливается. Приближаются бандерильеры, размещаясь сзади и сбоку быка. Бык весь в пунцовой крови и с пеной у рта, но он так же свеж и силен, как при своем появлении на арене. Глядя на мерные движения его боков, я чувствую, что его дыхание неспешно и глубоко. Если понадобится, он пробежит еще двадцать верст и перебросит через себя любую лошадь, как ржаной сноп.

И вот, охватив левой рукой красную материю мулеты, точно ножны, Вияльта медленно вытягивает из нее шпагу, так медленно, как будто бы он обтирает сталь от крови. И когда шпага обнажена, он тихо опускает ее сверху и вытягивает горизонтально над головой быка, между завитыми, острыми, грозными рогами. Это прямой вызов. Теперь человек ждет ответа от животного. Их разделяет только два шага, и одному богу известно, чья душа — человека или животного — пойдет сейчас по тому неведомому пути, о котором допытывался Экклезиаст!

И бык принимает вызов. Он чувствует, что вся предыдущая борьба, где люди были так жестоки, так ненавистны и так неуловимы, окончилась.

Тот, что стоит теперь неподвижно перед ним, сверкая золотом, не побежит и не отступит. Остается одно: быстро склонить голову и мгновенным напором вонзить рога в это столь близкое и тонкое тело. И бык делает это с той звериной быстротою, которая теперь уже непостижима и недоступна слабому, выродившемуся человеку. Но, убрав вниз голову, он на одну неуловимо малую долю секунды открывает для шпаги свой подзатыльник. Один миг! Человек и бык точно скользнули друг на друга. Какая тишина кругом!

И вот Вияльта отступил на полшага, опустив вниз теперь уже обезоруженные руки. Бык остается на месте. Среди кадрильи движение; она готова броситься и помочь, но Вияльта повелительно вытягивает вперед руку с поднятой ладонью: «Нельзя!» Бык все еще стоит на четырех ногах, но уже слегка покачивается. Ноги его начинают вздрагивать, колени

сгибаются. Он теряет устойчивость и падает. Пробует подняться. Нет. Все кончено. Ложится на бок. Судороги бегут по его телу и по конечностям.

Какая буря воплей и аплодисментов! Приняв с низким поклоном свой берет из ложи, Вияльта идет вдоль барьера. Шляпы, портсигары, платки, браслеты, сигары летят по его пути на арену. Он без всякого усилия нагибается, поднимает эти предметы и необыкновенно ловко бросает их обратно, заставляя вращаться на лету. Радостно смотреть на его обращенное кверху лицо. Оно блещет торжеством победы и великолепным счастием жизни.

О втором выступлении Фрега не стоит и говорить. В промежутках между неудачными эстокадами он от волнения пил воду, и стакан дрожал в его руке. Он пробовал ударить быка не голой шпагой, а под прикрытием мулеты, за что был освистан и обруган толпой. Ему кричали: «A la puerto!» («За двери! вон!») и другие, непонятные мне, громкие слова. Бедный совсем «потерял сердце», что случается не только у матадоров, но и у жокеев, и у авиаторов, и у боксеров. От этого мгновенного, неожиданного ослабления нервов не застрахован самый испытанный, самый дерзостный храбрец. Профессионалы риска относятся к этому несчастью, внезапно постигшему товарища, с той же молчаливой деликатностью, как к смерти друга, как к тяжкой болезни близкого.

Умолчу и о втором туре Вияльта. Ему попался огромный, грубый, тупонервный, черно-грязный бык, с мрачной наружностью профессионального убийцы. Его правое ухо, по постановлению судей, было отрезано и поднесено Никанору Вияльта.

Но не могу не упомянуть о моем утреннем гранатовом пикадоре, участвовавшем в последней корриде. Он трижды и прямо, с железной неуступчивостью и с необычайной энергией, отражал своею пикою бешеные атаки свирепого исполина. Вероятно, он обладает исключительной физической силой. После третьего раза публика стала аплодировать, и это было добрым знаком для его долговязой гнедой клячи: ее пощадили. Пикадор торжественно уехал на

ней за кулисы, а раскланяться на рукоплескания вышел уже пешим. И, знаете, на кого он мне показался в эту минуту поразительно похожим? На красавца и обладателя великолепнейшего баса, на Малинина, отца протодьякона Смоленского кладбища в Петербурге.

Лицо его сияло от счастья и от солнца, а гранатовые стеклышки на его куртке переливались и сверкали тысячами красных огоньков.

Начался разъезд. На площадке перед ареной стояли пеоны, с головами, повязанными красными платками, и продавали бандерильи со следами запекшейся крови. Рыжий верзила, с моноклем в глазу, выскочил из автомобиля, купил одну штуку и поднес ее своей немолодой и некрасивой даме с таким поклоном, точно он презентовал ей свадебный букет.

Прошло месяцев пять-шесть после байонской корриды. Очерк этот давно уже был написан и сдан в типографию. И вот заглянул в мое парижское жилье, проездом из Мадрида в Брюссель, мой недавний, но очень приятный знакомый, господин Р. де С., секретарь испанского посольства при одной из европейских держав.

Вечером за бутылкой сладкого белого бордо мы хорошо и непринужденно разговорились, и так как байонские впечатления, трижды мною пережитые — на камнях арены, в воспоминаниях и на бумаге, — еще были свежи, то разговор, естественно, коснулся боя быков.

— О да, да, — с сожалением покачал головою господин С. — Жестокое зрелище... Темное пятно на Испании. Пережиток грубых и диких времен... А кстати, вы где же видели корриду?

— Этим летом в Байоне.

— Ах, вам надо было бы поехать в Мадрид или в Севилью, если вас как художника интересует красочная сторона.

— Но вы сами знаете, как трудно с визами, особенно нам, русским.

— О, в этом отношении я всегда к вашим услугам. В Мадриде вы все увидите в размерах великолепных и грандиозных. Мадридская арена вмещает тридцать тысяч зрителей, а на ней выступают самые знаменитые эспада. Это не Байона...

Я несмело возразил:

— Однако и байонская коррида произвела на меня сильное впечатление.

С. сбоку, недоверчиво взглянул на меня.

— Гм... Кого же вы там видели?

— Ну, например, дон Ганеро.

— А-а! Это прекрасный, исключительный матадор. Сколько раз и как страшно его калечили быки, но он остался чуждым робости. Ганеро — любимец наследного принца. Этот инфант первый дал ему, кавалерийскому офицеру, мысль выступить против быка верхом на лошади, согласно старым рыцарским легендам. Да, да, — Ганеро очень ценим аристократией арены... Кто же еще?

— Никанор Вияльта.

— О, вам посчастливилось, мой друг, — воскликнул оживленно господин С. — Замечательный матадор! Вне классов и сравнений. Многие мои знакомые — и я вместе с ними — мы считаем его первой шпагой Испании. Какая чистая, классическая работа!

Я поддержал от души:

— И какое изящество!

— Да, да. И какой глазомер! Какая точность!

— Какое спокойствие!

— Какая красота тела, поз и движений!

— Какая легкость, уверенность удара!

В моем собеседнике загорелась старая, пунцовая кровь предков. С большой готовностью, даже с увлечением он рассказал мне очень многое из жизни матадоров: об их обычаях, набожности и суевериях, об их боевых приемах и тренировке, о точном распорядке дня выступления, о подробностях костюма и о гонорарах. Но все это очень густо изложено в известной книге Бласко Ибаньеса «Кровь и песок», к которой я и отсылаю читателя.

Между прочим, я вскользь упомянул о mise à mort, — о последней встрече быка и матадора, в которой смерть грозит обеим сторонам. Я сказал о том, как молниеносно скор и трудно уловим этот момент.

Господин С. быстро поднялся со стула. Он высокого роста, но в ту минуту почему-то показался мне выросшим на целую голову.

— Видите ли, — заговорил он горячо, — есть два способа нанесения быку смертельного удара. Один — когда эспада вызывает быка на атаку и принимает ее. Другой — когда он сам атакует.

Вот поглядите... У меня в руке шпага, — господин С. легко и красиво стал en garde (в первую позицию фехтовальщика). — Бык кидается на меня, наклонив вниз голову и открывает мне fente (место для удара). Я наношу его по верхней линии приемом кварта или сикста, как мне будет удобнее. (Он сделал быстрый выпад.) В другом случае, повернув плоско клинок, я наступаю и пронзаю быка по линии сверху вниз приемами септима или октава, судя по его положению.

И, закончив эти слова блистательным ударом в пространство, господин С. остановился против меня с победоносным видом и разгоревшимися глазами.

Я долил его стакан, и мы чокнулись за Никанора Вияльта. Потом я сказал, признаю, не без лукавства:

— Прекраснейшее зрелище — коррида, но ужасно жалко лошадей и противно видеть все подробности...

Господин С. как-то сразу увял и нехотя, слабо отмахнулся кистью руки.

— Ах, и не говорите. Варварство! Низменное и грубое развлечение! Я сам бываю на корридах только по обязанности, чтобы не огорчить добрых друзей отказом. Но, рассуждая теоретически, без этих несчастных лошадей коррида потеряла бы девять десятых своей жестокой прелести. Подумайте только: в лошади и в пикадоре, включая сюда и вес тяжелого седла, не менее трехсот, а то и триста двадцать, триста сорок кило. Но бык без всякого усилия, одним взмахом рогов подбрасывает эту тяжесть в воздух и швыряет о землю. Тогда человек кажется в срав-

нении с ним жалкой щепкой. Вы видите много крови — лошадиной и бычьей. Но сейчас мужчина с бесстрашным сердцем предстанет прямо перед мордой свирепого животного, и, может быть, через секунду прольется его, человеческая, драгоценная кровь. И это видят и сознают все: и тысячи зрителей, и кадрилья, и сам стройный, элегантный, спокойный по внешности эспада... Да, тут есть что-то нелепое, но и героическое, вернее нелепо-героическое. Особенно, когда подумаешь об одряхлении современного человечества.

— Говорят, — сказал я, — говорят, что уже вырабатывается испанским правительством проект о запрещении выводить лошадей на арену для этой беспощадной бойни?

— Говорят, — неохотно подтвердил господин С. — И эту гуманную меру нельзя не приветствовать.

— Несомненно, — согласился я. — Но народ? Что скажет народ, обожающий свою кровавую корриду? Примите во внимание тысячелетнюю наследственную привычку. Кроме того, южный темперамент, пылкие сердца...

Господин С. поглядел на меня серьезно, но где-то в глубине его зрачков я увидел тонкие искры насмешки. Он сказал внушительно:

— Я не отрицаю, конечно, страстности и нетерпеливости нашего национального характера. Но испанцы — это народ в сущности добрый, религиозный и законопослушный...

Мне вспомнился рассказ милого господина Пинья о том, как была подожжена байонская арена.

Тут пришла моя очередь сказать «гм»... Но я сделал это со всей осторожностью, точно слегка откашлялся.

ДОЧЬ ВЕЛИКОГО БАРНУМА

I

Дневная репетиция окончена. Друг мой, клоун Танти Джеретти, зовет меня к себе на завтрак: сегодня у него великолепная маньифика — «минестра» по-неаполитански. Я испрашиваю позволения прихватить по дороге оплетенную маисовой соломой бутылочку кианти. Живет Танти (уменьшительное от Константин) в двух шагах от цирка Чинизелли, в однооконном номерке дешевой гостиницы. Семья его маленькая: он и жена Эрнестина Эрнестовна — «грациозная наездница», она же танцует в первой паре циркового кордебалета.

Фамилия Джеретти — старинная. Она обосновалась в России еще в эпоху Николая I и давно известна во всех постоянных цирках и во всех бродячих полотняных «шапито». Она весьма ветвиста; из нее вышло множество отличных цирковых артистов: акробатов, жокеев, вольтижеров [1], дрессировщиков, партерных гимнастов, жонглеров, музыкальных клоунов и шпрех-клоунов (то есть говорящих). Джеретти всех возрастов работают в икарийских играх, на канате и на проволоке, на турнике и на трапеции, делают воздушные

---

[1] Наездников (от *франц.* voltigeurs).

полеты под «кумполом» цирка, выступают в высшей школе верховой езды, в парфорсе и тендеме.

Танти родился в Москве. Он впервые показался публике на тырсе (смесь опилок и песка) манежа четырех лет от роду и последовательно так обучился всем отраслям циркового искусства, что может прилично заменить исполнителя в любом номере из старинного репертуара. В высокой степени он обладал необходимыми для цирка двумя сверхчеловеческими чувствами: шестым — темпа и седьмым — равновесия.

В зрелом возрасте он по влечению остановился на клоунском ремесле. Для этого у него были все нужные данные. Родные его языки — итальянский и русский. Но одинаково свободно и плохо он болтал на всех европейских языках, включая сюда финский, грузинский, польский и татарский. Он был достаточно музыкален и играл на любом инструменте, не исключая геликона и бычачьего пузыря. Голос его отличался таким особенно ясным звуком, что без всяких усилий бывал слышим в отдаленнейших уголках цирка. Главным же достоинством (и истинным даром божиим) был у Танти милый прирожденный юмор — качество редкое даже у известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве.

Не знаю почему, Танти не приобрел шумной славы, подобно некоторым его собратьям, как, например, Танти Бедини, братьям Дуровым, долговязому рыжему Рибо, коричневому Шоколаду, братьям Бим-Бом, Жакомино, братьям Фраттелини? Может быть, это происходило от излишней самолюбивой застенчивости? Или просто от неумения и нежелания Танти делать вокруг своего имени пеструю шумиху? Но директоры цирков отлично знали, что если публику и привлекают в цирк кричащие имена «всемирно знаменитых соло-клоунов», то смеется она особенно громко, весело и непринужденно при выходах и маленьких репризах Танти Джеретти. Танти был клоуном не для чванных лож и надменного партера, а для верхних балконов и градена, где ценят, любят и понимают смех.

Смешон и забавен он был в старом английском вкусе: наивном и флегматичном. В русском театре было раньше такое амплуа — «простак». Выходил он на ма-

неж в традиционном просторном балахоне Пьеро с остроконечным войлочным колпаком на голове, лениво волоча ноги, запустив руки глубоко в карманы широчайших сползающих панталон. Все ему на свете надоело и прискучило. Когда его партнер в ярко-шелковом костюме, расшитом атласными бабочками и сверкающими блестками, предлагал ему показать публике новый номер, он, так и быть, соглашался, — «раз вышел на манеж, надо же работать!» — но соглашался с унынием и недоверием: «Все равно это никому не интересно». Слушая его недоуменные вопросы и рассеянные, невпопад, ответы, раек изнемогал от хохота, но сам Танти, понурый, весь точно развинченный, никогда не смеялся.

В жизни он был обыкновенно скуп на слова и жесты; цирковая унылость у него заменялась внимательною серьезностью. Когда же изредка он улыбался — одними глазами, — то его домашнее, узкое и длинноносое лицо делалось от этой искрящейся улыбки привлекательным и даже прекрасным.

II

«Минестра» — густой суп, сваренный самим Танти на примусе, из макарон и сливок и обильно посыпанный тертым пармезаном, — оказалась выше всяких похвал. На том же примусе синьора Джеретти приготовила нам душистый горячий и крепкий кофе. Бутылка кианти попалась на редкость удачная. Разговор шел неторопливо, но ладно.

О, славное, простое, широкое гостеприимство людей, знающих тяжесть труда и сладость отдыха. Как проста их щедрость, и как скромна их домашняя семейная горделивость. Кто бывал, как свой, в переносных домах цирковых артистов, тот благодарно понял и никогда не забудет этого уютного, патриархального, целомудренного, дружелюбного быта.

Был зимний короткий петербургский вечер. Стало темнеть. Зажгли лампу. Эрнестина Эрнестовна, низко склонившись под разноцветным абажуром, прилежно сшивала какие-то яркие куски блестящей материи. Цир-

ковые сами себе мастерят почти все необходимое для цирка: женщины вяжут трико и шьют костюмы. Мужчины приготовляют «реквизит» — всякие вещи, нужные при выходе; иные из них даже вырезывают перочинным ножом деревянные клише для газетных объявлений.

Танти снял с гвоздя старую гитару с металлическими струнами, проверил ее итальянский строй и, по моей просьбе, стал петь очаровательные, затейливые, быстролетные неаполитанские канцонетте. Иногда Эрнестина Эрнестовна, узнав сразу, по лукавому ритурнелю, начало песенки, говорила поспешно:

— Только не эту, Танти, пожалуйста, не эту. Что о нас подумает наш гость!

Он пел очень мило. Там, на манеже, — да простит меня его милая тень, — Танти, из необходимости петь громко, пел все-таки дребезжащим козелком; здесь же, дома, у него оказывается сладенький, приятный и очень выразительный тенорок.

Потом вспомнил он две песенки, которые хорошо известны в русских цирках. Я их тоже знал. Одна из них, на какой-то опереточный мотив, говорит о том, как некий неизвестный селадон поехал в город Медон. Другая — историческая — о друге Хохликове Иване и о его злоключениях, сочиненная наполовину по-русски, наполовину по-французски:

Друг наш Хохликов Ivan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.
Он был веселый Charlatan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.
Он раз поехал в Astrakhan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.
И заболел там Kholeran,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.

Об этой второй песенке я — любитель разыскивать источники и корни безыменного творчества — давно уже наводил справки и, кажется, нашел следы ее возникновения.

Действительно, жил некогда в Пензе такой помещик, только вовсе не Хохликов, а дворянин шестой книги Хохряков, большой чудак, как и все пензенские помещики.

Он любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на «ты», набуянить, дать взаймы и задолжать без отдачи, метнуть лихой банк, расплакаться под гитару и кинуть пачку денег цыганам, — словом, был добрый, веселый, честный и беспутный малый.

Трогательнее всего в этом бесшабашном помещике было то, что он любил цирк и цирковых людей настоящей большой любовью, преданной и неизменной. Когда цирк гостил в Пензе, он не пропускал ни одного представления, не исключая и детских утренников. Он подносил цветы и подарки в бенефисы, крестил детей у артистов и был посаженым отцом на свадьбах. Кабинет его был увешан фотографиями всех известных и неизвестных «циркачей» с их собственноручными подписями, безграмотными и корявыми, но зато украшенными самыми причудливо-роскошными росчерками.

Когда на Хохрякова падали неожиданно с неба большие деньги, он закатывал великолепный обед всему цирковому составу: артистам, ветеринару и доктору — в старой просторной столовой, конюхам — на кухне. За обедом цирковой окрестр непременно играл на хорах старинные цирковые вальсы, марши, польки и галопы, и уже издавна было заведено, что весь обед проходил в музыкальном ускоренном темпе, именно так, как наскоро обедают персонажи в цирковых пантомимах. В такт музыке приносили и уносили блюда; делались преувеличенные, комические, но точные жесты; чистые тарелки перелетали через стол из рук в руки, вращаясь в воздухе; ножи, вилки и ложки служили предметами беспрестанного ловкого жонглирования, и, конечно, бил посуду в большом количестве сияющий от счастья Хохряков!

Он, когда мог, щедро помогал труппам, впавшим в полосу неудачи. Случалось, что влюбленность в цирковое дело заставляла его следовать из города в город за каким-нибудь бродячим цирком. Таким-то образом он и попал однажды из Пензы в Астрахань, где, как последствие объедения арбузом, его схватила и чуть не отправила на тот свет холера-морбус.

Ах, уж эти русские помещики! Тянет их к себе,

тянет кочевая жизнь. Цирк еще что! Были такие помещики, которые увязывались за дикими кочующими цыганами и не только странствовали с ними по полям и лесам, но даже описывали их житье в совсем недурных стихах.

III

Известно, что короли и клоуны пользуются привилегией называть друг друга «мой кузен». Но также и те и другие отличаются от простых смертных памятью на лица и события, с тою лишь разницей, что короли часто помнят злое, клоуны же предпочитают помнить хорошее.

После Хохликова Ивана Танти — живая летопись цирковой жизни — вспомнил с моею помощью всех друзей и покровителей цирка: Ознобишина, когда-то влюбленного в укротительницу Зениду, которую потом в Вене загрызла тигрица Люция; графа Рибопьера, князей Гагарина и Дадиани. Затем припомнили мы те случаи, когда богачи и титулованные люди женились на цирковых артистках. Между прочим, сестра Танти, прекрасная Анунциата Джеретти, вышла замуж за киевского миллионера Штифлера, владельца великолепного кафе. Затем помянули добрым словом всех знаменитых цирковых артистов от легендарного Блондена, впервые перешедшего по канату через Ниагару, и баснословного прыгуна Лиотера до нынешних семейств: Труцци, Сур, Момино, Соломонских, Годфруа, Кук, Чинизелли, Джеретти. Выпили в честь и память Гагенбеков, хозяев гамбургского зверинца и первых в мире дрессировщиков. Поговорили об удачах и неудачах в цирковом мирке, о приметах, джеттатуре [1] и дурном глазе, о счастливых фортунах. А тут уже неизбежно всплыла из забвения история о великом Барнуме и о его прекрасной дочери. Я уже слышал ее раньше в нескольких вариантах, и чуднее всего для

---

[1] Джеттатура — талисман против дурного глаза; обычно сделанная из коралла крошечная рука с вытянутыми вперед пальцами, безымянным и указательным. *(Прим. автора.)*

меня было то, что всегда место действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску.

— Вы, конечно, не хуже меня знаете о Барнуме, — говорил Танти. — Это был не то американский немец, не то чистый американец. Начал он свою необыкновенную карьеру, как и все богачи в Америке, чистильщиком сапог. Позднее ему первому пришла в голову мысль показывать любопытной публике всевозможные чудеса, капризы и ужасы природы. Это он открыл Сиамских близнецов Родику и Додику; Юлию Постронну — даму с драгунскими усами и великолепной черной бородой; саженных великанов и двухфутовых карликов; татуированных индианок и вымирающее племя ацтеков с птичьими профилями. Вскоре ему принадлежали все музеи, паноптикумы, панорамы, кунсткамеры и кабинеты восковых фигур в мире, не считая множества зверинцев и цирков. Никто лучше и роскошнее Барнума не умел устраивать грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс, с фейерверками, иллюминацией, оркестром и пушечной пальбой. Сколько великих знаменитостей он выкопал из мусора и показал миру. Три имени звучали громче всех имен в прошлом столетии: Наполеона, Эдиссона и Барнума.

Он стал богатым и знаменитым. Звезда его не меркла до самой его смерти. Одно лишь печалило великого Барнума: это то, что судьба не послала ему сына, который впоследствии смог бы взять в крепкие руки отцовские дела и, расширив их, дать новый блеск дому Барнума.

Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его единственная дочка Магдалина — красавица Мод... Что и говорить, в коммерческих делах самая талантливая женщина все-таки ниже среднего умного мужчины. Но проницательного старика давно радовало и обнадеживало рано проснувшееся в девочке влечение ко всем профессиям, входившим в круг отцовских дел и предприятий. В младенчестве ее любимою игрою было строить из песка, тряпок и прутьев паноптикумы или балаганы, рассаживать в них кукол и зазывать воображаемую публику. Семи лет она ловко

жонглировала мячами, дисками, кольцами и палками. В десять лет Мод уже скакала без лонжи[1] по цирковому кругу, стоя на панно на огромной галопирующей белой лошади. Будучи юной девушкой, она научилась отлично стрелять, фехтовать, плавать и играть в теннис. Когда же семнадцатилетняя Мод поступила к отцу в качестве личного секретаря, — великий Барнум со слезами гордости и умиления открыл у нее решительную руку, быстрый взгляд и смелую находчивость будущего крупного дельца. Это редко бывает с детьми, особенно с девочками, чтобы их искренне влекли к себе отцовские профессии, но раз уж это случилось, то такое влечение и понимание дают блестящие результаты.

Настал и тот неизбежный день, когда Барнум, особенно обеспокоенный приступом подагры, первый заговорил с дочерью о своих годах и болезнях, о быстротекущем времени и, наконец, о той роковой поре, когда девушке надо подумать о покровителе и спутнике жизни, а отцу — о внуках.

На этот намек красавица Мод отвечала, как и полагается, что она никогда о замужестве не думала, что выходить замуж и лишаться свободы еще очень рано, но что, если милый па этого хочет, а главное, для поддержания величия дома Барнума в будущих поколениях, — она согласна послушаться папиного совета. Но она ставит одно условие: чтобы ее муж обладал всеми папиными достоинствами, был бы умен, изобретателен, смел, настойчив, здоров и находчив в борьбе с жизнью и чтобы, подобно папе и ей, всей душой любил кипучее папино дело.

— Конечно, — прибавила Мод, — если я попрошу, то мой добрый па купит мне в мужья настоящего герцога с восьмисотлетними предками, но я больше всего горжусь тем, что мой очаровательный, волшебный па когда-то чистил сапоги на улицах Нью-Йорка. Конечно, я отлично знаю, что найти нужного мне чело-

---

[1] Тонкая веревка. Она продевается через кольцо в куполе цирка. Один конец ее прикреплен к спине ученика, другой конец — в руках учителя. *(Прим. автора.)*

века в миллион раз труднее, чем нагнуться и подобрать на дороге графа. Моего избранника придется искать по всему земному шару.

В конце этого разговора было обоими решено: когда настанут после весеннего равноденствия тихие дни на океане, Барнум с дочерью поедут в старую Европу: милый па — купать свою подагру в целебных источниках, она — осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедекеру.

Говорили отец и дочь с глазу на глаз, но по невидимым нитям этот разговор облетел в самое короткое время все, какие только есть на свете, музеи, цирки, паноптикумы, шапито и балаганы. Люди этих занятий пишут друг другу часто и всегда о делах. Вскоре на всем земном шаре стало известно, что Барнум со своей дочерью разъезжают по разным странам с целью найти для красавицы Мод подходящего мужа, а великому Барнуму — достойного преемника.

И вот все люди, так или иначе прикосновенные к делам барнумовского характера, взбудоражились и заволновались. Женатые директора мечтали: «А вдруг Барнуму приглянется мое предприятие, и он возьмет да и купит его, по-американски, не торгуясь». Холостякам-артистам кто помешает фантазировать? Мир полон чудес для молодежи. Стоит себе юноша двадцати лет у окна и рубит говяжьи котлеты или чистит господские брюки. Вдруг мимо едет королевская дочка: «Ах, кто же этот раскрасавец?..»

Докатился этот слух и до России.

IV

Русские города всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в этом смысле богатейший город Рыбинск, или Рыбное, как его просто зовут на Поволжье. Случалось, что там самый захудалый ярмарочный цирк с дырявым «шапито», с костлявыми одрами под видом лошадей, с арти-

стами-оборванцами и безголосыми клоунами имел сказочный, бешеный успех и рядовые полные сборы. А когда на следующий год, привлеченная молвою, приезжала в Рыбное образцовая труппа с европейскими именами, с прекрасной конюшней, с блестящим реквизитом, то, не выдержав и месяца, она принуждена бывала бежать из города — прогоревшая, разорившаяся, прожившая все прежние сбережения. Никто не знал, чему приписать эти резкие колебания во вкусах и интересах рыбинской публики: моде, уровню весеннего разлива, улову рыбы, состоянию биржи? Таинственная загадка!

В тот год городской деревянный цирк снимал Момино, маленький, толстый, плешивый, с черными крашеными усищами. За ним всегда шла репутация директора «со счастливой рукою». Состав артистов был, правда, не столичный, но очень хороший для любого губернского города из средних: конюшня в образцовом порядке, оркестр из двенадцати человек под управлением известного Энрико Россетти, реклама была поставлена очень широко, цены невысоки... И вот без всяких видимых причин цирк Момино постигает с самого начала полнейшая неудача. Первое представление не дало полного сбора, на третьем и четвертом зияют пустые места целыми этажами, дальше —цирк пустует. Не помогают: ни бесплатный вход для детей в сопровождении родителей, ни лотерейные выигрыши на номера билетов, ни раздача подарков в виде воздушных шаров и шоколадок. Крах полный. Всеобщее уныние и отчаяние...

V

И вот однажды идет утренняя, почти никому не нужная репетиция. Все вялы, скучны, обозлены: и артисты, и животные, и конюхи. У всех главное на уме: «Что будем сегодня есть?» Вдруг приходит из города старый Винценто, третьестепенный артист; был

он помощником режиссера, да еще выпускали его самым последним номером в вольтижировке, на затычку. Приходит и кричит:

— Новость! Новость! Поразительная новость! Потрясающая новость!

Что такое? Все собираются вокруг него, и он рассказывает:

— Сегодня приехали в Рыбинск Барнумы и остановились в Московской гостинице. Да, да, тот самый, знаменитый, американский, с дочерью. Я и фамилию его видел в швейцарской на доске.

Надо вообразить, какой переполох начался в цирке. Ведь все артисты давным-давно слышали о путешествии знаменитого Барнума по Европе и о том, с какой целью оно было предпринято.

Послали в «Московскую» верных лазутчиков навести справки у гостиничной администрации. Оказалось, Винценто прав. Действительно, Чарльз и Магдалина Барнум, американские граждане, приехали в Россию из Америки, через Францию, Германию, Австрию. Цель — путешествие. Заняли три наилучших номера, четвертый — для переводчика. Скушали сегодня два фунта зернистой икры и паровую мерную шекснинскую стерлядку... У всего циркового состава закружилась голова от этих известий.

Решили послать Барнуму почетное приглашение. Билеты надписал по-английски Джемс Адвен, полуангличанин; он очень хорошо работал жокея. Адвен и отнес конверт в гостиницу. Барнум сам к нему не вышел, но выслал через переводчика два сотенных билета и велел сказать, что сегодня, ввиду усталости, быть в цирке не сможет, а посетит его непременно завтра.

Все с ума сошли в цирке. У каждого было в мыслях: подтянуться, постараться, блеснуть если не новым, то эффектно поданным номером. Репетировали с увлечением. Молодежь так к зеркалам и прилипла. Помилуйте: Барнум, красавица американка, миллионы! Цирковой «король железа», геркулес и чемпион мира по подыманию тяжестей, Атлант, завил усы кверху кольчиками, ходил по манежу в сетчатом тель-

нике, скрестив на груди огромные мяса своих рук, и глядел на будущих соперников победоносно, сверху вниз. Какая женщина устоит против красоты его форм? Укротитель зверей венгерец Чельван чистил запущенные клетки у своих львов и тигров. Остальные штопали трико, стирали и гладили костюмы, протирали до блеска никелевые части гимнастических приборов... Весь этот день, и вся ночь, и еще полдня до представления — были сплошной лихорадкой.

Не волновался только один человек — клоун Батисто Пикколо. Он был очень талантливым артистом, изобретательным, живым, веселым клоуном и прекрасным товарищем. А спокоен он остался потому, что обладал трезвым умом и отлично понимал: какая же он партия для принцессы всех музеев, цирков и зверинцев мира?..

После репетиции, во время которой пришла весть о Барнуме, пошел, по обыкновению, Пикколо не торопясь к своему приятелю. Был у него сердечный дружок, лохматый рыбинский фотограф Петров. Видались они ежедневно, жить друг без друга не могли, хотя, по-видимому, что может быть общего между клоуном и фотографом? Да и фотограф-то Петров был неважный и не очень старательный. Но был у него волшебный фонарь с каким-то особенным мудреным названием. Фонарь этот посылал отражения на экран не только с прозрачных стеклянных негативов, но и с любой картинки или карточки. Давая сеансы волшебного фонаря в купеческих домах и в школах, Петров больше зарабатывал, чем фотографическим аппаратом.

Друзья позавтракали, и за копчушками, жаренными на масле, с пивом Пиколло рассказывал фотографу о приезде Барнума и всю историю о его поездке с дочерью по Европе. Петров был по натуре скептик. Он махнул рукою и сказал коротко: «Чушь». Но по мере того как завтрак подходил к концу, Петров стал все глубже задумываться и временами глядел куда-то в пространство, поверх клоуновой головы.

— Знаешь, Батисто, я для тебя придумал на завтра сногсшибательный трюк.

— Ты?

— Я. Скажи мне, ты умеешь ходить на руках?

— Да.

— И стоять?

— Это гораздо труднее, но возможно. Не более, однако, двух-трех секунд.

— И можешь удержать на ногах небольшую тяжесть, вроде доски?

— Вроде доски? Великолепно.

— Теперь скажи мне, ты мог бы стать вверх ногами на слона?

— Несомненно.

— Тогда бери шляпу, бери под мышки стремянку, я возьму с собою аппарат и вот этот соломенный столик, и бежим к тебе за костюмом.

Когда они вышли из комнаты клоуна на улицу, Петров крикнул живейного извозчика и приказал:

— В зверинец. Одним духом... Четвертак на чай.

В бродячем зверинце, на краю города, был, в числе других зверей, большой умный слон, не то Ямбо, не то Зембо, не то Стембо — во всяком случае, одно из трех. Поговорили с содержателем, он дал согласие.

Сторож вывел добродушного Ямбо из клетки. Несколько калачей привели его в самое благодушное настроение, и он благосклонно позировал перед аппаратом.

Сначала фотограф снял отдельно слона и отдельно клоуна. Потом их вместе: Пикколо кормит Ямбо и тот с улыбкою щурит глаза. Затем Пикколо нежно обнимает слоновью тушу широко расставленными руками и прочее.

Немного труднее было снять клоуна стоящим на руках, ногами кверху, на спине Ямбо да еще со столиком на подошвах, и здесь Ямбо — превосходная модель — был виноват гораздо менее, чем Пикколо. Однако Петрову удалось поймать подходящий момент и щелкнуть затвором.

— Баста!

По дороге в город фотограф кое-что объяснил клоуну. Пикколо покачивал головой и посмеивался.

VI

Настало многообещающее завтра. Опытный хитрый директор делал чудеса. Сотни бесплатных билетов были розданы городовым, приказчикам, грузчикам, уличным ребятам, мещанам, гимназистам и солдатам. Нельзя же было показать Барнуму пустой цирк?

Два конюха с утра толкли в ступах: один — синьку, другой — красный кирпич. Когда же манеж был тщательно посыпан золотым волжским песком, Момино собственноручно вывел на нем от центра к барьеру синие стройные стрелки и переплел их красными красивыми арабесками. У самого Чинизелли в Петербурге не бывало такого прекрасного узорчатого паркета.

Он же велел дать лошадям полуторные порции овса. Он сам слегка намаслил их крупы и малой щеточкой туда и сюда расчесал им шерсть так, что она являла из себя подобие глянцевитой шахматной доски.

Артисты тоже позаботились о себе. В аптекарских магазинах был скуплен весь фиксатуар и весь бриллиантин. Какие геометрические проборы! Какие гофрированные коки! Какие блестящие усы! Какие губы сердечком!

Представление началось ровно в восемь с половиной часов. Долг газовому обществу уплатили еще утром, и потому освещение было аль джиорно[1]. В девять часов без десяти минут приехал в цирк Барнум с дочерью и переводчиком. Их встретили тушем. Барнум сел не в приготовленную ложу, а во второй ряд кресел, в излюбленные места знатоков цирка, сейчас же справа от входа из конюшен на манеж.

Надо ли говорить о том, как усердно, безукоризненно, почти вдохновенно работала в этот вечер вся труппа? Все цирковые существа: женщины и мужчины, лошади и собаки, униформа и конюхи, клоуны и музыканты — точно старались перещеголять один другого. И надо сказать: после этого представления дела Момино так же внезапно, как они раньше падали, теперь быстро пошли на улучшение.

---

[1] Как дневное (от *итал.* al giorno).

Геркулес Атлант так старался, что запах его пота достигал второго и даже третьего яруса. После его номера оставил за собою очередь Батисто Пикколо. Артисты думали, что он сделает веселую пародию на силача.

К удивлению всех, он вышел на манеж с рукою, которая висела на перевязи и была обмотана марлей.

На плохом, но очень уверенном английском языке он объявляет публике, обращаясь, однако, к креслам, занятым Барнумами:

— Почтеннейшая публикум. Я приготовлял силовой номер. Одной, только одной правой рукой я могу поднять этого атлета вместе с его тяжестями, прибавив сюда еще пять человек из зрителей, могу обнести эту тяжесть вокруг манежа и выбросить в конюшню. К сожалению, я вчера вывихнул себе руку. Но с позволения уважаемой публикум сейчас будут на экране волшебного фонаря показаны подлинные снимки с рекордных атлетических номеров несравненного геркулеса и торреадора Батисто Пикколо.

Из рядов выходит черномазый, лохматый, сумрачный фотограф. Вместе с ним Пикколо быстро укрепляет и натягивает в выходных дверях большую белую влажную простыню. Фотограф садится с фонарем посредине манежа и, накрывшись черным покрывалом, зажигает ацетиленовую горелку. Газ притушивается почти до отказа. Экран ярко освещен, а по нему бродят какие-то нелепые, смутные очертания. Наконец раздается голос Пикколо, невидимого в темноте:

— Азиатский слон Ямбо. Сто тридцать лет. Весом двести одиннадцать пудов, иначе — три с половиной тонны.

На экране чрезвычайно четко показывается громадная, почти в натуральную величину, фигура слона. Его хобот свит назад, маленькие глазки насмешливо устремлены на публику, уши торчат в стороны растопыренными лопухами.

Фотограф меняет картину. Теперь на ней Пикколо в обычном клоунском костюме. А сам Пикколо объясняет:

— Знаменитый соло-клоун, атлет и геркулес вне конкуренции, мировой победитель Батисто Пикколо в сильно уменьшенном виде.

Новые картины показывают Пикколо стоящим рядом со слоном; затем Пикколо стоит на стуле, опершись спиною на слоновий бок, затем широко распростирает руки по телу слона, прижавшись к нему грудью...

— Невиданный нигде в мире с его сотворения номер, — возглашает клоун. — Сейчас несравненный геркулес Батисто Пикколо без помощи колдовства, или волшебства, или затемнения глаз, или другого мошенничества поднимет слона Ямбо весом двести одиннадцать пудов — иначе, три с половиной тонны — на воздух двумя руками.

Экран сияет как бы с удвоенной силой, и с двойной четкостью показывается на нем Пикколо, стоящий, слегка согнув ноги, на столе. Его голова закинута назад, его руки подняты вверх и расставлены, а на его ладонях действительно лежит, растопырив в воздухе тумбообразные ноги, слон Ямбо, такой огромный, что клоун, стоящий под ним, кажется козявкою, комаром. И однако...

В цирке тишина. Тонкий женский голос на галерке восклицает: «Ах, святые угодники!» Ропот ужаса, восхищения, недоумения, восторга наполняет цирк.

— Последний номер, — пронзительно кричит клоун. — Невероятно, но факт, зафиксированный документально современной фотографией. Геркулес из геркулесов, современный соперник Милона Кротонского [1], Батисто Пикколо держит слона Ямбо, двести одиннадцать пудов — иначе, три с половиной тонны — на одной руке!!!

И, правда, новая картина изображает самое невероятное зрелище: человек-москит держит на одной вытянутой вверх руке несообразно громадную гору, которую в сравнении с ним представляет слон. Публика подавлена. Кто-то всхлипывает.

---

[1] Милон, родом из г. Кротона, знаменитый древнегреческий атлет; прославился тем, что обносил вокруг цирковой арены взрослого крупного быка. Свои упражнения с животным он начал тогда, когда оно было еще молочным теленком. *(Прим. автора.)*

— Конец представления, — кричит Пикколо. — господин капельмейстер, сыграйте один марш! Механик, давайте газ!

При полном освещении клоун видит, как, снявши золотое пенсне и держа его в руке, качается от хохота на стуле толстый, бритый Барнум. Дочка его встала на кресло и весело смеется.

— Пикколо, Пикколо! — кричит она. — Поверните картинку вниз ногами! Ах, это замечательно! Поверните же картинку!

И она жестом показывает, как надо повернуть снимок.

Пикколо подходит к ее месту преувеличенно торжественным, приседающим клоунским шагом и останавливается перед ее креслом. Он снимает свой колпак и метет им песок арены, склоняясь в низком поклоне.

— Желание красавицы — закон для всего мира.

Фотограф вновь показывает на экране последнюю картину на этот раз в том виде, как он ее снимал. Всем сразу становится ясно, что не Пикколо держал слона на руках, а слон держал его на спине, когда он встал на нее вверх ногами... С галерки слышен недовольный бас:

— Оказывается — жульничество!

Но глаза мисс Барнум еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством...

Когда же публика стала расходиться, очень довольная вечером, Барнум пригласил всех артистов поужинать у него в «Московской». Ужин был самый королевский: ведь давал его король всех музеев на земном шаре! Играл городской оркестр, лилось шампанское, говорились веселые тосты... Батисто сидел рядом с красавицей Мод. Без клоунского грима он, надо сказать, был очень недурным парнишкой; особенно хороши, говорят, у него были черные, сияющие глаза. Они весело болтали. Перегнувшись к ним через стол, толстый Барнум крикнул с обычной грубой шутливостью:

— Не находишь ли ты, моя дорогая Мод, что твой кавалер мог бы быть на два дюйма повыше ростом?

Пикколо быстро ответил:

— Наполеон и Цезарь не хвастались высоким ростом!

— Ого! — сказал Барнум.

А Мод тотчас же подхватила:

— Милый па! Лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван!

В конце ужина, когда все вставали из-за стола, Барнум крепко хлопнул клоуна по плечу и сказал:

— Послушайте, Пикколо. В Будапеште я только что купил большой цирк-шапито, вместе с конюшней, костюмами и со всем реквизитом, а в Вене я взял в долгую аренду каменный цирк. Так вот, предлагаю вам: переправьте цирк из Венгрии в Вену, пригласите, кого знаете из лучших артистов, — я за деньгами не постою, — выдумайте новые номера и сделайте этот цирк первым, если не в мире, то по крайней мере в Европе. Словом, я вам предлагаю место директора...

Они пожали друг другу руки, а Барнум, потрепав Батисто по спине, лукаво прибавил:

— ...А дальше мы посмотрим...

Ну, а потом танцевали кадриль, польку и вальсы: Барнум с мадам Момино, Пикколо с прекрасной Мод, атлет Атлант с мадемуазель Жозефин, наездницей-гротеск, мохнатый фотограф Петров с девицей «каучук». Все танцевали. Как цыгане всегда готовы петь, так цирковые любят танцы... люди темпа!

Рассказывали, что во время кадрили мадемуазель Барнум по секрету подарила клоуну колечко с отличным рубином... А рубин, как всем известно, означает любовь внезапную и пламенную...

— Что же? Они, конечно, поженились?

— Ну, уж этого я не знаю... Думаю, что да. Впрочем, в ту пору я был в таком возрасте, что ловил нашего фокстерьера за хвост под столом, не нагибаясь.

Время идти в цирк. Оба Джеретти быстро собираются. Синьора Джеретти делает мне большую честь: позволяет донести ее картонку до цирка. Заодно я беру билет на давно знакомое представление. Что поделаешь? И во мне, как в Хохликове Иване, течет пензенская кровь.

Ю-Ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло — Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет — невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг — палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь

издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было — это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто — не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой — своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, — его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел — животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно — он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь — совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например,

возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору — гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор — сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высиживают поочередно — то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, — по женскому обыкновению, — господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он — хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем — гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды — не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька — сзади. Ну, ее просто описать невозможно — такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусиная — точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки-таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее — трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так — дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, — конечно, если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов — лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь — член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом и дикого зверя залягает. А если чумазый ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти ис-

чез в предисловии. Так, в древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, — первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук: «Муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, — и Ю-ю скользнула в детскую.

Там — обряд утреннего здорованья. Сначала — почти официальный долг почтения — прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

— Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

— Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка — рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома — бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом — кляк! — ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше — легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но — молча.

Мальчуган — веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд — и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее — всего

лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая удынь лишние побеги — здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу лить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап — четвертая на весу для баланса, — взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Всё равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу — только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки, и те не лают: заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии

строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.

За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка — животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и

нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

— Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно...

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, — кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой — немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая — человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровожде-

нии матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей — большого и маленького — долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван — она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животное — людей гораздо быстрее и

тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик — будь это через две недели, через месяц и даже больше, — стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, — думал я, — что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени — иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

— Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

— Какие слова? Я не знаю никаких слов, — скучно отозвался голосок.

— Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

— Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.

— Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

— Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

— Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

СИНЯЯ ЗВЕЗДА

Давным-давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделенный от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад взобрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо, чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга.

Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с ее кротким народом, умеренно теплым климатом, вкусной водой и плодородною землею, и они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было ее покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны. Все завоевание заключалось в том, что железные рыцари сняли свои тяжелые доспехи и поженились на местных красивейших девушках, а во главе нового государства поставили своего предводителя, великодушного, храброго Эрна, которого облекли королевской властью, наследственной и неограниченной. В те далекие наивные времена это еще было возможно.

Около тысячи лет прошло с той поры. Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрестные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в наружности: внешний образ древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнотер-

рским обличьем и растворился в нем. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий. Память об Эрне Первом, Эрне Великом, Эрне Святом, осталась навеки бессмертной в виде прекрасной, неувядающей легенды, сотворенной целым народом, подобной тем удивительным сказаниям, которые создали индейцы о Гайавате, финны о Вейнемейнене, русские о Владимире Красном Солнышке, евреи о Моисее, французы о Шарлемане.

Это он, мудрый Эрн, научил жителей Эрнотерры хлебопашеству, огородничеству и обработке железной руды. Он открыл им письменность и искусства. Он же дал им начатки религии и закона: религия заключалась в чтении господней молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один: *в Эрнотерре никто не смеет лгать*. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стерты с первого дня вступления на престол. Сам король носил лишь титул «Первого слуги народа».

Эрн Великий также установил и закон о престолонаследии, по которому наследовали престол перворожденные: все равно будь это сын или дочь, которые вступали в брак единственно по своему личному влечению. Наконец он же, Эрн Первый, знавший многое о соблазнах, разврате и злобе, царящих там внизу, в покинутых им образованных странах, повелел разрушить и сделать навсегда недосягаемой ту страшную горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина.

И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнотерра и зажила невинной, полной, чудесной жизнью, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет.

В старом тысячелетнем королевском замке еще сохранились, как память, некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну Первому: его латы, его шлем, его меч, его копье и несколько непонятных слов, кото-

рые он вырезал острием кинжала на стене своей охотничьей комнаты. Теперь уже никто из эрнотерранов не смог бы поднять этой брони хотя бы на дюйм от земли или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв его обеими руками, или прочитать королевскую надпись. Сохранились также три изображения самого короля: одно — профильное, в мельчайшей мозаике, другое — лицевое, красками, третье — изваянное в мраморе.

И надо сказать, что все эти три портрета, сделанные с большою любовью и великим искусством, были предметом постоянного огорчения жителей, обожавших своего первого монарха. Судя по ним, не оставалось никакого сомнения в том, что великий, мудрый, справедливый, святой Эрн отличался исключительной, выходящей из ряда вон некрасивостью, почти уродством лица, в котором, впрочем, не было ничего злобного или отталкивающего. А между тем эрнотерраны всегда гордились своей национальной красотою и безобразную наружность первого короля прощали только за легендарную красоту его души.

Закон наследственного сходства у людей знает свои странные капризы. Иногда ребенок родится не похожим ни на отца с матерью, даже ни на дедов и прадедов, а внезапно на одного из отдаленнейших предков, отстоящих от него на множество поколений. Так и в династии Эрнов летописцы отмечали иногда рождение очень некрасивых сыновей, хотя эти явления с течением истории становились все более редкими. Правда, надо сказать, что эти уродливые принцы отличались, как нарочно, замечательно высокими душевными качествами: добротой, умом, веселостью. Таковая справедливая милость судьбы к несчастным августейшим уродам примиряла с ними эрнотерров, весьма требовательных в вопросах красоты линий, форм и движений.

Добрый король Эрн XXIII отличался выдающейся красотой и женат был по страстной любви на самой прекрасной девушке государства. Но детей у них не было очень долго: целых десять лет, считая от свадьбы.

Можно представить себе ликование народа, когда на одиннадцатом году он услышал долгожданную весть о том, что его любимая ласковая королева готовится стать матерью. Народ радовался вдвойне: и за королевскую чету и потому, что вновь восстанавливался по прямой линии славный род сказочного Эрна. Через шесть месяцев он с вострогом услыхал о благополучном рождении принцессы Эрны XIII. В этот день не было ни одного человека в Эрнотерре, не испившего полную чашу вина за здоровье инфанты.

Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявши младенца, сразу покачала головой и горестно почмокала языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула:

— Ах, боже мой, какая дурнушка! — И залилась слезами. Но, впрочем, только на минутку. А потом, протянувши руки, сказала:

— Нет, нет, дайте мне поскорее мою крошку, я буду ее любить вдвое за то, что она, бедная, так некрасива.

Чрезвычайно был огорчен и августейший родитель.

— Надо же было судьбе оказать такую жестокость! — говорил он. — О принцах-уродах в нашей династии мы слыхали, но принцесса-дурнушка впервые появилась в древнем роде Эрнов! Будем молиться о том, чтобы ее телесная некрасивость уравновесилась прекрасными дарами души, сердца и ума.

То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорожденной инфанты.

Девочка между тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты еще не понимала, то в полной беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была превеселым и прездоровым ребенком. К трем годкам для всего двора стало очевидным ее поразительное сходство с портретами Эрна Великого. Но уже в этом нежном возрасте она обнаруживала свои прелестные внутренние качества: доброту, терпение, кротость, внимание к окружающим, любовь к людям и животным, ясный, живой, точный ум и всегдашнюю приветливость.

Около этого времени королева однажды пришла к королю и сказала ему:

— Государь мой и дорогой супруг. Я хочу просить у вас большой милости для нашей дочери.

— Просите, возлюбленная моя супруга, хотя вы знаете сами, что я ни в чем не могу отказать вам.

— Дочь наша подрастает и, по-видимому, бог послал ей совсем необычный ум, который перегоняет ее телесный рост. Скоро наступит тот роковой день, когда добрая, ненаглядная Эрна убедится путем сравнения в том, как исключительно некрасиво ее лицо. И я боюсь, что это сознание принесет ей очень много горя и боли не только теперь, но и во всей ее будущей жизни.

— Вы правы, дорогая супруга. Но какою же моею милостью думаете вы отклонить или смягчить этот неизбежный удар, готовящийся для нашей столь любимой дочери?

— Не гневайтесь, государь, если моя мысль покажется вам глупой. Необходимо, чтобы Эрна никогда не видела своего отражения в зеркале. Тогда, если чей-нибудь злой или неосторожный язык и скажет ей, что она некрасива, — она все-таки никогда не узнает всей крайности своего безобразия.

— И для этого вы хотели бы?

— Да... Чтобы в Эрнотерре не осталось ни одного зеркала!

Король задумался. Потом сказал:

— Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего великого пращура о равноправии полов женщины и мужчины Эрнотерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа королевскому дому и уверены, что он охотно принесет нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издам и оповещу через герольдов указ наш о повсеместном изъятии и уничтожении зеркал, как стеклянных, так и металлических, в нашем королевстве.

Король не ошибся в своем народе, который в те счастливые времена составлял одну тесную семью с королевской фамилией. Эрнотерраны с большим со-

чувствием поняли, какие деликатные мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от веселой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмаченными волосами и с лицами, вымазанными грязью. Но когда народ смеется, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно.

Жертва, принесенная королю подданными, была тем значительнее, что все горные ручьи и ручейки Эрнотерры были очень быстры и потому не отражали предметов.

Принцессе Эрне шел пятнадцатый год. Она была крепкой, сильной девушкой и такой высокой, что превышала на целую голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании легких тканей, так и в игре на арфе... В бросании мяча не имела соперников и ходила по горным обрывам, как дикая коза. Доброта, участие, справедливость, сострадание изливались из нее, подобно лучам, дающим вокруг свет, тепло и радость. Никогда не уставала она в помощи больным, старым и бедным. Умела перевязывать раны и знала действие и природу лечебных трав. Истинный дар небесного царя земным королям заключался в ее чудесных руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечивала эти недуги. Народ боготворил ее и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткая и нежная Эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась молчаливая жалость, тайное соболезнование...

«Может быть, я не такая, как все?» — думала принцесса и спрашивала своих фрейлин:

— Скажите мне, дорогие подруги, красива я или нет?

И так как в Эрнотерре никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно:

— Вас нельзя назвать, принцесса, красавицей, но бесспорно вы милее, умнее и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажет вам и тот

человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины, плохие судьи в женских прелестях.

И верно: им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица — ничем она не была хоть отдаленно похожа на женщин Эрнотерры.

Тот день, когда Эрне исполнилось пятнадцать лет — срок девической зрелости по законам страны, — был отпразднован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзину кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзину на локоть, пошла в горы, мили за четыре, навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили ее. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ею на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От нее не укрылись те взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки. Но ни один такой говорящий взор не останавливался на ней: лишь покорность, преданность, утонченную вежливость читала она в почтительных улыбках и низких поклонах. И всегда этот неизбежный, этот ужасный оттенок сожаления! Нужели я в самом деле так безобразна? Неужели я урод, страшилище, внушающее отвращение, и никто мне не смеет сказать об этом?

В таких печальных размышлениях дошла Эрна до дома кормилицы и постучалась, но, не получив ответа, открыла дверь (в стране еще не знали замков) и вошла внутрь, чтобы обождать кормилицу; это она иногда делала и раньше, когда ее не заставала.

Сидя у окна, отдыхая и предаваясь своим грустным мыслям, бродила принцесса рассеянными глазами по давно знакомой мебели и по утвари, как вдруг вни-

мание ее привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с ее детством, с девичеством, с первыми шагами любви, с замужеством и с пребыванием во дворце: разноцветные камушки, брошки, вышивки, ленточки, печатки, колечки и другую наивную и дешевую мелочь; принцесса еще с раннего детства любила рыться в этих сувенирах, и хотя знала наизусть их интимные истории, но всегда слушала их вновь с живейшим удовольствием. Только показалось ей немного странным, почему ларец стоит так на виду: всегда берегла его кормилица в потаенном месте, а когда, бывало, ее молочная дочь вдоволь насмотрится, завертывала его в кусок нарядной материи и бережно прятала.

«Должно быть, теперь очень заторопилась, выскочила на минутку из дома и забыла спрятать», — подумала принцесса, присела к столу, небрежно положила укладочку на колени и стала перебирать одну за другой знакомые вещички, бросая их поочередно себе на платье. Так добралась Эрна до самого дна и вдруг заметила какой-то косоугольный, большой, плоский осколок. Она вынула его и посмотрела. С одной стороны он был красный, а с другой — серебряный, блестящий и как будто бы глубокий. Присмотрелась и увидела в нем угол комнаты с прислоненной метлой... Повернула немного — отразился старый узкий деревянный комод, еще немножко... и выплыло такое некрасивое лицо, какого принцесса и вообразить никогда бы не сумела.

Подняла она брови кверху — некрасивое лицо делает то же самое. Наклонила голову — лицо повторило. Провела руками по губам — и в осколке отразилось это движение. Тогда поняла вдруг Эрна, что смотрит на нее из странного предмета ее же собственное лицо. Уронила зеркальце, закрыла глаза руками и в горести пала головою на стол.

В эту же минуту вошла вернувшаяся кормилица. Увидала принцессу, забытую шкатулку, осколок зеркала и сразу обо всем догадалась. Бросилась перед Эрной на колени, стала говорить нежные, жалкие слова. Принцесса же быстро поднялась, выпрямилась

с сухими глазами, но с гневным взором и приказала коротко:

— Расскажи мне все.

И показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в ее голосе, что простодушная женщина не посмела ослушаться, все передала принцессе: об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о ее трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжелый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал. Плакала кормилица при своем рассказе, рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зеркала в заветном ларце.

Выслушав ее до конца, принцесса сказала со скорбной улыбкой:

— В Эрнотерре никто не смеет лгать!

И вышла из дома. Встревоженная кормилица хотела было за нею последовать. Но Эрна приказала сурово:

— Останься.

Кормилица повиновалась. Да и как ей было ослушаться? В этом одном слове она услышала не всегдашний кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то ее грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали тысячу лет над ее народом.

Шла несчастная Эрна по крутым горным дорогам, и ветер трепал на ней ее легкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу, под ее ногами, темнела синяя мгла пропасти и слышался глухой рев водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под ее ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными легкими ногами. А ее бурные чувства, ее тоскливые мысли на этом одиноком пути? Кто их смог бы понять и рассказать о них достоверно? Разве только другая принцесса, другая дочь могучего мо-

нарха, которую слепой рок постиг бы столь же внезапно, жестоко и незаслуженно...

Так дошла она до крутого поворота, под которым давно обвалившиеся скалы нагромоздились в грозном беспорядке, и вдруг остановилась. Какой-то необычный звук донесся до нее снизу, сквозь гул водопада. Она склонилась над обрывом и прислушалась. Где-то глубоко под ее ногами раздавался стонущий и зовущий человеческий голос. Тогда, забыв о своем огорчении, движимая лишь велением сердечной доброты, стала спускаться Эрна в пропасть, перепрыгивая с уступа на уступ, с камня на камень, с утеса на утес с легкостью молодого оленя, пока не утвердилась на небольшой площадке, размером немного пошире мельничного жернова. Дальше уже не было спуска. Правда, и подняться обратно наверх теперь стало невозможным, но самозабвенная Эрна об этом даже не подумала.

Стонущий человек находился где-то совсем близко, под площадкой. Легши на камень и свесивши голову вниз, Эрна увидела его. Он полулежал-полувисел на заостренной вершине утеса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки; левая нога его упиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эрнотерры, потому что принцесса ни шелка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, тисненных золотом, никогда еще не видала.

Она звонко крикнула ему:

— Огэй! Чужестранец! Держитесь крепко, я помогу вам.

Незнакомец со стоном поднял кверху бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для нее было и немыслимо и бесполезно. Если бы была веревка!.. Высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть?

И вот, точно молния, озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро

скинула она с себя свое прекрасное голубое платье сотканное из самого тонкого и крепкого льна; руками и зубами разорвала его на широкие длинные полосы, ссучила эти полосы в тонкие веревки и связала их одну с другой, перевязав еще несколько раз для крепости посередине. И вот, лежа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила вниз самодельную веревку и радостно засмеялась, когда убедилась, что ее не только хватило, но даже оказался большой запас. И увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие между расщелиной скалы и сосновым стволом, ухитрился привязать конец веревки к своему поясу из буйволовой кожи, Эрна начала осторожно вытягивать веревку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждые неровности утеса и подтягивая кверху свое тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось вытащить его на ровное место.

Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось, сидя, положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.

— Кто ты, о волшебное существо? — прошептал юноша побелевшими устами. — Ангел ли, посланный мне с неба? Или добрая фея этих гор? Или ты одна из прекрасных языческих богинь?

Принцесса не понимала его слов. Зато говорил ясным языком нежный, благодарный и восхищенный взор его черных глаз. Но тотчас его длинные ресницы сомкнулись, смертельная бледность разлилась по лицу, и юноша потерял сознание на груди принцессы Эрны.

Она же сидела, поневоле не шевелясь, не выпуская его из объятий и не сводя с его лица синих звезд своих глаз. И тайно размышляла Эрна:

«Он так же некрасив, этот несчастный путник, как я, как и мой славный предок Эрн Великий. По-видимому, все мы трое люди одной и той же особой породы, физическое уродство которой так резко и невыгодно отличается от классической красоты жителей Эрнотерры. Но почему взгляд его, обращенный ко мне, был так упоительно сладок? Как жалки перед ним те

умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцуя с ними? Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И отчего же так быстро бежит кровь в моих жилах, отчего пылают мои щеки и бьется сердце, отчего дыхание мое так глубоко и радостно? Господи! это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не ропщу на тебя. Но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете!»

В это время наверху послышались голоса. Кормилица, правда, не скоро оправилась от оцепенения, в которое ее поверг властный приказ принцессы. Но, едва оправившись, она тотчас же устремилась вслед своей дорогой дочке. Увидев, как Эрна спускалась прыжками со скал, и услышав стоны, доносившиеся из пропасти, умная женщина сразу догадалась, в чем дело и как надо ей поступить. Она вернулась в деревню, всполошила соседей и вскоре заставила их всех бежать бегом с шестами, веревками и лестницами к обрыву. Путешественник был бесчувственным невредимо извлечен из бездны, но, прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей вниз на бечевке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказанию Эрны отнесен во дворец и помещен в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжелых ушибов и вывих руки; кроме того, у него была горячка. Сама принцесса взяла на себя уход за ним и лечение. Этому никто не удивился: при дворе знали ее сострадание к больным и весьма чтили ее медицинские познания. Кроме того, больной юноша, хотя и был очень некрасив, но производил впечатление знатного господина.

Надо ли длинно и подробно рассказывать о том, что произошло дальше? О том, как благодаря неусыпному уходу Эрны иностранец очнулся, наконец, от беспамятства и с восторгом узнал свою спасительницу. Как быстро стал он поправляться здоровьем. Как нетерпеливо ждал он каждого прихода принцессы и как трудно было Эрне с ним расставаться. Как они учились друг

у друга словам чужого языка. Как однажды нежный голос чужестранца произнес сладостное слово «amo!» и как Эрна его повторила робким шепотом, краснея от радости и стыда. И существует ли хоть одна девушка в мире, которая не поймет, что «amo» значит «люблю», особенно когда это слово сопровождается первым поцелуем?

Любовь — лучшая учительница языка. К тому времени, когда юноша, покинув постель, мог прогуливаться с принцессой по аллеям дворцового сада, они уже знали друг о друге все, что им было нужно. Спасенный Эрною путник оказался единственным сыном могущественного короля, правившего богатым и прекрасным государством — Францией. Имя его было Шарль. Страстное влечение к путешествиям и приключениям привело его в недоступные грозные горы Эрнотерры, где его однажды покинули робкие проводники, а он сам, сорвавшись с утеса, едва не лишился жизни. Не забыл он также рассказать Эрне о гороскопе, который составил для него при рождении великий французский предсказатель Нострадамус и в котором стояла, между прочим, такая фраза:

«...и в диких горах на северо-востоке увидишь сначала смерть, потом же синюю звезду; она тебе будет светить всю жизнь».

Эрна тоже, как умела, передала Шарлю историю Эрнотерры и королевского дома. Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приемов тяжелым королевским мечом и нашел, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитавши же надпись на стене, вырезанную Эрном Первым, он весело и лукаво улыбнулся.

— Чему вы смеетесь, принц? — спросила обеспокоенная принцесса.

— Дорогая Эрна, — ответил Шарль, целуя ее руку, — причину моего смеха я вам непременно скажу, но только немного позже.

Вскоре принц Шарль попросил у короля и королевы

руку их дочери: сердце ее ему уже давно принадлежало. Предложение его было принято. Совершеннолетние девушки Эрнотерры пользовались полной свободой выбора мужа, и, кроме того, молодой принц во всем своем поведении являл несомненные знаки учтивости, благородства и достоинства.

По случаю помолвки было дано много праздников для двора и для народа, на которых веселились вдоволь и старики и молодежь. Только королева-мать грустила потихоньку, оставаясь одна в своих покоях. «Несчастные! — думала она. — Какие безобразные у них родятся дети!..»

В эти дни, глядя вместе с женихом на танцующие пары, Эрна как-то сказала ему:

— Мой любимый! Ради тебя я хотела бы быть похожей хоть на самую некрасивую из женщин Эрнотерры.

— Да избавит тебя бог от этого несчастья, о моя синяя звезда! — испуганно возразил Шарль. — Ты прекрасна!

— Нет, — печально возразила Эрна, — не утешай меня, дорогой мой. Я знаю все свои недостатки. У меня слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы, вместо того чтобы быть плоскими или узкими, изогнуты наподобие лука.

Но Шарль целовал без конца ее белые руки с голубыми жилками и длинными пальцами и говорил ей тысячи изысканных комплиментов, а глядя на танцующих эрнотерранов, хохотал как безумный.

Наконец праздники окончились. Король с королевой благословили счастливую пару, одарили ее богатыми подарками и отправили в путь. (Перед этим добрые жители Эрнотерры целый месяц проводили горные дороги и наводили временные мосты через ручьи и провалы.) А спустя еще месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков.

Известно давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Все население великого города Парижа вышло навстречу наследному принцу, которого

все любили за доброту, простоту и щедрость. И не было в тот день не только ни одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно, и на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял ее, запечатлел поцелуй на ее чистом челе и сказал:

— Дитя мое, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше: красота или добродетель, ибо обе мне кажутся совершенными...

А скромная Эрна, принимая эти почести и ласки, думала про себя:

«Это очень хорошо, что судьба привела меня в царство уродов: по крайней мере никогда мне не представится предлог для ревности».

И этого убеждения она держалась очень долго, несмотря на то, что менестрели и трубадуры славили по всем концам света прелести ее лица и характера, а все рыцари государства носили синие цвета в честь ее глаз.

Но вот прошел год, и к безмятежному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны, прибавилась новая чудесная радость: у Эрны родился очень крепкий и очень крикливый мальчик. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво:

— Любовь моя! Мне стыдно признаться, но я... я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на моих добрых соотечественников. Или это материнское ослепление?

На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво:

— Помнишь ли ты, божество мое, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном Мудрым на стене охотничьей комнаты?

— Да, любимый!

— Слушай же. Она была сделана на старом латинском языке и вот что гласила: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы: женщины — честны, добры и понятливы. Но — прости им бог — и те и другие безобразны».

ТЕНЬ НАПОЛЕОНА

— Как вам сказать, — отчасти вы правы, а отчасти нет. Видите ли: истина, как мне кажется, всегда лежит не в крайностях общественного мнения, а где-то поближе к середине.

Это, конечно, верно, что бывали губернаторы, как будто живьем вытащенные из щедринских «помпадуров». Не отрицаю этого. Однако справедливость никогда не мешает. Можно назвать имена и таких губернаторов, которые в своих так называемых «сатрапиях» делали искренние попытки проявить энергичную творческую деятельность. Не все же екатерининские картонные декорации и бутафорские пейзане. Но опять-таки скажу, что порою самому прямому и честному губернатору никак нельзя было обойтись без бутафории.

Да, вот скажу про себя самого.

Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.

Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать, как бытовое явление,

Представьте себе — я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я — сатрап, я — диктатор, я — конквистадор, я — гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью в отраслях: военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно — не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушения. Воистину — божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я — человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора.

Но вот, теперь о бутафории.

Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя годовщина славного Бородинского боя.

Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили праздновать этот великий день на месте сражения и с наипущим торжеством.

Это бы еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там, наверху, всегда обязательно перестараются. Так оно и случилось.

Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на бородинских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном сражении, а также просто древних старожилов, которые имели случай видеть Наполеона.

Проект этот был во всяком случае не хуже и не лучше такого, например, проекта, как завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь по крайней мере сто двадцать лет. Однако в Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовольствием.

Вот по этому-то поводу и приехал ко мне однажды генерал Ренненкампф, тот самый знаменитый курляндский вождь исторического рейда во время японской кампании. Огненный взгляд, звенящие шпоры, быстрая лаконическая речь, вспыльчивость и — рыцарь перед дамами.

— Ваше превосходительство, — сказал он мне, — я объездил всю Ковенскую губернию, показывали мне этих Мафусаилов — и, черт! — ни один никуда не годится! Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти! Но как же, черт возьми, мне без них быть. Ведь для них же — черт! — уже медали чеканятся на монетном дворе! Сделайте милость, ваше превосходительство, выручайте! На вас одного надежда. Ведь в вашей Сморгони Наполеон пробыл несколько дней. Может быть, на ваше счастье, найдутся здесь два-три таких глубоких — черт! — старца, которые еще, черт бы их побрал, сохранили хоть маленький остаток памяти. Вовеки вашей услуги не забуду!

Я как администратор не мог ему не посочувствовать. Заявил:

— Ваше превосходительство, Павел Карлович, от души вхожу в ваше положение. Даю слово: сделаю все, что смогу. Кстати, есть у меня один такой исправник, для которого, кажется, не существует ничего невозможного.

Генерал обрадовался, жал мне руки, разливался в признательности.

— Теперь я за вами как за каменной горой. А исправнику скажите, что я его из памяти не выброшу.

Проводив Ренненкампфа, вызвал я к себе исправника, по фамилии Каракаци. Он вовсе не был греком, как можно было бы судить по его фамилии. Не без гордости любил он рассказывать, что по отцу происходит от албанских князей, а по матери сродни монакским Гримальди. И, правда, было в нем что-то разбойничье.

Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап — уездный исправник.

И обладал он стремительностью в шестьсот лошадиных сил. И такой же изобретательностью.

Передал я ему мой разговор с генералом. Он весь как боевой конь.

— Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырою. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариканов доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

— Нет уж, — говорю ему, — вы уж лучше без лишнего усердия. Довольно нам будет и Наполеона.

— Слушаю, ваше превосходительство!

И улетел.

Всегда казалось, что он не ходит и не ездит, а летает. Такой он был быстрокрылый.

А через полмесяца получаю я от Ренненкампфа телеграмму лаконическую, в его характере, только без обычных «чертей»:

«Спасибо. Старик конфета. Приезжайте. Жму».

Последнее слово должно было, вероятно, означать «жду», но телеграфист перепутал.

Я поехал, прихватив с собой на всякий случай Каракаци.

Ах! одна эта поездка в сопровождении чудотворного исправника составила бы толстый юмористический сборник.

Например. Подъехали мы к какой-то речонке, к месту, где должен был находиться паром. Но речонка разлилась, паром сорвало и снесло по течению. И путь наш был прерван на неопределенное время.

Но Каракаци не теряется. Он, кажется, не потерялся бы ни в пампасах, ни в льяносах, ни в северной тайге. Кто знает, может быть только по ошибке природа не сделала его знаменитым путешественником или ковбоем.

Мы едем вдоль берега версты две-три. Находим рыбачий челн и, отослав назад лошадей, переправляемся через реку.

Но тут — другая беда: нет никакого экипажа. Рыбаки говорят, что самое близкое жилье, где можно достать телегу, отстоит на десять верст. А уже наступают сумерки.

Но вдруг зоркий взгляд следопыта Каракаци замечает под прибрежными косматыми ивами допотопную еврейскую балагулу, тот древний длинный фургон с круглым верхом, в котором евреи разъезжали по местным базарам в количестве десяти — пятнадцати человек.

Вскоре я слышу довольно крупный разговор, в котором перекликаются теноровые голоса евреев с рокочущим баритоном Каракаци. С каждой минутой спор делается все громче. Евреи не хотят уступать балагулы. У них свой путь и свои срочные коммерческие дела.

Я вовремя вспомнил о своем сане и лежащих на мне обязанностях: не я ли должен исследовать причину всякого народного волнения и предпринять все меры для его прекращения.

Приближаюсь и на ходу спрашиваю с ласковой внушительностью:

— В чем дело, друзья мои, что случилось?

Но Каракаци поспешно выступает мне навстречу:

— Ваше превосходительство, не извольте беспокоиться. Это благодарное население, которое собралось здесь, чтобы выразить вам свою признательность.

Ничего не поделаешь: пришлось сделать исправнику легкое внушение, а с пассажирами балагулы вступить в полюбовную сделку. Конечно, они запросили колос-

сальную, по их масштабу, сумму — полтора рубля, и мы простились самым любезным образом.

Великолепен был и наш торжественный въезд в уездный город Сморгонь. До конца жизни не забуду!..

Ритуал прибытия губернатора был установлен столетиями. И в нем никогда не делалось никаких изменений. Обычно исправник встречал начальника губернии на городской границе, рапортовал ему о благополучии, подсаживал его в коляску или в другой почетный экипаж, а затем мчался впереди, стоя на легкой пролетке, полуобернувшись лицом к высокой особе, в героической позе.

Но когда мы вылезли из нашего доисторического фургона на базарной площади, то оказалось, что площадь совсем пуста. Не только никакой кареты, коляски, или ландо, или хотя бы извозчика — даже ни одной телеги нет. Что делать?

Однако Каракаци всегда на высоте.

— Прошу великодушного прощения, ваше превосходительство! Все из-за проклятого парома! Извольте подождать одну минуту! Я сейчас!

Ровно через пять минут передо мною выросла славная рослая пегая лошадь, впряженная в лакированную одиночку («эгоистка» — так звали раньше этот экипаж). Впереди сидел франтоватый кучер, опоясанный красным тугим поясом. С сиденья легко спорхнул Каракаци.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! Извиняюсь за столь домашний выезд. Обстоятельства бывают — увы! — сильнее человека! Эй, кучер! В Лондонскую гостиницу! Жива!

Я по человеколюбию произношу:

— Да садитесь же, поедем вместе.

Но поздно. Я уже подхвачен доброй рысью пегашки.

И вот только я выезжаю на длинную Санкт-Петербургскую улицу, где проложены узенькие рельсы, как наш путь пересекает картина подлинно из Апокалипсиса. Во весь дух мчится конка. Впереди — верховой мальчик-форейтор, орущий пронзительным дискантом. Вожатый бешено нахлестывает пару кляч. Клячи несутся даже не галопом, а каким-то диким карьером,

расстилая животы по земле. Вагон, как пьяный, шатается из стороны в сторону, а в вагоне, как неодушевленные бревна, катаются туда-сюда пассажиры. На задней же площадке — о чудо! — в классической оберполицмейстерской позе стоит задом к движению, рука под козырек, исправник Каракаци. И все это кошмар ное видение, перегоняя нас, исчезает в облаке пыли...

Только что я остановился у подъезда гостиницы «Лондон», как по лестнице скатывается изумительный Каракаци.

— Ваше превосходительство, имею честь доложить, что во вверенном мне уезде все обстоит благополучно!

На другой день, после завтрака у Ренненкампфа, мы отправились поговорить с тем замечательным старцем, которого генерал с таким удовольствием называл «конфетой». Нас сопровождало значительное общество: местные учителя, члены городской ратуши, гарнизонные офицеры и т. д.

Старик сидел на завалинке (она там называется «присьба»).

При виде нас он медленно встал и оперся подбородком на костыль. Он был уже не седой, а какой-то зеленый. Голова у него слегка тряслась, а голос был тонкий. Впоследствии мы узнали, что он — из староверов.

Начался экзамен.

— Ну-ка, дедушка, рассказывай, — громко и бодро приказал Ренненкампф.

— Да что же рассказывать-то, — точно по складам зашептал старик. — Стар я, забыл, почитай, все.

— А ты, дедушка, вспомни, постарайся! — еще громче сказал Ренненкампф. — Вот, говорят, что отечественную войну помнишь? Наполеона видел?

— Наполеона? Как же, батюшка, видел, видел. Вот как тебя вижу, совсем близехонько.

— Ну, вот ты нам про него и расскажи. Ты не бойся, тебя начальство отблагодарит. Ну, как же ты его видел, Наполеона-то?

— Как видел? А тут вот, тут видел, где гумно. Там тогда хата стояла новая. С балконом хата. А на том балконе стоял Наполеон. А я тут же стоял под крыль-

цом. Конечно, маленький я был, совсем мальчишка, мало понимал еще. Шесть лет тогда мне было. Значит, Наполеон стоял, а мимо него все войска шли. Все войска, все войска, все войска. Ужасно как много войсков! А потом он по ступенькам-то вниз сошел и меня рукой по голове погладил и сказал мне что-то по-французски, совсем непонятно: «Хочешь, мальчик, поступить в солдаты?»

Старик говорил с большим трудом и точно стонал после каждого слова. Порою его было не слышно.

— Ну, дедушка, а как он был одет, Наполеон-то?

Старик сначала оглянул толпу, точно кого-то разыскивая мутными глазами, потом сказал не особенно уверенно:

— Одет-то был как? Да обыкновенно одет: серенький сюртучишко на нем и, значит, шляпа о трех углах. А больше никак не был одет.

— Прекрасно! Восхитительно! — воскликнул Ренненкампф, разводя руками. — Великое спасибо, ваше превосходительство. Молодец, молодец, господин исправник! Не забуду! С таким изумительным стариком мы в грязь лицом не ударим. Не правда ли, ваше превосходительство?

Но тут лукавый подтолкнул начальника городского училища. Такой он был худощавый, как-то скривленный набок и козелковатая бородка.

— Ваше превосходительство, — обратился он к Ренненкампфу. — Я, как педагог... исторический момент... редчайший случай... прошу разрешения задать один вопрос.

— Пожалуйста, пожалуйста, — великодушно разрешил Ренненкампф.

— Дедушка, — крикнул старику в ухо педагог. — Не можешь ли ты сказать нам: какой из себя был император Наполеон?

— Чего это? — переспросил старик.

Тут пришел на помощь сам Ренненкампф. Он сказал своим резким командирским голосом:

— Ты скажи нам — какой был Наполеон наружностью? Большого роста или маленького, толстый или худой? Вообще какой он был из себя?

Тут и случилось что-то странное. Старик на мгновенье точно оживился и даже немного выпрямился. Он откашлялся, и голос его стал тверже и яснее.

— Какой он был-то? — произнес он. — Наполеон тот? А вот какой он был: ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишком, а бородища — по самые колени и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы, у десяти человек головы с плеч долой! Вот он какой был! Одно слово — ампиратырь!

Что тут произошло, трудно описать.

— Это безобразие! — рявкнул Ренненкампф так страшно, что у всех присутствующих подогнулись ноги, а храбрый потомок Гримальди побледнел и пошатнулся.

И много еще прошло времени, пока сердитый генерал не излил свой гнев. Но потом все-таки успокоился.

— Ничего, — сказал он, — мы его еще натаскаем. Времени впереди много. А без старика — никак не обойдешься. Господин исправник, вы ему репетитор, вы и будете в ответе!..

Тут грозный генерал не договорил и лишь выстрелил в Каракаци огненным лучом своего взгляда, пронзив его насквозь, а потом, обернувшись ко мне и вытирая платком лоб, Павел Карлович воскликнул решительно:

— Ну уж если эти петербургские господа вздумают к трехсотлетию дома Романовых откапывать современников, то, слуга покорный, — отказываюсь! Подаю в отставку! Да-с!

ЗАВИРАЙКА

Собачья душа

Это было не только до эмиграции, но даже до революции, даже еще года за четыре до великой войны; право, мне иногда кажется, что случилась эта история лет сто или двести назад.

Я тогда зарылся на всю зиму в новгородскую лесную глушь, в запущенное барское имение «Даниловское». В моем распоряжении был старинный деревянный дом в два этажа и в четырнадцать больших комнат. Отопить его весь — нечего было и думать, хотя дрова были свои и — в любом количестве. Поэтому топил я ежедневно только одну комнату, самую из них малую, в которой жил, работал и спал, — топил ее собственноручно, так же, как сам и подметал ее, и ставил себе самовар, и оттаивал воду для умывания. Никто из соседнего крестьянства не соглашался идти ко мне для услуг или на кухню: ни бабы, ни мужики, ни парнишки, хотя у меня с деревенскими и были прекрасные отношения, хотя крестьянство здесь и считалось бедноватым, хотя я и сулил за пустячную службу царскую плату, подумайте: целых три рубля в месяц.

Обегали вовсе не меня, а именно тот большой, старый, серый с белыми колоннами дом, в котором я жил. Во всех соседских деревнях: в Трестенке, Бородине, Никифорове, Осиновке, Высотине, Свистунах, да, пожалуй, во всем Устюженском уезде, — каждый мужик

твердо знал и крепко верил, что в Даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам нога эта ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении.

Сколь эти рассказы ни казались вздорными, однако — странно сказать — в них была доля истины. Однажды, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора, я наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формою похожий не то на футляр для какого-то музыкального инструмента, а, пожалуй, и на гроб. Я открыл его. В нем действительно лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, прекрасно сработанная, со ступней, все как следует, и обтянутая превосходной толстой голландской замшей. Тут же я нашел и костыль к ней. Судя по размерам этих вещей, я убедился, что ими пользовался когда-то человек большого на редкость роста. Позднее я даже узнал, кому из героев войны 1812 года она служила при жизни: генералу Кривцову, другу Пушкина. Он потерял свою естественную ногу в бою под Кульмом. Это ему писал Пушкин: «Ты без ноги, а я женат, или почти!..»

Как бы то ни было, благодаря «Мертвой ноге» я в этом огромном доме был осужден на одиночество, в условиях Робинзона до его встречи с Пятницей. Зато я смело мог бы держать все двери в доме раскрытыми настежь, если бы, конечно, не глубокая зима и не пронзительные ветры, которые и без того гуляли по двум этажам и по чердаку ветхого столетнего дома, воя в трубах, визжа в щелях, свистя в дырявых рамах. Признаюсь, порою по ночам и мне становилось жутковато...

Кроме меня, обитал в усадьбе, через двор от меня, в маленьком низеньком флигельке, управляющий Арапов; там же ютилась экономка, она же стряпуха, престарелая Елена Степановна; да еще по утрам рубил дрова, крякая и кашляя, какой-то дедушка Иван; где он ночевал — не знаю; похож он был на рождественского деда Мороза.

Арапов ко мне по вечерам никогда не заглядывал. Он тоже слышал о «Ноге». Его боязливость меня удивляла: был он раньше, во время японской войны, храб-

рым матросом, принимал участие в Цусимском бое, спасал свою жизнь вплавь после того, как корабль взорвали, и был выловлен из воды японцами, взявшими его в плен.

Я у него обедал и ужинал. Днем он иногда забегал ко мне — у меня находился склад пороха, дроби, шомполов, пистонов и разных машинок для снаряжения патронов. Но он очень бывал недоволен, когда я предлагал ему лично удостовериться в том, что в черном ящике лежит обыкновенное изделие рук человеческих из дерева и замши. Он каждый раз отворачивался, отмахивался, тряс головой и кричал:

— Умоляю вас, умоляю, не надо!.. Видеть не могу мертвецов!.. — Ничего я с ним не мог поделать.

Но был Арапов страстным охотником и, что еще важнее, хорошим товарищем на охоте. А охотиться мы стали не только для удовольствия, но и по нужде. Ежедневная каша с пустыми щами и солонина надоели. Мяса негде было достать. Между тем всякому известно, что заяц, прошпигованный салом и чесноком да сжаренный в сметане, представляет собою вовсе не дурное блюдо. Счастье наше было, что мужики зайца не едят, считают его дикой кошкой и веруют, что взят он был Ноем в ковчег в качестве одной из нечистых пар. Иначе зайцы давно бы перевелись на Руси.

Я приехал в Даниловское позднею осенью, в ту пору, когда в лесах опавший лист уже слежался на тропинках и почернел. Охота в такое время называется охотою по *чернотропу* и весьма интересна. Но — беда! — собак в Даниловском совсем не было, за исключением, конечно, тех негодных дворняг и дворняжек, которыми так богата бывала каждая русская усадьба. Едучи в Даниловское (уже не в первый раз), я надеялся достать хоть неважного выжлеца, хоть плохонькую выжловку у Александра Семеновича Трусова, у этого «Великого охотника», у этого «Длинного карабина», «Кожаного чулка» и «Следопыта», у этого кротчайшего из людей, который убил в своей жизни шестьдесят четыре медведя, десятки рысей и лосей, сотни волков и лис и тысячи зайцев. Но еще в Весьегонске узнал я от ямщика Сергея Пятнышкова, что волею божьей Александр

Семенович скончался в прошлом мае, а огорченная вдова всю его знаменитую охоту распродала, чтобы не тревожить сердца видом былых мужниных воспитанников и любимцев.

Что за охота без гончей? Да, я знаю, есть любители *«тропить»* зайца. Найдут свежий его след на снегу — две лапки рядом, две лапки одна за другой — и идут по следу, как по тропке, пока не найдут лежачего и не застрелят его. Ведь он бегает только ночью, а весь день лежит. Но так охотятся — извините за выражение — шкурятники. У них много терпения, но вдохновения и поэзии ни на грош.

Вот мы с Араповым и мечтали все о выжлеце. И как с кем встретимся или кто в Даниловское наедет, непременно клянчим: «Может, о гончей собачке где прослышите, так постарайтесь, душенька, для нас. И мы вам, когда понадобится, за услугу услугой, не считая того, что зайчишек вам будем при всякой оказии посылать».

Провинция, уезд, деревня — это особая страна: там мельчайшие слухи и вести растекаются во все стороны не хуже радиотелеграфа. Уже осень стала совсем холодной, густой по утрам иней серебрил поля и пудрил деревья, и мороз тонким ледяным лаком затягивал морщинистые пруды. Наконец однажды ночью пошел снег, и, проснувшись, мы увидели из окон белую зиму. Первая пороша! Как дрожат охотничьи сердца при звуках этих двух слов!

В эту же первую порошу как раз и случилось чудо. К обеденному времени заехал в Даниловское из деревни Круглицы (десять верст от нас) круглицкий почтдиректор, он же почтмейстер, он же единственный чиновник и единственный почтальон почтового отделения, козлобородый, длинный и многодетный Голованов. У меня по тем сонным местам и временам была невиданно большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того чтобы, по тамошнему обычаю, посылать мне почту с любым попутным ямщиком, предпочитал привозить ее лично. Впрочем, может быть, были и другие причины такой любезности.

Он по скромности долго отнекивался, но все-таки мы усадили его за стол, разогрели солонину, нашелся

кусок старой железной колбасы, графинчик водки и бутылка пива. Тут-то, придя в радужное настроение, почт-директор хлопнул себя по коленам и воскликнул:

— Да! Чтобы не забыть! Говорят, вы для охоты собачку приискиваете? Так вот, у нас в Козлах, на выселках, живет вдовая женщина, вроде как однодворка, и у нее имеется довольно ладный кобелек, гончак годов двух, не более. Это от самого покойного Александра Семеновича ей подарок, щенком еще выпросила. Теперь на чепе он сидит. Она, может, и согласится продать? Попробуйте. Если хотите, я с ней поговорю? А то поедемте сейчас со мною.

Мы попили чайку и поехали на головановской двухколесной трясучке. Езды всего было полтора часа до крошечной усадебки, стоявшей сбоку деревни, как бы на отлете. Мы въехали в широкий чистый двор. Там, у столба, привязанный к длинной цепи метался и отчаянно лаял отличный гончий пес, блестяще-черный, с густо-рыжими подпалинами, рослый и широкогрудый. Я никогда не похвастаюсь, что подойду к любой цепной собаке. Но если по одному взгляду и по звуку голоса я определяю, что лает пес умный, необозленный и незабитый, то иду без всякого колебания. В этих случаях надо только не забыть, что, протягивая собаке руку, следует держать ее вверх ладонью, притом широко открытой, чтобы собака убедилась, что камня в ней не спрятано.

Старая женщина, вышедшая на крыльцо, крикнула:

— Ты поберегись, кормилец! Она тебя загрызет!

Но собака не тронула меня. Обнюхала руку и, туго натянув цепь, уперлась мне в грудь мускулистыми передними лапами. Кусок солонины, который я предусмотрительно взял с собою, был принят благосклонно и проглочен мгновенно, а хвост выразил самую размашистую признательность. И тут-то я обратил внимание на глаза этой собаки. Они были ярко-рыжего цвета, живые и серьезные. Их взгляд был тверд, доверчив и проницателен, без малейшего оттенка угодливости. Они не бегали, не моргали, не прятались. Казалось, они настойчиво спрашивали меня: «Зачем я живу здесь,

посаженный на цепь? Зачем ты пришел ко мне? Ведь не со злом?» Так умеют смотреть лишь лохматые пастушьи собаки в горах.

Затем я познакомился с хозяйкой, Анной Ивановной. Узнав, что я хочу купить пса, она раскудахталась. «Ах, да как же это! Ах, да я не знаю. Уж больно пес-то хорош. Завирайка-то. Таким псам цены нет, если на охотника. Ведь из трусовской псарни собачка, самого Александра Семеныча. Порода-то какая...» Потом сделала скорбное лицо, помолчала, вздохнула и спросила с сомнением:

— Трешницу не дадите?

Три рубля я охотно дал. Предлагала она еще и цепь за один рубль. От цепи я отказался. Но из вежливости набавил этот рубль за старый, никуда не годный ошейник. Тут вдова сразу повеселела и не хотела меня отпустить без того, чтобы я не испробовал ее домашнего пива. Пришлось выпить с нею ковшик густой, как кисель, солодовой бурды, помянув добрым словом память покойного «Великого охотника» Трусова. Расстались мы приятелями. «Если тебе собака не на цепь, а для охоты, то лучшего кобеля не найти нигде».

Я пошел домой пешком, ведя Завирая на веревке. Но он шел со мною так послушно, охотно и весело, что я спустил его на свободу. Он с явным наслаждением бежал впереди, роясь носом в молодом снегу, спугивая с дороги воробьев. Но стоило мне свистнуть или окликнуть его по имени — он тотчас же останавливался и поворачивался ко мне поднятой кверху мордой с внимательными яркими глазами. Я махал рукой, говорил: «Иди», — и он опять пускался вперед. «Что за чудесный пес!» — ликовал я.

Но в воротах я принужден был снова взять его на веревку, потому что со всех концов усадьбы сбегалось все собачье население: и Патрашка, и Жучка, и Султан, и Рябчик, и Кадошка, и Барбоска, и Чирипчик, и Серко, и — кладбищенского сторожа — Чубарик, помесь таксы с борзой. У собак есть рыцарское правило: собаку лежачую или на привязи не трогают. Однако лай и руготню даниловские собачонки подняли ужасающую. Завирайка прижимался ко мне боком, нервно приподы-

мал верхнюю губу, показывал из нее белый огромный клык и, оборачиваясь на меня, ясно говорил выразительными глазами: «А что? Не задать ли им трепку?»

Арапов был в восторге. Ему только не понравилось простонародное имя — Завирай. «Гораздо лучше бы, — говорил он, — назвать его Милордом, или Фиделем, или Жужой». Дело в том, что он состоял подписчиком «Петербургского листка» и больше всего на свете обожал великосветские романы княжны Бебутовой. Но я не уступил.

Зато мне пришлось уступить ему в другом. Я уже, глядя на Завирайку, лакомился мыслью, что нашел в нем для моего Робинзонова житья в четырнадцати нежилых комнатах своего Пятницу. Однако Арапов правильно указал на то, что, во-первых, гончую собаку трудно приучить к комнатной опрятности, а во-вторых, что в тепле собака изнеживается, теряет чутье и на охоте легко простуживается. Мы решили постелить для Завирая сена под навесом у кухни. Впоследствии, когда зима установилась прочно и настали холода, мы сделали из снега большой трехсторонний вал, примкнув его к стене флигеля и оставив узенький вход. Сверху мы покрыли это сооружение крышей из соломы. Конечно, со временем все усадебные псы устроили в этом домике, под покровительством Завирая, общую уютную спальню и чувствовали в ней себя превосходно. Бывало, в жестокий мороз, вечером, просунешь руку внутрь, сквозь солому, и, просто прелесть, какая там бывала живая густая теплота. Одним словом — собачий рай.

В тот день нам не пришлось охотиться: день стоял теплый, и снег раскис, а назавтра хватил холодок, сделалась гололедица. Потом пошли метели. Все не везло нам с погодами.

Дней через десять повалил, наконец, тихий, крупный, мохнатый снег. Из-за его сплошной сетки не стало видно ни деревень, ни леса. Шел он целый день и к вечеру вдруг перестал, точно улегся спать в глубокой тишине, неподвижности и тьме.

Утром, чуть свет, мы вышли в поле. Был легкий холодок. Солнце взошло, точно праздничное. От него

снег казался розовым, а тени деревьев нежно-голубыми. Заячьих следов было великое множество, а вокруг стогов снег прочно был притоптан лапками «жировавших» ночью зайцев.

Но Завирайка... Завирайка совсем огорчил нас. Напрасно мы наводили его на самые свежие, еще казавшиеся теплыми следы, тщетно мы его тыкали в них носом, указывали руками направление, уговаривали и умоляли его. Он глядел, высоко подняв голову, то на меня, то на Арапова и говорил настойчивым взором: «Я готов слушаться, но объясните цель. Зачем?»

Так промучились мы с ним три дня. Говорил иногда Арапов: «Запустить бы ему заряд картечи под левую лопатку. Да жаль, он и патрона не стоит... Вообще никуда не годный пес». Но — врал впопыхах, со злости. Вне охоты относился к собаке заботливо.

А на четвертый день вот что произошло.

Только вышли мы из усадьбы на малую горушку, где начинались крестьянские выгоны, как Завирай остановился и начал нюхать снег, яростно болтая хвостом. Помню, Арапов сказал: «Должно быть, дурак, мышь земляную почуял». Но в ту же секунду из снега выскочил столбом огромный палевый русак и помчался вперед, точно бешеный. Вряд ли за ним угналась бы и борзая собака.

Завирай был великолепен.

Он не растерялся, не замялся, не потерял ни одного мгновения; он в ту же секунду бросился за русаком, и скоро мы потеряли его из виду. Еще прошла минута — мы услыхали его голос... Знаете, как гончая лает, идя за зайцем?

Она, бедная, все жалуется: «Ай, ой, ай! Батюшки, меня обижают! Что мне, ай, ай, бедной, делать? Ай, ай, ай!..» Слышно было, что Завирайкин лай повернут направо. Тут была рука Арапова, и он начал, изготовив ружье, продвигаться вправо. Гон Завирайки становился все тише, почти умолк, но вдруг едва слышно возобновился и сразу стал слышным и яростным.

Я стоял со стороны, и мне все было слышно и видно. Я видел, как Арапов прицелился. Потом из кустов выскочил светло-бурый заяц. Тотчас же белый дымок

вырвался из араповского ружья, и одновременно с ним заяц перекувыркнулся через голову и лег в снег. Потом раздался слабый «пук!» — это был выстрел. И потом уже из кустов вырвался громко плачущий Завирай.

Он с разбега ткнулся в заячье тело и тут же присел на зад. Когда мы подошли к нему, он представлял комически-печальное зрелище: наморщенная морда опущена вниз, уши висят, общий вид скорбный — ну, ни дать ни взять лицемерная вдова. Но когда я ему бросил заячью лапку, тот самый сустав, который дамы употребляют для румян, — он поймал ее на лету, сочно хрустнул ею и мгновенно проглотил. И с этого момента он сделался первоклассным гончим псом. В то же утро он без всяких наших намеков и указаний стал сам разыскивать заячьи следы, гнал зайцев чутко и безошибочно и с охотничьей страстью умел соединять хладнокровный расчет. Он выгнал на нас в этот день еще четырех зайцев; одного из них во второй раз положил Арапов, другого — я. И над каждым из них он неизменно (как и всегда потом) устраивал фигуру грустной вдовы... Вскоре он стал знаменитостью на весь уезд, но слава не испортила его кроткого и чистого характера.

А сейчас я расскажу об одном случае, в котором Завирай проявил такую преданную дружбу, такую силу доброй воли и такую сообразительность, какие и среднему человеку сделали бы большую честь.

Зима переламывалась. Откуда-то издалека стало попахивать весною. Мы с Араповым выбрали одно весеннее утро, чтобы, может быть в последний раз до будущей осени, пойти по зайцам. Завирая не надо было приглашать. Он пошел с нами со всегдашней своей сдержанной, серьезной радостью.

И, конечно, увязалась за нами вся эта непрошенная, бестолковая деревенская собачня: и кладбищенский Чубарик, и Серко, и Султан, и Кадошка с Барбоской, и Султан с Патрашкой, — словом, все, кто только умел и мог мешать охоте.

Работал-то всегда один только Завирайка со свойственной ему неутомимой и требовательной энергией. Независимые дворняжки охотились сами по себе. Они обнюхивали ежовые, кротовые и мышьи норы и пробовали их разрывать лапами, лаяли на свежий птичий и заячий помет. Очень скоро мы их перегоняли, и они совсем терялись из вида. «Вообще, — говорил не раз Арапов, — эту сволочь надо бы давным-давно перестрелять». Но — шутил. Он был добрейшим малым.

Однако в этот день мы не увидели ни разу даже заячьего хвоста. Все поля, лужайки, лесные тропки были сплошь избеганы и перетоптаны зайцами, но определить, новые это следы или старые, не было никакой возможности. Завирайка рылся носом в снегу и отчаянно фыркал. Бросив след, он опять возвращался к нему, снова нюхал, недоумевая, и потом, повернувшись к нам, устремлял на нас свои ярко-рыжие глаза. Он будто бы говорил нам: «Ну хорошо, ну пошли мы за зайцами, но где же, о мудрецы, о огненные люди, где наши зайцы?»

Мы зашли далеко. Стало уже смеркаться. Мягкий снег липнул на валенках, и они промокли. Мы решили пойти домой. Прощайте, зайцы, до будущего чернотропа. Завирай разочарованно бежал впереди.

На выгоне, как и всегда, присоединилась к нам вся свора анархических дворняг. Им трудно было идти. Рыхлый снег забивался твердыми комками под лапы, и надо было эти комки ежеминутно выкусывать.

Мы уже почти подходили к усадьбе, как вдруг беззвучно начал падать с темного неба густой крупный снег. В несколько минут он покрыл все следы: и заячьи, и человечьи, и санные, и так же скоро перестал.

Дома я переоделся. Мне оставалось еще полчаса до ужина и до обычного преферанса вдвоем, «по-гусарски». Я просматривал старинную книгу Светония «Двенадцать цезарей», с двумя параллельными текстами, французским и латинским.

В окно мне постучали. Я прильнул к стеклу и увидел Арапова. Он тревожно вызывал меня. Я знал,

что ночью он не решится войти в большой дом, по причине мертвой ноги, и потому, наскоро надев тулупчик, вышел на двор.

Арапов был очень обеспокоен:

— Пожалуйста... Я не знаю, что мне делать с Завирайкой. Если бы не зима, я подумал бы, что он взбесился. Посмотрите-ка.

Завидев меня, Завирай бросился ко мне. Он прыгал ко мне на плечи, рвал полы моего тулупчика и тянул меня, упираясь передними ногами в снег и мотая головой.

— Мне кажется, что он почуял волка, — догадался я. — Подождите, я перезаряжу ружье картечью и пойдем, куда он поведет.

Увидев ружье, Завирай радостно запрыгал. Он побежал вперед, но при выходе из усадьбы остановился и поджидал нас, нетерпеливо махая хвостом. Мы шли за ним. Очевидно, он держал верный, памятный ему путь: это была та самая дорога, которой мы только что возвращались с охоты, — теперь гладкая и чистая от свежего снега.

— Подождите-ка, — сказал Арапов. — Подержите немного Завирая. Я посмотрю следы.

И через несколько минут он крикнул мне:

— Ясно, как палец! Туда и сюда ведут Завирайкины следы. Надо думать, что после прихода домой он сбегал куда-то и вернулся назад.

Конечно, не волк волновал Завирая, иначе он скулил бы. Мы продолжали следовать за ним, и он теперь вел нас спокойно и уверенно, отлично поняв, что мы его слушаемся.

Так мы прошли верст пять-шесть и, наконец, издали услышали тонкий, тихий, жалобный визг. Он становился с каждым шагом все яснее, пока мы не убедились, что это визжит небольшая собачка. Скоро при мутном свете расплывчатого месяца мы увидели небольшой снежный бугор. Завирайка начал ретиво метаться от этого бугра к нам и обратно и весело лаял. Когда мы подошли совсем близко, то без труда нашли бедного злополучного Патрашку. Оказывается,

он попал в заячий капкан, поставленный в подлеске бородинскими мужиками.

Заячий капкан, конечно, не мог бы переломить собачью ногу, и, не будь снег талым, Патрашка дотащился бы как-нибудь до усадьбы. Но лепкий, сырой, мягкий снег с каждым новым волочащимся шагом Патрашки все более и более набухал на капкане, пока не обратился в огромный ком, которого небольшая собачка уже не могла стронуть с места.

Мы высвободили Патрашку, и он, прихрамывая и повизгивая, заковылял позади нас в усадьбу.

Завирайка всю дорогу не мог успокоиться и отчаянно-весело лаял. Он кидался передними лапами на грудь то ко мне, то к Арапову и все норовил лизнуть нас в губы и тотчас же бежал назад к Патрашке, чтобы облизать его с хвоста и с головы. Милая, бескорыстная собачья радость!

За ужином мы долго говорили об этом происшествии. Странно: мы — люди, мы — цари вселенной, мы, умеющие считать до тысячи, не заметили по дороге отсутствия Патрашки, а Завирайка — всего только собака — сообразил эту нехватку, уже придя домой. И что заставило его пойти на розыски приятеля: сознательный ум или темный, но верный инстинкт?

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том входят повесть «Яма», написанная А. И. Куприным в 1908—1914 годах, и рассказы 1915—1928 годов.

Большая часть помещенных в томе произведений создавалась писателем в период первой мировой войны, февральской революции и в первые два года после Великой Октябрьской социалистической революции, остальные — в эмиграции.

Участие России в первой мировой войне Куприн воспринимал как оборону от нападения кайзеровской Германии. Он был убежден, что разгром прусского милитаризма «обеспечит Европе и всему миру полный плодотворный отдых от войны и вечного изнурительного вооруженного мира» (Письмо к Ф. Батюшкову, 1915, ИРЛИ). От понимания действительной сущности происходящей войны, как войны империалистической, писатель был весьма далек.

Призванный в ноябре 1914 года на военную службу, Куприн в течение семи месяцев командовал ротой в одной из резервных пехотных частей в Гельсингфорсе. Литературную работу он в это время почти прекратил. Корреспонденты петербургских газет, часто посещавшие Куприна, отмечали его исключительное внимание к нуждам солдат и их семей. Сохранилось письмо Куприна из Гельсингфорса к редактору газеты «Биржевые ведомости» М. Гаккебушу, в котором Куприн просит осветить следующий вопрос: «В деревнях остаются семьи ратников, призванных в действующую армию (часто жена и три-четыре-пять человек детей). Но выколачивание недоимок и податей идет обычным порядком. Корова ценой в 70—80 рублей идет за 20—30 (у неплательщиков)... Еще хуже, что «способие» семьям ушедших..., тоже

арестуется за невзнос платежей. Надо — найду факты. Это — голос народа» (ЦГАЛИ).

Куприн недолго пробыл в армии: в мае 1915 года он по болезни был демобилизован и вернулся в Гатчину.

К этому времени закончилась публикация повести «Яма». В ней писатель с большой обличительной силой изобразил смрадный быт публичных притонов, открыто существовавших в царской России, и создал сатирические образы продавцов и покупателей «живого товара». С большим сочувствием показал Куприн «белых рабынь», подвергающихся повседневному унижению и надругательству. Отмечая, что на этот страшный путь женщину толкает нужда и бесправие, Куприн все же основную причину существования проституции ищет в биологических факторах. Его героини — это «жертвы общественного темперамента». Отсюда — пессимистический вывод о вечности и непреодолимости проституции. Правда, сам Куприн подчеркивал, что не претендует на окончательное решение поставленной проблемы. «В учителя жизни я не гожусь», — признавался он позднее (Отдел рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Отсутствие ясного взгляда писателя на сущность изображаемого в повести явления привело его к утрате художественного критерия. Этим объясняется композиционная рыхлость повести, перегруженность ее рядом эпизодов, не связанных с главной сюжетной линией, наличие мелодраматических и натуралистических сцен.

Несмотря на все эти недостатки, «Яма» Куприна сыграла известную положительную роль в русской предреволюционной литературе. Благодаря обличительному пафосу своих лучших страниц повесть резко противостояла порнографической беллетристике, наводнившей книжный рынок той поры.

После «Ямы» Куприн работал преимущественно над рассказами. В них он правдиво отразил многие стороны русской дореволюционной жизни: моральное разложение царской бюрократии и буржуазии («Канталупы», «Гога Веселов»), духовное убожество оторванных от народа декадентствующих литераторов («Груня»), уродливую систему воспитания детей в закрытых учебных заведениях («Храбрые беглецы»). Однако критика нравов правящих классов и буржуазной интеллигенции в произведениях 1915—1917 годов лишена той силы и глубины отрицания, тех настойчивых поисков социальной правды, которыми отличалось творчество Куприна начала 900-х годов. Противоречия, обнару-

жившиеся у него после поражения революции 1905 года, продолжают углубляться. Куприн все реже обращается к изображению острых социальных конфликтов, подменяет конкретно-историческое освещение актуальных вопросов современности — отвлеченным, морально-этическим. В этом отношении характерен большой рассказ «Звезда Соломона». В нем Куприн возвращается к своей старой теме — изображению мелкого чиновничества, которому были в прежние годы посвящены рассказы «Миллионер», «Гранатовый браслет», «Святая ложь» и др. Но в отличие от этих произведений в «Звезде Соломона» нет никакой драматической коллизии. Герой рассказа не только далек от протеста против своего «канареечного прозябания», но, напротив, вполне доволен им и предпочитает честную бедность безнравственному богатству. И хотя писатель со скрытой усмешкой говорит о ничтожности и мелкотравчатости жизненных идеалов своего героя, он в какой-то мере оправдывает его бескрылую «философию».

Февральскую буржуазно-демократическую революцию Куприн встретил сочувственно. В это время писатель сближается с либерально-народническими кругами и одно время редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия». В своих публицистических статьях писатель прославляет подвижничество отдельных революционеров, «декабристов, петрашевцев, народовольцев», которые «прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков», подготовив победу над царизмом («Свободная Россия», 1917, № 8, 17 мая).

После Октябрьской революции Куприн не остается в стороне от работы по налаживанию культурной жизни страны. Он часто выступает на литературных вечерах, читает лекции в Петроградской школе журнализма, редактирует рукописи молодых писателей, сотрудничает в горьковском книгоиздательстве «Всемирная литература». По поручению М. Горького он пишет вступительную статью к собранию сочинений А. Дюма, переводит трагедию Ф. Шиллера «Дон Карлос». Сохранился составленный им проект издания газеты для крестьян. По этому вопросу Куприн ездил из Петрограда в Москву, где был принят В. И. Лениным.

Однако отношение Куприна к происходящим в стране событиям было крайне противоречивым. С одной стороны, он признавал, что «большевизм в обнаженной основе своей представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение». С другой стороны, он считал, что это учение «перешло

в дело не вовремя», ибо русский народ еще не достиг необходимого уровня культуры («Эра», 1918, № 4). Писателя пугали суровые формы развернувшейся в стране классовой борьбы, ломка старого государственного аппарата, трудности организации нового управления хозяйством и культурой на огромной территории России. Впоследствии Куприн писал: «Должен сказать прямо, я в то время объяснял события, происходившие в России, скорее стихийными обстоятельствами, чем законами истории» (Письмо к М. Клопину, 1937. См. Н. Вержбицкий, Встречи с Куприным, «Звезда», 1957, № 5). Идейные колебания писателя отразились и в его художественном творчестве 1918—1920 годов. К этому времени относится рассказ «Гусеница», в котором писатель с любовью воскрешает образы героев революции 1905 года, а вслед за ним появляется «Царский писарь» — произведение, не свободное от идеализации старой России.

Куприн постоянно жил в Гатчине. Осенью 1919 года в этот город вторглись войска Юденича.

Белогвардейским генералам Глазенапу, Краснову и Палену удалось склонить писателя к редактированию штабной газеты «Приневский край». При отступлении белых из Гатчины Куприн в состоянии крайней растерянности покинул город вместе с ними. После кратковременного пребывания в Эстонии он обосновался в Гельсингфорсе, где начал сотрудничать в эмигрантской газете «Новая русская жизнь». В Финляндии в 1920 году ему удалось издать книгу «Звезда Соломона», в которую вошли рассказы прежних лет. С первых дней пребывания на чужбине писатель испытывал мучительную тоску по родине. «Теперь я живу в Helsinki, — сообщал он И. Е. Репину 14 января 1920 года, — и так скучаю по России... что и сказать не могу. Хотелось бы всем сердцем опять жить на своем огороде... Никогда еще, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smörgas'а становится у меня поперек горла» (ЦГАЛИ). В мае 1920 года Куприн известил И. Е. Репина о намерении уехать из Финляндии в одну из стран Западной Европы. «Впрочем, — писал он, — тоска будет всюду, и понял я ее причину совсем недавно. Знаете ли, чего мне не хватает? Это — двух-трех минут разговора с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с владимирским плотником, с мищевским каменщиком. Я изнемогаю без русского

языка!.. Вот когда я понял ту загадку, почему и Толстой, и Пушкин, и Достоевский, и Тургенев... так хорошо признавали в себе эту тягу к языку народа и к его непостижимой среди грубости мудрости» (ЦГАЛИ).

В июле 1920 года Куприн поселился в Париже. Здесь он испытал сильное идеологическое воздействие со стороны парижской группы писателей-эмигрантов, возглавляемой Д. С. Мережковским и З. Гиппиус. Это влияние отразилось в его политических фельетонах, печатавшихся в газетах «Общее дело», «Возрождение» и др. Однако в плену антисоветских настроений писатель оставался сравнительно недолго. После разгрома Врангеля в Крыму и окончания гражданской войны Куприну стало совершенно ясно, что советская власть опирается на поддержку многомиллионного трудового народа. Он выступил на страницах эмигрантской печати с горячей отповедью глашатаям новой интервенции. «О певцы зимой погоды летней! — писал он в статье «Нансеновские петухи». — Слушаешь их и не знаешь, где здесь кончается глупость, где звучит старая, дырявая политическая шарманка и где начинается оплачиваемое место» («Общее дело», 1921, № 290, 2 мая). В том же году он полемизировал с эмигрантскими публицистами, злорадствовавшими по поводу неурожая в некоторых районах Советской России. На их призывы не оказывать продовольственную помощь голодающему русскому населению он ответил памфлетом «Холощеные души», в котором писал: «Есть... эмигранты, бывшие владельцы огромных животов в прямом и переносном смысле. Купая свои застарелые родовые подагры и ожирелые холодные сердца в Спа, Висбадене и Контреосевили, эти показные хапуги кощунственно и злорадно свидетельствуют: «Ага! Землю захватили? Пограбили? Пожгли? Вот вам преступление и наказание». Не сказано ли в евангелии: «Мне отмщение и аз воздам» («Огни», Прага, 1921, № 3, 22 августа). Относящиеся к последующим годам письма Куприна к жившей в СССР сестре З. И. Нат показывают, что враждебное отношение писателя к «владельцам огромных животов» все углублялось. «А вот среди русских, — говорится в одном из его писем, — действительно есть недорезанные буржуи, бывшие банкиры, фабриканты, горнозаводчики. И особенно бывшие нефтяники. Эти еще в 1914 году перевели свои награбленные у народа миллионы во французские, английские, американские и шведские банки и теперь по-прежнему живут вволю, тучнея и жирнея» (ГБЛ). Пристально приглядываясь к жизни послевоенной

Франции, Куприн испытывал тяжелое разочарование. В статье «Орочены» он писал: «Бывшие спекулянты и мародеры, акулы войны, нажившиеся на солдатской крови, перекачавшие государственные запасы в свои карманы, эти нынешние нувориши... завладели не только женщинами, лошадьми, бриллиантами, яхтами и биржей, но также... природою, искусством и общественным мнением» («Общее дело», 1921, № 428, 18 сентября). Во французском искусстве Куприн критикует формализм и декадентство. После посещения одного из парижских салонов живописи он сообщал И. Е. Репину: «Такая печаль, такая безграмотность, такое убожество на выставке. Судя по ней, можно сказать, что мир наполнен уродами» (ЦГАЛИ). Как бы резюмируя свои парижские наблюдения, Куприн пишет сестре, что Париж «обескровел в моральном смысле» (ГБЛ). Совершенно иначе относится он к простым людям Франции. «Рабочий народ здесь прелесть. У меня было немало дружеских отношений с каменщиками, плотниками, почтальонами, садовниками. Ах, милые люди! Совсем как у нас... Да и вообще, только теперь, приближаясь к шестидесяти годам, я начинаю думать, что не принадлежал, как думал, к партии добрых анархистов, а был просто демократом без сосьял» (ГБЛ).

Жизнь на чужбине с каждым годом все более тяготила Куприна, а тоска по родине становилась все острей и непреодолимей. Сообщая Репину о предстоящей поездке на юг Франции, Куприн с горечью добавляет: «Как хочется... снега, русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, который по ночам фосфорисцирует, пахнет мощно озоном... А в лесу! Синие тени от деревьев и следы, следы...» (ЦГАЛИ).

В годы эмиграции Куприн сравнительно редко выступал с художественными произведениями. Большую часть своего времени писатель отдавал газетной поденщине. Несколько рассказов и очерков Куприн создал на основе впечатлений жизни во Франции («Юг благословенный» (т. 6), «Золотой петух», «Пунцовая кровь»). Но, говоря о Франции, он постоянно вспоминает свою родину. Каждый французский город вызывает у него сопоставления с памятными ему местами в родной стране. Не удивительно, что большую часть своих произведений, написанных в эмиграции, он посвящает России. Писатель вспоминает отдельные эпизоды своей жизни на родине («Завирайка»), использует исторические предания о русских патриотах («Однорукий комендант»), рас-

сказы, бытовавшие среди тружеников русского цирка («Дочь великого Барнума»), обращается к воспоминаниям о России некоторых эмигрантов («Тень Наполеона»). Но без живого общения с русским народом писать о России ему с каждым годом становилось все труднее.

В Париже Куприн переработал свои дореволюционные рассказы, например «Храбрые беглецы» и «Сапсан», новый текст которых воспроизводится в настоящем томе.

За границей книги Куприна не пользовались большим спросом. Один из лучших его эмигрантских сборников «Новые повести и рассказы» вышел в Париже в 1927 году тиражом всего в 1500 экземпляров (Письмо к И. Заикину, 1927, ГЛМ). Писатель постоянно испытывал материальную нужду. В 1925 году он вынужден был продать картину И. Е. Репина «Леший», присланную ему великим художником из Куоккала с дарственной надписью. «Обстоятельства сжали в таких жестоких шенкелях, — писал он Репину, — что было не дохнуть» (ЦГАЛИ). Но значительно больше, чем нужда, угнетало его угасание творческих сил. Куприн был уверен, что, вернувшись на родину, он опять обретет силы для воплощения больших замыслов. Около 1928 года он писал И. Заикину: «Помнишь, ты мечтал об устройстве питомника физической культуры в государственном плане? Это в России возможно, и только в ней». Советуя адресату возвратиться из Румынии на родину, он добавлял: «И я к тебе переберусь» (ГЛМ). К концу двадцатых годов у Куприна сложилось твердое решение порвать с эмиграцией и возвратиться домой. Эта мечта писателя осуществилась в мае 1937 года.

ЯМА

Полный текст повести впервые напечатан в сборниках «Земля», 1909, кн. 3; 1914, кн. 15; 1915, кн. 16.

За год до появления в третьей книжке «Земли» первой части «Ямы» Куприн опубликовал в журналах «Вопросы пола» (1908, № 1) и «Пробуждение» (1908, № 19), рассказ «Троица», представлявший начальный вариант второй главы повести. В нем значительно мягче дана характеристика пристава Кербеша: не упоминается об его женитьбе на богатой семидесятилетней старухе, которую он через год задушил, не приводятся слова его сына-гимназиста о взяточничестве отца, отсутствует заклю-

чительная часть разговора Кербеша с хозяйкой публичного дома от слов: «Может, еще рюмочку на дорожку?» —до слов: «Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...» (стр. 14—15). Менее детально изображены обстановка заведения и наружность действующих лиц.

Отдельно была напечатана также двадцать пятая глава второй части повести под названием «В мертвецкой» (сб. «В год войны. Артист солдату», Петроград, 1915), но существенных разночтений с окончательным текстом этой главы, вскоре появившейся в шестнадцатой книжке «Земли», эта публикация не имела.

Материал для «Ямы» был собран Куприным в девяностые годы в Киеве, который и является местом действия повести. Когда появилась первая часть «Ямы», газета «Киевские вести» писала, что все герои произведения «являются портретами живых киевлян» (Е. Исаков, «Яма», «Киевские вести», 1909, № 109, 25 апреля). По этому поводу в газетном интервью Куприн заявил: «Я избегаю портретности, «Яма» — это и Одесса, и Петербург, и Киев» («Киевская мысль», 1909, № 160, 12 июня; «Киевские вести», 1909, № 156, 14 июня).

Работая над «Ямой», Куприн изучал различные материалы о проституции. В его письмах к Ф. Д. Батюшкову мы находим просьбы о срочной высылке книги З. Воронцовой «Записки певицы из шантана» (СПб. 1908) и официальных правил для женщин, живущих в публичных домах. «Правила» дословно воспроизводятся в пятнадцатой главе повести (стр. 211). Взгляды, высказываемые репортером Платоновым, свидетельствуют о знакомстве Куприна с полемикой между сторонниками и противниками врачебно-полицейского надзора за проституцией (регламентаристами и аболиционистами), разгоревшейся в 1908 году в связи с подготовкой к созыву первого всероссийского съезда по борьбе с торгом женщинами (съезд состоялся весной 1910 г.).

Есть основания предполагать, что писатель включил в «Яму» некоторые эпизоды, предназначавшиеся им для большого романа «Нищие», оставшегося ненаписанным. Действие «Нищих», задуманных как продолжение «Поединка», должно было происходить в Киеве. Такие слабо связанные с сюжетом «Ямы» эпизоды, как пирушка торговок на рыночной площади, разгрузка арбузов и другие, видимо, были заготовлены для «Нищих». По плану писателя, герой «Нищих» подпоручик Ромашов после вы-

хода в отставку встречает в одном из киевских домов терпимости Шурочку Николаеву, ставшую проституткой. Это наводит на мысль, что образ одной из героинь «Ямы» — Тамары, резко отличающейся от других обитательниц заведения, представляет собой видоизмененный портрет героини «Поединка». Рассуждения Платонова о «человеческом нищенстве» (стр. 94) почти текстуально совпадают с высказываниями Куприна об идее романа «Нищие» (см. «Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, № 10557, 17 июня; 1912, № 13131, 7 сентября и др.).

Обещав в 1908 году «Московскому книгоиздательству» дать для третьей книжки сборников «Земля» крупное произведение, Куприн довольно долго колебался: приняться ли ему за «Нищих», или писать «Яму». Окончательное решение в пользу «Ямы» писатель принял осенью 1908 года, когда до выхода третьей книжки «Земли» оставалось всего шесть месяцев. Поэтому работать над первой частью «Ямы» ему пришлось с лихорадочной поспешностью. В набор отправлялись неотшлифованные черновики. Опасаясь, что «Московское книгоиздательство» опубликует их без авторской правки, Куприн осаждал издательство «отчаянными просьбами» о высылке корректур (ИРЛИ). Особенно тревожила его судьба одиннадцатой и двенадцатой глав, с рассуждениями Платонова о проституции.

Третья книжка «Земли» с первой частью «Ямы» обсуждалась в Московском цензурном комитете 21 и 25 апреля 1909 года. В своем докладе цензор В. А. Истомин писал: «В повести Куприна «Яма» могут быть отмечены места, дающие повод и основание считать ее «безнравственной и неприличной». Он имел в виду следующие места: перечисление постоянных посетителей публичного дома (стр. 7—8), характеристику мещанина Дядченко, повесившего «одиннадцать бунтовщиков» (стр. 26), образ учителя гимназии, который являлся в публичный дом «в форме благотворительного ведомства» и «за свои деньги хотел очень многого, почти невозможного» (стр. 35, 37), образы проституток Паши (стр. 30—32) и Соньки Руль (стр. 46), рассуждения Платонова о русском национальном характере (стр. 74) и некоторые другие. После повторного обсуждения «Ямы» с участием цензора С. И. Соколова цензурный комитет не нашел в ней «состава преступления» и разрешил выпуск в продажу третьей книжки «Земли» (Моск. обл. историч. архив, фонд 31, опись 3, дела №№ 2200 и 2242).

Первая часть «Ямы» вышла 25 марта 1909 года и вызвала

огромный интерес. «В Москве только и толку что о «Яме», — сообщал А. И. Куприну 22 мая 1909 года И. А. Бунин (ЦГАЛИ). Отзывы о повести были напечатаны почти во всех столичных изданиях и во многих провинциальных. По выражению современника, «о «Яме» не писал только ленивый».

«Появилась вещь, — писал критик А. Измайлов, — какой не появлялось со времен «Крейцеровой сонаты», — вещь, способная ударить по сердцам с потрясающей силой» («Биржевые ведомости», 1909, № 11064, 18 апреля). В. Боцяновский приветствовал повесть, как произведение, которое «развенчивает героев пола», воспетых М. Арцыбашевым, А. Каменским и другими авторами порнографических романов («Волынь», 1909, № 113, 27 апреля). П. Коган считал «Яму» произведением новаторским. Куприн, по мнению критика, впервые дал «физиологию» публичного дома, проследил день за днем, час за часом жизнь этих заведений (см. П. Коган, Очерки по истории новейшей русской литературы, т. 3, 1910, стр. 33). Наряду с этими восторженными отзывами в печати появились и противоположные оценки. Л. Войтоловский, например, находил, что «Яма» не вносит ничего нового в литературу о проституции и значительно уступает «Заведению Телье» Г. Мопассана и рассказу М. Горького «Васька Красный» («Киевская мысль», 1909, № 122, 4 мая). В. Воровский в 1910 году писал, что первая часть «Ямы» носит «чуждый Куприну характер идеализации, и самый стиль... повести пропитан чуждой ему слащавостью» (В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 283). Значение «Ямы» как обличительного произведения решительно оспаривал К. Чуковский. «Если бы Куприну... — писал он, — и вправду был отвратителен этот «древний уклад», — он сумел бы и на читателя навеять свое отвращение. Но... он так все это смакует, так упивается мелочами... что и вы заражаетесь его аппетитом» («Речь», 1909, № 161, 15 июня).

Л. Н. Толстой, прочитав первые страницы «Ямы», сказал пианисту А. Б. Гольденвейзеру: «Я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая это, наслаждается. И этого от человека с художественным чутьем нельзя скрыть» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, М. 1922, стр. 303, 304).

Орган символистов «Весы» и некоторые реакционные газеты вроде «Нового времени» использовали появление «Ямы»

как повод для нападок на «критическое» направление всего творчества Куприна (см. «Весы», 1909, № 6, июнь).

Отрицательные отзывы о повести, в особенности отзыв Л. Н. Толстого, были восприняты писателем крайне болезненно. «Начитался критики до того, — писал он Ф. Д. Батюшкову в конце 1909 года, — что мне моя работа опротивела» (ИРЛИ). В 1910 году писатель приступил к продолжению «Ямы», рассчитывая, что ему удастся быстро ее закончить. Но писал он крайне медленно. «С отвращением докапываю «Яму»,— сообщил он представителю «Московского книгоиздательства» В. С. Клёстову. — Тяжело мое отхожее занятие» (ИРЛИ). К этому времени относится появление в печати восторженных отзывов о романе немецкой писательницы Эльзы Иерузалем «Der heilige Skarabäus», посвященном проституции. Многие критики ставили этот роман, появившийся в русских переводах под различными названиями («Навозный жук», «Красный фонарь», «Из мрака к свету» и др.), выше купринской «Ямы». Эти отзывы еще больше поколебали уверенность Куприна в необходимости заканчивать свою повесть. Он прерывает работу над ней и переключается на небольшие рассказы. По разным причинам он не возобновлял работу и в последующие 1911—1912 годы. Столь длительный перерыв после опубликования первой части произведения вскоре стал темой для газетных эпиграмм, шуток и карикатур. В 1912 году газеты поместили сообщение о том, что беллетрист Ипполит Рапгоф (граф Амори), известный своими великосветско-альковными романами, решил написать вместо Куприна вторую часть «Ямы». В 1913 году действительно появился его очередной бульварный роман с сенсационным заглавием «Финал. Окончание «Ямы» А. И. Куприна». Это побудило Куприна ускорить завершение своей повести. Рукопись второй части «Ямы» поступила в издательство в середине 1914 года. По коммерческим соображениям владелец «Московского книгоиздательства» Г. Блюменберг решил печатать вторую часть в двух книжках «Земли» и затянул ее опубликование до июня 1915 года. «Это рассечение повести, — сказал Куприн в газетном интервью, — конечно, невыгодно отразилось на интересах автора и читателя. Цельность впечатления нарушена» («Биржевые ведомости», веч. вып., 1915, № 14617, 17 января). Кроме того, писатель опасался, что при цензурировании последних глав второй части «Ямы» могут возникнуть новые трудности и осложнения. «Вероятно, — ска-

зал он, — будут всевозможные сокращения. Сначала отрежут руку, затем ногу и так далее. Я предпочел бы, чтобы мне сразу отрезали голову... («Биржевые ведомости», 1915, № 14855, 21 мая).

Опасения Куприна основывались на том, что первые главы второй части «Ямы» встретили серьезные возражения цензора. В. А. Истомин нашел в ней много мест, не свободных «от излишней откровенности, граничащей с циничностью». Он возражал против описания полтинничного заведения (стр. 134), против эпизода посещения артисткой Ровинской и баронессой публичных домов (стр. 141—152), против разговоров о садизме некоторых «гостей» (стр. 155), сцены столкновения Любки с курсистками (стр. 234—236) и др. По настоянию председателя цензурного комитета А. А. Сидорова на пятнадцатую книжку «Земли» был наложен арест. Против автора и издателя «Ямы» было возбуждено судебное преследование по статье 1001 Уложения о наказаниях (Моск. обл. историч. архив, фонд 31, опись 3, дело № 2205). Хотя спустя полгода арест с книги был снят и дело прекращено, Куприн, включая вторую часть «Ямы» в IX том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915, исключил из повести многие указанные цензурой места. Кроме того, по-видимому в связи с учреждением в 1915 году специальной военной цензуры, писатель заменил всех изображенных во второй части «Ямы» военных — гражданскими лицами: генерала — «почтенным гостем», кадетов — «гимназистами». В 1917 году, подготавливая «Яму» для XII тома собрания сочинений в издании «Московского книгоиздательства», Куприн полностью восстановил все вычеркнутые из предыдущего издания места и внес в текст много новых стилистических исправлений. Этот последний редактированный автором текст был перепечатан в 1921 году в XII томе собрания сочинений, выпущенном тем же издательством в Берлине.

В настоящем томе мы воспроизводим текст по изданию 1917 года.

События первой мировой войны отвлекли внимание читателей и критиков от вопросов, трактуемых в «Яме». Поэтому вторая часть повести вызвала значительно меньше отзывов, чем первая. Журнал «Русские записки» опубликовал статью, в которой отмечалось, что вторая часть значительно слабее первой: «Что-то фельетонное, вычитанное, мелкое, заурядное чувствуется в бойкости этих сцен и в банальности общего течения рассказа»

(«Русские записки», 1915, № 1). А. Измайлов признавал, что «вторая половина «Ямы» не удержалась на высоте первых обещаний» («Биржевые ведомости», 1915, № 14907, 16 июня). Иначе отнесся к продолжению повести К. Чуковский, который считал, что вторая часть получилась удачнее, чем первая. «Это не та «Яма», которую мы все прочитали несколько лет тому назад,— писал он. — Это — книга великого гнева... Кербеш, Сонька Руль, Анна Марковна... Эмма... Горизонт — все они нарисованы так, что, если бы я их встретил на улице, я узнал бы их среди огромной толпы» («Нива», 1914, № 45, 8 ноября).

Подытоживая противоречивые оценки «Ямы», появлявшиеся в печати в течение шести лет, А. Куприн заявил: «Я твердо верю, что свое дело сделал. Проституция — это еще более страшное явление, чем война, мор и так далее. Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: «Грязно это». Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Лев Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он сделал бы великое дело. К сожалению, мое перо слабо, я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор. И они люди... («Биржевые ведомости», 1915, № 14855, 21 мая).

«Яма» неоднократно издавалась в Англии, Болгарии, Германии, Испании, Польше, США, Франции, Чехословакии и Швеции.

Стр. 6. *Дом... в ложнорусском... ропетовском стиле...* — то есть стиле древнерусского зодчества, в котором проектировал здания архитектор И. П. Ропет (псевдоним И. Н. Петрова, 1845—1908).

Стр. 9. *...олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье»... — Маковский* Константин Егорович (1839—1915) — русский живописец. Речь идет об его картинах «Боярский свадебный пир» (1883) и «Русалки» (1879).

Стр. 18. *Ирмос* — см. т. 3, стр. 564.

Стр. 37. *...в белокуром образе Гретхен... — Гретхен* — героиня трагедии В. Гете «Фауст» (1808—1832).

Стр. 47. *Чу-у-уют пра-а-а-а-авду!*

Ты ж заря-я-я-я... — из арии Ивана Сусанина в одноименной опере М. Глинки (1804—1857).

Стр. 48. *Гоппе* Герман — см. т. 2, стр. 572.

Стр. 51. *Моммзен Теодор* (1817—1903) — немецкий историк, специалист по Древнему Риму.

Стр. 52. *Понес философ наш обычный вздор: веревка — вервие простое* — неточная цитата из басни «Метафизик» И. И. Хемницера (1745—1784).

Стр. 54. *...синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова...* — 13 марта 1895 года в Киеве слушалось судебное дело по иску киевского синдиката сахарозаводчиков к владелице Андрушковского сахарного завода О. Н. Баскаковой, нарушившей договор об обязательной продаже излишков сахара за границу (И. Левин, Свеклосахарная промышленность в России, СПб. 1910, стр. 27, 28).

Стр. 58. *«Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч...* — Имеется в виду газета «Киевское слово», в которой А. И. Куприн сотрудничал в девяностые годы. Издатель «Киевского слова» А. Я. Антонович помещал рассказы молодых писателей без оплаты или оплачивал их крайне мизерно (В. Ярич, Из прошлого киевской печати, «Киевская мысль», 1909, №№ 61, 69, 2 и 10 марта).

Стр. 60. *...в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов...* — Бессарабская площадь (Бессарабка) — рыночная площадь в Киеве, находившаяся неподалеку от университета. В 90-е годы торговцы, подстрекаемые полицией, нередко участвовали в разгоне студенческих сходок и политических демонстраций.

Стр. 67. *Регламентация* — в широком смысле: установление определенных правил; здесь — врачебно-полицейский надзор за публичными домами и проститутками-одиночками.

Аболиционизм — здесь: общественное движение против регламентированной проституции.

Андрей Критский — см. т. 4, стр. 784.

Иоанн Дамаскин — см. т. 3, стр. 581.

Стр. 71. *Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни...* — Речь идет, по-видимому, о повести Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829).

Стр. 73. *Один большой писатель... подошел однажды к этой теме...* — Имеется в виду рассказ А. П. Чехова «Припадок» (1888).

«Коготок увяз...» — тихо подсказал Лихонин. — Пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть» (1886). Куприн высоко ценил эту пьесу за ее «беспо-

щадную правдивость» (см. А. К., Загадочный смех, «Киевское слово», 1895, № 2850, 17 декабря).

Стр. 74. *Сонечка Мармеладова* — одна из героинь романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

Стр. 84. *Гаррик* Давид (1717—1779) — известный английский актер.

Стр. 92. *«Как дошла ты до жизни такой?»* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1861).

Стр. 96. *Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса, какой образ я создал из Вельтищева...* — *Жадов* — герой пьесы А. Н. Островского «Доходное место» (1856). *Белугин* — герой пьесы А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева «Женитьба Белугина» (1878). *Макс* — Макс Холмин — из пьесы Л. Антропова (1843—1884) «Блуждающие огни». *Вельтищев* — видимо, Батунин-Вертищев — один из героев пьесы А. И. Сумбатова (Южина) (1857—1927) «Старый закал».

Стр. 109. *...знаменитой лавры* — Киево-Печерской лавры.

Стр. 115. *...уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании.* — *Аскания Нова* — до Октябрьской революции зоопарк в Херсонской губернии. Последним его владельцем был Ф. Э. Фальцфейн, производивший опыты по акклиматизации и гибридизации животных. В настоящее время — государственный заповедник и Всесоюзный научно-исследовательский институт гибридизации и акклиматизации животных имени академика М. Ф. Иванова.

Стр. 138. *Кеттен* Сесиль (ум. в 1912) — французская оперная певица. Ее выступление в роли Кармен в 1912 году описано А. И. Куприным в очерках «Лазурные берега», в главе «Кармен» (см. т. 6).

Стр. 142. *Уайтчепль* — см. т. 4, стр. 778.

Стр. 150. *Расстались гордо мы...* — романс А. Даргомыжского (1813—1869) на слова стихотворения В. Курочкина «В разлуке». Первые строки приводятся неточно.

Стр. 161. *И в дом мой смело и спокойно /Хозяйкой полною войди!/* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

Стр. 166. *Как только герой спас бедное, но погибшее создание...* — Намек на рассказ В. Крестовского «Погибшее, но милое создание» (1860), в котором описывается любовь студента к проститутке.

Стр. 167. *Ты будешь о ней заботиться, как брат, как рыцарь Ланчелот...* — *Ланчелот* — рыцарь Круглого стола, герой многочисленных европейских средневековых романов, в которых описывалась история любви вассала Ланчелота к королеве Джиневре, супруге короля Артура.

Стр. 168. *До свиданья, рыцарь Грюнвальдус.* — *Барон фон Гринвальдус* — герой пародийного стихотворения Козьмы Пруткова (литературный псевдоним А и В. Жемчужниковых и А. К. Толстого) «Немецкая баллада» (1854). Автор — В. М. Жемчужников (1830—1884).

Стр. 185. *«Мравол-джамием»* — точнее, «Мравал жамиер» — грузинская застольная песня с пожеланием долголетия гостям.

Стр. 186. *...строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели...* — Имеется в виду поэма «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

Стр. 218. *Прекрасный Иосиф* — см. т. 1, стр. 575.

Стр. 238. *...прочитал ей вслух «О купце Калашникове и опричнике Кирибеевиче»* — поэму М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837).

Стр. 248. *...рукописные списки Баркова...* — *Барков* Иван Семенович (1731 или 1732—1768) — поэт и переводчик, автор фривольных стихов.

Стр. 251. *Коля в то время переживал эпоху льяносов, пампасов, апачей, следопытов...* — Имеется в виду увлечение романами Фенимора Купера (1789—1851) и Томаса Майн-Рида (1818—1883), пользовавшимися большой популярностью среди юношества.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, герой Отечественной войны 1812 г.

Стр. 281. *Один великий французский писатель рассказывает...* — Имеется в виду рассказ Г. Мопассана «Койка № 29» (1884).

Стр. 326. *Бурже* Поль (1852—1935) — французский писатель.

ФИАЛКИ

Впервые — в журнале «Солнце России», 1915, № 262, июль. С посвящением Ф. Ф. Трозинеру рассказ вошел в девятый том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1917. В 1921 году, помещая рассказ в сборнике «Рассказы для

детей», вышедший в Париже, Куприн снял посвящение и внес ряд стилистических исправлений. По тексту этого сборника рассказ печатается в настоящем томе.

Рассказ принадлежит к автобиографическим произведениям, посвященным школьным годам писателя. В нем изображен 2-й Московский кадетский корпус, в котором Куприн учился в 80-е годы.

Переживания кадета-семиклассника Дмитрия Казакова перекликаются с содержанием стихов юного Куприна (ЦГАЛИ). В рассказе точно изображен парк, примыкавший к зданию 2-го Московского корпуса. Корпус помещался в Лефортове в здании, известном под именем Головинского дворца или Екатерининских казарм, которые были построены в 1774 году на месте сгоревшего в 1771 году дворца графа Ф. А. Головина, крупного дипломата и генерала, одного из ближайших сподвижников Петра I. В рассказе он назван «любимым вельможей» Петра.

Стр. 337. *...швыряет толстого Бремикера...* — Имеется в виду учебник Г. Вега Таблицы логарифмов, пересмотренные К. Бремикером, М. 1889.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Впервые — в газете «Утро России», 1915, № 354, 25 декабря. С незначительными исправлениями рассказ вошел в девятый том собрания сочинений А. И. Куприна, изд. «Московского книгоиздательства», 1917.

В основу рассказа положен эпизод из биографии Ф. И. Шаляпина, относящийся к весне 1891 года. В течение зимы этого года восемнадцатилетний Шаляпин работал хористом в Уфе в оперно-опереточной труппе С. Я. Семенова-Самарского. После окончания сезона он получил от местного общества любителей пения, музыки и драматического искусства приглашение участвовать в оперном концерте. Концерт состоялся 6 мая 1891 года в зале Уфимского дворянского собрания. Ф. И. Шаляпин пел партию слуги в первом акте оперы А. Рубинштейна «Демон». Об истории с гоголем-моголем, происшедшей за несколько дней до этого концерта, Шаляпин рассказывал в сентябре 1911 года группе петербургских литераторов, среди которых был и А. И. Куприн.

Журналист П. Маныч тогда же записал рассказ Шаляпина и опубликовал его под названием: «Шаляпин о своей юности» («Петербургская газета», 1911, №№ 274, 275, 6 и 7 октября). Приводим отрывок из этой записи:

«Отлично помню, как меня пригласили в Дворянское собрание на благотворительный концерт. Репертуар у меня был тогда весьма скуден: «Чуют правду», «Перед воеводой», два-три пошленьких провинциальных романса. Волновался я страшно. Дамы-благотворительницы за мной ухаживали, поили чаем внакладку... Внакладку... Это, знаете, по тем временам для меня тоже было не фунт изюму. Наконец спрашивают меня: «В чем вы будете петь?»

— То есть как в чем? В этой куртке, конечно, — отвечаю я независимо и даже гордо.

Дамы-благотворительницы нашли, что это неудобно, и отыскали фрак, который дал мне некий присяжный поверенный Рыдзюнский. Правда, он был мне не совсем впору, ну да, как потом оказалось, в нем и нужды не было.

Перед самым концертом показалось мне, что у меня голос плохо звучит. Обращаюсь к одному своему другу-хористу: «Так и так, брат, дело дрянь. Выступаю, можно сказать, в Дворянском собрании, а голос того... хрипит».

— А ты гогель-могель пил? — спрашивает.

— Нет, — говорю, — какой-такой гогель-могель?

— А вот, — говорит, — я тебя научу. Возьми бутылку коньяку, вбей туда яиц, сахару положи, взболтай хорошенько и пей. Это все певцы так делают.

Я так и сделал. Какой он мне предлагал рецепт — до сих пор не помню, но только взял я бутылку коньяку, отлил из нее, пустил туда штук пять свежих яиц, намешал сахару, взболтал, выпил с полстакана; попробовал — голос мой хуже. Еще полстакана — еще хуже. Тогда я стакан — как будто лучше; давай, думаю, выпью еще. Долил я то, что отлил, бутылку спрятал в карман фрака и еду на концерт. Шикарно раздеваюсь, вхожу. На лестнице меня встречает Рыдзюнский, который дал мне фрак.

— Что с вами, Федор Иванович?

— Ничего, а что?..

— Да как будто вы больны.

— Ничего подобного. Выпил гогель-могелю и собираюсь петь.

— Какого гогель-могеля?

— А вот! — достаю из фрака бутылку и показываю.

Отобрал он у меня бутылку, надел на меня мое чесаное верблюжье пальто и отправил домой. По дороге, сидя в санях, я убедился, что гогель-могель весьма сильно действующее средство. Так я в тот вечер и не пел, а кроме того, на всю жизнь сохранил предубеждение к гогель-могелю». Как сообщает сослуживец Ф. И. Шаляпина по уфимской труппе И. П. Пеняев, выступление артиста все же состоялось через несколько дней (И. Пеняев, Первые шаги Ф. Шаляпина, М. 1903. См. так же Ф. Шаляпин, Автобиография. Страницы моей жизни, журн. «Летопись», 1917, июль — август, стр. 55—57; отд. изд. Киев, 1956, стр. 108—110; Эдуард Старк, Шаляпин, Петроград, 1915, стр. 12).

Стр. 342. *Пусть Николаша морщится и фыркает — этот мой вечный угнетатель...* — Имеется в виду личный секретарь Ф. И. Шаляпина И. Г. Дворищин, ведавший всеми делами артиста и сопровождавший его во всех гастрольных поездках (см. «Шаляпин о самом себе», «Биржевые ведомости», веч. вып., 1909, № 11286, 29 августа).

Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного... — Речь идет об исполнении Ф. И. Шаляпиным роли царя Ивана IV в опере Н. Римского-Корсакова «Псковитянка».

Стр. 343. *Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена... бегал взад и вперед по комнате... и... хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!»* — неточная передача содержания письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому из с. Михайловского от 7 ноября 1825 года (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10, М. — Л., АН СССР, 1949, стр. 188).

...рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala в Милане. — Выступление Ф. И. Шаляпина в Миланском театре La Scala состоялось весной 1901 года.

Стр. 344. *Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику...* — Речь идет о ролях Мефистофеля — из оперы Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст», Марселя — из оперы Д. Пуччини (1858—1924) «Богема», Мельника — из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка».

Вот почему я и побаивался своих товарищей. — По свидетельству И. П. Пеняева, хористы, ревновавшие Ф. И. Шаляпина

к его успехам, устраивали ему обструкции. Во время исполнения Шаляпиным роли стольника в опере «Галька» кто-то из хористов в конце первого действия отодвинул кресло, и «гордый польский магнат стольник со всего маху шлепнулся на пол» (И. Пеняев, Первые шаги Шаляпина, стр. 12).

Стр. 346. *«Во Францию два гренадера»* — романс Роберта Шумана (1810—1856) на слова стихотворения Генриха Гейне «Гренадеры»; русский перевод М. Л. Михайлова (1829—1865). Во второй цитате допущена неточность.

ГАД

Первая публикация не установлена. Напечатано в девятом томе собрания сочинений Куприна, изд. «Московского книгоиздательства», 1917.

2 ноября 1915 года Куприн сообщил сотруднику газеты «Биржевые ведомости», что им написан для журнала «Пробуждение» небольшой рассказ «Гад», который потребует значительной доработки в корректуре («Биржевые ведомости», веч. вып., 1915, № 15186, 2 ноября). Рассказ в журнале напечатан не был.

Стр. 348. *Ах! только тот, любовь кто знал...* — из одноименного стихотворения Гете (1749—1832), на слова которого был написан романс П. И. Чайковским.

Стр. 356. *Декокт и Валтасарово пиршество.* — *Декокт* (жарг.) — безденежье. *Валтасарово пиршество* — по библейскому преданию, халдейский царь Валтасар не прервал свой пир несмотря на то, что на стене появились слова, предвещавшие ему гибель. Употребляется в значении — пир перед бедой.

Стр. 357. *...как в бессмертной комедии господина Гоголя.* — Имеется в виду комедия «Ревизор».

Стр. 358. *Иоги* — последователи древнеиндийского религиозно-философского учения, утверждавшего, что посредством созерцания и самоистязания достигается «высшее познание».

...телепатируйте. — *Телепатия* — идеалистическое представление о сверхъестественной способности человека воспринимать «потусторонние» явления и угадывать мысли на расстоянии.

ПАПАША

Впервые — в газете «Утро России», 1916, № 90, 30 марта. 25 декабря 1915 года в петроградском журнале «Солнце России» (№ 50—51) было напечатано: «По независящим от редакции обстоятельствам рассказ А. И. Куприна «Папаша» не мог быть помещен в рождественском номере». Видимо, произведение было написано для названного журнала, но не смогло появиться в нем по цензурным условиям.

Стр. 366. *Монтескье* Шарль-Луи (1689—1755) — французский просветитель XVIII века, автор получивших широкую известность произведений: «Персидские письма» (1721), «О духе законов» (1748) и др.

Стр. 367. *Иегова* — одно из имен бога в иудейской религии.

Мюр и Мерилиз — см. т. 4, стр. 781.

Иродово избиение младенцев. — По библейским преданиям, царь Ирод, узнав от волхвов, что среди новорожденных находится Иисус — «истинный» царь иудейский, приказал уничтожить всех младенцев.

Мамаево нашествие — вторжение в Московское княжество татаро-монгольских полчищ хана Мамая, закончившееся победой русских войск в Куликовской битве (1380).

ГОГА ВЕСЕЛОВ

Впервые — в журнале «Пробуждение», 1916, № 1.

С незначительными исправлениями рассказ вошел в девятый том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1917. В журнальной редакции действие происходило в 1916 году.

В статье «Гога Веселов. Новый рассказ Куприна», напечатанной в «Журнале журналов» (1916, № 6, февраль), критик Н. Константинов отмечал в рассказе «элемент портретности»: ...в указаниях на несуразные кутежи, о которых рассказывали в печати, можно усмотреть обрисовку некоего кошкодава». По всей вероятности, рецензент имел в виду журналиста А. И. Котылева, привлекавшегося в 1908 году в качестве обвиняемого по делу «кошкодавов» (истязателей животных). В литературных кругах

Петербурга Котылев был известен, как посредник по продаже рукописей. Многие писатели (М. Арцыбашев, А. Грин, С. Гарин, В. Муйжель, С. Скиталец) поручали ему вести переговоры с редакциями и издательствами. Услугами Котылева часто пользовался и Куприн. В 1912 году Куприн вместе с ним совершил путешествие по югу Франции и Италии (см. корреспонденцию А. Котылева «Куприн в Ницце», «Биржевые ведомости», веч. вып., 1912, № 12922, 5 мая). В мемуарной литературе Котылев характеризуется, как ловкий газетный делец. «Про свои грязные выходки, — пишет современник, — он сам со смаком рассказывал. И рассказывал чудовищные вещи» (Старый журналист, Литературный путь дореволюционного журналиста, 1930, стр. 77; см. также А. Чапыгин, По тропам и дорогам, 1931, стр. 243—244).

Стр. 369. *Патина* — налет на бронзе, образующийся от влажности воздуха.

Стр. 370. *Доминик* — ресторан в Петербурге.

Стр. 371. *Гог* — по библии, легендарный свирепый царь, *Магог* — его царство и народ. Имена эти употребляются, когда речь идет о чем-либо страшном, внушающем ужас.

Сирано де Бержерак — герой одноименной пьесы французского драматурга Э. Ростана (1868—1918), поэт, задира и дуэлянт.

Уайльд Оскар — см. т. 4, стр. 779.

Стр. 372. *...лечился у Фурнье...* — *Фурнье* Жан Альфред (1832—1914) — профессор клиники кожных болезней Парижского университета.

К Кюба, к Донону или в «Медведь»... — рестораны в Петербурге.

...учился... не у французов, а у Козлова, или, кажется, у Зеста... — петербургские кулинары, знатоки французской кухни.

Стр. 374. *Мессалина* — см. т. 1, стр. 583.

...что же, наконец, значит эта жизнь из сказки Шехеразады? — Сказки, которые рассказывает своему мужу, персидскому царю Шехрияру, Шехразада, в сборнике арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

«Друг мой! Брат мой... усталый, страдающий брат, кто б ты ни был...» — начало известного стихотворения С. Я. Надсона (1862—1887).

ГРУНЯ

Впервые — в журнале «Огонек», 1916, № 26, 26 июня. Подготавливая рассказ для девятого тома собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1917, А. И. Куприн внес в него некоторые стилистические исправления.

Считая его одним из самых значительных произведений IX тома, он выражал желание, чтобы на обложке тома было помещено «изображение простой русской девушки, какую он вывел в своем рассказе» (Письмо Д. М. Ребрика к художнику П. Е. Щербову от 25 февраля 1917 года. ЦГАЛИ).

В 1929 году, помещая рассказ в сборник «Елань» (Белград), Куприн снова редактировал его. Этот текст воспроизводится в настоящем томе.

В своих газетных интервью, критических статьях, лекциях и письмах Куприн неоднократно осуждал современных литераторов за их индивидуалистическую замкнутость, равнодушие к судьбам народа и общественным вопросам. «Писатели мало переживают, ничего не видят, сидят в своем углу... Они не умеют передать глубоких душевных движений, духа предметов, явлений, лиц, потому что не знают их...» — сказал он в одной из бесед с журналистами («Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, №№ 10552, 10553, 13, 14 июня). Иронически отзывался Куприн и о претенциозных подзаголовках, вроде «эскиз», «силуэт», «ноктюрн», которые любили давать декаденствующие писатели своим произведениям (см. его рецензию на книгу Н. Брешко-Брешковского «Шепот жизни», «Мир божий», 1904, № 6).

Эти мысли и наблюдения писателя отразились на созданном им сатирическом образе героя рассказа писателя Гущина.

Описанные в «Груне» места (Рыбинск-Высьегонск) были знакомы Куприну по ежегодным поездкам из Петербурга в Даниловское Новгородской губернии, в имение его друга Ф. Д. Батюшкова, и в город Устюжну.

Стр. 382. *...и обновится аки орля юность твоя...* — перефразировка выражения из библии: «А надеющиеся на господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы...»

Стр. 383. *Это хорошо говорить людям двадцатого числа.* — *Двадцатое число* — день выплаты жалования в государственных

учреждениях царской России. Чиновников часто называли людьми двадцатого числа, противопоставляя их людям так называемых свободных профессий, живущих не на жалованье, а на гонорар.

Стр. 387. *Нет! Я не монахиня, а пока только белица* — то есть готовящаяся к пострижению в монахини.

Стр. 388. *...при самолетных пароходах* — пароходы Петроградского общества «Самолет» (1853—1917).

«Он похож на доброго разбойника Кудеяра», — подумал Гущин. — Кудеяр — образ народного мстителя в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (ч. 4, гл. 2, «О двух грешниках»). Создан на основе народных преданий (см. В. Т. Плахотишина, «Кому на Руси жить хорошо», Киев, 1956, стр. 68—71).

САПСАН

Первый черновой набросок рассказа был напечатан под названием «Мысли Сапсана II» в московской газете «Вечерние известия», 1916, № 1047, 29 июля, по рукописи, доставленной в редакцию без ведома Куприна (см. об этом «Писатель и его продавец», «Биржевые ведомости», веч. вып., 1916, № 15730, 9 августа). В значительно переработанном и расширенном виде под новым названием «Мысли Сапсана XXXVI о людях, животных, предметах и событиях», с посвящением В. П. Приклонскому рассказ появился в альманахе «Творчество», вып. 1, 1917. В 1921 году Куприн снова переработал рассказ и опубликовал его в парижском детском журнале «Зеленая палочка» (№ 1) под названием «Сапсан». В 1927 году рассказ с некоторыми изменениями был включен в сборник А. Куприна «Храбрые беглецы», вышедший в Париже. По тексту этой книги «Сапсан» и печатается в настоящем томе. В последних изданиях Куприн исключил из текста два отрывка:

«Хозяин велит мне уважать Хозяйку. И я уважаю. Но не люблю. У нее душа притворщицы и лгуньи, маленькая-маленькая. И лицо у нее, если смотреть сбоку, очень похоже на куриное. Такое же озабоченное, тревожное и жестокое, с круглым недоверчивым глазом. Кроме того, от нее всегда прескверно пахнет чем-то острым, пряным, едким, удушливым, сладким — в семь раз хуже, чем от самых пахучих цветов. Когда я ее сильно на-

нюхаюсь, то надолго теряю способность разбираться в других запахах и все чихаю.

Хуже ее пахнет только один Серж. Хозяин зовет его другом и любит. Хозяин мой, такой умный, часто бывает большим дураком. Я знаю, что Серж ненавидит Хозяина, боится его и завидует ему. А во мне Серж заискивает. Когда он протягивает ко мне издали руку, я чую, как от его пальцев идет липкая, враждебная, трусливая дрожь. Я зарычу и отвернусь. Ни кости, ни сахара я от него никогда не приму. В то время когда Хозяина нет дома, а Серж и Хозяйка обнимают друг друга передними лапами, я лежу на ковре и гляжу на них пристально, не моргая. Он смеется натянуто и говорит: «Сапсан так на нас смотрит, как будто все понимает». Врешь, я не все понимаю в человеческих подлостях. Но я предчувствую всю сладость того момента, когда воля Хозяина толкнет меня, и я вцеплюсь всеми зубами в твою жирную икру. Арргрра... Гхрр».

Вместо них были даны три новых куска: «У нас живет в доме пушистая кошка», «На днях Маленькая позвала меня к себе» и «Сегодня Хозяин взял меня в гости».

Описанная в рассказе собака породы меделян была подарена Куприну владельцем питомника В. П. Приклонским. Фотография Куприна «с его другом Сапсаном» была в 1917 году напечатана в журнале «Аргус» (№ 1). Такая же фотография с дарственной надписью И. А. Бунину помещена в журнале «Огонек», 1957, № 34.

СКВОРЦЫ

Впервые — в альманахе «Творчество», кн. 2, 1917.

Рассказ написан в августе 1916 года в Гатчине. В 1921 году Куприн в несколько измененной редакции печатает его в сборнике: А. И. Куприн, Рассказы для детей, Париж. По этому тексту он и публикуется в настоящем томе.

ХРАБРЫЕ БЕГЛЕЦЫ

Впервые — под названием «Беглецы» в журнале «Пробуждение», 1917, № 1, январь. Под новым названием «Храбрые беглецы» рассказ вошел в 1927 году в одноименный сборник произведений

писателя, вышедший в Париже. В этой последней публикации насчитывается около шестидесяти разночтений с предыдущими изданиями. Приведем некоторые из них.

После слов ...и сама плакала от раздражения» (стр. 411) Куприн снял фразу: «Выбирала она по странной прихоти одного, двух или трех фаворитов, часто сажала их к себе на колени, душила поцелуями, тискала и мяла. К прочим склонна была относиться несправедливо».

После слов «... они были с самого первоначала исковерканы» (стр. 416) снята фраза: «В-четвертых, дети добрых, но бедных родителей, они являли собой яркие примеры наследственности, удрученной алкоголизмом и сифилисом».

Снята также фраза о закрытом учебном заведении после слов «...как забыла о самом Нельгине» (стр. 419):

«Вряд ли кто-нибудь, кто не провел золотых дней своего детства в закрытом учебном заведении, где нет ни влияния семьи, ни педагогического контроля, может представить себе всю сумму ничтожных подлостей, уловок, придирок, кляузничества, злоупотребления властью, на которые способны классные дамы, ответственные перед родиной и богом за воспитание будущих граждан».

Был дописан и конец рассказа, который в первых изданиях заканчивался словами: «А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена».

Остальные изменения носят чисто стилистический характер (замена иностранных слов русскими и др.).

В рассказе изображено Александровское сиротское малолетнее училище (Разумовский пансион) в Москве. Куприн провел в нем два года (1877—1879). Образ героя рассказа «фантазера» Нельгина автобиографичен. Со слов Куприна Ф. Д. Батюшков сообщает, что писатель, «когда ему было девять лет... совершил побег из пансиона, потому что по каким-то домашним соображениям мать ему объявила, что он останется на лето в городе подготавливаться к экзаменам. Мальчика потянуло в деревню; не долго думая, он подговорил товарища и вместе с ним потихоньку убежал в полной уверенности, что сумеет добраться до заветной деревушки в Пензенской губернии. Разумеется, разочарование быстро наступило: пространствовав двое суток по Москве, завернув кстати в Зоологический сад через забор, — оба мальчика, усталые, голодные, растерянные, в конце концов вернулись с повинной в пансион. И пришлось юному беглецу отсидеть за свою

попытку к самостоятельности порядочный срок в карцере» («Этюд о Куприне». ИРЛИ). В рассказе приводятся подлинные названия города, в котором родился писатель, двух деревень (Щербаковка и Зубово), принадлежавших его предкам по материнской линии, дворянам Кулунчаковым, а также имена его старших братьев (Иннокентий и Борис), умерших в младенческом возрасте. Достоверны сведения и о служебном положении отца, коллежского регистратора И. И. Куприна.

В отзыве о рассказе критик Н. Лернер писал: «Рассказ Куприна... лучше всякого педагогического трактата показывает, как борется яркая, полная жизненных сил детская душа за свое право расти прямо, развиваться свободно, как защищается ребенок от своих вицмундирных инквизиторов... В этих художественных набросках — горячая и убедительная апология прав детства, на каждом шагу попираемых глупой семьей и глупой школой» («Журнал журналов», 1917, № 9, февраль).

Стр. 409. *...мальчики плели по способу Фребеля коврики...* — *Фребель* Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, создатель теории дошкольного воспитания, в которой большое место уделялось так называемым занятиям-играм (симметричное выкладывание палочек, плетение из полосок бумаги и т. п.).

Стр. 413. *Шварц* Бертольд — монах францисканского ордена. По преданию, он предложил в 1313 году применять порох для огнестрельного оружия.

Стр. 414. *Кенкеты* — старинные лампы с горелкой ниже резервуара, наполненного маслом (по имени французского фабриканта Quinquett).

Стр. 416. *Дедал* — в греческой мифологии искусный механик, архитектор и скульптор; на крыльях, слепленных воском, вместе со своим сыном Икаром совершил полет над морем (Икар, приблизившись к солнцу, растопившему воск, упал в море и погиб).

Аполлоний Тианский (I в.) — римский философ, странствующий «пророк» и «чудотворец».

Симон Волхв — см. т. 4, стр. 785.

Лилиенталь Отто (1848—1896) — немецкий инженер, сделавший крупные открытия в области планеризма; один из пионеров авиации.

Стр. 417. *...он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким...* — *Скобелев* — см. т. 2, стр. 586. *Гурко* Иосиф Вла-

димирович (1828—1901) — русский генерал. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов руководил крупными боевыми операциями. *Радецкий* — см. т. 4, стр. 774.

ЗВЕЗДА СОЛОМОНА

Впервые — под названием «Каждое желание», с посвящением Любе Корецкой в сборнике «Земля», 1917, кн. 20. В 1920 году под новым названием «Звезда Соломона» Куприн включил рассказ в сборник «Звезда Соломона», вышедший в Гельсингфорсе.

В рецензии на 20-ю книжку «Земли» критик Вяч. Полонский писал: «Для любителей занимательного чтения повесть «Каждое желание» — сущий клад. В ней так искусно и увлекательно перемешана быль с небылицей, явь с фантастикой, так остро и выпукло зарисованы «странные и маловероятные события» из жизни маленького чиновника, сведшего знакомство с чертом, — что можно с уверенностью сказать: «Каждое желание» станет одной из самых популярных вещей для любителей «таинственного», «загадочного», «неразгаданного» («Вечерняя звезда», 1918, № 46, 30 марта).

Стр. 435. *...из «Запорожца за Дунаем», но чаще — церковное... вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы.* — *«Запорожец за Дунаем»* — украинская комическая опера композитора С. С. Гулак-Артемовского (1813—1873). *«Чертог твой вижду»* — начало одной из молитв, исполняемой в последнюю неделю перед пасхой. *«Егда славнии ученицы»* — церковное песнопение, исполнявшееся в четверг предпасхальной недели. *Из бахметьевского обихода* — из сборника: «Обиход нотного церковного пения, при высочайшем дворе употребляемый», вышедшего в 1869 году под редакцией композитора Н. И. Бахметева (1807—1891).

Стр. 438. *Валтасарово пиршество* — см. примеч. к стр. 356.

Стр. 440—441. *...все, что вы говорите... раздражение пленной и жалкой мысли.* — Перефразировка строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839):

Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.

Стр. 450. *Чиншевые наделы* — земельные наделы, сданные в бессрочное наследственное пользование за определенную плату (чинш). В России в конце XIX века был введен обязательный выкуп чиншевых владений, затянувшийся до начала XX века.

Сервитутное право — см. т. 3, стр. 560.

Улиточная запись — договор об уступке прав на наследство в губерниях Черниговской и Полтавской, установленный Литовским статутом и оставленный в силе русским законодательством (от укр. уливать — уступать, передавать).

Стр. 454. *Кубло* — гнездо, логово.

Стр. 455. *...разных бабьих забубонов...* — то есть пересудов, сплетен (от забубенить — разглашать, распускать вести).

...многие склоняются к унии. — Здесь имеется в виду церковная уния — объединение православной и римско-католической церкви Польши и Литвы, принятое в конце XVI века на соборе в Бресте. Униаты сохраняли обрядовую сторону православия, но признавали католические догматы.

Стр. 460. *Розенкрейцеры* — члены одного из тайных религиозно-мистических обществ, существовавших в XVII—XVIII веках в Германии, России, Нидерландах и других странах. Названо, по-видимому, по имени легендарного основателя этого общества Христиана Розенкрейцера или по эмблеме общества — розе и кресту.

Стр. 462. *Гермес Трисмегист* — легендарный автор средневековых религиозно-мистических трактатов. Алхимики считали его основателем своего учения.

Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493—1541) — немецкий врач и естествоиспытатель, деятельность которого была направлена против схоластики, за создание медицинской науки, основанной на опыте и наблюдениях. Материалистические взгляды Парацельса не были свободны от средневековой мистики.

Калиостро Александр (Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — авантюрист, путешествовал по Европе, выдавая себя за врача, естествоиспытателя, алхимика, ясновидца и т. п. Был принят при всех европейских дворах. Его шарлатанские проделки были при его жизни разоблачены в книге Элизы фон дер Реке «Nachricht von des beruchtigen Caliostro Aufenthalt in Mitau» (1787).

Стр. 472. *Шахразада* (Шехерезада) — см. примеч. к стр. 374.

Стр. 473. *«Накинув плащ, с гитарой под полою»* — популяр-

ная студенческая песня на слова стихотворения В. Соллогуба (1814—1882) «Серенада».

Стр. 483. *Похождения знаменитого мазурика Рокамболя.* — Имеется в виду серия авантюрных романов французского писателя Дю Террайля (1829—1871) «Похождения Рокамболя».

Стр. 501. *Он бывший ахтырец...* — то есть служил в Ахтырском гусарском полку.

Стр. 503. *Телепатия* — см. примеч. к стр. 358.

Оккультизм (от лат. occultus — тайный) — антинаучная теория, проповедующая существование в природе тайных, сверхъестественных сил, с которыми якобы могут общаться избранные люди.

Стр. 510. *...пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце.* — Из библейской легенды о походе пяти царей Аморрейских на израильский город Гаваон. Во время битвы Иисус Навин якобы остановил солнце «доколе народ мстил врагам своим».

Это прошел через город край того ужасающего циклона... — Речь идет об урагане, пронесшемся над Москвой и некоторыми ее пригородами 16 июня 1904 года. Ураган произвел огромные опустошения в Лефортовском и Сокольническом районах Москвы и в населенных пунктах между ст. Люблино и столицей. «Смерч, — писала газета «Русское слово» (1904, № 167, 17 июня), — подымал с земли людей, скот, тяжелые предметы, которые, поднявшись на порядочную высоту, падали и вновь подымались. Деревья по пути смерча почти до единого вырваны с корнем... Части крыш неслись по воздуху, делая перелеты на расстояние нескольких десятков сажен».

Стр. 517. *...кулачные бои... с заречными турунтаями...* — *Турумтай* (турымтай) — в киргизском, казахском и узбекском языках — хищная ловчая птица, кобчик. Здесь, видимо, в значении: лихие бойцы, «соколики».

Стр. 523. *...с тебя литки* — то есть угощение.

КАНТАЛУПЫ

Первая публикация неизвестна. Рассказ вошел в девятый том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1917.

Тема произведения подсказана писателю происходившими в 1911—1916 годах судебными процессами «взяточников, растрат-

чиков и вымогателей», в частности, нашумевшим делом московских интендантов (1911).

Стр. 530. *...дом чуть ли не растреллиевской постройки.* — *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео. 1700—1771) — выдающийся архитектор, работавший в России с 1716 года.

Стр. 531. *Доминик* — см. примеч. к стр. 370.

Шустер-клубы — карточные клубы (по имени Шустера, основавшего такой клуб в Петербурге в 1872 г.).

ИНТЕРВЬЮ

Первая публикация не установлена. Рассказ вошел в девятый том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1917.

В письмах А. И. Куприна к Ф. Батюшкову часто встречаются замечания о газетных интервьюерах: «Репортеры врут, как зеленые лошади». «Я от этой газетной брехни стал совсем седой» и т. п. (ИРЛИ).

Стр. 541. *Ваш бюст, кажется? Работа Трубецкого?* — *Трубецкой* Павел Петрович (1867—1938) — русский скульптор.

Стр. 542. *...какого вы мнения о пораженцах?* — Речь идет о противниках первой мировой войны, выступавших за поражение своего империалистического правительства и превращение войны империалистической в войну гражданскую. Такой тактики придерживались с первых дней войны 1914—1917 годов большевистская партия во главе с В. И. Лениным и подлинно революционные партии рабочего класса всех воюющих стран.

...оружие времен Измаила и Чесмы... — места крупных сражений в русско-турецких войнах конца XVIII века. Крепость Измаил была взята русскими войсками 11 декабря 1790 года. Морской бой в бухте Чесма происходил 25—26 июня 1770 года.

...принял нас с своим обычным русским лукулловским радушием... — Лукулловский пир, лукулловское радушие и т. п. — выражения, употребляемые в значении: роскошный пир, щедрое гостеприимство, по имени римского консула Люция Лициния Лукулла (ок. 106 — 56 гг. до н. э.), прославившегося роскошным

образом жизни и пирами. Ставя рядом слова «русское» и «лукулловское», Куприн пародирует стиль невежественных репортеров.

...в роскошном кабинете, стиля Луи Каторз Пятнадцатый. — Бессмысленное сочетание — Луи четырнадцатый пятнадцатый. Здесь, так же как и в предыдущей фразе, Куприн пародирует репортерский стиль.

Стр. 544. *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

...пистолеты работы известного Лепажа. — *Форе-Лепаж* — французский мастер-оружейник (XIX в.).

САШКА И ЯШКА

Впервые с посвящением Н. Г. Северскому — в газете «Петроградский голос», 1918, февраль. Вошло в сборник А. И. Куприн, «Купол св. Исаакия Далматского», Рига, 1928.

О своем намерении написать этот рассказ Куприн известил редактора газеты «Петроградский листок» А. Измайлова еще 23 сентября 1917 года. «Первый мой по очереди рассказ, — говорится в письме, — будет именно у вас — «Сашка и Яшка» (ИРЛИ).

«Сашка и Яшка» — первое произведение А. И. Куприна, отображающее войну 1914—1918 годов. Эпизод, легший в основу рассказа, был сообщен Куприну летчиками гатчинского военного аэродрома, с которыми он в 1913—1917 годах поддерживал дружеское общение (см. «Люди-птицы», «Петроградский листок», 1917, № 79, 1 апреля). Однако интерес писателя к авиации и авиаторам возник значительно раньше. Еще в 1909 году, когда в России получили широкое распространение показательные спортивные полеты, Куприн поднимался над Одессой на воздушном шаре, управляемом С. Уточкиным; в 1910 году он летал на аэроплане «Фарман», пилотируемом И. М. Заикиным (см. его очерки: «Над землей», «Одесские новости», 1909, №№ 7917, 7918, 17, 18 сентября: «Мой полет», наст. собр. соч., т. 6). В 1911 году Куприн напечатал статью «Устроители» по поводу группового перелета Петербург — Москва, участники которого (М. де Кампо-Сципио, Н. Костин, Б. Масленников, В. Слюсаренко, С. Уточкин и др.) потерпели аварию и получили тяжелые увечья («Синий журнал», 1911, № 31, 22 июля). В 1913 году писатель отклик-

нулся стихотворением на гибель летчика К. Цамая («Гатчина», 1913, № 18, 20 июля). Таким образом, рассказ «Сашка и Яшка» входит в цикл выступлений писателя, посвященных авиации.

Критикуя ложную романтизацию войны в произведениях своих современников, Куприн неоднократно подчеркивал, что люди, совершающие героические подвиги на войне, это — «самые обыкновенные, бесхитростные люди, вовсе не думающие о своем геройстве и идущие на подвиг не во имя подвига, а во имя долга, обязательства защитить русскую землю, родину» («Всемирная панорама», 1915, № 319, 29 мая). Именно в этом плане и изображен герой рассказа.

ПЕГИЕ ЛОШАДИ

Впервые — в газете «Петроградский голос», 1918, февраль. Рассказ написан в феврале 1918 года в Гатчине. В 1927 году Куприн включил рассказ в сборник «Храбрые беглецы», вышедший в Париже.

В основу рассказа легли многочисленные народные сказки о чудесах, совершаемых Николаем-угодником. Некоторые эпизоды повторяют почти дословно соответствующие места из сказок. Так, например, эпизод, где Николай оживляет разрубленных на части лошадей, встречается в сказке «Микола милостивый». Николай отрубает головы лошадям Михаила-архангела и Егория и голову одной лошади приживляет к другой. «Вышли они на крыльцо, — говорится в сказке, — посмотрели на своих лошадей, не разберут, чьи это лошади. Михайло смотрит на своего белого коня, а голова-то у него вороная... Егор смотрит на своего вороного коня, а рыло-то у него бело...

«Что за притча, братцы? Микола, а Микола! Мотри, ты это подшутил? Как это так? Ты, брат, нас без лошадей оставил!»... Взял Микола при них топор, снова отрубил лошадям головы, переставил как следует, спрыснул с молитвой богоявленской водицей — головы опять срослись и лошади ожили» («Сказки и предания Самарского края», СПб. 1884, № 92, стр. 273, 274). От народных сказок идет также и описание странствий Николая по русской земле и трактовка его, как народного заступника и покровителя.

«Пегие лошади» — третий рассказ в цикле произведений Куп-

рина, написанных на основе народных религиозных легенд. Первые рассказы этого цикла — «Сад пречистой девы» и «Два святителя» были опубликованы в 1915 году (см. «Аргус», 1915, № 8, и «Биржевые ведомости», 1915, № 15071, 6 сентября).

Стр. 555. *...родом грек из Мир Ликийских.* — *Миры Ликийские* — в древности один из приморских городов малоазийской области Ликии.

Стр. 556. *Неделя православия* — в церковном календаре — первое воскресенье после пасхи.

Никитский собор — имеется в виду Никейский собор 325 года, на котором Мир Ликийский епископ Николай выступил против впавшего в ересь священника Ария.

Стоешник — см. т. 4, стр. 772.

...такого другого протяжного ямщика было не найти. — *Протяжный ямщик* — едущий на дальние расстояния без смены лошадей.

Стр. 557. *...снег вавилонами чертит.* — *Вавилоны* — узоры, зигзаги.

ГУСЕНИЦА

Впервые — в журнале «Огонек», 1918, № 2, 14 марта. Посылая рассказ редактору «Огонька» В. Бонди, А. И. Куприн 13 февраля 1918 года писал ему: «Вот вам рассказ «Гусеница». В нем 400 строк ...Простите, расписался, хотя и сжимал себя всячески... Хорошо бы корректуру». О присылке корректуры Куприн просил и в следующем письме в конце февраля 1918 года. «Ах, как бы я отшлифовал рассказ. И вовсе без переделок, а так пятью-шестью ловкими штришками» (Отд. рукоп. Ленинградской Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

В 1905 году Куприн, живший в Балаклаве, был свидетелем всех описываемых в рассказе событий. 15 ноября 1905 года на его глазах орудия севастопольской крепости открыли огонь по восставшему крейсеру «Очаков», вызвав на корабле большой пожар, угрожавший взрывом пороховых погребов. Куприн видел, как царские каратели расстреливали из пулеметов и прикалывали штыками матросов, пытавшихся спастись с горящего судна на шлюпках или вплавь. Все это описано им в корреспонденции «События в Севастополе», напечатанной 1 декабря 1905 года в петербургской газете «Наша жизнь» (см. т. 6). Знакомый Куп-

рина по Балаклаве врач Е. М. Аспиз вспоминает, что писатель был глубоко потрясен всем виденным и пережитым в Севастополе.

«Мы сообщили ему, — пишет Е. М. Аспиз, — что у нас находятся спасшиеся матросы и повели его к ним. Я не могу найти слов для описания сцены, как он приветствовал их, жал руки, говорил что-то ободряющее, значительное, сердечное... Хорошо помню слова Куприна, когда мы вышли с ним в другую комнату.

— Какие люди! — говорил он с удивлением и восхищением. — Над ними витает смерть, а они думают только о судьбе Шмидта!» (Е. М. Аспиз, Из воспоминаний о Куприне. Рукопись).

В этих же воспоминаниях сообщается, что матросов решено было скрыть от жандармских ищеек на виноградных плантациях в имении композитора П. И. Бларамберга (1841—1907), находившемся в дер. Чоргунь, в пяти-шести километрах от Балаклавы. Переговоры с владельцем имения взял на себя Куприн. «Недалеко от нас, — вспоминает Е. М. Аспиз, — жил извозчик Пасхали: Мы пошли к нему и срочно заказали экипаж. Пока он запрягал, Куприн «для конспирации» вел с ним такой разговор:

— Я тебе дам рубль на водку, только не говори моей жене, куда я сейчас поеду. Она у меня такая ревнивая, не дай бог узнает!.. Два рубля дам, только никому не говори, потому что она у всех будет допытываться. Черт знает, что у меня за баба...

Возвратившись с положительным ответом, писатель сам повел матросов степью и благополучно доставил их в условленное место.

Многие фактические подробности этого эпизода переданы в рассказе совершенно точно. Некоторые лица (балаклавский пристав Цемко, городовой Федор, рыбаки Коля Констанди и Юрий Капитанаки) выведены под своими подлинными именами.

Стр. 562. *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — русская революционерка-народница. По приговору царского суда отбывала двадцатилетнее заключение в Шлиссельбургской крепости. С 1906 по 1915 год находилась в эмиграции.

Засулич Вера Ивановна (1851—1919) — народница, позже социал-демократка. Участвовала в организации первой русской марксистской группы «Освобождение труда». С 1903 года примыкала к меньшевикам.

Стр. 563. *Брешко-Брешковская* Екатерина Константиновна (1844—1934) — член партии эсеров. После Октябрьской революции эмигрировала.

Коноплянникова Зинаида Васильевна (1879—1906) — член партии эсеров. За убийство генерала Мина, руководившего подавлением московского вооруженного восстания, была приговорена к смертной казни и повешена в Шлиссельбургской крепости.

Спиридонова Мария Александровна (род. 1889) — член партии эсеров. За убийство чиновника Лужановского, одного из руководителей карательной экспедиции в Тамбовской губернии, отбывала заключение в Акатуйской каторжной тюрьме. После Октябрьской революции примкнула к левым эсерам.

Школьник Мария Марковна (р. 1885) — член партии эсеров. За покушение на черниговского губернатора Хвостова была приговорена в 1906 году к бессрочной каторге. В 1911 году бежала из Нерчинска и эмигрировала. В 1918 году возвратилась на родину.

...Нина и Наташа — севастопольские героини... — Нина — партийная кличка Инны Германовны Смидович — члена севастопольской с.-д. организации. *Наташа* — партийная кличка Вольской (по мужу Карпинской) — члена севастопольской с.-д. организации. Ее имя упоминается в секретной жандармской переписке о революционном движении в Севастополе в 1905 году и в обвинительном акте по делу участников восстания на крейсере «Очаков» (см. «Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года. Документы и материалы». Л. 1957).

Стр. 564. *...сидел когда-то на Шпалерной...* — в Доме предварительного заключения на Шпалерной улице в Петербурге.

Стр. 565. *Началась всероссийская забастовка...* — Речь идет об Октябрьской всероссийской политической стачке 1905 года, сопровождавшейся массовыми митингами, демонстрациями и образованием во многих промышленных городах Советов рабочих депутатов.

Вскоре конституцию объявили. — Имеется в виду царский манифест 17 октября 1905 года, содержавший лживые обещания демократических преобразований с целью отвлечь народные массы от борьбы с самодержавием.

Стр. 566. *...вспыхнуло восстание в Черноморском флоте. Шмидтовские дни... — Шмидт* Петр Петрович (1867—1906) — лейтенант Черноморского флота, один из руководителей революционного восстания в Севастополе в 1905 году. По приговору царского суда расстрелян 6 марта 1906 года на острове Березань.

Чухнин Григорий Павлович (1848—1906) — вице-адмирал, главный командир Черноморского флота. Руководил подавлением Севастопольского восстания в 1905 году. Убит 28 июня 1906 года матросом Я. С. Акимовым.

Стр. 567. *Жанна д'Арк* — см. т. 1, стр. 562.

ЦАРСКИЙ ПИСАРЬ

Рассказ написан в 1919 году. Первая публикация неизвестна. Вошел в сборник: А. И. Куприн, «Звезда Соломона», Гельсингфорс, 1920.

Стр. 571. *...на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником.* — Имеется в виду памятник Петру I в Ленинграде работы французского скульптора Фальконе (1716—1791). Утверждение Куприна, будто этот памятник был снят, основано на ложных слухах, распространившихся в Гатчине после захвата города войсками Юденича (осень 1919 г.).

Стр. 572. *...расторопные любимовцы-услужающие чувствовали некоторое беспокойство...* — *Любимовцы* — крестьяне-отходники из Любимовского уезда Ярославской губернии, работавшие обычно официантами в чайных и пивных.

Стр. 573. *Мы сами-то егеря гатчинские...* — В Гатчине существовал заповедник для царской охоты с большим штатом егерей. Заповедник был устроен в конце XVIII века, когда Гатчина находилась во владении графа Орлова, фаворита Екатерины II (см. Н. Карпов, Гатчинская старина, «Гатчина», 1913, № 1).

Стр. 576. *...сохранил до моих мафусаиловых лет...* — По библейскому мифу, патриарх Мафусаил жил 969 лет. Его имя употребляется для обозначения долголетия.

Стр. 577. *Кантонисты* — в России первой половины XIX века сыновья солдат и военных поселян, закреплявшиеся за военным ведомством для подготовки к военной службе в специальных школах и частях.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов и начальник III отделения, ведавшего политическим сыском.

Стр. 580. *...кончил он жизнь у «Всех скорбящих»* — название психиатрической больницы в пригороде Петербурга.

...мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. — Из библейского рассказа о превращении жены Лота в соляной столб в наказание за то, что она оглянулась, уходя из гибнущего города Содома.

Стр. 583. *А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы: «Немного нас, но мы — славяне!»* — цитата из стихотворения Н. М. Языкова (1803—1846) «Услад» (1823).

ВОЛШЕБНЫЙ КОВЕР

Рассказ написан в сентябре 1919 года (датируется по рукописи). По предположению П. Н. Беркова, предназначался для редактируемого М. Горьким детского журнала «Северное сияние», но опубликован не был (см. П. Н. Берков, А. И. Куприн, Л. 1956, стр. 149). Печатается по рукописи, хранящейся в Ленинградской государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Собрание отдельных поступлений, 1943, № 2).

Герой рассказа — Сантос Дюмон Альберто (1873—1932) — один из пионеров воздухоплавания и авиации. Родился в Бразилии в семье владельца кофейных плантаций. В середине девяностых годов приехал во Францию, где тренировался на воздушном шаре «Бразилия» и работал над созданием моторных аэростатов. В 1901 году получил приз за полет на управляемом аэростате вокруг Эйфелевой башни с рекордной для того времени скоростью до восьми метров в секунду. Свои опыты продолжал в Монако, но потерпел аварию и вернулся в Париж. В дальнейшем занимался проектированием самолетов. В 1906 году совершил один из первых в Европе полетов на аэроплане, в 1910—1911 успешно летал на самом малом моноплане «Demoiselle» («Стрекоза») со скоростью до 90 км. в час.

Стр. 589. *Лампа Аладина* — волшебная лампа в одной из сказок арабского сборника «Тысяча и одна ночь».

...неразменный фармазонский рубль? — В русских народных сказках — рубль, обладающий чудесным свойством возвращаться к своему владельцу (см. «Фармазонские деньги» в сборнике: «Сказки и предания Самарского края», СПб. 1884, № 78,

стр. 248). *«Фармазонский»* — народная переделка слова «франкмасонский», от франкмасон — член религиозно-философского общества XVIII века.

Стр. 590. *...ездил верхом, как гаучос... — Гаучо* — этническая группа, создавшаяся из смешения испанцев с индейцами Аргентины и Бразилии. В начале XIX века гаучо принимали активное участие в борьбе за независимость страны от Испании. В это время в литературе и фольклоре Южной Америки возникает романтический идеализированный образ гаучо — бесстрашного наездника, защитника слабых и т. п.

Стр. 600. *Райт,* братья Уилбур (1867—1912) и Орвил (1871—1948) — американские авиаконструкторы и летчики. В 1900—1903 годах летали на планерах своей конструкции. В декабре 1903 года впервые продемонстрировали полет на аэроплане, продержавшись в воздухе 59 секунд. В дальнейшем усовершенствовали свой аппарат и добились значительного увеличения продолжительности полетов.

ЛИМОННАЯ КОРКА

Впервые — в газете «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс), 1920, № 10, 15 января. В том же году с незначительными стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник «Звезда Соломона», изданный в Гельсингфорсе.

Среди многочисленных произведений Куприна о спорте и цирковом искусстве «Лимонная корка» — единственный рассказ, посвященный боксерскому искусству. О своем отношении к этому виду спорта Куприн в 1916 году писал: «Бокс развивает в человеке выносливость, смелость и бесстрашие, доводя эти качества до высшего предела... Мне кажется, что ...всякий спорт можно сделать искусством — прекрасным до совершенства: все зависит лишь от вдохновения противников» («Борьба и бокс», «Геркулес», 1916, № 2—3, 19 февраля, стр. 9).

В рассказе отражены типические черты английского бокса конца XVIII — начала XIX века, в частности жестокий характер тогдашних состязаний на «голых кулаках» (боевые перчатки служили только для тренировки) и высокомерно-презрительное отношение к негритянским боксерам. Для описания матча между Сюлливаном и Ричмондом писатель использовал эпизоды из био-

графий нескольких английских боксеров (Т. Ричмонда, Т. Криба, Т. Молино и др.).

Герои рассказа Сюлливан и Ричмонд принадлежали к разным поколениям английских спортсменов: Ричмонд уже в 1816 году закончил свою спортивную карьеру, а Сюлливан только в конце 30-х годов XIX века впервые выступил на ринге (К. И. Непомнящий, Боксеры и бокс за рубежом, М. 1937, стр. 149; «Геркулес», 1913, № 24, стр. 8). Следовательно, изображаемого в рассказе состязания между ними происходить не могло.

Стр. 601. *...ссылается на... редкую книгу Пьери Эгона...* — Имеется в виду книга: Boxiana. Or sketches of ancient and modern pugilism, from the days of the renowned Broughton and Slack, to the championship of Cribb. By Pierce Egan, vol. 1, London, 1830 (Боксиана. Или очерки о прошлых и современных событиях в истории бокса, начиная с времен Браутона и Слекка до триумфа Крибба. Сочинение Пьери Эгана, Лондон, 1830). В книге помещены подробные биографии и портреты почти всех упоминаемых в рассказе Куприна боксеров: Билля Ричмонда, Т. Крибба, Т. Молино, «Боевого петуха» (Генри Пирса) и Джона Джексона.

Полную фамилию лорда Томаса Б. ...все три источника не оглашают... — Видимо, речь идет об известном в Англии конца XVIII века меценате ринга герцоге Бэдфорде (К. Непомнящий, Боксеры и бокс за рубежом).

Питт Уильям (1759—1806) — английский государственный деятель.

Бурк (Бёрк) Эдмунд (1729—1797) — английский реакционный публицист.

Адиссон Джозеф (1672—1719) — английский писатель, издававший нравоописательные журналы «Болтун», «Зритель», «Опекун».

Стиль Дик — Речь идет, видимо, о Ричарде Стиле (1672—1729), английском писателе, выпускавшем совместно с Д. Адиссоном журнал «Зритель» и др.

Фокс Чарльз Джемс (1749—1806) — английский политический деятель.

...перепил на портвейне и шотландской виски... Вильяма-Генриха герцога Кларенса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. — Вильям Генрих Кларенс был тайно казнен в

1748 году в Тауэре (тюрьме для особо важных преступников) по подозрению в заговоре против своего брата, английского короля Эдуарда IV. По преданию, он был утоплен в бочке вина.

Рейнольдс Джошуа (1723—1792) — английский живописец-портретист.

Стр. 602. *Газеты того времени называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров — голландского еврея Самуэля, Крибба, Джека Рандаля, Молинэ, «Боевого петуха», Джона Джексона... — Самуэль* Элиас — голландский боксер, выступавший в Англии в 1801—1814 годах. *Крибб* Томас (1782—1848) — чемпион Англии по боксу в 1809—1823 годах, был в дружеских отношениях с поэтом Д. Байроном. Изображен в рассказе Конан-Дойля «Случай с боксером» (см. «Геркулес», 1913, № 10, стр. 16). *Рандаль,* точнее, Рэндолл Джек — английский боксер первой половины XIX века, получивший прозвище «несравненного». *Молинэ,* точнее, Молино Том — негритянский боксер, родом из штата Виргиния (США). С 1809 года жил в Англии. В 1810—1811 годах оспаривал звание чемпиона Англии у Томаса Крибба, но вследствие неравных условий состязания не добился победы. *«Боевой петух»* — прозвище видного английского боксера Генри Пирса (1777—1809). *Джексон* Джон — английский боксер, теоретик и преподаватель бокса (конец XVIII — нач. XIX в.). С 1795 по 1800 год был чемпионом Англии. Д. Байрон называл его «владыкой бокса» и «самым гармоничным атлетом Европы».

Сюлливан — известная в Англии и США фамилия профессиональных боксеров. Янки Сюлливан (1813—1856) начал выступления в Лондоне в 30-е годы XIX века, а в 1841 году переселился в США. Джон Сюлливан с 1880 по 1890 год был чемпионом США.

«Чернокожий Ричмонд». — Ричмонд Билль (1763—1829) — негритянский боксер, уроженец США. После занятия английскими войсками Нью-Йорка был привезен в Англию генералом Эрле Перси и отдан в обучение столярному ремеслу. Впервые обнаружил боксерские способности в 1791 году на уличном состязании с боксером-любителем Докки Муром, нанесшим ему оскорбление, как негру. Боксером-профессионалом стал в начале XIX века. Оставил ринг в 1816 году. Содержал в Лондоне гостиницу «Дельфин и лошади», ставшую популярным боксерским клубом. Оказывал поддержку начинающим негритянским боксерам, приезжавшим из США.

Стр. 603. *...зрители уверяли, что будто бы из боевой перчатки метиса выпала тяжелая монета... впрочем, это... доказано не было.* — Этот эпизод заимствован Куприным из описаний матча чемпиона Англии Т. Крибба с негром Т. Молино 18 декабря 1810 года («Геркулес», 1913, № 21).

Стр. 606. *...отсылаю к... рассказу Конан-Дойля «Мастер из Кроксвиля». — Дойль* Артур Конан (1859—1930) — английский писатель. Английские боксеры XVIII—XIX веков изображаются во многих его произведениях (в романе «Родней Стон», рассказах «Случай с боксером», «Мастер из Кроксвиля» и др.).

ОДНОРУКИЙ КОМЕНДАНТ

Впервые — в литературном сборнике «Окно», Париж, 1923, кн. 1, с подзаголовком: (Из семейной были). Подготавливая рассказ для сборника «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927), Куприн снял подзаголовок и несколько сократил текст, исключив после слов «...почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе» (стр. 624) следующий абзац:

«Вставал он рано, до света. Читал вслух молитвы на коленях перед низеньким аналоем у себя в кабинете. Ходил к ранней обедне. Весь день занимался своей несложной комендантской службой, которая у него шла, как часы, заведенные один раз навсегда. Вечером опять долго молился вслух и ложился спать в восемь с половиной часов. Но прежде, чем отойти ко сну, собственноручно завешивал зеленой материей серебряную клетку, где жил его неразлучный друг и постоянный собеседник, красноречивый попугай. И вот тут-то, на этом месте моего рассказа, мне никак нельзя обойти двух случаев, в которых на долю попугая выпала роль и смешная и трагическая».

Создавая образ русского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882), Куприн правдиво показал неоднократно отмечавшееся и в исторических исследованиях недружелюбное отношение к нему со стороны офицеров штаба главнокомандующего во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Вполне достоверно также изображено тяжелое положение, в котором оказался Скобелев во время третьего штурма Плевны (30 августа 1877 г.), не получив от штаба подкреплений. Выведенный Куприным денщик Скобелева Круковский — реальное

лицо. О нем упоминается во многих биографиях генерала. Под подлинной фамилией изображен в рассказе и майор Горталов. Оставленный Скобелевым с небольшим отрядом оборонять редут Абдул-Табия, один из подступов к Плевне, он удерживал его под натиском превосходящих сил врага до последней возможности. Потеряв всех солдат, он сам не покинул позицию и был поднят турками на штыки. Приводимая в рассказе версия неожиданной смерти М. Д. Скобелева, которому якобы «по воле Бисмарка» был поднесен «в бокале вина неотразимый яд», почерпнута из многочисленных анекдотов, сложившихся под влиянием резких выступлений М. Д. Скобелева против Бисмарка.

Главный герой рассказа Иван Никитич Скобелев (1778—1849) — видный русский военный деятель и писатель. В 1793 году он вступил добровольцем в армию и прослужил двенадцать лет рядовым солдатом. В 1804 году был произведен в прапорщики. В последующие годы дослужился до чина генерал-лейтенанта. В 1832 году в возрасте пятидесяти четырех лет И. Н. Скобелев начал пробовать свои силы в литературе. Первая его книга «Подарок товарищам, или Переписка русских солдат в 1812 году, изданная русским инвалидом Иваном Скобелевым» вышла в 1833 году. За ней последовало еще несколько книг, написанных в форме «писем», «бесед» и драматических сцен («Беседы русского инвалида», 1838; «Кремнев, русский солдат. Оригинальное драматич. представление», 1839, и др.). Несмотря на проникающий все сочинения Скобелева верноподданнический дух, в них чувствуется искренняя любовь к простому человеку, превосходное знание народного языка. И. Н. Скобелев был знаком с Д. В. Григоровичем, позднее написавшим его биографию («Русские знаменитые простолюдины», СПб. 1860), и И. С. Тургеневым, упомянувшим о нем в очерке «Литературный вечер у П. А. Плетнева» (И. С. Тургенев, Собр. соч., М. 1956, т. 10, стр. 266).

Сопоставляя факты биографии И. Н. Скобелева с его жизнеописанием в рассказе Куприна, нельзя не заметить стремления писателя к «либерализации» облика своего героя. В рассказе говорится, например, что Скобелев потерял руку в 1812 году в бою под Смоленском, тогда как это произошло в 1831 году, во время польского восстания, в подавлении которого он участвовал. На основе лишь устных преданий Куприн приписывает Скобелеву авторство «Записки» об отмене крепостного права в России.

Стр. 612. *...знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова.* — Имеются в виду строки из басни И. А. Крылова «Осел и соловей» (1811).

Стр. 615. *...дали ему не «графа»... а всего только вензеля...* — то есть перевели в офицеры свиты, отличительным знаком которых был императорский вензель на погонах.

Стр. 615—616. *...остановились русские войска в виду Константинополя... но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком.* — Имеется в виду приказ главного командования русской армией о прекращении наступления на Константинополь (начало 1878 г.) в связи с заключением перемирия с Турцией. М. Д. Скобелев был крайне удручен тем, что русские войска остановлены на самых близких подступах к турецкой столице. «Мы можем, — говорил он, — подписать самый великодушный мир... но подписать его в Византии!..» (см. Вас. Ив. Немирович-Данченко, «Белый витязь», М. 1912, стр. 209). Позднее Скобелев резко высказывался против интриг Бисмарка и Англии, вынудивших Россию согласиться на пересмотр Сан-Стефанского мирного договора с Турцией.

Стр. 618. *...сказано в премудростях Иисуса, сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе — жена блудливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее».* — Первая цитата точно воспроизводит восемнадцатый стих из двадцать пятой главы «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» (библия). Вторая — представляет неполную и неточную передачу десятого и одиннадцатого стихов из седьмой главы «Книги притчей Соломоновых» (библия).

Стр. 620. *...при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку Наполеонову величию.* — *Ватерлоо* — место исторического сражения, в котором наполеоновская армия потерпела 18 июня 1815 года поражение от англо-голландских и прусских войск.

КИСМЕТ

Впервые — в еженедельной газете «Звено», Париж, 1923, № 4, 26 февраля. С незначительными исправлениями рассказ вошел в сборник: А. И. Куприн, Новые повести и рассказы, Париж, 1927.

Стр. 631. *Не доезжая одного конного поприща...* — Здесь в значении одних суток пути.

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Впервые — в альманахе «Грани», кн. 2, Берлин, 1923. Печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Новые повести и рассказы, Париж, 1927. В отзыве о рассказе поэт К. Бальмонт указывал, что «Куприн описывает утреннее пение петухов... с таким юным прекрасно-яростным богатством внутренней напевности», что это произведение может служить доказательством того, что у автора «творческая душа не стареет» (К. Бальмонт, «Золотая птица», см. его книгу «Где мой дом», Прага, 1924).

ПУНЦОВАЯ КРОВЬ

Впервые — в журнале «Перезвоны», Рига, 1926, №№ 12, 13, январь, февраль, с посвящением И. И. Писаревской. Авторская дата — 1925 г. Рассказ вошел в сборник: А. И. Куприн, Новые повести и рассказы, Париж, 1927. В книжном тексте значительно расширено описание выступления матадора Никанора Вияльта (от слов: «Был здесь, в этой грациозной и опасной игре, один момент» до слов: «Этот бык долго не уставал...» — стр. 662—664) и заново написан заключительный раздел, начиная со слов: «Но не могу не упомянуть... (стр. 666) и до конца.

Рассказ принадлежит к циклу произведений, написанных Куприным по впечатлениям поездки на юг Франции летом 1925 года. В городе Байонне писатель впервые в жизни присутствовал на бое быков. Впечатления Байоннской корриды и послужили материалом для настоящего произведения. Все лица изображены в рассказе под подлинными фамилиями

Стр. 644. *...Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта...* — *Антонио Ганеро* — малоизвестный испанский матадор. Его имя в специальной литературе не упоминается. *Фрег*

Люис (1888—1934) — испанский матадор, уроженец Мексики. Впервые выступил в бое быков в 1909 году. В последующие годы попеременно выступал в Мексике и Испании. В 1930 году прекратил спортивную деятельность и поселился в Веракрусе (Мексика), где опубликовал свои мемуары. *Вияльта,* точнее, Вильяльта Никанор (род. 1887) — знаменитый испанский матадор. Начал свою деятельность в Мексике в 1918 году. С 1919 по 1925 год выступал с огромным успехом в испанских корридах. В 1926 году уехал в Америку.

Стр. 645. *Монтихо* Евгения (род. 1826) — дочь испанского графа Мануэля Фердинанда де Монтихо. В 1854 году вышла замуж за французского императора Наполеона III. Их брак был отмечен торжественными корридами на Байоннской арене (José Mari Cossiao, Los toros; Tpatado técnico e histórico, т. 3, Madrid, 1952).

Стр. 646. *...Эль-Тато, Санз, Мора...* — *Эль Тато* — псевдоним испанского матадора Санчос Антонио (1831—1895), представителя старой андалузской школы тавромахии, воспетого в испанской поэзии середины XIX века. *Санз* Гаетано (род. 1821) — испанский матадор. В 1854 году участвовал в торжественных корридах в Байонне, посвященных браку Наполеона III. Его деятельность получила отражение в испанской спортивной и художественной литературе. *Мора* Гонзало (1827—1892) — испанский матадор. Выступал на аренах Испании и южной Франции.

Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амеде Ашар и Проспер Мериме. — *Готье* Теофиль (1811—1872) — французский поэт, романист и литературный критик. *Карменен* Луи-Мари де ля Гэ (1788—1868) — французский юрист, публицист и политический деятель. *Поль* де Сен-Виктор (Билс, 1825—1881) — французский театральный и художественный критик. *Ашар* Луи-Амедей Евгений (1814—1875) — французский писатель. После революции 1848 года издавал реакционный политический журнал «Pamphlet». *Мериме* Проспер (1803—1870) — выдающийся французский писатель.

Сид Кампеадор, настоящее имя — Родриго Диас де Бивар (ок. 1040—1099) — национальный герой Испании, один из выдающихся руководителей реконкисты (борьбы против арабских завоевателей). Воспет в средневековой испанской литературе и фольклоре («Песнь о моем Сиде» и др.).

Стр. 656. *Вот, когда я увидел воистину «коня бледного»! — Конь бледный* — вестник смерти в библейской книге «Апокалипсис», содержащей «пророчества» о гибели вселенной.

Стр. 657. *...нагибался над ним предательским движением Яго... — Яго* — действующее лицо трагедии Шекспира «Отелло» (1604). Имя его стало нарицательным для обозначения вероломства, коварства и предательства.

Лагартилло Чико — псевдоним испанского матадора Иозе Морено дель Мораль (род. 1884), выступавшего с большим успехом в Мексике и Испании.

Мазантинито (Мазантини) Люис (род. 1856) — испанский матадор. Послужил прототипом героя романа испанского писателя Эдуардо Лопес Баго «Луис Мартинес».

Стр. 665. *Экклезиаст* — см. т. 4, стр. 763.

Стр. 668. *Бласко Ибаньес* Висенте (1867—1928) — испанский писатель.

ДОЧЬ ВЕЛИКОГО БАРНУМА

Впервые — в газете «Возрождение», Париж, 1927, №№ 810, 812, 21 и 23 августа. В измененной редакции рассказ вошел в сборник «Храбрые беглецы», Париж, ⟨1927⟩.

Газетный текст рассказа имел иное окончание. После слов: «Но глаза мисс Барнум еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством... (стр. 687) следовал текст:

« — Вот и вся история, — сказал Танти.

— Неужели так и нет конца? — спросил я.

— По крайней мере я конца не знаю. Конечно, можно было бы конец придумать. Например, сделать так, что на этом же представлении вырвался у укротителя из клетки тигр и кинулся прямо на кресла Барнумов. Но Пикколо в одно мгновение выхватил из рук мисс Барнум зонтик и развернул его прямо перед мордой животного. Тигр оторопел. Тем временем укротитель и его помощник успели опомниться и набросили на тигра аркан... Ну вот вам и находчивость, и смелость, и талантливость. Но все это выдумка, а я вам рассказал одну правду!

— Как жаль! — вздохнул я. — А то было бы совсем как в пантомиме. Тут и помолвка, и шампанское для всей труппы, и подарки всем артистам, и, наконец, общая кадриль под оркестр.

Танти слегка улыбнулся.

— Признаться, я и сам думал сделать из этого пантомиму, — сказал Танти, — но кто теперь знает имя Барнума? А Барнумы не повторяются».

Стр. 671. *Джеретти* Танти (1862—1909) — соло-клоун, пародировавший все жанры циркового искусства.

Стр. 672. *Танти* Бедини — итальянский клоун-дрессировщик, работавший в русских цирках конца XIX — начала XX века.

Братья Дуровы — Владимир Леонидович (1863—1934) — дрессировщик, заслуженный артист РСФСР; Анатолий Леонидович (1865—1916) — дрессировщик и клоун-сатирик.

Рибо Ричард — коверный клоун, позднее клоун-дрессировщик, работавший в русских цирках в конце XIX — начале XX века.

Шоколад — точнее, Шоколя Рафаэль (ум. в 1917) — негритянский цирковой артист, работавший в парижском и других европейских цирках. С 1889 года выступал совместно с клоуном-англичанином Теодором Хилем Фуутитом (1864—1921).

Бим-Бом — псевдоним музыкальных клоунов Радунского Ивана Семеновича, заслуженного артиста РСФСР (1872—1955) и Кортези Феликса, которого после его смерти в 1899 году сменил Станевский Мечислав Антонович.

Жакомино Чиарди — клоун петербургского цирка Чинизелли. Пользовался большим успехом как акробат-прыгун. В 1916 году возвратился на родину, в Италию. Часто встречался с Куприным и поддерживал с ним дружеские отношения. Куприн посвятил ему рассказ «Мария Ивановна» («Рубикон», 1914, № 1, январь).

Фраттелини — семья итальянских цирковых артистов. В русских цирках выступали братья: Поль (род. 1877), Франсуа (род. 1879) и Альбер (род. 1866) — музыкальные клоуны-акробаты.

Стр. 674. *Селадон* — герой романа французского писателя д'Юрфе (1568—1625) «Астрея». Его имя стало нарицательным для обозначения волокиты, назойливого ухаживателя.

...жил некогда в Пензе... дворянин шестой книги Хохряков... — персонаж многих преданий, бытовавших в Пензенской губернии. Одно из них использовано Куприным в рассказе «Царев гость из Наровчата» (см. т. 6).

Стр. 676. *Ознобишин* — подлинная фамилия помещика Пензенской губернии. Изображен Куприным в рассказе «Люция» (Собр. соч., изд. «Московское книгоиздательство», т. XI).

Блонден Эмиль (род. 1824) — французский канатоходец. 30 июня 1859 года перешел по канату через Ниагару. В 1864 году выступал в России. Изображен в рассказе Куприна «Блондель» (см. т. 6).

Лиотер — точнее, Леотар (1838—1861) — французский цирковой артист, создатель номера воздушных полетов под куполом цирка.

Труцци — итальянские цирковые артисты. Один из них — Максимиллиано Труцци — был владельцем самого крупного в России разъездного цирка.

Сур — семья немецких цирковых артистов: Вильгельм — владелец цирков во многих городах России. Его дочери: Ольга и Марта — наездницы. Изображены Куприным в рассказе «Ольга Сур» (см. т. 6).

Момино — семья итальянских артистов цирка. Наиболее известен Павел Момино, владелец передвижных цирков в России.

Соломонские — австрийские цирковые артисты. Одному из них, Альберту Соломонскому (1839—1913), принадлежал цирк в Москве.

Годфруа Мария — цирковая наездница.

Кук — семья цирковых наездников. Губерт Кук (ум. в 1918) работал в петербургском цирке Чинизелли.

Чинизелли Гаэтано — итальянский цирковой артист, построивший в 1877 году каменный цирк в Петербурге. Его сын Сципионе продолжал дело отца.

Гагенбек — см. т. 4, стр. 786.

Барнум Финеас Тейлор (1810—1891) — американский антрепренер, владелец цирков и паноптикумов. В 1855 году издал в Нью-Йорке свою автобиографию, в которой, по выражению одного из рецензентов, «разоблачает свои обманы с таким же бесстыдством, с каким прежде придумывал» («Отечественные записки», 1855, т. XCVIII, стр. 146).

Стр. 679. *...осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедекеру. — Бедекер* — составитель справочников и путеводителей для туристов по всем странам Европы и Азии.

Стр. 683. *...крикнул живейного извозчика* — то есть легкового извозчика.

Ю-Ю

Напечатано в сборнике «Новые повести и рассказы», Париж, 1927. В 1938 году, после приезда в СССР, писатель переработал рассказ, значительно сократил его и опубликовал в журнале «Костер», № 4. В настоящем томе публикуется этот последний вариант рассказа. В него не вошли некоторые эпизоды, имеющиеся в рукописи, хранящейся в архиве Института русской литературы Академии наук СССР. Приведем два отрывка из рукописного текста. После слов «цепок бывает человек... в минуты любви и гибели» (стр. 697) в рукописи следуют строки: «И узнал еще и запомнил навеки, что на свете гораздо больше добрых сердец, отзывчивых душ, чем мы полагаем в дни покоя, порядка и сытости...

Навещали два доктора, то поодиночке, какого застанешь, то в серьезные полосы вдвоем. Освобождались они только к ночи, потому что целый день, с раннего утра, не отрываясь, работали в военном госпитале, оперируя раненых. Приходили усталые, нервные, раздраженные, но все-таки, напрягая волю, умели быть участливыми и внимательными. Денег не брали. Да их никто не брал: они были дешевле той бумажки, на которой напечатаны. Но мы посылали им припасы, каждый раз доставаемые при помощи нового чуда.

Пошли гуськом один за другим в руки мешочников и окрестных чухонцев: ковры, зеркала, комоды, диваны, платья, занавески, одеяла, лампы и даже тридцать три посаженные мною яблони-шестилетки, которые я сам выкопал из грунта и уложил на воз Фомы Хамиляйнена. Милый, старый Хамиляйнен! Из сурового сострадания он обменял мой шикарный фрачный костюм на пуд картофеля. На кой черт ему была эта шутовская одежда?..

Сколько времени тянулась эта болезнь? Сколько лет прошло в этом трепыхании Коли между жизнью и смертью, между нашими робкими надеждами и кричащим молча отчаянием? Месяц? Два?

Бедная Ю-ю!»

Рукописный вариант рассказа заканчивается так:

«Приехал мешочник из Пскова, кум нашей бывшей стряпухи Катерины Михеевны. Взял у нас за свиное сало заветную «штуку» кавказского зеленого крученого шелка и цейсовский бинокль в желтом кожаном футляре. Потом пошарил глазами

по кухне и наткнулся ими на Ю-ю, которую знал уже четыре года.

— Вот бы кощенку мне, товарищ барыня, продали или обменяли. Хороша кошечка! У вас она все одно с голоду подохнет, да и вы са...

Как он ни был глуп, но на этом скользком месте осекся и поправился: «...да и лишний рот она у вас...»

Он был прав в своей обмолвке. Могло бы действительно так и прийтись, что и она и мы... Но чем же кошка виновата? Продать ее мы не могли. Выменять — тоже. Подарили.

А через год от этого самого Ефима пришло письмо к Катерине, где после всяких «и еще кланяюсь и еще кланяюсь...» было приписано:

«А товарищу «такой-то» с низким поклоном передай, что кошка ихая, такой у нас красивой в деревне и не видели. Все бы хотели от нее котеночка, но она с нашими котами не знается. Гордо себя против их держит».

Вот и все про Ю-ю.

А теперь у нас в Париже живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз».

СИНЯЯ ЗВЕЗДА

Впервые — под названием «Принцесса-дурнушка» в сборнике «Новые повести и рассказы», Париж, 1927. В том же году под названием «Синяя звезда» со стилистическими исправлениями рассказ был включен А. И. Куприным в сборник «Храбрые беглецы», вышедший в Париже.

Стр. 714. *Нострадамус* — Михаил Нострадам Салонский (1505—1566) — французский астроном, занимавшийся «предсказаниями» исторических событий и судеб исторических деятелей. В 1555 году издал книгу «Пророчества».

ТЕНЬ НАПОЛЕОНА

Впервые — под названием «Тень императора» в газете «Возрождение», Париж, 1928, № 1188, 2 сентября. В 1929 году под тем же названием вошло в книгу Куприна «Елань», Белград,

1929. По возвращении в СССР А. И. Куприн исправил рассказ и опубликовал его в журнале «Огонек», 1937, № 4, под заглавием «Тень Наполеона» со следующим примечанием: «В этом рассказе, который написан со слов подлинного и ныне еще проживающего в эмиграции бывшего губернатора Л., почти все списано с натуры, за исключением некоторых незначительных подробностей».

Эпизод, послуживший сюжетом рассказа, был сообщен Куприну в Париже Дмитрием Николаевичем Любимовым, занимавшим в 1906—1913 годах должность виленского губернатора. Д. Н. Любимов был свойственником писателя по первому браку. Куприн изобразил его под именем князя Шеина в рассказе «Гранатовый браслет» (см. т. 4).

В 1912 году в столичных газетах часто появлялись сообщения о поисках царским правительством современников Отечественной войны 1812 года для привлечения их к празднованию столетия Бородинского сражения. 25 августа 1912 года газета «Русское слово» писала, что вызванные в Петербург ветераны — мещанин Лаптев, 118 лет, крестьяне, Гордей Громов, 112 лет, Максим Пятаченков, 120 лет, Степан Жуков, 110 лет, были приняты министром внутренних дел Макаровым. Эти сообщения подтверждают достоверность купринского рассказа.

Стр. 717. *...губернаторы, как будто живьем вытащенные из щедринских «помпадуров».* — Имеются в виду сатирические очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (1863—1873), в которых даны ставшие нарицательными образы администраторов-самодуров.

Сатрапия — название провинции в Древней Персии; в переносном значении: провинция, подчиненная неограниченной власти администратора.

Стр. 718. *Конквистадоры* (конкистадоры) — испанские завоеватели, состоявшие из разорившихся дворян, авантюристов и уголовных преступников, захватившие в начале XVI века огромные территории Центральной и Южной Америки и истребившие значительную часть коренного индейского населения. В переносном смысле — захватчики, грабители.

Стр. 719. *Ренненкампф* Павел Карлович (1854—1918) — русский генерал. Один из наиболее жестоких «усмирителей» революционного движения 1905—1906 годов. Главный виновник по-

ражения русских войск в Восточной Пруссии в начале первой мировой войны. Расстрелян по приговору советского суда.

Мафусаил — см. примеч. к стр. 576.

Стр. 722. *Апокалипсис* — см. примеч. к стр. 656.

ЗАВИРАЙКА

Впервые — в альманахе «Русская земля», Париж, 1928. В расширенном виде (с прибавлением заключительного эпизода от слов «Зима переламывалась», стр. 734) включено в сборник «Елань», Белград, 1929.

В рассказе описано имение проф. Ф. Д. Батюшкова Даниловское Новгородской губернии, в котором Куприн часто бывал в 1906—1911 годах. Жизнь в Даниловском и поездки в окрестные села и ближайший город Устюжну дали ему материал для многих произведений («Попрыгунья-стрекоза», «Черная молния», «Груня» и др.). Имена изображенных в рассказе лиц (Арапов, Голованов, Трусов) встречаются в переписке Куприна с Ф. Д. Батюшковым. Охотничья собака Завирайка впервые описана Куприным в рассказе «Псы», опубликованном в 1912 году в «Петербургской газете» (№ 355, 25 декабря), но не включавшемся в собрания сочинений писателя.

Стр. 727. *Кривцов* Николай Иванович (1791—1843) — участник Отечественной войны 1812 года. Потерял ногу в сражении при Кульме 18 августа 1813 года. Его дочь Софья Николаевна в 1846 году вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова. После смерти отца она отправила его протез на хранение в усадьбу родственников мужа. Н. И. Кривцов был родным братом декабриста Сергея Ивановича Кривцова (1802—1864) (см. М. Гершензон, Декабрист Кривцов и его братья, М. 1914).

Это ему писал Пушкин: «Ты без ноги, а я женат, или почти!..» — неточная цитата из письма Пушкина Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 года (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10, М — Л., АН СССР, 1949, стр. 338).

...был осужден на одиночество, в условиях Робинзона до его встречи с Пятницей. — *Робинзон* и *Пятница* — персонажи романа английского писателя Дефо (1660 или 1661 — 1731) «Робинзон Крузо» (1719).

Стр. 728. *...у этого «Великого охотника», у этого «Длинного карабина», «Кожаного чулка» и «Следопыта»* — герои романов американского писателя Фенимора Купера «Пионеры», «Последний из могикан», «Следопыт» и др., составляющих серию под названием «Кожаный чулок».

Стр. 735. *Светоний* Транквилл Гай (ок. 70—160) — римский историк, автор книги «Жизнеописание двенадцати цезарей». 10 декабря 1911 года Куприн писал Ф. Д. Батюшкову из имения Даниловское: «...увлекся Светонием Les douze Césari, которого нашел у тебя в библиотеке, и никак не оторвусь» (ИРЛИ).

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Иванович Куприн
Собр. соч., т. 5

Редактор *М. Сергиевская*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Техн. редактор *М. Позднякова*
Корректоры *В. Брагина* и *Л. Коншина*

Сдано в набор 9/XII-1957 г. Подписано к печати 22/II-1958 г. Бумага 84 × 108$^1/_{32}$—24,88 печ. л. = 40,8 усл. печ. л. 38,32 уч.-изд. л. Тираж 550 000
Заказ № 1050. Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.